

Галина Цурикова



СТО
ПРАПОРЩИКОВ

К портрету
одного
поколения



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1933

Книга Г. Цуриковой «Сто прапорщиков» документально-историческое повествование, посвященное декабристам. Автора интересует не столько хроника известных событий, сколько духовно-нравственная эволюция представителей декабристского движения, их поучительный гражданский опыт.

Художник Михаил Повиков



Первая тетрадь

1

23 мая 1790 года на Балтийском море, вблизи острова Сескара, происходила морская баталия. В битве со шведами русские моряки славно себя показали. Кому на роду было писано в этом бою погибнуть — пали героями.

Пушкири громадного корабля преусердно палили из толстых орудий. Чумазые, потные, оглохшие от непрерывного боя, они поспешно совали в горячие пушечьи зевы чугунные ядра, и оные с пламенем на неприятеля изрыгались. Лица артиллеристов глядели озверело и озабоченно. Раненых матросов и офицеров, окровавленных, стаскивали в сторонку, дабы доставить после на лазаретный кубрик, а трупы сразу бросали за борт. Не затем, что бездушные были, к мертвым своим небрежны, а чтобы тесные батарейные палубы не загромождать истерзанными телами.

Бестужева щелкнуло в подбородок, и он замертво, залитый кровью, свалился. Его тоже хотели бросить за борт, где кипела вода от горящих обломков, однако в горячке боя матросы успели смекнуть: Александра Федосеевича, решили, на берегу похороним.

Он славный воин был, этот Бестужев. Старший артиллерийский офицер. И человек душевный. Матросы любили его. Жалели. Когда поутихло, собрались мертвого обрядить. От холодной балтийской воды Бестужев

пошевелился внезапно, в груди у него обозначилось прерывистое движение. Закрестились матросы: нешто живого хотели похоронить? Зеркало принесли — запотело у рта. Протиснулся к барину Федор, денщик бестужевский. За доктором сбегали. Отнесли раненого офицера на кубрик. Доктор нужные меры принял, насилиу героя к сознанию возвратил.

Доктор, ученый немец, настойчиво предлагал поскорее больного на берег перевезти для пользы его от жгительной атмосферы наземного пребывания.

Вечерело. Медной медалью садилось медленно солнце, золотилась водная гладь. Дружно навалились на весла муштрованные гребцы...

В старости Федор, лакей, давал себе волю потешить любознательных барчуков умственной беседой. Степенно рассказывал, неторопливо, касаясь дубленой ладонью шершавого подбородка: *неизреченные страсти страженья с поганым шведом.*

— Стало быть, когда Александр Федосеевич шведский корабль увидал вблизи, он, стало быть, захотел в него сам пальнуть, а как высунулся голубчик — посмотреть, стало быть, — тут в него и шарахнуло. Своротило челюсть куском деревянной снасти...

И дети помнили шрам на подбородке батюшкином.

Федор про то еще любил вспоминать, как их батюшка, барин, *к животу возвратился.* Как через соломинку он *получал питание* шесть недель, пребывая в это время, как рыба, нем, и говорил только *мнением и доказательством.*

— Стало быть, если что ему сделать потребно было, то скажет мм... мм... и укажет на тот предмет...

Одному из бестужевских сыновей помнилось: матушка им рассказывала, как в эпоху болезни батюшки завязалось первоначальное их знакомство.

Сохранилось в семейном преданье девичье, застенчивое, дочернее, что-де женился Александр Федосеевич «после брака».

Может быть, в этом не слишком существенном с точки зрения истории происшествии полнее всего проявилось душевное благородство Бестужева, екатерининских времен артиллерийского офицера, двадцати восьми лет.

... В беспомощном состоянии он был доставлен в Нарву, тогда город бойкий, стоявший на пути из России в Европу, и Федор, бестужевский крепостной человек, ходил за ним, как умел. Однако старательно, преданно.

Время стояло летнее.

Мучила ли жара, или мокли покосы от беспрестанных дождей, или вдаль бежали надутыми парусами бокастые белые облака — про это гадать не будем.

Только заметим, что вряд ли могли они с Федором предпочесть деловое немецкое гостеприимство лезобережной Нарвы, чужезычкой, утыкавшей небо лютеранскими шпильками кирх, имея под боком Иванову слободу — на другом берегу Наровы, соединенную с городом наплавленным деревянным мостом.

Иванова слобода — ее и матушка молодых Бестужевых вспоминала — прилежала к Иван-городу, крепости, ставленной по приказу великого государя московского для защиты русских земель от железных баронов. Немцев. Гремучие латы их ржа источила веками, войны под Нарвой отпыхали, и нынешние бароны царям да царицам русским наивернейшие псы. В Нарве, однако, стоял еще русский военный гарнизон. В поселке за крепостью жило русское население. Там, вероятно, Бестужев нашел приют.

Достоверно известно, что хозяйская дочка, помогавшая Федору ухаживать за больным, была из русской простонародной семьи.

Она приносила еду, забирала посуду, мух прогоняла из горницы полотенцем, наводила порядок и чистоту. Ей шел пятнадцатый год — по тогдашним понятиям была невеста на выданье. Хотя красавицей не слыла, но казалась родным расторопной, неглупой, хозяйственной девушкой. И грамоте знала — умела читать и писала старинными шаткими буквами.

Кто-нибудь ласково называл ее Поленькой... Или Парашей? Когда сердился, кричал, наверно: «Прасковья!»

В точности неизвестно, кто был у нее из родных. Вероятно, отец. Был он, видимо, из служивых. Они оседали обычно вблизи крепостей, отставленные от службы — за ранами, по болезни, редко-редко за выслугой лет. За двадцать пять лет царской службы чему не научишься! — и промышляли ремеслами...

Похоже, однако, что к лету, когда поселился в их доме

Бестужев, хозяин был уже вдов: материнская попечительность не преминула бы девицу держать на приличной дистанции от случайного в доме гостя. Бестужев был офицер и дворянин старинный. Хотя небогат — слободской девчонке не пара.

И не был он соблазнитель. . .

Легенда встает из седых домашних преданий. Легенде под стать романтичный пейзаж. Крутой изгиб быстротечной Наровы, зажатой гранитными берегами. Две крепости сверху, одна супротив другой, разделенные быстрой водой. Мрачный лик их. Крапивой позараставшие рвы еще были с водой, и мосты еще подымались. Каменилы зубчатые стены, чернели щербатые башни. . .

Румянило утро немецкие черепичные крыши на западном берегу, свежий ветер вертел скрипучие флюгеры.

На закате краснела окошками русская деревянная слобода и свистели в кустах соловьи. . .

Минул год, как во Франции рухнула с шумом крепость-тюрьма Бастилия и на открывшейся площади заплясал голоштаный люд, возглашая Свободу, Равенство, Братство. . . В России аукнулось: пугачевщина вспомнилась, горящие гнезда помещичьи, повешенные на деревьях в родовых усадьбах дворяне.

Радищев свое заветное «Путешествие из Петербурга в Москву» в том же году завершил. Взглянул окрест спокойным взглядом — *душа страданиями человечества уязвлена стала*. Радищев видел: и новых пожаров неминуемо ждать — беспредельна народная нищета и неволя.

В мае 1790 года опасная книга была отпечатана и потихоньку стала распространяться. Слух о ней впереди бежал огнем по сухой траве. Из первых же экземпляров один был доставлен матушке государыне. Плотной, приземистой, с пухлым, как вата, очень белым лицом под высокой пудреной куафюрой Екатерине Второй. Она прочитала внимательно, вооружась очками в простой золотой оправе. Принесшему ей на подпись бумаги секретарю сказала с чувством про автора:

— Он бунтовщик. . . Опаснее Пугачева.

Старуха была умна и отнюдь не пуглива.

Крамольного автора привели на пристрастный до-

прос, и царицын домашний мастер заплечных дел — узкотелый, с бабьим лицом Шежковский — уже потирал вспотевшие от нетерпенья ладони. . .

В это самое время столичный морской офицер Бестужев, томясь не смертельной, но изнурительной раной, скучал в безделье. Вечернее солнце пронзало убогие стекла мещанской светелки, тощий белый котенок лапкой гонял по стеклу надсадно жужжавшую муху, и рослая девочка с черными широко расставленными глазами — на умоляющий жест постояльца: окно бы раскрыть! — строго шикнула на котенка: Снова же мухи залезут. . . Однако раскрыла окно, и все дворовые запахи — прошлогодней капусты, на задворках вываленной из бочки, и днями срезанного сена, и сохнувшего у входа в коровник навоза — ворвались в горницу вместе с гусиным степенным гагаканьем и суматошным кудахтаньем курицы, снесшей в бурьяне яйцо.

Сдвинув густые брови, девушка смело взглянула в большие и светлые бестужевские глаза. Смуглые скулы зарделись от неожиданной улыбки, и нос, в переносице толстоватый, что называется «сапожком», показался так славно привздернут, и голос был женский уже, глубокий, не изощренный жеманностью.

— Я теперичка побегла?

2

Бестужев воспитан был в строгости, в стенах кадетского корпуса, склонности не имел к деревенской ленивой чувствительности, деревни вообще не любил, хотя считался помещик, владелец пятнадцати душ в позабытой богом северной деревеньке Сольцы. Поэтические отрады сельского бытия — благодатная сень дерев, ручейков мелодическое журчанье, пенье птиц — влекли его только в стихах простодушных тогдашних поэтов, вроде Михайлы Никитича Муравьева, с которым Бестужев наверняка был знаком. Они, во всяком случае, имели общих друзей. . .

В пору молодости Муравьева дворяне служили еще солдатами в славных гвардейских полках. Михаилу Никитичу долго не выходило офицерского чина. Искатель-

ства тяготили его, и душен казался ему воздух вельможных передних. «Гвардии прапорщиком я стал поздно», — признавался он в дневнике, понимая и то, что прапорщичеством своим подивить он способен только капралов. «Но дурак я, ежели стыжусь в мои годы быть прапорщиком, — писал он, — дурак, ежели кто меня почитает по прапорщичеству. Неоспоримые титулы мои должны быть в сердце».

Тяготясь служебной неволей, писал Муравьев стихи о прелестях деревенского времяпрепровождения:

Приятно мне уйти из кровов позлащенных,
Оставить пышный град, где честолюбье бдит,
Где скользкий счастья путь, где ров цветами скрыт.
Здесь буду странствовать в кустарниках цветущих
И слушать соловьев, в полночный час поющих...

Он так писал, еще не хлебнув беспокойного счастья, но правду сказать — он и после душой не переменялся. Тот же остался рыцарь. Застенчивый, кроткий, мудрый... И после того, как Екатерина Вторая, ученость ценившая в людях, смело чтившая добродетель, его удостоила чести быть призванным ко двору, поручив Муравьеву учить истории и российской словесности старших внуков своих — великих князей Александра и Константина. Позднее, когда в Петербург привезли хорошеньких внучек почтенного баденского маркграфа Луизу и Фредерику, двух родовитых невест, предложенных дипломатами на выбор пятнадцатилетнему Александру, и рассудительный Александр, будущий император, отдал предпочтение старшей — кроткой, пухленькой тринадцатилетней Луизе, Михаилу Никитичу Муравьеву доверено было учить ее русскому языку. Будущую царицу Елизавету Алексеевну.

В те поры брак почитался важнейшим залогом житейских успехов. Брак неразумный мог погубить и счастливо начатую карьеру. Как это, заметим, случилось с Бестужевым, когда он спустя несколько лет обвенчался с Прасковьей Михайловной, имея уже детей от нее.

По рождению Муравьев и Бестужев казались равны, а после женитьбы они сделались разного круга. Прасковья Михайловна, не имея приличного воспитания, не могла быть и принята в лучших домах. В тех, где прежде Бестужева принимали, где барышни ему ласково улыбались и мамёнки скрепя сердце показывали чопорную любезность. Женихов не хватало всегда, а Бестужев со-

бой был хорош и отлично умен, образован, в семнадцать лет уже офицер. . . Бог знает, какая могла бы открыться ему карьера.

Зато Муравьев, застенчивый и неловкий, сделал в своем роде блестящую партию. Взял он в жены девушку немолодую, за тридцать, и щуплую, малорослую, ко всему еще злоязычную, — как говорили, от большого ума, — чего ради она и в невестах позасиделась, дочь и единственная наследница миллионщика-откушщика сенатора Колокольцева, давнего благодетеля всей муравьевской семьи. В его доме Михаила Никитич был смолсду свой человек: покоряясь отцу, постоянно захаживал. Десять лет ходил, а в конце концов и женился.

И семейная жизнь Муравьева была, по всей видимости, удачна. Своего ученого мужа Катерина Федоровна боготворила, ее строгий характер больше распространялся на дворню, а двоим сыновьям — Никите и Александру — она была самой нежной и самосотверженной матерью.

Живя при дворе, не женатый еще, Муравьев писал и стихи, и кое-что из истории, и повести — в назидание высочайшим своим питомцам. Давая уроки великим князьям, он себя чувствовал школьным учителем, не придворным. По утрам смиренно трусил верхом, сопровождая своих воспитанников на прогулке. Старший из них — Александр — был, согласно общему мнению, очень умен и ангельски миловиден. Белокурый, голубоглазый, чуть заметно курносый. Он с детства был глуховат на левое ухо и слегка занкался, испуганный чем-то в младенчестве. Вежливый, ласковый Александр был, однако, злопамятен, скрытен и, что казалось досадней всего Муравьеву, ленив рассудком. Его брат Константин отличался разительным сходством с родителем — с Павлом Петровичем, «гатчинским деспотом», как его за глаза называли. Рыжеватый и малорослый Константин был дурен лицом и безмерно тягостен нравом: непристойно, глумливо проказлив. И все же довольно умен. И гораздо откровеннее Александра.

Оба — едва слышат зов военной трубы и холодную дробь барабанов — скачут смотреть, где муштруют несчастных солдатиков. На барабанный бой их тянет, как кошек на валерьянку.

Бабушка не выносила, чтоб внуки ее принимали участие в грубых забавах отца. Павла Петровича мало ска-

зять не любила — год от года все больше ненавидела и боялась.

А цесаревич был счастлив найти в сыновьях фамильную преданность фрунту. С торжественной важностью благодарил Муравьева за их воспитание. Застенчивый рыцарь, ног под собою не чуя, слушал Павла Петровича. В момент, когда бабушкин любимец Александр без единой запинки делал развод караулов...

Этот же анекдот — когда Александр в присутствии Павла Петровича лихо командовал вахтпарадом, а его воспитатель не чуял ног под собою при мысли, что скажет *бабушка*, — относили и к Муравьеву Ивану Матвеевичу, который, кстати сказать, вовсе не был застенчив. Он был двоюродный брат Михаила Никитича, тоже известный писатель и некогда кавалер при великих князьях. Иван Матвеевич Муравьев был женат на дочери австрийского генерала, черногорца; живя дипломатом в Гамбурге, а потом в Испании, он прожил со вкусом свое и женино состояние, а вернувшись в Россию, получил наследство умершего родственника, с условием к своему фамильному имени добавить имя его *Апостол*, — так он сам и его уже взрослые сыновья стали Муравьевы-Апостолы. От первой жены, умершей вскоре по возвращении из-за границы, у Ивана Матвеевича остались три сына: Матвей, Сергей и Ипполит, а также четыре дочери. И от второй жены он имел после трех дочерей и сына.

Застенчивость Михаила Никитича Муравьева, перешедшая по наследству и к его сыновьям, легко делалась поводом для анекдотов, но лишь немногие знали, что Муравьев имел смелость — редкую и не по тем временам — самостоятельно мыслить.

«Один разум не может заменить разума целого народа», — писал он в дневнике. В то время как императрица Екатерина искренне полагала, что — *Мудрейшая* — она одна благодетельно мыслит в России за всех.

И вот еще что писал молодой в ту пору Михаил Муравьев своему родителю 17 июля 1778 года, в ответ на расспросы о случившемся при дворе (когда прежнего фаворита императрицы, смелого, пылкого и красивого Зорича, сменил двадцатитрехлетний лейб-гусарский поручик Иван Николаевич Корсаков): «Вы пишете, что

была великая перемена, — возражал он отцу, — но сколько я знаю, она была только при дворе. А там все управляется по некоторым ветрам, вдруг восстающим и утихающим так же. Любимец становится вельможей, за ним толпа подчиненных вельмож ползает: его родня, его приятели, его заимодавцы. Все мы теперь находим в них достоинства и разум, которых никогда не видели. Честный человек, который не может быть льстецом или хвастуном, проживет в неизвестности!»

26 июля 1786 года, при отставке очередного временщика, некоего Ермолова, Державин — близкий ко двору, в мыслях независимый — писал своему приятелю Львову: «Ты, может быть, уже знаешь, что Александр Петрович поехал в чужие края, что ему дано сорок три тысячи душ в Белоруссии, и сто тридцать тысяч рублей денег, и сервиз. Может быть, и то знаешь, что гвардии офицер Мамонов, а как зовут — не знаю, сделан флигель-адъютантом. А не знаешь — так знай!»

3

...Своему первенцу, любознательному Никитеньке, отец повторял дома курс, читанный старшим великим князьям. Те, шалуны и ленивцы, мало смогли усвоить. Сын был еще дитя: он историю греков и римлян слушал, как сказку.

Заветные мысли Михаил Никитич записывал, собирая в особенной папке с надписью: «Бумаги, оставленные для Никитеньки».

Детский бал, днем естественно, у Державиных. Катерина Федоровна Муравьева сына привезла, старшего, черноглазого и кудрявого, прелестного, но застенчивого — мочи нет! Пресерьезного. Все дети самозабвенно попрыгивали, танцуя, один Никита жался к материным коленям. Тщетно она убеждала сына потанцевать.

— Ах, маман, — возражал он серьезно, — да разве же Аристид и Катон танцевали?

Катерина Федоровна, однако, нашлась:

— Я думаю, — возразила она, — в твои годы они тоже могли танцевать.

Никита вздохнул тяжело и пошел приглашать на объявленный распорядителем бала танец одну из сестер Чернышевых. Миловидные смуглые дочки веселого и остроумного графа Григория Ивановича, бывавшие часто у Муравьевых, все были с ним хороши, — он их поменьше дичился.

4

Что мог завещать своим детям Бестужев? Доброе имя, чистую совесть, душевную добропорядочность. Он ценил это выше чинов и богатства. Сыновьям он оставил свод политических, нравственных, да и просто житейских правил. Не папку с бумагами — книгу-трактат «Относительно военного воспитания благородного юношества...».

Дворянским детям, считал он, которым общественные условия даруют великую власть над людьми, необходимо смолоду прививать «чувствительность к человечеству», дабы они обходились с другими людьми как и с собой бы желали и не делали бы другим чего себе не хотят; чтобы каждый сознавал, что слуга и всякий самый малейший человек заслуживает уважения как сотворенный ему подобно. «Власть без добродетели и достоинство без заслуги суть истинные причины надменной глупости», — писал в своем трактате Бестужев.

Когда 13 апреля 1791 года родился бестужевский первенец, названный Николаем, родители, если верить домашним преданиям, от радости голову потеряли, не чаяли в малом души.

Отец восхищался, глядя, как сын бросает об землю чашки, упрашивал мать не противиться этому чуду. Прасковья Михайловна, сокрушаясь о побитой посуде, убеждала Бестужева, что-де в таких упражнениях пользы нет, а дитя лишь приучится с малолетства ломать все да портить.

— Ничего, матушка, ничего, — утешал ее Александр Федосеевич. — Бог даст, он еще и творить что-нибудь доброе выучится!

Матушка в припадке нежности материнской сама делала безрассудства, вредные для души и тела ребенка.

Она слишком долго кормила первенца грудью, и это, как рассказывает предание, «ослабило его организм, развило золотушные остроты, которые, образовавшись в заушные нарывы, потребовали болезненные операции, повлекли новые недуги и продолжительное лечение. Чудо-первенец сделался раздражительным, капризным ребенком. И, как обыкновенно бывает в подобных случаях, ему поблажали; ради его хворости, его берегли, чтоб даже ветер не пахнул. Все это в совокупности делало из него слабенького, своевольного и в высшей степени впечатлительного мальчика».

Лет до шести Николай оставался единственным сыном в семье. За ним следом родились три девочки. Естественно, что его воспитанием занимались усерднее. Отец имел склонность к педагогическим опытам. Сын представлялся ему глиной в руках ваятеля.

От робкой созерцательности Николы следа не осталось. Он стал своеволен, упрям, принуждения вовсе не выносил. Лишь воздействуя на самолюбие мальчика, кое-чего удавалось еще достигнуть.

С другими детьми столько уже не мудрили.

Елену, бывшую годом или двумя моложе Николая, домашние звали Лешенькой за мальчишеские повадки. Против нее и Никола казался робок. Отца это огорчало.

Как часто бывает с хилыми и балованными детьми, сын не в меру казался рассудителен и несмел. Отец учил его одолевать боязливость: заставлял, например, одного входить в темную комнату...

Лешеньке страх был неведом.

Двойняшки Мария и Ольга, напротив, тихие были и немудрящие существа. Как и Лешенька — некрасивые. Простоватые и курносые. Не было в них ни Лешенькиного ума, ни ее безрассудной храбрости. Росли себе скромно, как сыроежки в лесу близ родительской деревеньки Сольцы, Новоладожского уезда, куда езживали на лето, — не тревожили родительского тщеславия.

В 1797 году у Бестужевых родился второй сын, Александр. В матушку черноволосый и черноглазый. Очень крепкий и покладистый молодец. Вскоре за ним родился Михаил; затем Петр — внешне похожий на Александра, характером противоположность ему: плаксивый трусишка; последний — Павел.

Один Николай удался в благородную бестужевскую породу. Не потому ли всю жизнь он один оставался до-

машинным кумиром? И как бы сложился его непростой характер, если бы участь семьи не переменялась бы круто время от времени, вознося его всякий раз на изломе, как на гребне волны. . .

5

У Михаила Никитича Муравьева, когда он женился на дочери сенатора Колокольцева, был уже пятнадцатилетний сын, незаконнорожденный, от дворовой женщины, выданной после за крестьянина Уткина. Николай Иванович Уткин. В отца — очень застенчивый и одаренный. Выученик Академии художеств. Впоследствии — знаменитый художник-гравер. Иметь в книжке его гравюры и Пушкин честью для себя считал. Молодежь многолюдного муравьевского клана, не чинясь, признавала Уткина за родню, но, конечно, себе не ровню. Муравьевы были светские люди. Тогда как художник, и самый талантливый даже, — плебей, ремесленник. Всякий ничтожный канцелярист готов над ним спесь свою тешить. С присущей ему деликатностью Михаил Никитич приучал Никиту и Александра видеть в Уткине брата.

По доброте душевной Михаил Никитич был склонен видеть и в крепостных своих просто несчастных людей, коих бедность их состояния принуждает без всякого вознаграждения исполнять господские прихоти. Детей учил состраданню к ним.

В порыве детского простодушия Никита, смущаясь, спросил однажды Николая Ивановича, мол, как же так, братец, ты разве не Муравьев? Застенчивый Уткин ему ответил с неожиданной строгостью:

— Бог с вами, сударик мой, какой же я Муравьев? Я дворовый вашего батюшки. . .

Николай Бестужев с детства показывал большие способности к рисованию. Отец — сам к искусствам неравнодушный — старался развить в нем природное дарование: приглашал в дом хороших учителей, подумывал даже сына отдать в Академию художеств. Но учение это было не для дворян. Учеников в Академию художеств набирали из простонародья; еще там часто обучались «воспитанники».

...Странная участь породила характеры странные: таких, как гибкий, удачливый, кроткий и деятельный Жуковский, казалось, самою природой рожденный для меланхолии, выросший в отчем доме и при живой матери приемышем-сиротой, милым котенком — забавою старших его, «законных», сестер; и таких, как ломкий, неуступчивый Пнин, тщетно всю жизнь бунтовавший против несправедливой судьбы, так и погибший в несогласии с ней. Пнин был тоже поэт. Один из ближайших друзей Александра Федосеевича Бестужева. Свой и в доме Михайлы Никитича Муравьева.

Иван Петрович Пнин — незаконнорожденный сын знаменитого екатерининского вельможи фельдмаршала Репнина. «Укороченные» фамилии в те поры были не редкость: Бецкие и Рубецкие, Лицыны, Мянцевы, Ранцевы — от Трубецких и Голицыных, Румянцевых и Воронцовых. «Воспитанники» считались как бы полупризнанными: с частицей отцовской фамилии им обычно перепадала и какая-то часть фамильного достояния. Не чета бесталанным, которых, отняв у невенчанных матерей, отсылали в Воспитательный дом, а чаще — с матерью вместе в людскую, где из них вырастали казачки и лакеи, живая собственность их же законных братьев.

Пнин — «воспитанник» князя Репнина, и доля его поначалу казалась почти завидной: недавно умер единственный законнорожденный сын князя, остались дочери, — Пнин в этом горе служил утешой. Позднее мальчика отослали в кадетский корпус. В тот, где Бестужев воспитывался и где он был оставлен по окончании корпусным офицером. Тогда они, вероятно, с Пниным и сошлись, несмотря на разницу в возрасте. Служили потом далеко друг от друга, но, воротясь в Петербург, поселились вместе, сняв квартиру на Сергиевской улице, в доме надворной советницы Баженовой. Незадолго перед этим Бестужев обвенчался с женщиной из простых, — Пнин был чувствителен к таким вещам. Свое неприятное положение он тем острее ощущал, что отец, недовольный желаньем Пнина, в отставку выйдя, заняться литературой, вдруг прекратил высылать ему и обычное содержание.

Пнин и Бестужев решили вдвоем издавать журнал либерального направления. Затея смелая в павловскую эпоху!

Целью журнала объявлено было *полезное преобразование умов и сердец читающей публики, обращенной*

с похвальным рвением к достижению истины и добродетели.

Печатал журнал и стихи, и прозу, и переводные статьи — в защиту нравственности и человечности.

В нем и трактат Бестужева впервые был напечатан.

«Там, где разум в тесных заключен пределах, где не смеет перейти границ ему положенных, — писал смелый Пнин, — там всегда найдешь философов-льстецов, писателей низких и ползающих, защищающих иногда самые нелепые мнения, вопреки истине...»

«С.-Петербургский журнал» выходил целый год. Сам собою и прекратился. Нет сведений, чтобы его запрещали. Одно сохранилось предание, что будто бы за печатание фонвизинской «Исповеди» был Александр Федосеевич Бестужев вызван на дуэль. Кем вызван, когда и чем дело кончилось — неизвестно. Читавший переписку об этой дуэли сын Бестужева Саша бумаги, скопившиеся на чердаке со времен «С.-Петербургского журнала», по простоте ребяческой извел на картонные для кукольного театра.

«Я очень помню, — писал Александр Бестужев спустя много лет приятелю, — что у нас весь чердак был завален бракованными рукописями». Он сожалел о своем легкомыслии, понимая, что письма насчет дуэли и другие бумаги историкам были бы интересны: «Но я, как вандал, все переклеил, хотя и все перечитал...»

Александр Федосеевич получил предложение стать управляющим домашней канцелярии графа Строганова.

Граф был занятный обломок «золотой екатерининской эры». Богач, меценат, свойственник царскому дому, в неизменном почете при четырех дворах. И человек умнейший, своенравнейший, объехавший смолоду всю Европу, отлично образованный... По смерти императрицы Елизаветы он был из первых, кто понял, кому отныне быть настоящей властью: отдал свои симпатии скромной и терпеливой супруге слабоумного Петра Третьего — в прошлом немецкой полунищей принцессе, просватанной в детские годы за тощего, дурно воспитанного мальчишку с траченным оспою, туповатым лицом, привезенной в сказочную Московию в тряском возке на полозьях, в сопровождении жадной и грубой мамаша, хлеставшей дочь по

щекам и отнимавшей у нее, невесты, царской родней доставленные подарки. Семнадцать лет Екатерина ждала своего торжества, копила досаду, терпела обиды. Дождалась... И Строганов не ошибся.

Когда Бестужев стал управляющим личной канцелярией графа, Строганов был уже маленький сухонький старичок, почти бестелесный, хотя души в нем еще оставалось довольно. Живой, остроумный, с вольтеровскою усмешкой на тонких губах. Своенравный политик, изящно и тонко умеющий перечить царям.

Указом императора Павла, в начале 1800 года, граф Строганов был назначен президентом Академии художеств, императорских библиотек директором и главным начальником экспедиции мраморной ломки и присков цветных камней в Пермской губернии. Заодно и Бестужев — указом от 17 февраля 1800 года — произведен был в «высочайше учрежденной при его сиятельстве графе Строганове канцелярии правителем оной».

В Четвертой линии Васильевского острова, рядом с деревянным академическим флигелем, где поселились Бестужевы, достраивался двухэтажный Литейный дом, и Александр Федосеевич ведал также его постройкой. В литейной мастерской устанавливали необычно большую плавильную печь, дабы могла одновременно производиться отливка нескольких сразу больших фигур. Мастера-отливщики скоро оказались в числе близких друзей Бестужева, как и художники, ученые, музыканты...

Питая пристрастие к искусствам и наукам, связанный службой с горными чиновниками Урала и Сибири, Александр Федосеевич дом превратил в настоящий музей: имел отличное собрание минералов, коллекцию лучших гравюр, большую библиотеку. В кабинете модели пушек соседствовали с изделиями из уральского камня, старинное холодное оружие и пистолеты — с книгами и картинами...

«Будучи вседневно окружены столь разнообразными предметами, вызывающими детское любопытство, — вспоминал Михаил Бестужев, — пользуясь во всякое время беспрепятственным доступом к отцу, хотя постоянно занятому серьезными делами, но не скучающему удовлетворять наше беснокойное любопытство, слушая его толки

и рассуждения с учеными, артистами или мастерами, мы невольно бессознательно всасывали всеми порами нашего тела благотворные элементы окружающих нас стихий. Прибавьте к этому круг знакомства, небольшой, но людей избранных, дружеские беседы без принуждения, где веселость сменялась дельными рассуждениями, споры без желчи, поучительные рассказы без претензии на ученость; прибавьте нежную к нам любовь родителей, их доступность и ласки без баловства и без потворства к проступкам; полная свобода действий с заветом не переступать черту запрещенного, — и тогда можно будет составить некоторое понятие о последующем складе ума и сердца нашего семейства, а особенно старших членов его как более взрослых, следовательно — более умовосприимчивых».

6

Николай, десятилетний уже, не по-детски разумный, под руководством отца читал «Рассуждение о большой точности морского пути» Ломоносова. Отец ему рассказывал о морских путешествиях. Приметив в нем интерес к морской службе, повез и в Кронштадт, где стояли самые большие корабли. По тому времени это было для мальчика настоящее путешествие. Александр Федосеевич привел сына на военный корабль, которым командовал старинный его приятель капитан Лукин, человек легендарной силы, герой множества анекдотов. Николай Бестужев влюбился в знаменитого капитана и многие годы почти бессознательно подражал ему в манерах и поведении. Бывая в бестужевском доме, Лукин, этот старинный чудак, любил возиться с детьми, катал их по двору в распряженной коляске и даже мог, схватив рукою за колесо, остановить экипаж, — пара лошадок прыдала удивленно ушами, не в силах стронуть его.

Но ничто не могло сравниться с привязанностью, какую дети питали к отцу.

«Я и теперь не могу дать себе полного отчета, — писал, вспоминая отца, Николай Бестужев, — какими путями он довел меня до таких

близких отношений. Я чувствовал себя под властью любви, уважения к отцу. Без страха, без боязни непокорности, с полной свободой в мыслях и действиях. И вместе с тем под обаянием такой непреклонной логики здравого смысла, столь положительно точной, как военная команда. Так, что, если бы отец скомандовал мне «направо», я не простил бы себе, если бы ошибся на полдюйма».

7

Четырехлетний Саша, черноглазый, с густыми, как будто нарисованными бровями, быстрый в движениях, смело маневрировал в ногах у гостей. Он храбро вступал в разговоры. Забавный, бойкий, Саша тянулся уже быть в центре внимания, и часто ему это удавалось.

Александр Бестужев рос, как он сам вспоминал, «в окружении богов и героев». Мраморных античных «богов», заполнивших академические пространства, и живых, в красиво расшитых мундирах, увешанных звездами и крестами героев, — их Саша разглядывал, алчно блестя глазами.

Как и старшего брата, Александра с детства посвящали в художники, допускали по просьбе отца в академические рисовальные классы. Исподволь его готовили в артиллеристы.

Спустя много лет Александру Бестужеву снилось его счастливое детство. Во сне он видел отца. Благородного, доброго, умного. Отца ждали к обеду 30 августа, в день общих их именин. Александров день был с народным гуляньем и фейерверками на Неве. Утром, надев парадный мундир с высоким шитым золотом воротником, отец ехал поздравить графа Александра Сергеевича Строганова, — он тоже был в этот день именинник. Домой возвращался к обеду. Счастливый день снился подробно. И все заботы хозяйства: раскладка вареньев на блюдечки, раскупорка бочонков с виноградом, доставленным с юга, пересыпанным опилками. И огромный, блестящий снегом скатерти-стол, сверкающий льдом хрусталя. Посередине — миндальный пирог с сахарным амуром. Себя он тоже видел в том удивительном сне: в новой курточке расхаживаю-

щего между громадных подсвечников; сестры в них осторожно ввертывали восковые желтые свечи, боялись их поломать. Свечи пахли церковною службой и медом...

Впоследствии Александр Бестужев писал: «Отец мой был редкой нравственности, доброты безграничной и веселого нрава. Все лучшие художники и сочинители тогдашнего времени были его приятели, я ребенком с благоговением терся меж ними».

8

... Пнин, все друзья его — сочинители. Одним из близких друзей Пнина был Михаил Никитич Муравьев. Другой приятель его — человек легендарный — Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» хранилось бережно в бестужевской библиотеке, и все сыновья Александра Федосеевича, не исключая младших, в свое время его прочитали.

Возвращенный императором Александром из ссылки, обласканный и обнадеженный им, Радищев последние два года жил почти безвыездно в Петербурге. Замкнуто жил, на Фонтанке, «в Семеновском полку». Пнин из немногих был, кто навещал его там. Радищев — тихий, слегка обрюзгший старик, уставший от пережитого, но еще не угасший душою — вспыхивал иногда в разговоре. Либеральные веяния наступившей с воцарением Александра новой эпохи волновали его.

Да и кто не питал тогда смутных каких-то надежд? Император, казалось, и сам положенным делом недоволен. Благие его порывы — обещание то ли реформ, то ли проектов каких-то новых государственных установлений — воплотились в авторитетной *Комиссии*, которая, предполагалось, займется их обсуждением.

В *Комиссию* был приглашен и Радищев. Увлеченный, он даже набрасывал свой проект.

Чувствительный к окружающему, неглупый, скромный в будничном обиходе, застенчивый даже, Александр Павлович был воспитан хорошими учителями. Можно сказать, был взращен в чистой, свежей оранжерее. И шест-

надцати лет пересажен в унавоженный огород тучного бабкиного двора. Со всем ханжеством его, с одурелой, потемкинской роскошью, с чудовищным лихоимством и небывалой распущенностью нравов под сенью наружной благопристойности. Каждый рвал свой кусок, не брезгуя и не стесняясь в средствах. Душа Александра оцепенела от грязи и мерзкого раболепства. Робкая мечтательность, развитая тепличным воспитанием, заставляла его душевно противиться злу, и он даже подумывал об отречении от престола. Наследник Екатерины Второй, нежно любимый ею, он втайне мечтал о какой-то тихой частной жизни, со своей кроткой супругой, где-нибудь в Европе, на Рейне, в хорошеньком домике с виноградником. Жизнь в России тяготила Александра своим варварством.

«Придворная жизнь не для меня создана, — писал Александр Павлович другу Виктору Кочубею. — Я всякий раз страдаю, когда должен являться на сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах и медного гроша! Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями. . . В наших делах господствует невероятный беспорядок, грабят со всех сторон, все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду. . . При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством? А тем более — исправлять укоренившиеся в нем злоупотребления? Это выше сил не только человека одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже и гения! А я постоянно держался правила, что лучше совсем не братья за дело, чем исполнять его дурно. . . Знаю, что вы осудите меня, но не могу поступить иначе, потому что покой совести ставлю первым для себя законом, а могла ли бы она оставаться спокойною, если бы я взялся за дело не по моим силам?»

Неисправимый скептик Михаил Никитич Муравьев при вцарении Александра в своем дневнике заметил: «Император ослабил кандалы писателей, но не снял уз!»

С упорством, какому и Пнин позавидовал бы, Муравьев настаивал на естественном, как считал он, праве писателя мыслить независимо от властей. «Дарование, — писал он, — во все времена ненавидело принуждение.

Самая тень унижения для него несносна. Подчинить его власти — все равно что истребить его».

Мог ли обмануть Муравьева ленивый Александров либерализм?

Радищев, обласканный молодым государем, обнадеженный им, обманулся.

Юридические проекты Радищева привели в тупое недоумение председателя авторитетной Комиссии графа Петра Васильевича Завадовского, одного из вельможных тузов *бабушкина* века, чей молниеносный взлет был делом известного «случая». Граф грубовато преподавал Радищеву новый урок.

— Батенька мой! — сказал граф участливо. — Давно ли Сибирь по тебе скучает? Да уж сам ты не заскучал ли по ней? Что ты вздору понаписал. . .

Тень унижения застила свет старику. Радищев в тот же день отравился, не помог и присланный срочно императором Александром придворный лекарь.

9

В натуре Александра Бестужева с детства обнаружилось любопытное свойство: он все, как нарочно, преувеличивал. Во всем находил смешное. Придя домой из рисовального класса, Саша начинал демонстрировать сестрам, что видел там: изображал учителя, учеников и натурщиков, хотя бы то были старик или женщина, — в позу вставал и показывал точно, смешно, не кривляясь. Из него впечатления били, как пена из шампанской бутылки.

Лешенька, острая на язык, про Сашу стишок подобрала:

Он, к модным знаниям стремя дары природы,
Был мастер рисовать одни карикатуры.

Притом Александр был прилежен, большой охотник до книг, и ему доверялись ключи от шкафов у отца в кабинете. Все дети в кабинет беспрепятственно допускались, но могли только через стекло смотреть на коллекции и модели. Александру же дозволялось вынимать книги из шкафа и глядеть в них картинки, читать — с разрешения отца. Гордясь привилегией, Саша с книгами не расставался. Отец ему делал каникулы, отбирая ключи, но Александр умел промышлять книги и контрабандой. Читал запоем сказки и приключенческие романы. «Виде-

ние в Пиренейском замке», романы про итальянских разбойников, «Тысячу и одну ночь».

Играл в саду с братьями в итальянских разбойников.

Любимое место Александра было в кабинете отца, в больших его креслах, где возлежал он с книгой: За спиной Александра часами простаивал терпеливый Мишель, следил за Сашным чтением, глядел в книгах картинки. Брат иногда снисходил до объяснений: мол, это калмык, а вот самоед; погляди — моржи! Эти звери — бобры. Правда, смешные?.. И вдруг захлопывал книгу. Не слушая просьб, прогонял Мишеля из кабинета.

Привычку лежа читать Александр Бестужев сохранял всю жизнь. Лежа и сочинял. Поутру, чуть проснувшись. Или вечером перед сном. Если вечером с книгой или тетрадкой было негде прилечь, он устраивался на диване в гостиной. Уютно скрючивался возле сестер, занятых рукоделнем; или писал, приткнувшись к их рабочему столику, на котором лежали грудой разноцветные нитки, рисунки и выкройки. С обкусанным гусиным пером в руке он про все забывал. Сестры и подруги их музицировали в гостиной, разучивали новый романс, танцевали, — Саша глух был, когда сочинял. Шутя его незаметно теснили к самому краю стола, и он машинально отодвигался, а когда больше некуда было двигаться, как сомнамбула, перекочевывал в другой угол дивана, не замечая, что сестры смеются над его рассеянностью.

Александр им с важностью говорил: «Лететь мысленно я могу лишь с пером в руке!» Сестры смеялись, что с этим обгрызком далеко не залетишь! Когда Саша сочинял, он перо грыз задумчиво, пока в пальцах не оставался короткий пенек, так что еле ухватишь... Писал на клочках бумаги; случалось — и на сестрицыных выкройках, на обороте рисунка для вышивания. Сестры сердились и отбирали свои рисунки. До ссоры не доходило. Брат был очень покладист и добродушен. Быстро вспыхивал, но и смирялся легко. «Я такой вспыльчивый, что боже упаси! — говорил он. — А как ухажусь, то в иголку вденешь».

Часто просили его придумать слова для песенки на знакомый мотив или смешные стихи на случай, шараду в стихах или эпиграмму. Задумавшись, Александр принимал вдохновенную позу и декламировал с комичною важностью:

Как Нина хорошо скрывает
Под живописью древность лет!
Три вещи вдруг в одной себе соединяет:
Она — оригинал, художник и портрет!

Николая пристроили — он учился в Морском кадетском корпусе, возле дома. Александра определили учиться тоже недалеко — в Горный. Директор Горного кадетского корпуса был приятель отца. Саша казался пытливым, любознателен — рожден для науки. Учился он весело. В Горном корпусе все ему нравилось. Театр особенно. Там играли настоящие пьесы. Бестужев себе выбирал наилучшие роли, хотя, между прочим, с ним вместе учился Василий Каратыгин — знаменитый впоследствии русский трагик.

Александр Бестужев, имея веселый и добродушный характер, всюду легко заводил друзей; казалось, жил беспечно, легко; был душа нараспашку. И надо сказать, всю жизнь дорожил этой видимостью. Существа своей внутренней жизни он не любил раскрывать. Но все же мучился иногда мыслью, что в сущности он не тот, за кого его принимают. Настоящий Бестужев был глубже, серьезней, даже просто умней. И не всегда был весел.

Он в корпусе вел дневник, в котором описывал все, что находил примечательным: острым пером набрасывал силуэты учителей и товарищей, корпусных офицеров, служителей; тон веселый сменялся серьезным, а то и сентиментальным; между строк возникали смешные рисунки. Перелистав дневник брата, Мишель, приходя к нему, без труда узнавал в лицо многих обитателей Горного корпуса.

Александр сам показал брату дневник. Обратил внимание Мишеля на эпитафию, тщательно выписанную на заглавном листе: «Рука дерзкого откроет, другу я сам покажу».

— Понял? — спросил он брата серьезно.

— Что я, читать не умею? — удивился Мишель.

— Чудак! Разве я об этом? Я же тебе тетрадку показываю как другу. Братом просто быть. Друг — священная должность!

Азартный характер, привычка первенствовать во всем побуждали Александра Бестужева и учиться старательно. Он сгорчался, теряя в классах первенство. Кадет в каждом классе, то есть по каждой из дисциплин, выстра-

ивали в журнале в порядке успеваемости. Перестановки бывали часто. Экзаменаторами могли быть и сами соперники. Чтобы занять место выше, надо было противника, по кадетскому выражению, «загонять». К турниру тайно готовились. Саша, если ждал нападения, развивал лихорадочную активность: просиживал над книгами вечера, составлял таблицы, придумывал каверзные встречные вопросы, чтобы ими «подкрючить» соперника. Мишель ему помогал. Спрашивал, глядя в карту, самые мелкие речки и острова. Саша мигом отыскивал их.

И за все он хватался с таким же азартом. Первенство в классах переставало его волновать, когда брался за сочинительство. Тщетно Мишель приставал с упреками, что-де тебе уже трое сели на голову в географии, двое — в истории. Саша не обижался. Объяснял:

— Этому злу единственная причина мой «Очарованный лес». Пока я писал пьесу, забросил все, другие это подметили — вот я и свалился.

Пьеса для домашнего кукольного театра была задумана под впечатлением посещения оперы. И домашний спектакль прошел блестяще.

10

Морской кадетский корпус, в котором учился Николай Бестужев, считался в столице из лучших учебных заведений. Среди корпусных офицеров было много отцовых приятелей. Бестужева это поставило в сложное положение. Самолюбивый, он был не из тех, кто использует родительские знакомства.

Конечно, было бы любопытно знать, как Николаю — не очень физически сильному, чувствительному не в меру — в корпусе удалось поставить себя? Как он уберется от жесткости гардемарин, видевших удовольствие в том, чтобы делать себе рабов из младших кадет? Николаю было одиннадцать лет, когда его определили в корпус. Знал он больше других, был начитаннее, но как сумел доказать свое превосходство? Он, впрочем, был отменный рассказчик, — такое ценят... Но может быть, главную роль сыграла его дружба с Торсоном. Они с Константином Торсоном подружились в младших классах, и койки их в ротной спальне стояли рядом. Торсон был старше Бестужева годом или двумя, но в корпусе был «старик». В обучение отданный лет с семи, Торсон про-

шел всю жестокою школоу кадетской выучки. Характер имел железный.

Торсон был страстный в учении человек, имел склонность к изобретательству. Его, кроме того, отличала непревзойденная храбрость, хладнокровие... После выпуска его в офицеры долго еще ходили о нем легенды. Сдержанный, замкнутый по натуре, Торсон был безусловно, рыцарски справедлив. И от всех безусловно требовал справедливости.

Белоголовый, с холодным и чистым взглядом очень светлых глаз, Торсон, как можно судить по его фамилии, происходил из обрусевших шведов, каких на Васильевском острове много осело с петровских еще времен. Матушку Торсона звали Шарлоттою Карловной. Вся семья была лютеранская. И дворянство Торсонов, видимо, было недавнее. «Душ» они не имели. Кроме собственной, как шутили кадеты. Единственная сестра Торсона Катерина Петровна, высокая и красивая девушка, была, как и сестры Бестужева, бесприданница, замуж не вышла. Обе семьи подружились, и дружба оказалась в буквальном смысле до гроба.

Николай Бестужев не стал у начальства любимцем. Напротив, показал себя самым отчаянным шалуном, в учении тоже не преуспел. Уважая его отца, на него не спешили жаловаться, и, когда вести об этом достигли дома, для Александра Федосеевича все было как гром среди ясного неба...

«Вместо упреков и наказаний, — вспоминал Николай Бестужев об отце, — он мне просто сказал:

— Ты недостойн моей дружбы, я от тебя отступаю, живи сам собой, как знаешь!

Эти простые слова, сказанные без гнева, спокойно, но твердо, так на меня подействовали, что я совсем переродился, стал во всех классах первым, вышел по экзамену первым и, дело небывалое, не в пример другим был назначен корпусным офицером, с правом преподавать уроки по трем предметам».

Надо сказать и то, что, хотя Морской корпус считался из лучших учебных заведений столицы, обучение в нем велось довольно-таки беспорядочно, бессистемно, особенно в младших классах. Михаил Бестужев, учившийся там позднее, вспоминал с досадой хаос и бессмысленное времяпрепровождение в классах. Как их учили? Какие учителя? Да набранные с бору по сосенке! Михаилу Бестужеву они вспоминались людьми самовластными, грубыми, иногда и просто невежественными. Учебников не было. Каждый учил, сообразуясь лишь с тем, как его самого учили. Уроки вели по старым запискам, их под диктовку переписывали безграмотные кадеты, перевирая все до бессмыслицы. Записанное зубрили. Способнейшие из кадет, раздражась бестолковостью обучения, изощряли способности в озорстве. Шалости пресекались розгой, но порки никто не стыдился. Хвастались полученными рубцами, как военными ранами.

Были, конечно, и другие учителя.

Когда озадаченный нешуточной отцовской угрозой лишиться его своей дружбы Николай Бестужев, что называется, взялся за ум, то, оглядевшись, он увидел себя в классе знаменитого в корпусе Кузнецова, учителя математики. Этот из самых отчаянных шалунов умел увлечь своей только с виду сухой и скучной наукой. Николая Бестужева Кузнецов сделал первым учеником.

Еще более замечательный педагог был старинный отцов приятель Платон Яковлевич Гамалея, инспектор классов. О нем Бестужев помнил всю жизнь, как о своем главном наставнике.

Платон Яковлевич Гамалея был тихий, робкий, сгорбленный, с большими глазами, для чего он всегда носил ужасные зеленые очки, как слепец. . . Гамалею было тогда немного за сорок, но молодежи он виделся как совершенный уже старик. Чахоточный, полуслепой, малорослый. Он еще ко всему и картавил, и пришепetyвал как-то по-детски. Его ангельская кротость и терпение поражали, умеряя и самое дерзкое озорство.

В должности инспектора классов Гамалея вынужден бывал время от времени вызывать к себе шалунов и лентяев для назидания. С малолетства зная его, Бестужев не мог и представить себе Платона Яковлевича строгим или сердитым.

Но какое чувство неловкости, вероятно, испытывал двенадцатилетний Бестужев, стройный, тонкий, русоволосый, с подвижным и чутким лицом, когда слушал, как Гамалея, картавя, жалобно ему выговаривал:

— Экой ты, бватец, какой сегодня печайной! — Он говорил это задумчиво, озабоченно, и столько родительской горечи в этом сквозило, что вынести сил нет.

Гамалея был мученик от науки: добровольно возложил на свои сгорбленные плечи тяжелый крест и нес его одиноко, безропотно. Он поставил себе задачу едва разрешимую: написать учебники по всем важнейшим из корпусных дисциплин. Начал с астрономии, навигации, с высшей математики, — все это излагал, применяясь к детскому разуму. Не ждал он ни помощи, ни благодарности. Делал все из любви к шалунам.

Гамалея внушал им: «Любите науку, братцы, любите науку ради нее самой. Не для того только, чтобы, экзамены сдав, прицепить эполеты. Невежда офицер похож на скота... Ну, того, вы же знаете, под золотым чепраком... с такими большими ушами... Даже самый богатый чепрак этих длинных ушей не скроет!»

Чтобы усовершенствовать слог в своих учебниках, сделать его понятным, Гамалея после уроков звал к себе способнейших из учеников, задавал им вопросы, выслушивал внимательно, самые удачные ответы записывал. По слепоте своей Гамалея не различал уже фигур, начертанных на доске, даже в очках, и не мог прочитать математических формул. Учеников он заставлял объяснять все словами.

В тесной комнатке на столе чадила сальная свечка. Сидя в кресле, отгородившись от света ширмой, чтобы спасти глаза, учитель предлагал им задачи. Мальчишки робели, смущенные непривычной, почти нищенской обстановкой. Если спрошенный путался, Гамалея не суетился, не поправлял. Говорил очень тихо:

— Видно, бватец, худо я объяснив, что ты меня не поняв... Ты ему объясни еще ваз, Бестужев...

Счастливец, к которому обращался учитель, делался красноречив, — часто слышался скрип пера, едва ли что не на ощупь записывающего слова его.

Это были как ступившие на Олимп.

Гамалея учил их не математике, не астрономии, — учил мыслить и жить. «Не говори, братец, — повторял он им, — не говори, прошу тебя, *так как*, если не знаешь еще, как именно. Не говори *следовательно*, когда из твоих

слов, прежде сказанных, еще ничего не следует. . . » Он их учил ясности, логичности мышления. На примере таких строгих наук, каковы навигация, астрономия, высшая математика, где точность мысли служит отчетливости поступка и где логическая пунктуальность неотделима от пунктуальности поведения. Неотделима от его безупречной четкости, а стало быть — и честности. Ибо всякое отступление от истины поведет неизбежно к искажению курса, к потере искомой цели. . .

На последнем экзамене в корпусе присутствовал морской министр маркиз де Траверсе, человек сухопутный, которого гардемарины прославили, обзвав в его честь «Маркизовой лужей» часть Финского залива — между столицей, Кронштадтом и Петергофом, где волей осторожного маркиза им ежегодно приходилось заниматься практикой мореходной. Всех поразили князь Шаховской и Николай Бестужев: они, отвечая, мела не брали в руки, объясняли все на словах. И маркиз де Траверсе обоих назначил для отправки в Париж, в высшее политехническое училище, совершенствоваться в науках. Опасные действия Наполеона, усложнив отношения между Россией и Францией, помешали заманчивой командировке.

12

Произведенный в мичманы восемнадцати лет, в декабре 1809 года, Николай Бестужев был оставлен преподавателем в корпусе, как и отец в свое время. Преподавал Николай Александрович морскую эволюцию, теорию мореходного искусства и мореходную практику. Сам взялся заниматься с кадетами физикой. Для занятий понадобился физический кабинет, за чем дело чуть было не стало. Директор Морского кадетского корпуса адмирал Петр Кондратьевич Карцев держался во всем строжайшей экономии — в довольствии кадет, как и в их обучении. Против физики адмирал ничего не имел, но боялся расходов. Бестужев его уверял, что устроит кабинет из собственных средств. Карцев не верил: откуда у Бестужевых средства?

У Николая Бестужева руки были чистое золото. С помощью молодого инспектора классов Горковенко он взялся построить простейшую электрическую машину и кое-какие другие занятные штуки. Они пригласили Карцева и устроили ему представление: распотешили, поразили невинный старческий разум. На радости адмирал

приказал отпускать им немного денег ежегодно для этих научных кунштюков.

Николай Александрович Бестужев с виду был ясный как стеклышко человек, а в сущности до конца своей жизни для всех загадка.

Более замкнутый, чем откровенный, он со всеми держался открыто, с неизменной корректностью. И не выносил, чтобы его личные переживания делались достоянием общим. Младшим братьям это даже казалось обидно. При всем том он был общительный, или как говорили тогда — *сообщительный* человек; в отношениях с дамами ловок, весел почти всегда, любезен и остроумен. В салонной пустой болтовне умел сохранять значительность. Был отличный танцор, писал стихи и прозу, рисовал замечательно, играл на домашней сцене, предпочитая роли комические, как друзьям его помнилось, был непревзойденная Еремеевна в «Недоросле», умел сам поставить спектакль и, как вспоминал кто-то из знавших его в молодости, даже мог управлять оркестром. По службе не было человека уживчивей и надежней, чем Николай Бестужев. При всякой его аттестации начальники не упускали заметить, что и в дальнейшем его в своей команде иметь желают.

Он выглядел преуспевшим, идущим уверенно к избранной цели.

Между тем и по службе и в личных делах ему чаще всего не везло. . .

Николай Бестужев дорожил свободой, независимостью. Став офицером, он поселился отдельно от семьи, в казенной квартире при корпусе, разделив ее с двумя своими приятелями: один был Николай Милюков, а другой Нахимов, старший брат знаменитого адмирала (знаменитый Нахимов учился вместе с Михаилом Бестужевым, с ним и дружил).

Считалось, во всяком случае, что Николай Бестужев живет на казенной квартире. Его сожители так не думали. Однажды, когда Николай Бестужев пришел домой и застал приятелей за обедом, Нахимов мрачно посмотрел на него, а Милюков опустил взгляд в тарелку. Удивленный Бестужев спросил:

— Что это с вами, братцы?

— Вот что, Николушка, — грустно сказал Нахимов, —

мы решили тебя просить, чтобы ты от нас куда-нибудь съехал.

— За что же такая немилость? — оторопел Николай.

— Уж так... — Николай Милюков еще ниже склонился к тарелке.

— Тогда, может быть, ты хоть изредка нас наве­стишь... В гости зайдешь, — объяснил Нахимов, и оба расхохотались.

В это время Бестужев подумывал о женитьбе на не­коей Августе Шт. По имени судя, она была из какой-то немецкой василеостровской семьи. Судьба рассудила иначе: внезапно Августа умерла. Бестужев был потрясен этой смертью, но вскоре другое и величайшее горе его заставило позабыть о несчастной.

Отец говорил им не раз: «Я богатства не оставляю вам, но ведь доброе имя, образование тоже чего-нибудь стоят!»

Умер отец неожиданно 20 марта 1810 года. Сорока восьми лет. Никогда ничем не хворал, дел не делал вполсилы... К ним прибежали за полночь с бронзовой фабрики: лопнула печь, в которой плавилась медь для отливки большой скульптуры. Отец вскочил с постели, побежал на литейный двор. То ли он простудился, то ли не в меру поволновался...

Чуть больше года прошло после смерти Александра Федосеевича — начальство напомнило, что пора бы осво­бодить казенный флигель. Прасковья Михайловна про­стодушно пыталась напоминания не заметить. Прошло еще несколько месяцев. А потом курьер, недавно еще подобострастный, без всякой вежливости всучил ей ака­демическую бумагу с приказом, чтобы «статская совет­ница Бестужева из занимаемого ею дома, принадле­жащего Академии художеств, выехала и весь оный очи­стила». И на строгость посетовать некому было: граф Строганов тоже скончался осенью 1811 года.

Тревожным летом 1812 года Бестужевы переехали в снятую Николаем квартиру на Седьмой линии Василь­евского острова, в доме купца Гурьева, недалеко от Ан­дреевского собора. По соседству жила семья Торсона. Сестры Бестужевы между собою судачили, что хорошо бы Николаю на Катеньке Торсоновой жениться...

Дом взяла на себя Елена Александровна, — подруги

шутя называли ее «герцогиня». Она же и пенсию хлопотала.

А Николай только год был свободным и независимым человеком. Ему на плечи свалилась большая неустроенная семья. Александру шел тринадцатый год, Михаилу — десять, Петруше семь лет, Павлу два года. Отец обещал им всем дать хорошее образование. Сестры — бесприданницы и дурнушки, крест родительский. В девятнадцать лет Николай Александрович стал им чем-то вроде второго отца.

Новую роль Николай Бестужев принял с присущей его характеру твердостью. Спрятал поглубже снисходительность, доброту. Взял вид *безупречного брата-критика*. Не желая баловать, если и гладил, случалось, брата по голове, то с деловитою строгостью приговаривал:

— Учись, Саша. . . Смотри вверх, Саша.

«Вы помирились бы с человечеством, если бы познакомились с моим братом Николаем, — писал много лет спустя Александр Бестужев приятелю. — Такие души искупают тысячи наветов на человека. . .»

Петр Бестужев, навсегда уже разлученный со старшим братом, писал ему: «Брат Николай! ты заменил мне отца, рано похищенного неумолимою смертью; ты развил мои способности, образовал ум и вкус, был образцом на терновом пути правды и добродетели, и ежели иногда, строгий к моим шалостям, казался холодным, то сие предубеждение, вместе с опытностью и познанием света, исчезло ныне, и твое имя, твой образ, чистый и возвышенный, глубоко врезаны в сердце, безусловно тебе преданное».

13

Четыре с половиною года царствовал Павел Первый. За это время сотни людей оказались в опале: придворные, полководцы, министры. . . Полк на параде нехорошо прошел — приказано было маршем прямо в Сибирь. Из-под Луги вернули. . .

Фельдмаршала Репнина та же участь постигла. Опальный, он жил в деревне. Тешил душу любовью к

младшему внуку — озорному хорошенькому Сереже, которого держал при себе, по-стариковски баловал. Задумывался: он скоро умрет, и с ним прекратится старинный род князей Репниных. Внуки были — от старшей дочери Александры Николаевны — князья Волконские.

Муж Александры Николаевны, князь Григорий Семенович, сын генерал-аншефа Волконского, в свое время служивший под началом у Репнина, слыл офицером храбрейшим, Суворов о нем говаривал: «Этот неутомимый Волконский!» В сражении с турками под Мачином князь ранен был в голову и от этого, полагали, имел расстройство. Подражая Суворову, князь Волконский делал разные странности, чуть ли что не кричал петухом. Его назначили военным губернатором в беспокойный край — в Оренбурге, но и там он не бросил чудачить: одевался не по моде и не по уставу, мог в тяжелой карете шестериком поехать на городской базар закупать провизию и сам бешено торговался, а на обратном пути остановит карету среди пыльной улицы и раздает еду нищим; мог даже стать в пыли на колени — молиться богу...

Княгиня Волконская с детьми жила в Петербурге, и только дочь Софья Григорьевна поддерживала постоянную переписку с отцом.

Александра Николаевна была статс-дама «с портретом». Миниатюрный портрет императрицы, щедро украшенный бриллиантами, был род дамского ордена, в торжественных случаях украшал парадное платье.

Старший сын Волконских, Николай Григорьевич, при Павле уже флигель-адъютант, пользовался благоволением государя. Никита Григорьевич с детства числился адъютантом у деда, князя Репнина, и пятнадцати лет оказался с ним вместе в опале; при императоре Александре Никита Волконский стал флигель-адъютант. Александр милостиво позвал фельдмаршала Репнина обратно в столицу, но старик накануне отъезда скоропостижно скончался. Перед смертью он успел получить высочайшее дозволение имя свое оставить одному из трех внуков. Братья бросили жребий — выпало старшему, и Николай Григорьевич стал князь Репнин.

После смерти деда тринадцатилетнего Сергея Волконского взяли наконец из деревни, чтобы устроить в учебное заведение.

СOLIDНЫМ и строгим слыл иезуитский пансион аббата Николая на Фонтанке. Модный, очень дорогой пансион, где воспитывались отпрыски благородных фамилий: кня-

зья Голицыны и Гагарины, Кочубей, Волконские... Тут же учились незнатные, зато близкие ко двору Бенкендорфы, сыновья бывшей фрейлины императрицы-матери Марии Федоровны, Александр и Константин. И племянники знаменитых любимцев Екатерины Орловых — сыновья графа Федора Григорьевича, незаконнорожденные, но которым императрицой милостью было даровано имя Орловых, без графского титула. Из четверых братьев старшие двое — Алексей и Михайла Орловы — были уже на виду. В особенности Михайла Орлов поражал всех: очень хорош был собою и первый — что в танцах, что в фехтовании, что в красноречии. Обучали аббаты *чему-нибудь и как-нибудь*, внимание уделялось французскому произношению, светским манерам, — с иезуитской дальнорукостью из природных русских аристократов воспитывали паркетных шаркунов и задир, поклонников иноземщины. Иные из них и по-русски говорили с трудом.

Сергей Волконский по-русски говорил хорошо, хотя и с французской картавостью, а по-французски — как истинный парижанин. Танцевал недурно и фехтовал слегка. С науками был «на вы». Князя ждал самый престижный Кавалергардский полк. Его сверстники — Лукин, Алексей и Михайла Орловы, принявшие боевое крещение в Аустерлицком сражении, — сделались уже офицеры. Сергею Волконскому, дедом его Репниным в полк записанному с младенчества, тоже чин корнета пспел, но дома его все еще считали ребенком. Мать возила его по балам и обедам, как невесту на выданье. Он был ее любимец. С ресницами, как у первой красавицы, опахалом, с глазами большущими, серыми, с русыми кудрями. Сам государь, случалось, милостиво касался концами холеных пальцев его свежей щеки, говоря с фамильярной ласковостью: «Мсье Серж!»

В полку его приняли дружески — юношу доброго и задорного. По родству и богатству он был высшего круга. Воспитанный, легкомысленный и веселый. Чтобы ехать куда-то с маман — теперь и в мыслях не возникало! Он и домой уже почти не заглядывал. Некогда! Утром учебе в манеже. Васенька Левашов — профессор конного строя, знаток верховой езды, а после учения — друг-приятель. Тут смотр эскадронный, а там, глядишь, полковой, и развод ежеутренний, караулы... Приятелей несть числа. Александр Иванович Чернышев — не из тех Чернышевых, которые графы, им даже и не родня. Он

ужас какой *мовежанр*. Франт, пройдоха. Нахал каких мало — и перед ним, похоже, все двери настезь. Кавалергарды не все друг другу равны. По-настоящему светских, которые истинные *комильфо*, по пальцам пересчитать. Ну, Васенька Левашов; ну, Черный Уваров, который вскоре на Лунной женится; ну, сам Лунин, конечно, Михайла Орлов... Зато если случится в полку заварушка — тут все как один! Что *бонтон*, а что *моветон* — все ужасные патриоты.

После манежной езды офицеры шумной ватагой атакуют лучший трактир. Фонтаны шампанского. Тосты. Речи. Неслыханное вранье. После обеда — ватагой гулять по *царскому кругу*. Ежедневно после обеда царь делал для моциона прогулку пешком, в первом часу полудни: от Зимнего до Фонтанки по набережной, по Фонтанке до Невского и обратно по Невскому до дворца, — все маршрут его знали. Ходили гулять в обратную сторону. Государь при встрече знакомым кланялся, незнакомым тоже — когда с ним здоровались, дамам в особенности любезно, хотя нарочитых встреч не любил. Случалось, так ласково вдруг улыбнется... Ну, вечером, ясное дело, театр, и опять же ватагой. Послушав оперу и водевиль, еще можно успеть кой-куда со всеми... Или просто собраться у кого-нибудь в комнате: снова вино, снова вранье и споры... о том, о сем... «Бивачная хроника». Правдивый от природы Волконский долго не мог привыкнуть. Простодушно верил всему. Тут и деловитое заключение о сошедшем счастливо смотре, и приговор о лучшей красавице, и хвастовство — о любовных победах. Хотя все прилично, без пошлостей и без драк. Кое-что все же странным казалось: шулерство, например. Два-три офицера, гвардейцы, были известны заведомо как шулера. Его-то предупредили, а кто не знает? С ними ведь все хороши... Волконского это открытие так поразило, что он долго остерегался игры. Или еще: получалось, что офицеру нет никакого бесчестия быть у дамы на содержаньи. Этим даже хвастали.

Спорили о любовниках императрицы Екатерины, и кое-кто им завидовал.

Тянулась ночь: уже пить надоело, и разойтись нет сил.

Между тем строевой Петербург просыпался в седьмом часу...

Михайла Сергеевич Лунин был старше Волконского года на полтора; ему двадцати не исполнилось, но позади он имел уже Аустерлиц. Вместо денег — одни надежды на будущее наследство. После смерти скупого отца — две тысячи душ. У Волконского то же, но маман понимала: когда же и пошальить, как не в эти годы, — исправно платила долги.

Почему дерзкий Лунин позволил бесхитростному князю Волконскому ходить в приятелях? Разделял с ним рискованные проказы. . .

Волконский в него был влюблен и бесстрашно следовал всюду.

Но что их соединяло?

Может быть, ясноглазый Волконский чем-то напомнил Лунину младшего брата Никиту, пятнадцатилетнего, раненного смертельно под Аустерлицем и умершего в чужом католическом монастыре?

Всю жизнь в лунинской желчной душе кровоточила незримая рана. Мучила жаждой смертельного риска. Лунин славился как отчаянный дуэлист, заводила диких офицерских забав. Вне смертельной опасности душа его тосковала. Шутя он вызывал на дуэль, злил противника и подставлял грудь под выстрел. Несколько раз был ранен. Стрелял же презрительно — в сторону. Чуть не вызвал однажды великого князя Константина, который бесцеремонно грубил на учениях офицерам. Константин был известный трус. . .

Во время учений в Стрельне конногвардейские офицеры обедали почему-то с кавалергардами вместе. Лунин стал за столом задирать Алексея Орлова, степенного смолоду. Этот шалостей не любил, старался перед начальством выглядеть в лучшем виде. Нечаянно проговорился, что никогда еще на дуэли не дрался, — и Лунин ему предложил, не откладывая, испробовать острее блюдо. После обеда — стреляться в шести шагах.

Алексей Орлов на войне показал себя храбрецом. Стрелял он отлично — выстрелом из пистолета свечу тушил на пари, в десяти шагах. Сказать Лунину «нет» Алексей Орлов не посмел — засмеют!

Они стрелялись. Орлов, имея право первого выстрела, намеренно промахнулся. Уговор был стрелять три раза. Лунин стал издеваться над промахом — советовал Алексею Орлову крепче держать пистолет, подсказывал, куда

лучше прицеливаться, и Алексей, раззадоренный, выстрелом срезал на лунинской шляпе султан. Лунин выстрелил в сторону и предложил Алексею Орлову еще постараться чуть-чуть... И тот не на шутку взбесился.

Секундантом Алексея Орлова был его брат Михайла, человек в обращении мягкий и добродушный, равно со всеми приветливый. Но почему-то, не знаю, и старший брат всегда уступал ему первенство, и неуступчивый Лунин с Михайлой Орловым не задирался. Он брата в сторону отозвал и сказал ему сдержанно:

— Ты не боишься обременить совесть убийством? Михайла Сергеевич не расположен, как видишь, сегодня стрелять. Он то же что безоружный, а в безоружного и прицеливаться бесчестно. Хватит уже — пошутили...

Алексей Орлов со злости в небо пальнул, то же сделал и Лунин.

Лунин — племянник Михайлы Никитича Муравьева, сын его единственной горячо любимой сестры; не только по крови — по духу ему родня. Спустя десять лет Лунин близко сойдется с застенчивым, тихим, серьезным Микитой Михайловичем Муравьевым; дружбу с ним, как и дружбу с Волконским, он сохранит до конца своих дней.

15

В 1806 году возобновилась война с французами. Наполеон успел разметать по ветру славу прусского воинства. Непреступные немецкие крепости сдавались его генералам без боя, замороженные дерзостью неутомимого корсиканца. Пруссия пала, и русская армия была направлена за границу спасать престиж родственной берлинской династии. В светском кругу передавалось из уст в уста, интимным шепотом, что-де война эта — выражение рыцарских, совершенно платонических чувств императора Александра к очаровательной прусской королеве Луизе.

В пылу своих семнадцати лет Волконский был счастлив принять участие в этой забаве. Если война ради прекрасных глаз королевы Луизы — да здравствует королева!

Родные пристроили его в адъютанты к фельдмаршалу графу Михаилу Федотовичу Каменскому, главнокомандующему русской армией за границей. Среди гвардейцев фельдмаршал слыл «бешеным стариком». Волконскому он показался развалиной. Малого роста, с пухлым розовым личиком, вздорный, придирчивый старичок. Войско было в сокрушительном беспорядке. Воровство провиантских чиновников — ни в какие ворота, продовольствие не доставлено, госпитали запружены больными, солдаты оборваны, босы, осенние дороги непроходимы. При каждом обнаруженном беспорядке граф Каменский, объезжавший войска верхом, окруженный толпою адъютантов и офицеров штаба, так багровел, что его становилось жалко: не хватил бы удар. Силы фельдмаршала на глазах убывали. Он сник наконец и, махнув рукой, слез с седла, пересел в коляску и, приказав войскам отправляться обратно в Россию, уехал неизвестно куда.

Уже выстрелы слышались. Стало ясно — сражение неизбежно, и генерал Беннигсен взял на себя командование армией.

О своем первом сражении под Пултуском Волконский и через пятьдесят восемь лет вспоминал с горечью.

Уныло скрипели мимо проезжавшие по разбитой дороге зарядные ящики, провиантские фуры, мимо застрявших в грязи орудий брели насупленные солдаты, испачканные грязью офицеры на все отвечали руганью, лошадь устала и начала спотыкаться, и сам он едва не плакал, когда в подступающих сумерках вдруг наехал на незнакомого генерала. Хотел отвернуть, но генерал уже заметил его и окликнул строго:

— погоди! Ты кто такой?

Волконский приблизился.

— Кто ты? — снова спросил генерал.

— Князь Волконский.

— Какой ты Волконский? Ну, кто твой отец?

— Григорий Семенович...

— Сам ты при ком здесь?

— При фельдмаршале был, а теперь...

— Сирота... Оставайся при мне, если хочешь. Я службу при твоём отце начинал. Ты теперь при мне начнешь.

Это был граф Остерман-Толстой.

Утром Волконский, освоившись, бодро скакал и туда и сюда с приказаниями, слышал свист ядер и визг кар-

течи и удивлялся, что ему вовсе не страшно. Он скоро привык ко всему, и не только в бою не испытывал страха, но и под взглядом взыскательного начальства. Не знал и знакомой многим тоски накануне сражения. Легко сносил все военные тяготы. Оказался на деле храбрый, исполнительный, выносливый офицер.

... В сраженье под Прейсиш-Эйлау, где опять никому не досталось безусловной победы, было много потерь и с одной и с другой стороны. Под Прейсиш-Эйлау Волконский впервые был ранен. В горячке боя сам не понял когда. Только стало в боку припекать.

— Я, кажется, ранен, граф! — крикнул он еще бодрым голосом и поскакал туда, где виднелись в низинке перевязочные палатки.

Как его с лошади сняли — вспомнить уже не мог.

Перевязав, его вместе с другими ранеными положили на длинную немецкую телегу и повезли в город.

Война между тем продолжалась. Крозаво, бессмысленно. Пруссию было все равно не спасти. Королеву Луизу ждала унижительная покорность надменному корсиканцу. В русских церквах волей поспешно-угодливого Синода его честили *предтечей Антихриста и врагом христианской веры*. Попы еще твердили с амвонов анафему Бонапарту, когда надвинулась новая катастрофа, затмившая Аустерлиц. Русская армия, поразив еще раз Европу солдатской самоотверженностью и генеральской недалезоркостью, была разбита под Фридландом. Накануне сражения великий князь Константин, не стеснявшийся признаваться, что сам он трус, цинично кривляясь, советовал брату просить у французов мира любой ценой.

— А ежели вам, государь мой, идти к Бонапарту с поклоном гордость не дозволяет, велите дать всем солдатам по пистолету — пусть сами застрелятся. Меньше хлопот, а все то же будет. Не стоит трудиться, чтобы открыть Бонапарту дорогу в Россию!

Александр уповал на бога и лично готов был возглавить русскую армию. Успел выехать навстречу войскам. Свита двинулась следом — в направлении предполагаемого сражения. Весть о катастрофе их застигла в пути — ворвалась в толпу царедворцев, как лисица в сонный курятник.

Вопреки ужасным опасениям Наполеон принял предложение Александра заключить мир. Поход на Россию еще не был достаточно подготовлен.

Встретившись с Александром в Тильзите, Наполеон раскрыл ему «братские» и «дружеские» объятия. Два императора обнялись на плоту посреди Немана, разделившего две недавно враждебные армии. Потом они еще много раз обнимались перед строем того, что осталось от русской и французской армий. Обнимались в присутствии безутешной прусской королевской четы. Ее интересами Александр поневоле был вынужден поступиться. А победитель мелко и преднамеренно унижал прусскую королевскую чету. Забывал пригласить их к обеду. Что было делать императору Александру? О его мистическом рыцарском чувстве к королеве Луизе больше не вспоминали.

В глазах царедворцев Александр Павлович был героем: как равный встречался с самим Бонапартом, которого сравнивали теперь с Александром Македонским и Юлием Цезарем.

В пышном спектакле, перед строем потрепанных армий, изящный тридцатилетний Александр, не успевший еще облысеть, в гвардейском мундире, с андреевской лентой через плечо и в громадной треугольной шляпе с высоким плюмажем, выглядел лучше Наполеона, одетого в серый сюртук и треуголку без перьев.

При виде своего императора молодых русских офицеров невольно охватывало горделивое возбуждение. Немногие догадывались, что тильзитский фарс для России, быть может, больший позор, чем и Фридрих с Аустерлицем. Но уже кое-кто поговаривал, что-де царь стыдится своих офицеров перед французами. Отчего-то французам было дозволено переправляться на русский берег, а нашим туда — по служебной необходимости только и с письменным разрешением. Самолюбивая молодежь оскорблялась при виде французов, которые непринужденно обсуждали порядки в российской армии и забавлялись, разглядывая бородатых казаков, вооруженных длинными пиками, и особенно — башкирцев с их луками, стрелами. . . Дикари!

Князю Волконскому и его другу князю Лопухину не удавалось никак разглядеть Наполеона вблизи. У них не было разрешения переправиться на другой берег Немана. Тогда они раздобыли одежонку у местных крестьян, вырядились торговцами съестным припасом, в лодке приплыли к французам и стали бродить вдоль строя гвардейцев, французских и наших, которые громко кричали

«ура» — в то время как два императора совершали совместно прогулку. Рискаю быть узванными кем-нибудь из свиты, Волконский и Лопухин увидели Наполеона с самого близкого расстояния.

Войска возвращались домой без почестей и без славы. Офицеры на биваках с привычной иронией обсуждали итоги кампании. А безусые адъютанты — Волконский с приятелем — с горя, что называется, выпили два полштофа сладкой гданьской водки и, ругая эту заморскую дрянью, пошли прогуляться по лагерю. В рано свалившихся сумерках там и тут на большом пространстве истоптанного солдатами поля дымили костры, у костров гренадеры варили кашу и парили вшей. Соревнуясь в меткости, адъютанты плевали в костер, досадуя, что огонь от их усилий не гаснет. Усатые ветераны долго терпели невинную барскую шалость, а потом отвели шалунов к офицерским палаткам и сдали их на руки собственным их денщикам.

Солдат впереди ожидала домашняя мучительная муштра, которой они боялись. Война их избаловала, и много на обратном пути в Россию было солдатских побегов, в том числе и из славных гвардейских полков. Уже на втором переходе солдатский бивак окружили на ночь казачьим конвоем, но и предосторожность не помогала. Только из гвардии за время обратного марша бежало не менее сотни солдат.

Скучая походом, Волконский из Поневежа выпросился на несколько дней в Москву, где после аустерлицкого ранения, побывав во французском плену и удостоенный комплимента за храбрость от самого Бонапарта, надолго обосновался Репнин. В семействе старшего брата юный герой прожил весело две недели. Барышни ахали, когда он рассказывал, оглушала хлебосольством родня московская, тешило внимание стариков. Князь Сергей Волконский уже награжден был двумя орденами. За сражение под Пултуском — Владимир четвертой степени с бантом. И за Прейсиш-Эйлау крест. . . Ну, а если он не брякал бокалом за хлебосольным столом, не плясал на балу, не описывал барышням, что примерно представляет собою ужасный сей Бонапарт, то милее не знял потехи, чем повозиться на ковре с малышами племянниками. Даже став генералом, Сергей Григорьевич Вол-

Волконский больше всего на свете любил забавляться с маленькими детьми.

Две недели, как день, пролетели. Полк дошел за это время до Пскова. Пора было возвращаться. И на единый денек он себе не позволил заскочить в Петербург, а уж как хотелось! От Новгорода свернул на уездный почтовый тракт и весь день проклинал свою пунктуальность. Проложенный во времена Елизаветы Петровны тракт с тех пор ни разу не подновлялся. Прогнившая березовая гать на болотах вставала дыбом, коляску бросало из стороны в сторону, фонтанами брызгала черная вода. Приходилось тащиться пешком, чтобы живую остаться.

Из Пскова, с полком, князь Волконский прибыл домой в Петербург. Перед последним переходом они восемь дней приводили себя в порядок. Солдаты чинили и чистили амуницию, начищали до блеска отдохнувших коней.

Красиво вошли в столицу кавалергарды.

И в первую же ночь, как вернулись, в новой казарме вблизи Таврического дворца повесился один из нижних чинов.

17

Прежде ему за обедом на стол ставили квас, а в праздники воду, подкрашенную вином. Теперь с утра, за фриштиком, князь потребовал водки у старого оторопевшего официанта. За обедом пил неразбавленное вино, залпом бокал, ужасая маман. Вставая из-за стола, картазо кричал:

— Васька, трубку!

И нрав изменился. Как-то во время полкового учения в манеже шефу полка Уварову показалось, что князь что-то не так своему взводу скомандовал. Уваров крикнул задорно:

— Давить Волконского!

На глупую шутку он оскорбился смертельно. Не дождавись конца учения, слез с коня и отправился на гауптвахту: доложил дежурному и отстегнул палаш. Дежурный, приятель Волконского, не взял палаша, а стал еще уговаривать, чтобы не делал истории; эскадронный пришел, другие офицеры — все просили Волконского взять свой палаш и успокоиться. Тут князь вспылл окончательно и сказал, что коль скоро мундир в нем

обижен, то он его больше не может носить и подает в отставку. Тут же в дежурке рапорт сочинил, а назавтра его получил обратно. И выговор: не по форме написано и не время. Нельзя проситься в отставку ранее сентября. Волконский тут же рапортовался больным. Дома лег на диван с французским романом — ждать сентября.

Накануне из Испании возвратился его приятель Александр Иванович Чернышев, ездивший с дипломатическим поручением. С ним вместе в Испании был и Никита Волконский, брат, но дома он загордился и ничего не рассказывал. Не утерпел — поскакал к Чернышеву. Входит — а там Уваров! Не спрячешься. Посидели втроем.

Вернувшись домой, Волконский, чтобы не иметь неприятностей, в тот же день рапортовался здоровым.

Назавтра явился в полк, и его назначили в караул. Снова приехал Уваров смотреть манежную езду. В манеже вдруг спросил Эскадронного:

— Что это у вас князь Волконский решил усы отпустить?

По форме кавалергардам усов не положено. Он, пока дома сидел... Ну какие уж там усы! Шел — думал, и не заметит никто.

Эскадронный сказал:

— Быть такого не может! Я князя видел сегодня. Он офицер примерный, форму соблюдает...

— Проверим, — засмеялся Уваров.

Приятель Волконского незаметно выскользнул из манежа и прибежал в караулку предупредить. Солдатской бритвой, всухую, он выскоблил темный пушок над губой. Когда Уваров и эскадронный явились, Уваров от неожиданности глаза вытаращил!

Хватало и потом неприятностей из-за усов. Несколько лет спустя Волконский возвращался курьером с турецкой войны. Вез трофеи и славные вести — ждал, что теперь непременно быть ему флигель-адъютантом. Под самым Царским Селом навстречу попались в открытой коляске двое младших великих князей. Николаю Павловичу тогда было лет пятнадцать, а «рыжему Мишке» — тринадцать. Службисты! На лету заметили нарушение формы: Волконский в усах... Он еще не доехал до Петербурга, а эти успели уже наклеузничать. Испортили начальству настроение. Волконский входит уверенный, что ему будут рады, а его встречают ледяным взглядом. Хорошо, успел домой заскочить — привести себя в порядок.

.. И первая же встреченная им по возвращении с войны хорошенькая кузина стала предметом сердечной бури. Какое милое у нее было личико! Не только Волконский успел это заметить. А где соперник, там, естественно, столкновение на балу и... дуэль. В памятный Волконскому день в Петербурге соединились три вызова — все три из-за женщин, — по странному стечению обстоятельств все три поединка обговаривались в доме графа Михаила Семеновича Воронцова (который после в Одессе служил и с Пушкиным не поладил). По воспитанию и природному хладнокровию граф был истинный англичанин. Его содействием два поединка предотвратились, но третья дуэль, для которой повод был самый существенный, состоялась, и защищавший свои права офицер был убит счастливым соперником. *Антагонист* же князя Волконского поклялся ему, что не станет искать руки спорной их *дульциней*. Это, впрочем, не помешало ему через год жениться на ней. Через год и Волконский уже увлечен был другою. Был даже проблеск ее ответного чувства. Маман испугалась, чтобы он сгоряча не женился бог весть на ком.

В их семействе жениться бог весть на ком не принято было. Два старших брата сделали блестящие партии. Не говоря уже о сестре Софье Григорьевне, которую выдали за очень скучного и совсем не богатого однофамильца, князя Петра Михайловича Волконского, — он слыл самым близким императору Александру человеком; воспитанный вместе с государем, он, если бы не его неллицеприятная сдержанность, мог бы называть себя личным другом царя. Репнин женился на графине Варваре Алексеевне Разумовской, взяв за нею семнадцать тысяч душ приданого. Никита Волконский вошел в историю в качестве мужа замечательной женщины — княгини Зинаиды Волконской, урожденной княжны Белосельской-Белозерской. К ней тоже благоволил государь.

Маман с откровенностью, какую не всякий мог бы себе позволить, объяснилась с родными девицы. Волконскому дали знать, что его хотели бы видеть в доме избранницы. Приглашение взволновало его, но, вопреки ожиданию, он услышал, что против воли маман девушку за него, понятно, не отдадут. Что за жизнь ей была бы в доме, где она явится нежеланной? По дороге домой он клялся, что сохранит навеки верность своей избраннице. (Вскоре девушка вышла замуж, и верность хранить уже не было смысла!) Приехал домой убитый. Гру-

стно поднимался по лестнице и встретил маман, раздетую, с приколотым к платью портретом. Она даже не обратила внимания на его кислую физиономию. Не удивилась, что он вернулся так рано! Небрежно подставила пухлую белую щеку для поцелуя, глядя мимо большими, выпуклыми, как у старой болонки, глазами.

Волконский вскоре увлекся хорошенькой Лопухиной, и маман опять принимала меры. Встречаясь на балах с Волконским, девушка не смела поднять на него глаза.

Княгиня поняла наконец, что пора брать серьезные меры. Поведение младшего сына угрожало престижу семьи. Она убедила Сергея поехать в гости к отцу, в Оренбург, вместе с братом (Репниным), и, пока они там гостили, устроила назначение в южную армию, где в это время как раз начиналась война с турками...

18

Убедившись в покорности Европы, Наполеон стал готовиться к неизбежной войне с Россией. «Еще три года, — похвалялся он в кругу придворных, — и я господин всего света».

«Предположите, что Москва взята, — рассуждал он, — Россия повержена, царь помирился или погиб в каком-нибудь дворцовом заговоре...»

Александр тоже понимал неизбежность войны. Не хотел ее и боялся. Союзники его предали. Австрия все более откровенно пресмыкалась перед Наполеоном. Пруссия, униженная, смирилась. Прусские и австрийские войска пополнили многоязыкое Наполеоново воинство. Польша встревожена обещаниями Наполеона дать ей независимость.

И возможность дворцового переворота приходилось иметь в виду. Александр знал, как это делается. Трусом он не был, но он был человек благоразумный. Больше всего беспокоил его Сперанский, новоявленный государственный гений, строивший смелые планы преобразования российского государства.

Сперанский был уже государственный секретарь, что представляло в российской чиновной иерархии высший чин. При дворе Сперанского ненавидели и боялись. В нем видели доверенное лицо государя, едва ли не задушевного сотрудника...

Дворянская верхушка не одобряла намеченных Сперанским преобразований, видела в них угрозу своим привилегиям. Как пишет об этом академик Е. В. Тарле, с помощью такого рычага, как царский абсолютизм, Михаил Михайлович Сперанский надеялся осуществить в России перемены, которые обратили бы «рыхлую полувосточную деспотию, вотчину семьи Гольштейн-Готторпов, присвоивших себе боярскую фамилию вымерших Романовых, в современное европейское государство, с правильно действующей бюрократией, с системой формальной законности, с организованным контролем над финансами и администрацией, образованным и деловым личным составом чиновничества, с превращением губернаторов из сатрапов в префектов, — словом, он желал насадить на русской почве те же порядки, которые, по его представлению, превратили Францию в первую страну в мире».

17 марта 1812 года в дежурной комнате дворца, называемой «секретарской», где скучали флигель-адъютанты и дожидались вызова чиновники, являвшиеся к государю с докладами, дежурный флигель-адъютант князь Сергей Волконский, томившийся в душевной комнате, к вечеру перемолвился несколькими словами с пришедшим для доклада государю Сперанским. Волконский знал его, как и всех крупных чиновников, бывавших с докладами во дворце. В тот вечер Сперанский недолго сидел в секретарской, и разговор был, естественно, самый пустой. Доклад длился долго, и вышел Сперанский от государя довольный.

— Ну, нынче хорош был день для меня, — сказал он Волконскому, не умея скрыть радость. — Государь меня долго и благосклонно выслушивал. . .

Большое, белое, недворянское лицо Сперанского, как всегда, очень бледно казалось, а голос был неприятно тонок. Князь вежливо улыбнулся его словам, участливо попрощался. Может быть, вспомнил приметку, известную в адъютантском кругу: когда император Александр с кем-либо ласков более обыкновенного, это верный признак, что завтра обласканную особу ожидает отставка.

В то время, когда царь внимательно и благосклонно слушал доклад Сперанского, в доме Михаила Михайловича поджидали министр полиции Балашов и чиновник, ведавший делами особой важности. Придя домой, Сперанский от них узнал, что он уже лишен государственной должности и обязан передать им теперь же все находящиеся у него казенные и частные бумаги.

Сперанскому дано было время на сборы, а к ночи за ним прибыл фельдъегерь на казенной тройке, чтобы везти его в ссылку...

Утром государь вызвал к себе чиновника тайной полиции, бывшего в доме Сперанского, чтобы узнать о подробностях. Выслушал, а потом вдруг признался чиновнику с неожиданной грустью:

— Вы себе представить не можете, какой вчера был тяжелый день для меня. Я же сам возвысил Сперанского, сам его приблизил, имел к нему неограниченную доверенность — и был вынужден выслать его. Поверите ли — я плакал... В государственных интересах было отправить его. Это доказывает и общая радость, с какою принят его отъезд. Люди — мерзавцы! Те, которые вчера утром еще ловили его улыбку, вечером поздравляли меня. Радовались чужому несчастью... — Взяв со стола какую-то книгу, Александр Павлович в гневе бросил ее обратно на стол, продолжая: — Подлецы! Вот кто окружает нас, несчастных государей...

Сотрудники тайной полиции, оставя службу, зачастую предаются писанию мемуаров. Но этот разговор стал известен еще задолго до того, как чиновник, посетивший царя, удалился от дел. Некогда он служил домашним секретарем у князя Николая Григорьевича Репнина, потом состоял по ведомству его зятя — князя Петра Михайловича Волконского, — в доме Волконских был, что называется, свой человек.

— Не удивляюсь, что у Сперанского ничего не нашли такого, что бы могло его компрометировать, — рассказывал он. — Об этом государь позаботился. Когда Михаил Михайлович с Балашовым вошли в кабинет, я был вынужден задержаться в гостиной, — у них было время уничтожить все, что могло бы показать о сношениях Сперанского с Наполеоном. Его преступные замыслы. По приказу государя все отобранные бумаги Сперанского, не разбирая, заперли в маленькой комнате, возле царских покоев, и ключ от комнаты государь взял себе...

Вторая тетрадь

1

В марте 1812 года еще мирно лежали снега вокруг Петербурга, когда гвардия двинулась маршем на запад. Через день уходили полк за полком. Укладка — походная. Не на Царицын луг шли, не на маневры под Красное Село. Знали, что война впереди. От Нарвской и Царско-сельской застав шли кратчайшим путем к границе. Император лично напутствовал каждый полк. Появление Александра на белом красивом коне вызывало дружное солдатское «ура», а в ответ слышали: «В добрый путь, молодцы!»

За стройно-свободно идущими батальонами по обеим сторонам улицы шла нескончаемая толпа горожан. Провожали матери, жены, дети... Многие лица в слезах. Руки взмывают, посылая близким последнее крестное благословение.

За гвардией готовился выехать в Вильну и сам государь. Уже были отправлены лошади на подставу, походные кухни, подменные экипажи, дорожный сервиз. Недружным табором тронулась уже свита.

Семеновский полк вышел одним из первых — 9 марта.

Шли навстречу стянувшему свои войска к российской границе Наполеону. Думали о предстоящей войне.

Перед войною полк пополнился офицерской образованной молодежью. Москвичи выделялись. Из университетских студентов. Они держались особняком, сблизившись в обстановке похода. Семнадцатилетний Иван Якушкин и его московские приятели — братья Петр и Михаил Чаадаевы, двоюродный их брат князь Иван Щербатов, внук историка, и Матвей Муравьев, сын писателя и дипломата.

Матвей Муравьев обучался в Париже в одной из лучших частных школ. Увезенный из России мальчиком лет шести, он с трудом говорил по-русски; при всяком споре — он спорщик был — переходил на привычный ему французский язык, но стыдился этого.

С ними держался и бывший постарше несколькими годами, не новичок в полку, князь Сергей Трубецкой, тоже слушавший лекции в Московском университете. Издали он мог показаться холодным и неприступным аристократом. Английскую выучку в нем иногда принимали за истинную натуру. Друзья его знали совсем дру-

гим: обаятельно искренним, добрым, душевным. Странная привлекательность была и в нелепой его некрасивости. Он был худ и чрезмерно высок, сутуловат, с длинным бледным лицом, рябоватым от перенесенной оспы; рыжеватый, но с грузинским профилем и громадными, черными, выразительными глазами. Дед Трубецкого по матери был из грузинского царского рода.

Понимая важность происходящего, Якушкин вел на походе дневник. Писал на двойных листах простой почтовой бумаги, выкраивая минуты во время привалов. Естественно, писал по-французски. По-русски он знал хорошо, но для большинства офицеров гвардии с детства французский язык был, пожалуй, естественнее родного. И удобнее: в повседневном походном быту французский язык отделял незримой завесой непосвященных. И невежественных армейских служак, и солдат, и собственных их денщиков. Но солдаты и денщики барских бесед и по-русски не понимали.

Дневник Якушкина сохранился в отрывках. Первый из уцелевших листов начинается с полуфразы: «...скупать в пути, — признается Якушкин, — что до меня, то я не смог бы, если бы даже и захотел! Мой товарищ Муравьев, книги и сон мне очень помешали бы в этом... Небо покрыто тучами. Однако погода сравнительно хороша».

Дальше запись от 18 марта 1812 года:

«Мы выступили сегодня немного позже обычного, то есть почти в семь часов. Наша рота должна была сделать только пятнадцать верст, да еще по отличной дороге, после чего в одиннадцать часов мы уже оказались на своих квартирах, которые были назначены нам в деревне Заполье. Большую часть дня мы провели, все четверо, вместе с полковником, князем и другими товарищами. Дождь и снег...»

Все четверо — это Якушкин, Муравьев и Чаадаевы; Иван Щербатов служил в другом батальоне; князь — Трубецкой, а полковник — командир их третьего батальона Писарев, тоже довольно еще молодой.

Запись от 19 марта:

«Сегодня, как и вчера, мы — Муравьев и я — несли знамена. Сделали переход в тридцать пять верст. Дорога была неплохая, и я доволен, потому что начинаю немного привыкать к усталости. Какое было бы счастье, если бы и все другие слабости могли бы так же легко

быть побеждены, как эта! Ведь только слабости и заставляют нас поддаваться всем бедам нашего ничтожного мира... Человек состоит наполовину из слабостей и наполовину из доблестей. Тот счастлив, в ком доблесть берет над слабостью верх... После обеда я отдохнул немного и лег спать только в три часа ночи. Утром и вечером погода была хороша, в полдень — маленький снег...»

Якушкин и Муравьев были ростом малы, как дети. Неказисты. Якушкин сутулился на ходу, придавленный тяжестью амуниции. Встречая сочувственный взгляд, он улыбался, стараясь показаться веселым. Большелобый, с черной шапкой жестких с виду волос и с детскими глазами, в которых просвечивала живая, доверчивая душа. Он к себе невольно располагал и внушал уважение. Ни в чем не хотел уступить своей слабости. Муравьев, хотя тоже был шуплый, держался прямо и голову поднимал высоко. В нем ощущалась порода.

20 марта стояли в деревне на отдыхе. Утром в десять часов Муравьев и Якушкин, добыв крестьянские санки, навестили Щербатова, стоявшего за три версты. Там их насмешил такой же, как они сами, подпрапорщик Павлик Шубин: стер ногу, и зуб у него разболелся, пришлось обратиться к лекарю, лекарь больной зуб выдрал — немного распухла щека, — бедняга ее всем показывал, чуть не плача! Разве так можно себя вести? «Этот ребенок, — запишет в своем дневнике Якушкин, — еще не имел достаточно силы духа, чтобы стерпеть и зубную боль, а уже приготовился быть храбрецом в сражениях. И может быть, ему суждено умереть в боях за отечество...»

Полдня провели у Щербатова и возвратились к себе. Перед вечером снова к Щербатову съездили, вместе с Нарышкиным, еще раз там весело пообедали. Когда назад ехали, был мороз до пятнадцати градусов, с ветром, — дорогой прозябли, умаялись. Якушкин и Муравьев увлеклись разговором и долго заснуть не могли, а наутро Якушкину было так плохо, что еле хватило сил, чтобы встать.

«Я вчера лег очень поздно, — записывал он в дневник, — а сегодня встал в четыре часа утра. И бессоница, и двойной обед, который я вчера устроил себе, — все это заставило меня испытать такое недомогание, какого я прежде не знал. Сегодня мы с Муравьевым опять несли знамена. В дороге я чувствовал себя так плохо,

что едва мог идти. Однако же я добрался, не знаю как, шагая пешком, до деревни, где была квартира нашего батальона. Мы прошли сегодня добрые тридцать верст по такой дурной дороге, какой и от самого Петербурга еще не бывало. Подходя к деревне, я чувствовал сильный жар и лихорадку. . .»

В деревне Якушкин заснул и проспал пятнадцать часов подряд. Утром в четыре часа был опять на ногах. «Вставая, — запишет он вечером, — я не чувствовал ничего, кроме слабости». Но тут же добавит: «Я с самого начала был уверен, что движение и диета помогут мне преодолеть остаток болезни, и оказался прав, потому что сорок верст, которые я сделал сегодня с ружьем на плечах, почти не утомили меня. Правда, и дорога была много лучше вчерашней. Мы уже сделали почти восемь верст, когда нас обогнал барон Розен. Он был доволен порядком, в каком шел наш полк. Наконец мы с музыкой и барабанами вступили в Порхов, где нашли прекрасную квартиру, восхитившую нас чистотой. Вечером мы с Муравьевым лежали друг подле друга и самым приятным образом разговаривали. . .»

Разговор был о Вольтере.

Назавтра прошли еще сорок верст. «Чтобы сократить дорогу, мы шли вспаханнами полями. Как нельзя более утомленные прибыли в жалкую деревушку под названием Выгодское. Полковник и вся его свита обедали у нас, потому что их экипажи и кухня застряли позади. . . Только что в полку получили новости, которые подтверждают уже ходившие ранее слухи об измене Сперанского. Он и его сообщники арестованы. Опасаются, как бы они не избежали справедливого наказания. Многие очень уважаемые лица скомпрометированы в этом деле. . .»

28 мая 1812 года лейб-гвардии Семеновский полк с музыкой и с барабанным боем торжественно вступил в Вильну.

«Жизнь общая в Вильне, — вспоминал С. Г. Волконский, — до начала военных действий была просто столичная по наружности, а сосредоточение около Вильны многих корпусов войск было поводом многих смотров. Армия была в отличном строевом положении. . .»

... В Вильне Волконский оказался случайным свидетелем сцены, раскрывшей ему характер императора Александра с неожиданной стороны. Их в Вильне застала пасха, и по существующему обычаю в вилленском дворце должно было состояться торжественное богослужение при большом съезде гостей. К позднему часу, перед полночью, собрались чины царской свиты, военные и гражданские лица, имевшие право присутствовать на церемонии, в том числе множество приглашенных — из местных помещиков, большей частью поляков, для которых царский выход имел особенный интерес. Флигель-адъютанты Волконский и Лопухин, обязанные по должности находиться в зале, опаздывали, по всегдашнему своему легкомыслию, и, опасаясь столкнуться при входе с государем, решили проникнуть в зал через домовую церковь. Только они приблизились к черному ходу, как были задержаны строгим дворцовым лакеем.

— Сюда нельзя, господа.

— Отчего же нельзя? — удивились они.

— Нельзя... В церкви государь.

— Да что он там делает? Если и служба не началась...

— Государь там делает репетицию.

От неожиданности они чуть не рассмеялись и, как мальчишки, бросились обратно к парадному входу, довольные, что не столкнутся там с государем.

Он — актер в душе. Репетирует перед молебном...

Во время Отечественной войны князь Волконский окажется дельным и опытным офицером, и государь переменит о нем свое мнение, перестанет считать его шалопаем. К концу войны, еще прежде чем «мсье Сержу» исполнится двадцать пять лет, он станет генерал-майором...

... В первое лето войны, когда русская армия отходила в глубь страны, избегая решающего сражения, только казачьи отряды вступали то и дело в столкновения с противником, беспокоя его. Отряд Волконского ночью делал поиск на окраине занятого французами городка. Во тьме кромешной казаки гикнули впродоль длинной

улицы, а в то же время другой казачий отряд им навстречу атаковал предместье, надеясь застать французов врасплох. Но французы не растерялись — наскочившую конницу встретили дружной ружейной пальбой. И казаки смешались. Поиск не удался. Уже рассветало, когда в утреннем плотном тумане Волконский с удивлением обнаружил себя с обнаженной саблей в руке против лихо вздыбившего коня Бенкендорфа, своего давнего приятеля, еще с пансионских лет. Чуть друг друга не порубивши, оба нервно расхохотались.

Встреча — как предостережение судьбы.

3

Лето 1812 года. Русская армия тянется на восток. Приказ Барклая де Толли. И ропот всеобщий. Слухи бросают черную тень измены на сдержанного, сухого Барклая. Высокого и прямого... Его приказ единственно правильный в том положении. Силы слишком неравны, чтобы имело смысл рисковать потерей всей русской армии в первом большом сражении. Уехавший наконец в Петербург государь доверяет Барклаю де Толли. Объявил, что готов отступать с ним хоть до Урала. Всю ответственность за неудачное начало войны Александр возложил на прямые плечи Барклая, и тот взял это на себя. Вокруг него все в напряжении.

Все ждали решительного сражения.

Ссора Барклая де Толли с Багратионом, которого все любили, будила среди офицеров ненужные страсти. В такой обстановке произошло назначение Кутузова главнокомандующим. Всеми оно было воспринято как победа народного духа. Появление Кутузова в армии вызвало общее одушевление.

В день приезда Кутузова в армию в небе парил орёл, прямо над головою фельдмаршала, — это принято было за славное предзнаменование.

И в этот же день в Семеновском полку произошло событие, невозможное в прежние времена. Полк продвигался к Смоленску ускоренным маршем. Проезжая мимо колонны, командир полка Карл Антонович Криднер наехал на роту, стоявшую в полной готовности. Один поручик сидел на обочине, на примятой траве, и, как показалось Криднеру, с беззаботностью завтракал,

С гатчинской грубостью Криднер спросил поручика, что это он делает и вообще, мол, какого черта. . .

— Закусываю, — спокойно ответил ему поручик. До него вьюк с провиантом дошел наконец, и он, пользуясь остановкой, спешил подкрепиться.

Криднер привычно вспыллил, накричал на поручика, но потом рукою махнул и сказал:

— Ах, да не все ли равно — тот ли стоит у взвода или другой такой же болван! — и поехал дальше.

Он так и не понял, отчего оскорбился поручик и почему за него вдруг вступились все офицеры полка. Все офицеры Семеновского полка, не исключая и гвардейских полковников, одновременно вручили Криднеру просьбы о переводе их в армию, говоря, что при такой грубости к ним командира полка и солдаты не смогут иметь к ним должного уважения. Шеф пятого корпуса, в который входила гвардия, великий князь Константин Павлович не рискнул в столь серьезный момент перегибать палку — Криднеру было отказано в командовании полком; ему ничего другого не оставалось, как ехать дальше в обозе. До бородинской позиции ехал там, но, увидев, что предстоит решающее сражение, Криднер сказался больным и оставил полк.

Между тем суровый Барклай де Толли, отстраненный от командования армией и обвиняемый даже в измене, не любивший к тому же Кутузова, отклонил лестное приглашение императора Александра прибыть в Петербург и просил нового главнокомандующего оставить его при армии в любой должности. Он участвовал в Бородинском сражении.

«26 августа 1812 года; еще было темно, — вспоминал М. И. Муравьев-Апостол, — когда неприятельские ядра стали долетать до нас. Так началось Бородинское сражение. Гвардия стояла в резерве, но под сильными выстрелами. Правее первого батальона Семеновского полка находился второй батальон. Петр Алексеевич Оленин как адъютант второго батальона был перед ним верхом. В восемь часов утра ядро пролетело близ его головы, он упал с лошади, и его сочли убитым. . . Князь Сергей Петрович Трубецкой, ходивший к раненым на перевязку, однако, успокоил старшего Оленина тем, что брат его только

контужен и останется жив. Оленин был вне себя от радости. Офицеры собрались перед батальоном в кружок, чтобы порасспросить о контуженом. В это время неприятельский огонь усилился, и ядра стали бить нас. И тогда командир второго батальона полковник Максим Иванович де Дамас скомандовал:

— Господа офицеры, по местам!

Николай Алексеевич Оленин стал у своего взвода, а граф Татищев — перед ним, у своего, лицом к Оленину. Они оба радовались только что сообщенному счастливому известию, — в эту самую минуту ядро пробило спину графа Татищева и грудь Оленина, а унтер-офицеру оторвало ногу. . . Я стоял в это время в третьем батальоне под знаменем, вместе с Иваном Дмитриевичем Якушкиным. . .»

4

Семеновский полк, находясь в резерве, простоял под разящим огнем неприятеля четырнадцать часов. Было много раненых и убитых. Потом в бою семеновцы защищали батареи Раевского, и здесь было много потерь. Кончался бой в темноте. Приказ Кутузова был оставаться в готовности, чтобы утром продолжить сражение, но, получив сведения о потерях, Кутузов решение изменил.

«. . . мы пустились в поход рано поутру, — вспоминал М. И. Муравьев-Апостол. — Того же числа неприятель с особенным усилием атаковал наш арьергард, вероятно, с тем чтобы узнать, какое впечатление произвел на нас Бородинский бой. . .»

Вспоминал это более чем полвека спустя, снова чувствуя в сердце тогдашнюю теплоту. «Мы были дети 1812 года, — писал он. — Принести в жертву все, даже самую жизнь, ради любви к отечеству было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма. Бог свидетель этому!»

Август стоял на исходе. Сединами завивались заросли иван-чая на пустырях. Краснела на лесных опушках рябина, и в подмосковных березовых рощах сквозила первая желтизна. Жаркое лето в лесах догорало багрянцем. Тянуло дымом пожарищ, и едкий запах пороха смешивался с тоскливою вонью трупного тлена. Бородинское поле, обильно политое кровью, отягощенное восьмьюдесятью тысячами трупов убитых французов и русских и тридцатью тысячами павших в бою лошадей, таким и уйдет под снег в наступившую рано морозную зиму. Только в первые две-три ночи будут еще бродить по нему ненасытные мародеры, а после и близко никто не подступится; зимой запируют в округе волки.

В первую после сражения ночь, когда смолкла уставшая битва и только слышны были стоны раненых, между немногих живых бродил по заваленному грудями мертвых полю молодой офицер, небольшого роста, но плотный, с озабоченным и усталым лицом. Он пешком прошел из конца в конец это страшное поле, добираясь до места, где больше всего собралось убитых: днем тут стояли батареи Раевского. Он шел, спотыкаясь о трупы, и стон умирающих отдавался в ушах его и раздирал ему душу. В робком свете взошедшей над полем луны он приглядывался к убитым, переворачивал некоторых, похожих на его пятнадцатилетнего брата Михайлу, про которого днем еще сказали ему, что убит. Недалеко от батарей Раевского.

«Не нашед его, я, утомившись до чрезвычайности, лег отдохнуть на землю подле одного раненого, заснул немного и, проснувшись, застал соседа уже мертвым; брата же не нашел», — вспоминал Александр Николаевич Муравьев.

«В это самое время, — писал он, — рассказывали мне после, казаки на аванпостах убили двух ехавших верхом русских офицеров, Муханова и Окунева, говоривших между собой по-французски. Казаки, в темноте почти, приняли их за французов и закололи их пиками. . .»

Утром Александр Муравьев узнал, что его тяжело раненный брат еще днем был подобран и на крестьянской телеге отправлен куда-то с обозом. Муравьев отпросился у Барклая де Толли, при котором состоял в адъютантах, и отправился в поиски брата. До вечера он блуждал по запруженным отступающими войсками дорогам. Искал брата и среди ехавших на телегах, и между бредивших в черных мужицких избах в деревнях близ Можайской дороги, расспрашивал о нем и разглядывал раненых офицеров, умиравших и умерших, протискивался между стонавшими в забытии и лежавшими на соломе вповалку, с мертвыми рядом и друг на друге, задыхался от духоты и смрада, читал еле видные в сумерках надписи мелом на почерневших бревнах — фамилии офицеров, написанные товарищами их в надежде, что кто-то знакомый узнает, где они, и поможет; по надписи мелом на двери какого-то дома он и нашел брата, без сознания, в тяжком жару. Муравьев раздобыл экипаж и привез брата в Москву, там нашел хорошего доктора, занял денег, пристроил брата в обоз, направлявшийся в Нижний Новгород, к знакомым, — без всякой надежды на добрый исход и мучась сознанием, что уже больше ничем помочь не сможет. Проехал с ними до Владимирской заставы, потом еще две версты и наконец со слезами простился.

Армия проходила уже Москвой, когда он возвращался. В городе начались беспорядки. Пожары там и тут возникали — вследствие загромождения улиц, от спешности передвижения войск, от торопливого выезда всего московского населения, не желавшего оставаться под неприятелем.

Французы стояли вблизи московских застав.

В Нижний Новгород ехала из Москвы и Катерина Федоровна Муравьева с семейством. Лет пять назад, после смерти Михаила Никитича, перебралась она жить в Москву, надеясь дать здесь лучшее образование сыновьям. Четырнадцатилетний Никита слушал лекции в Московском университете, домой к ним ходили по билетам известнейшие профессора, иные были и просто друзья дома, и был француз-гувернер, а при младшем,

Александре, бонна-англичанка. В Нижний Новгород с ними ехал и овдовевший в прошлом году Иван Матвеевич Муравьев-Апостол с младшим своим, Ипполитом. Шестилетнего Ипполита, кудрявого, смуглого, очень бойкого мальчика, она привыкла уже считать своим третьим; не думала, не говорила иначе, как «трое детей». Иван Матвеевич был родитель рассеянный. Дочерей в Петербурге пристроил, старшую выдал замуж. Сам вскоре опять женится. Старшие сыновья его были оба в действующей армии и принимали участие в Бородинском сражении. Ими Иван Матвеевич откровенно гордился. Особенно младшим, Сережей, которому еще не исполнилось и шестнадцати лет.

По дороге нагнал медленный их обоз и примчавшийся на почтовых из Петербурга по зову Катерины Федоровны их родственник Батюшков.

Еще недавно в письмах к московским приятелям Батюшков нервно иронизировал над болтливом патриотизмом столичных литераторов: «Неман, Двина», «позиция направо», «позиция налево», «передовое войско», «задние магазины», «голод, мор и снаряды» — боже мой, сколько они усвоили слов! Ему было плохо в болтливом и самодовольном Петербурге, и он завидовал обывательскому спокойствию москвичей, на которое в письмах досадовал Вяземский. «У нас не то, — злился Батюшков, — кто глаз не спускает с карты, кто кропает оду на будущие победы». Он признавался: «Если бы не проклятая лихорадка, то я полетел бы в армию. Теперь стыдно сидеть сиднем над книгою, мне же не приучаться к войне. . .»

Он по-детски мечтал: «И я надену мундир, и я поскачу маршировать, если. . .»

Но тетушка Катерина Федоровна прислала из Москвы отчаянное письмо — умоляла приехать; он вспомнил с тоскою тот «сумасшедший дом, Московью именуемый», — поскакал. В дороге уже узнал о большом сражении под Москвой и что французы вступили в древнюю нашу столицу.

Начиная с Твери, Батюшков увидел «переселенье народов». Он обгонял плетущиеся на долгих по пыльным дорогам караваны из модных колясок, и допотопных карет, и телег, и всевозможных повозок, с кухнями и самоварами, с голосящею дворней и плачущими младенцами. Петербургские жители, глядя на осень, тронулись в беспокойное странствие, держа путь в отдаленные курские и самарские, нижегородские, пензенские, тамбовские, во-

логодские и ярославские вотчины. Кое-кто, недалеко отъехав, заворачивал назад, жарю измученный или напуганный рассказами о находящемся где-то поблизости неприятеле.

Муравьевы расстроены были едва не случившейся в их семействе бедой. Старший сын Катерины Федоровны, Никита, кроткий и нежный, всего пятнадцати лет, мучил все лето мать просьбами отпустить его в армию. До сих пор его и гулять одного не пускали. И на лекции в университет его провожал гувернер. Весною дети болели гриппом, и Никиту возили в карете, укутав шарфами. Шутка ли — в армию! С его-то слабым здоровьем, с его-то характером... Да Никитенька курице во дворе уступит дорогу. Когда вдруг затеялось это московское ополчение, в которое ринулись стар и млад, на Никиту стало больно смотреть. Он с лица спал, не ел и не спал, ни о чем больше думать не мог, кроме как про военные действия. Маменька твердо сказала, чтобы думать не смел, но застенчивый, тихий Никитенька... Как его было представить с отчаянными молодцами из ополчения, осаждавшими окрестные кабаки? Гусары ополченческого полка молодого графа Мамонова в кутежах пуще всех лютовали!

Никита не спорил с матерью, но и доводов ее вовсе не принимал. Сидел за обедом нервный, встрепанный, странно на Батюшкова похожий, не ел ничего.

И дядюшка был хорош! К слову, нет ли — про своих сыновей:

— Мой Сережка-то, а?

А разве Сережу можно с Никитенькой ставить рядом? Сережа, хоть ростом не очень вышел, такой молодец. Самостоятельный и здоровый. Пятнадцать ему еще в прошлую осень сравнялось. При главной квартире чего ему делается... .

Зачем же дразнить ребенка этими разговорами?

Запершись в своей комнате, Никита часами разглядывал карту военных действий, пытаюсь угадать мысль Кутузова. Делал на карте пометки. Рисовал на листке позиции русской и неприятельской армий... .

Александрю, его младшему брату, запомнилось, как однажды утром, когда все собрались в гостиной к чаю, Никиты на его месте не оказалось. Его и в комнате не было, и в саду... . Маменька всполошилась. Начался пе-

реполох в доме. Обнаружилось, что Никита ушел из дома тайком еще до рассвета, никого не предупредив, и пешком отправился к месту сражения. Верст тридцать прошел по Смоленской дороге, прежде чем его задержали крестьяне, приняв за лазутчика. Никита был в детской курточке, паспорта у него, разумеется, не было, а в кармане нашли карту театра войны и другую бумагу, на которой нарисовано было расположение войск. Он распрощивал встречных, как туда ближе пройти!

Ну что он мог объяснить рассерженным мужикам на своем полурусском наречии? Застенчивый от природы, смущенный грубостью и невежливым обращением. Никиту даже побили слегка. Одежду на нем порвали. Руки связали веревкой. Повели обратно в Москву.

Он шел, от усталости спотыкаясь, но твердо, без слез и жалоб. Вблизи Смоленской заставы Никиту в толпе возбужденных крестьян увидел искавший его губерньер-француз. Никита его тоже увидел — что-то закричал, но губерньеру достало сообразительности не отозваться. Глядя в другую сторону, сказал громко:

— Ради бога, молчите!

В Москве Никиту заперли в подвале губернаторского дома.

Когда Катерина Федоровна примчалась к графу Ростопчину, генерал-губернатор, отлично знавший ее, не удержался, чтобы не покуражиться: объявил, что Никита задержан как французский шпион. Плохо он ее знал! Кончилось тем, что Ростопчину пришлось перед ней извиниться и даже ее поздравить, что сын такой патриот...

Отпустили Никиту. А не всегда ведь такие истории кончались благополучно.

«Я был тогда очень молод, — вспоминал спустя много лет Александр Михайлович Муравьев, — но эта трогательная сцена возвращения, объятия, слезы матушки — живы и теперь в моей памяти».

В общей патриотической суматохе и девятнадцатилетний князь Петр Андреевич Вяземский, напугав молодую жену — он в начале года скоростижно женился — и сам себе удивляясь, тоже надел военный мундир. На-

рядный мундир ополченческого мамоновского полка, видом как бы казачий. Синий длинный чекмень с голубыми широкими отворотами на рукавах; высочайший, медвежьим мехом обшитый кивер с султаном, который все принимали за неприятельский — считали князя пленным французом; в конце концов кивер пришлось заменить взятой у кого-то взаймы кавалергардской фуражкой. Бледный после перенесенного воспаления легких, тощий и долговязый, с некрасивым курносом лицом и в очках, князь Вяземский чувствовал себя не военным, а святочным ряженым. Очень стеснялся своего нелепого вида и больше всего боялся насмешек. Его лицо покрылось красными пятнами, когда незнакомый армейский поручик при нем крикнул вслед приятелю, идущему за провизией к маркитантке: «Да вяземских пряников не забудь!»

Князь Петр Андреевич Вяземский не был охоч до военной славы. Не смел и противиться охватившему всех поветрию. В пансионе, где он обучался, урски фехтования полагались, да он, близорукий, в этом не преуспел. Ружья или пистолета в руках никогда не держал. Накануне решающего сражения старый приятель его отца знаменитый храбростью генерал Милорадович пригласил князя Вяземского к себе в адъютанты. Выехав из Москвы с опозданием, князь на Можайской дороге встретил предлинный обоз с ранеными. Увидел в нем и знакомых по московским балам и обедам — израненных, изувеченных. Встреча сделала на него ужасное впечатление. А ведь они принимали участие лишь в предварительных стычках с противником. Настоящее сражение было еще впереди.

Пытаясь найти в придорожной суете своего генерала, князь Вяземский долго бродил по каким-то дворам, слушал ругань и сам нарывался на грубости, час от часу все более ощущая себя не на месте. Ко всему еще он приехал в коляске. Его верховая лошадь, посланная с лакеем, потерялась в дороге. Было неловко вдвойне ему, пешему среди конных офицеров, — казалось, что на него смотрят сверху вниз. Наконец генерал Милорадович отыскался позади истоптанных огородов, у солдатских костров. Он встретил князя неумеренно бодрым возгласом, но заметил усталый вид его и на робкий вопрос, где ему ночевать, предложил благородно избу, назначенную для него самого; сказал, что сам до утра останется у

костра. Вяземский поклонился нелепо и зашагал обратно в деревню.

В темной пустой избе ему стало совсем тоскливо. Зеленые кошачьи глаза сверкнули у черной печной загниетки. Он с детства боялся этих загадочных тварей. Нервным движением Вяземский загнал кошку в печное нутро и задвинул заслонкой. Лег и тотчас уснул. Показалось, что в тот же момент и проснулся. Камердинер над ухом настойчиво повторял, что давно рассвело и на дворе все в сборе. Он встал и поспешно оделся. Выходя из избы, позабыл про запертую в печи божью тварь.

Князь Петр Андреевич Вяземский многое перезабыл за свою очень долгую жизнь, но кошку, запертую им в русской печке, он и в старости помнил отчетливо; мучился мыслью — сумела ли злополучная тварь как-нибудь освободиться из плена или там и погибла? Кошка в душе у него скреблась беспокойною совестью.

Лошадь не отыскалась к утру, а вокруг генерала гарцевали его адъютанты, куда-то скакали с приказами; Вяземский скоро остался один возле штабной избы, оскорбленный до глубины души таким стечением обстоятельств. Измученный собственным комическим видом и возможными на его счет подозрениями, он поклялся, что если в течение дня каким бы то ни было способом не раздобудет себе верховую лошадь, то непременно застрелится. Кто-то из адъютантов ему предложил свою запасную лошадь, и Вяземский был спасен. Не узнал даже имени своего благодетеля, который погиб в тот же день.

Стрельба всюду слышалась.

Визг пули над ухом князь Вяземский принял за чью-то неуместную шутку: ему показалось, что плетью хлестнули у него за плечом. обернулся и — никого не было рядом. Тогда только догадался, что свистнула пуля. Подумал, что пуля пролетела у самой его головы.

В это время ядро сочно чвякнуло в ногах его лошади.

— Мой бог! Неприятель приветствует нас, — весело сказал Милорадович, и рядом с ним рассмеялись.

Ядра стали падать одно за другим, от них поднялась несносная пыль. Порыв горячего воздуха сорвал с носа Вяземского очки — все вокруг поплыло в тумане. В лицо било жаром. Слышались близкие вопли. Он себя чувствовал как в горящем лесу. Не заметил, что лошадь его ранена. Она поджимала ногу, шаталась, — пришлось сойти с седла. И опять он был среди конных единствен-

ный пеший. И снова кто-то ему предложил запасную лошадь. Он сесть верхом не успел — и эта была убита. Певалилась с распоротым боком... Возле нее на земле распластался незнакомый Вяземскому генерал, и вокруг него суетилось несколько адъютантов. С неожиданной расторопностью князь к ним присоединился — на шинели помог нести генерала к лазаретной палатке...

Ничего больше из этого страшного дня он не помнил. Непонятно как, в темноте уже, он очутился в избе, где лежал на крестьянской кровати раненый Багратион. Было тихо и душно. Коптила свеча. Приотворялась дверь, пропуская лекарей, денщиков, адъютантов... Как он сюда попал?

Видимо, шурин где-то его отыскал. Князь Федор Гагарин, брат Веры Федоровны, служил адъютантом Багратиона. Он зятя привел в избу, положил его спать на соломе в углу, утешая, что все-де теперь слава богу, сражение не проиграно...

Утром князь Вяземский встал совершенно разбитый. Давка на улице показалась ему паническим беспорядком. Он думал — потеряно все! Говорили, что уже есть приказ отступать и Москву оставляют. А Милорадович все шутил, неуместно поздравил князя с крещением и объявил торжественно, что вчера под ним убило двух лошадей! Как будто бы это бог знает какое геройство с его стороны.

Вяземскому хотелось только, чтобы все поскорее кончилось как-нибудь. Он был удручен и, возможно, болен. Генерал Милорадович любезно дозволил ему поехать на несколько дней домой — проводить в Вологду беременную княгиню. Из Вологды Вяземский попросил разрешения дожидаться родов. Когда сын родился, не без смущения спрашивал Милорадовича в письме: непременно ли надо ему вернуться теперь или можно еще остаться? Ему разрешили остаться...

Вяземский принял трагически сдачу Москвы неприятелю. Для него это было крушение полное. «Давно ли мечтали мы о славе, об успехах? Давно ли?» — спрашивал он в письме своего старшего друга Александра Ивановича Тургенева. Но Тургенев, хотя человек не военный, был дальновиднее и ответил ему престогаой отповедью на это паническое письмо. Тургенев имел

душевное мужество видеть вперед и в момент, когда Москва была оставлена неприятелю, предугадать неизбежное вступление русских в Париж и «последний акт в европейской трагедии, после которого автор ее, Наполеон, должен быть непременно освистан».

9

Бородинское сражение стоило великих жертв как русской, так и французской армии. Не говоря уже о десятках тысяч офицеров и солдат, французами были потеряны сорок три боевых генерала. Купленная такую ценой победа — и победа ли? — оставалась неполной. Русская армия не была разгромлена. В утреннем тихом тумане она растворилась среди безбрежных российских просторов. Стала незримой угрозой.

Наполеон остановился перед Москвой, выслал разведки вперед. Ждал сражения — местность была подходящая. Но все выглядело покинутым. Никаких признаков сопротивления. Поднялись на пригорок, с которого открывалась Москва. «Это называется *Поклонной горой*, — объяснили Наполеону, — потому что тут наверху, при виде *святого города*, все русские кладут земные поклоны». Перед ними сверкал золотом бесчисленных куполов в лучах заходящего солнца громадный, невиданный город. Многоцветный, как россыпь драгоценных камней. Зрелище так поразило французов, что они остановились с криком: «Москва! Москва!» Так мореплаватели кричат после месяцев трудного плавания, завидя берег: «Земля! Земля!» Все было забыто — опасности и страдания. Наполеон остановился на вершине холма, и у него тоже вырвалось:

— Наконец-то! Вот он, знаменитый город... Давно пора.

Ничего, кроме нетерпения, не было в его обращенных на этот дивный город глазах. Он как будто увидел и всю русскую империю под ногами. В падении Москвы привиделась ему и надежда на скорый почетный мир, на уплату военных издержек. На бессмертную славу, в конце концов! Тут должно завершиться его самое дерзкое предприятие. Тогда оно будет воспринято всеми как результат гениально обдуманного расчета. Неосторожность станет его величием. Один этот день решит: кто он, На-

полеон, — величайший в мире полководец или только дерзновеннейший? Алтарь он создал себе или вырыл своими руками могилу? . .

Наполеон с нетерпением ждал, что сейчас перед ним распахнутся ворота Москвы и навстречу выйдет депутация городских бояр — бросит к его ногам этот город с его несметным богатством и многотысячным населением. Однако время тянулось — депутации не было. Москва уже не сверкала красками в лучах заката. Она погружалась в ночь. Угрюмая и безмолвная Москва производила впечатление мертвой. Беспокойство Наполеона росло, и все труднее становилось сдерживать нетерпение рвущихся к лежащей перед ними добыче солдат.

Наполеон с негодованием отверг известие, что в городе нет никого. Он подумал, что дикие москвиты не знают принятого всеми порядка капитуляции, что они заперлись у себя в домах, парализованные страхом или застывшие в гордости. Он должен возбудить их доверчивость, пойти навстречу их просьбам. Но . .

Все донесения сходились в одном — город пуст.

— Этого просто не может быть, — сказал Наполеон. — Идите и приведите ко мне русских бояр.

И как было поверить, что все это множество великолепных барских особняков и дворцов, и блестящие храмы, и набитые товарами лавки — все брошено на произвол судьбы?

Наконец кто-то находчивый, желая угодить своему императору, схватил на улице несколько случайных прохожих и плетью, впереди своей лошади, пригнал их к Наполеону. Сказал, что привел депутацию. Однако и эти несчастные отказались от чести — объяснили, что ничего не знают про депутацию и нечаянно очутились на улице.

Громадный город со всеми его великолепными постройками и садами стоял, как мираж. Кое-где к небу взмывали языки начинавшихся пожаров . . .

Тишина поразила входившие в утренний город вражеские войска. Двери домов глухо заперты, окна прикрыты ставнями. Толпа не теснилась на тротуарах, и женщины не склонялись с балконов, не высывались из окон, как это бывало в европейских столицах. В длинных улицах эхом отдавался бой барабанов да слышны были шаги проходивших солдат.

В первые два дня пожаров было немного, но утром третьего дня задул сильный ветер, пламя мгновенно раз-

летелось повсюду, и к ночи вся Москва занялась огнем. Во тьме она превратилась в бушующий океан огня, видный за сотню верст. Большие деревянные дома полыхали кострами; горели склады и лавки с товарами...

Где еще не горело — грабители гонялись за жертвами, и бежать было некуда. Грабеж был систематический: сначала Москва, как положено, была отдана во власть любимой императором старой гвардии, потом за дело взялась гвардия молодая, за ней настала очередь корпуса генерала Даву... Последним, самым жалким грабителям, набранным из всех европейских стран солдатам, доставалось одно тряпье. Французские офицеры тоже ходили из дома в дом. Они обирали и те квартиры, в которых были определены на постой. Генералы отбирали вещи более ценные. Великая армия Наполеона в Москве превратилась в толпу мародеров, стерегущих друг от друга награбленное добро.

А просьбы о мире от русских не поступало. Наполеона это все больше тревожило.

И русская армия, незримо маневрирующая где-то недалеко от Москвы, не давала знать о себе. Только казаки да вооруженные чем попало крестьяне беспокоили, затрудняя фуражировку в окрестностях города. Они истребляли французов поодиночке, жгли сено и хлеб. Крестьян пытались заманить в Москву обещаниями хорошо заплатить за доставленное французам продовольствие и фураж, но никто ничего не вез. Поджигателей и тех, кто убивал французских солдат или был заподозрен в этом, расстреливали публично возле церквей. Выслушав приговор, мужики крестились на церковь и умирали молча.

Оставалось начать самим переговоры о мире, и Наполеон отправил парламентаря в лагерь Кутузова. Ответа не последовало. Наполеон послал с оказией несколько писем к императору Александру, но и оттуда ответа не было...

Семеновский полк стоял на биваках под Тарутином, когда все об этом заговорили: предложение о перемирии шло будто бы от французов, тогда как Кутузов, приняв посланца от Наполеона, чего-то тянул, не отвечая ни да ни нет. Не понимая кутузовских планов, спорили бурно насчет невозможности постыдного мира. Молодые гвардейские офицеры, сходясь вечерами в землянке, шумно

клялись друг другу не прекращать борьбы, что бы ни было, самовольно соединиться в партизанские отряды и вместе с крестьянами бить французов, пока на земле русской не останется и единого вражеского солдата. Полковник Писарев, командир третьего батальона, в котором служили князь Трубецкой, Матвей Муравьев и Якушкин, к восторгу всеобщему объявил, что тоже будет с ними, — протянул торжественно руку взволнованному Якушкину.

«Тарутинский лагерь наш похож был на обширное местечко, — вспоминал Николай Николаевич Муравьев. — Шалаши выстроены были хорошие, и многие из них обратились в землянки. У иных офицеров стояли даже избы в лагере, но от сего пострадало село Тарутино, которое все почти разобрали на постройки и топливо. На реке завелись бани, по лагерю ходили сбитенщики, приехавшие из Калуги, а на большой дороге был базар, где постоянно собиралось до тысячи человек нижних чинов, которые продавали сапоги и разные вещи своего изделия. Лагерь был очень оживлен. По вечерам во всех концах слышна была музыка и песенники, которые умолкали только с пробитием зори. Ночью обширный стан наш освещался множеством бивуачных огней, как бы звезд, отражающихся в просторном озере...»

10

В октябре 1812 года Константин Николаевич Батюшков писал из Нижнего Новгорода отцу в деревню: «Город мал и весь наводнен Москвою. Печальные времена... Зла много, потеря честных людей несчетна, целые семейства разорены, но все еще не потеряно: у нас миллионы людей и железо. Никто не желает мира. Все жаждут войны, истребления врагов...»

Таково было общее настроение покинувших Москву «эмигрантов», как они сами себя называли. Мнение струнувшейся с насиженных мест России.

«Я видел то, — писал Батюшков Гнедичу, — чего ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не мог: переселение целых губерний! Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все

ужасы войны и с трепетом взирал на землю, на небо, на себя. Нет, я слишком чувствую раны, нанесенные любезному нашему отечеству, чтобы быть минутой покойным. . .»

Батюшков негодовал, сокрушаясь: «Везде плач и слезы! . . При имени Москвы, при одном названии нашей доброй, гостеприимной, белокаменной Москвы, сердце мое трепещет. . . Мщенья, мщенья! Варвары! Вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии! И мы до того были ослеплены, что подражали им, как обезьяны!»

Но тут же он описывал с юмором нижегородский беженский быт: «Мы живем теперь в трех комнатах. Мы — то есть Катерина Федоровна с тремя детьми, Иван Матвеевич, П. М. Дружинин, англичанин Эвенс, которого мы спасли от французов, две иностранки, я грешный да шесть собак. Нет угла, где бы можно было повернуться».

Надо еще добавить к этому человек десять дворовых, которые, естественно, в тесных трех комнатках, снятых в каком-то дрянном деревянном домишке, не помещались и спали в прихожей на полу и в кухне. Город настолько заполонили приезжие, что и три комнаты на такую ораву добыть считалось большая удача.

Почтенный московский профессор Дружинин — старый друг муравьевской семьи и чему-то учил Никиту. Ученого англичанина прихватили дорогою и пытались было пристроить гувернером к шестилетнему Ипполиту, но уроженец Альбиона не справился с шалуном. Две иностранки — Сашина и Ипполитова бонны, уже и не нужные, но куда же в такой суматохе их денешь? Еще и собаки — шесть штук. . .

И всюду такая же теснота, суматоха: «У Архаровых собирается вся Москва, или лучше сказать, все бедняки: кто без дома, кто без деревни, кто без куска хлеба, и я хожу к ним учиться. . . терпению! Все жалуются и бранят французов по-французски», — сообщал Батюшков князю Вяземскому, приятелю своему.

Два года спустя это время Батюшкову покажется восхитительным, он будет все это с нежностью вспоминать — уже находясь в Париже! — в письме к своей старинной знакомой Е. Г. Пушкиной: «Все забываю и мысленно переносюсь в Нижний. То на площадь, где между телег и ко-

лясок толпились московские франты и красавицы, со слезами вспоминая о бульварах; то на патриотический обед у Архаровых, где от псовой травли до подвигов Кутузова все дышало любовью к отечеству; то на ужины Крюкова, где Василий Львович [Пушкин], забыв утрату книг, стихов и белья, забыв о *Наполеоне, гордящемся на стенах древнего Кремля*, отпускал каламбуры, достойные лучших времен французской монархии, и спорил до слез с Муравьевым [Иваном Матвеевичем] о преимуществах французской словесности; то на балы и маскарады, где наши красавицы, осыпав себя бриллиантами и жемчугами, прыгали до первого обморока в кадрилих французских, во французских платьях, болтая по-французски бог знает как, и проклинали врагов наших. Вот времена, признаюсь вам, о которых я вспоминаю с большим удовольствием...»

11

В Петербурге было очень, очень тревожно. Прибывший из действующей армии великий князь Константин Павлович, не стесняясь, повсюду твердил об ужасе, который внушает ему приближение Наполеона, и что мира необходимо просить скорее, любой ценой, и что Наполеон — это, может быть, еще не самое страшное, что их ожидает, а свои мужики, может статься, страшнее будут... Сочился откуда-то слух о готовом вспыхнуть восстании. И якобы переворот готовится — в пользу императрицы Елизаветы Алексеевны. Великий князь Константин Павлович, прежде к ней относившийся с некоторой даже язвительностью, у всех на глазах вдруг стал перед нею заискивать. А терпеливая Елизавета Алексеевна смотрела на деверя с жалостливой улыбкой. Чудился всюду ропот. Волнение раздраженной толпы. И в дворянстве слышались голоса, обвинявшие в государственном бедствии императора Александра.

В торжественный день коронации, отмечавшийся ежегодно 15 сентября, государь впервые за много лет не ехал, как обычно, верхом, а проследовал до Казанского собора, где состоялся молебен, с женщинами в карете. Позволил им уговорить себя. Обе императрицы его умоляли не рисковать. По Невскому проспекту кареты ехали

медленно, в окружении молчаливой и мрачной толпы народа; это молчание было страшно. Когда Александр входил в Казанский собор сквозь молчащее многолюдье, были слышны шаги...

В Петербурге известие об оставлении Москвы сперва сообщалось тайно, из уст в уста. Опасались, что могут быть высажены вражеские десанты под Ригой и ближе. Слухи ползли об эвакуации из столицы архивов и ценностей, что вывезти предполагают Публичную библиотеку, что есть уже царский указ об отправлении в тыл известной всем конной статуи Петра Первого, установленной против Сената.

Несмотря на осеннюю пору, занятия в Горном корпусе, где учился Александр Бестужев, не начинались. Лекций никто и не собирался читать, и начальства было не видно; казеннокоштных кадет кормить стали дурно, как никогда; и везде царил беспорядок.

Домой Александр приносил ежедневно самые разнообразные слухи. О продвижении неприятеля и об отъездах многих столичных жителей, среди которых были корпусные учителя и учившиеся вместе с Сашей кадеты. Стало известно, что в Финляндию эвакуируют и богатейшую коллекцию минералов.

Из Морского кадетского корпуса, в котором служил Николай, Сашин брат, приказано было вывезти в Свеаборг младших кадет.

В Горном корпусе обучалось много сибиряков. Они рассуждали, как взрослые, что пора бы всем вместе составить прошение о зачислении старших кадет на военную службу. Кое-кто колебался, не зная, как к этому отнесутся родные, но страх прослыть трусами пересилил, и общее прошение было подано. Ждали ответа долго. Наконец директор принес назад их прошение — сказал, что написано неправильно. И вообще сказал, что каждый желающий вступить в армию должен действовать самостоятельно.

Александр Бестужеву месяц назад пятнадцать исполнилось, но высокий, плечистый, сильный не по годам, он решительно объявил дома, что отправляется на войну. Хоть солдатом! Мать только ахнула и всплеснула руками. Николай сердито сказал, что не следует лезть вперед батьки в пекло. Это не помогло. Тогда он стал убеждать Александра, логически рассуждая, что ни к чему

такой беспорядок, а если и в самом деле возникнет опасность для Петербурга, начальство само даст оружие старшим кадетам. Саша унялся, хотя неохотно. Из всех доводов на него подействовал уговор, что в доме он остаётся опорой как единственный мужчина.

Николай Александрович получил предписание ехать в Свеаборг. В суматохе перед отъездом он успел записать в Морской кадетский корпус двоих младших братьев — Мишеля, которому было одиннадцать лет, и восьмилетнего Петрушу. С душевной болью он согласился ехать в Финляндию с малышами. Как нянька!

Четыре года назад Николай Бестужев в Свеаборге побывал с морским конвоем, сопровождавшим транспорты с продовольствием для воюющей в недрах Финляндии армии. Гардемарином ещё принимал участие в боевых действиях.

И тем обиднее было, что Торсон, ближайший друг, успел уже и на этой войне отличиться. Первый из моряков Торсон был награжден орденом за военную доблесть.

Торсон служил на фрегате «Амфитрида». На десяти-весельном катере он с матросами был послан в Либаву за водой. Причалив к берегу, вдалеке увидел солдат, которых принял сперва за своих, стал кричать им — узнать хотел: нет ли в Либаве французов? И тут заметил, что с другой стороны тоже бегут к ним солдаты, много, числом до сотни. Вражеские. Он прыгнул в баркас и приказал отваливать, но, пока ставили парус, солдаты с берега открыли беглый огонь. Торсон был ранен в ногу, его денщик и один из матросов убиты. Он все же не растерялся. Как было сказано в рапорте командира «Амфитриды» капитана второго ранга Тулубьева: «...мичман же Торсон, хотя быв ранен, однако сам взял руль и людям велел лечь под банки; солдаты же, не переставая палить вдогонку, ранили под банками еще пять человек матрозов. О чем вашему высокопревосходительству честь имею донести, рекомендуя помянутого мичмана». За проявленное геройство мичману Торсону был высочайше пожалован орден Святой Анны третьего класса.

Николаю Бестужеву не везло. Еще только когда он узнал, что Кутузов назначен главнокомандующим, просил он отца приятеля, бывшего директора Морского кадетского корпуса, Логина Ивановича Голеннищева-Кутузова похлопотать о назначении его, Николая, к фельдмаршалу адъютантом. И Логин Иванович обещал. Но то ли память стариковская подвела, то ли фельдмаршал

слишком много имел подобных рекомендаций, — вызова Николаю Бестужеву не поступало. Хотя, собираясь в Свеаборг, он еще не совсем потерял надежду.

Михаил и Петр Бестужевы оставляли впервые в жизни родительское гнездо. Мишель крепился из гордости, но Петруша плакал. Он в детстве плакса был. Матушка и сестрицы, естественно, плакали тоже, как будто бы на войну провожали братьев.

Для отправки кадет в Финляндию были в Кронштадте снаряжены старые, ни для чего уже не пригодные корабли. Тот, на котором путешествовали Бестужевы, назывался «Северная звезда». А до Кронштадта их доставляли подручными средствами. Мишелю больше всего запомнилась взявшая их с Петром почти у самого дома прогулочная царская яхта «Голубка», где множились в зеркальных стенах беспорядочно сваленные груды узлов и скрученных парусиновых коек; незнакомые лица кадет... К новичкам, как водится, приставали: кадеты дразнили их и щипали, даже били. Гордый Мишель все молча терпел, а Петруша плакал. За полночь, когда эта отчаянная орава угомонилась, Николай, протиснувшись между спящих кадет, тихонько пробрался к братьям, прилег с ними рядом и шепотом стал утешать их, давая советы, как надо себя вести в положении корпусных новичков, еще имеющих, на беду свою, родственное начальство.

— Перестань реветь, — говорил он Петру. — Слезами ты беде не поможешь, тебе только хуже будет — бабой тебя обзовут, пуще прежнего станут дразниться. Лучше вы перетерпите, и все обойдется. Не давайте себя в обиду. Вас двое... А жаловаться и думать не смей! Забудьте раз навсегда, что я брат ваш. Станете учиться хорошо и вести себя — отличу вас, как всякого, а сделаете что худо, так накажу, как и всякого шалуна. И не смейте выносить сор из избы — прослывете фискалами...

Братья урок усвоили. Вскоре их в корпусе полюбили — когда убедились, что нет для них никаких родственников привилегий.

В Свеаборге предстояло прожить всю зиму.

В долгие темные вечера Николай Александрович собирал у себя самых юных питомцев, а были там и семи-восьмилетние малыши, и старался как мог их развлечь и утешить. Рассказывал увлекательные истории про мо-

ряков. Он был превосходный рассказчик, его приходили послушать и взрослые. Особенно много занятных историй знал он про капитана Лукина, своего мальчишеского кумира.

Быт в Свеаборге образовался бивачный. Помещения тесные, — для кадет в два яруса были подвешены корабельные койки. Одна показалась замороженной: какой кадет ни ляжет в нее — заболит назавтра. Когда заболел четвертый подряд кадет, койку решили снять; отыскался, однако же, пятый храбрец, и он заболел. Тогда эту койку сожгли. В апреле 1813 года их сушею повезли обратно в Петербург. Пятого храбреца, прохворавшего целую зиму, везли в закрытом возке. В своей долгой жизни он больше ничем не прославился: службе морской предпочел другую, в жандармах, а в старости написал мемуары. Вспоминал он и об отношении кадет к политике: как их якобы не заботили судьбы России, а зато они знали все дворцовые сплетни и обожали государя. Прослышав про «измену» Сперанского, на бумажке, вырезанной как силуэт человека, писали его фамилию, привязывали за нитку к бумажной жвачке и жвачкой выстреливали в потолок, — это называлось «повесить Сперанского». Так же и Барклая де Толли «вешали». Потом говорили, что-де Сперанский был сослан безвинно, — кадеты об нем жалели.

13

Высокая дама в темном плаще, как и он, ждала почту. Бестужев на пристани видел ее каждый день. Осеннее бледное солнце слепило еще временами, таяли черные хлопья туч, и высокие белые пряди перистых облаков прошивали слабую голубизну. Но недолго дразнила погода. Врывался колючий ветер, и небо снова клубилось, а воздух делался влажен; в коротких затишьях повисала паутина дождя. По утрам красноватые валуны и гранитные стены Свеаборгской крепости покрывала седая изморозь.

Вероятно, они были прежде знакомы, Бестужев и эта высокая дама в темном плаще. Ее звали Любовь Ивановна Степовая. Они могли встречаться в Кронштадте, где муж Любви Ивановны — Михаил Гаврилович Степовой — служил инспектором штурманского училища. Заведуя морской практикой гардемарин, Николай Бестужев отлично знал всех кронштадтских начальников. Во

многих кронштадтских домах он был принят. И в скромных лейтенантских эполетах он всюду был на виду. Но все же настоящее их знакомство состоялось только в Свеаборге, на крепостном пятачке, где всего один дом, комендантский, и считался приличным.

Осенью 1812 года семьи многих кронштадтских морских офицеров выезжали кто куда мог: крепость готовилась драться не на жизнь, а на смерть, защищая столицу.

В Свеаборге он ее и заметил: тонкую, бледнолицую, загадочную. Немолодая особа, очень разговорчивая, её повсюду сопровождала. Проходя, Бестужев кланялся молча. Особа его раздражала.

Любови Ивановне было естественно пригласить Бестужева к чаю, а может быть — к обеду. С другой стороны, не мог же и он, как учтивый, воспитанный человек, не сделать ей обязательного визита. Как было им вместе не поскучать... В присутствии, разумеется, той болтливой особы. Николай Александрович был человек общительный и свободный в обращении; мог вести разговор, не опускаясь до суетной болтовни, однако и не вздымаясь в заоблачные умственные высоты. С ним в разговоре всякий себя чувствовал равным.

Любовь Ивановна, сидя за самоваром, чай разливала.

— Ну что бы делали люди, опутанные с головы до ног ложью привычных установлений, если бы не такие маленькие житейские удобства, как чай, например? — говорил Николай Александрович, улыбаясь, но все же довольно серьезно. — Разве не прекрасное изобретение чай? Он сближает людей и дает им короткий отдых от лжи, от скучных условностей, от непосильности душевных забот, от невозможности оставаться самими собою. Чай разогревает сердца; он побуждает застывших в недоверчивости людей сблизиться, сдвинуться вокруг стола, вокруг хозяйки, которая чай разливает... Чай располагает к веселости и откровенности. В скрытных и равнодушных он пробуждает душевное тепло...

В старину чаепитие было в России приятным и несколько даже торжественным ритуалом.

Любовь Ивановна, как говорили знавшие ее люди, была умная женщина и с характером. И конечно, умела слушать.

Перед сном, утомив кадет и пройдя еще раз по устроенной в зале комендантского дома спальне в со-

провожении дежурного солдата с фонарем, заглянув для верности в две-три койки, подвешенные в зале вместо кроватей, и убедившись, что шалуны на своих местах и нигде нет беспорядка, Бестужев наконец-то оставался наедине сам с собой. Он вспоминал ее ускользящую улыбку, беспомощную, печальную. Ее нечаянно-любопытный взгляд, чего-то ждущий и недоверчивый, как у птицы. Ночью, задув свечу и засунув любимую книгу — Стерново «Чувствительное путешествие» на английском языке — под подушку, он вспоминал лицо ее. Художнику, ему это было нетрудно. Представить себе воочию бледное, удлинённое очертаний лицо, и тонкую прямую фигуру, и темный чуть-чуть распахнувшийся плащ, и, может быть, даже — кружевной белый зонтик, такой нелепый, в ее тонкой руке, вырываемый свежим ветром... У нее рука бледная, нежная, в голубоватых прожилках.

Любовь Ивановна ему не казалась красавицей. Но в лице ее было нечто непостижимое, что еще притягательней красоты. Странное лицо — словно бы обнаженное. Нечаянно встретиться взглядом с ней боязно — хочется уклониться. Смотреть ей в лицо — как в чужое письмо, забытое на столе...

Женщине шло к тридцати, но в жизни ее ничего еще настоящего не было. Лет десять назад ее, «монастырочку», воспитанницу Смольного института, по сватовству вероятно, выдали замуж с сиротским приданым за Михайлу Гавриловича, служившего, может быть, вместе с ее отцом, офицером, убитым в одном из морских сражений. Муж был старше, но человек простой и недалек. Он в свое время выслужит и адмиральский чин, и солидную петербургскую должность, но это не скоро еще. В провинциальном Кронштадте они, можно думать, не из последних. Отчего-то вот только детей у них не родилось... Лицо ее сохраняло девичье, тревожное, ждущее выражение. Несмотря на поджатые тонкие губы и осторожный взгляд. В загадочной нежной бледности виделся уже признак романтический, интересный. За чайным столом улыбка слегка оживляла ее бледноватые губы, однако глаза оставались печальными, как у пойманной птицы.

Любовь Ивановна скучала, конечно, не по Кронштадту, где ее ждал тот же тускло сияющий самовар, в котором плющились вечерами две-три знакомые рожи, да темноватая комнатка, обклеенная, как тогда говорили,

бумажками. Время текло, как песок из перевернутой склянки...

Ушла наконец-то к себе надоевшая компаньонка. Любовь Ивановна робко потянулась рукой к опустевшей бестужевской чашке. Самовар еще не простыл.

— Стерн удивляется, что за французами слава самых сведущих волокит, — продолжал Николай Александрович начатый разговор. — Он даже клянется, что ничего нет глупее, как объясняться в любви с помощью слов. Так и хлопнуть признание... А серьезные люди всегда опасались этого слова. Лицемеры его отвергали во имя Неба. Себялюбцы — из уважения к собственной персоне, а прочие... Стерн уверяет, что надо быть дикарем, чтобы позволить хоть слову сорваться с губ, прежде чем молчание сделалось нестерпимым... Он говорит — довольно и нескольких маленьких знаков. Не столь заметных, чтобы вызывать беспокойство, но и не настолько неопределенных, чтобы их можно было оставить совсем без внимания. И время от времени — нежный взгляд... Пусть хозяйкой будет природа, она сделает все по-своему. И прекрасно...

Он ей никаких слов не скажет. Слова, когда они не подделка, так дороги, что не хватит жизни за них расплатиться. Он только накроет горячей и твердой ладонью, загрубелой от смоленых и несмоленых концов, ее тонкие пальцы, прижмет ее слабую руку к накрахмаленной скатерти. Молча. И может быть — про себя иронически усмехаясь...

14

Кстати, Наполеон ведь уже проиграл войну.

Вдруг стало невиданно много пленных. Не диво, что тысячную колонну ведет небольшой казачий конвой...

...Этот последний поиск был неудачен. Французский лагерь, на который они наскочили в сумерках, оказался велик для их маленького отряда. Французы храбро отстреливались. И еще — непогода. За всю войну Волконскому не привелось пережить другой такой промозглой ночевки в лесу, посреди подмерзающего болота. На виду у противника. Ни огня развести, ни каши сварить, ни согреться каким бы то ни было способом. Вьючные лошади отстали. Ни прикрыться чем не было, ни где

укрыться от ветра. На этом проклятом болоте Волконский простыл до костей, и простуда разрешилась тяжелой горячкой. Едва в могилу не угодил.

Горячка помешала ему быть в числе первых под Вильной, где представлялась возможность отличиться в глазах государя.

Под Вильной царь снова возглавил армию.

Когда после той промозглой ночевки в болотах Волконский догнал своих и сутки пробыл при главной квартире, он с досадой узнал, что штабные вояки, увлекшись какой-то сварой, дали французам уйти за Березину. Собственной несговорчивости ради они упустили Наполеона...

Утром выступали. Волконский отправил отряд. Сам остался, чувствуя в теле нестерпимую дрожь. Заболел. Но еще надеялся за день отлежаться: горячего выпить, выспаться на прогретой печной лежанке, пропотеть, а потом... Думал, завтра отряд догонит. Но жар усилился к вечеру. Голова раскальвалась, лицо горело, во рту пересохло, и стало трудно дышать. Он пил холодную воду стакан за стаканом, но жажды не мог утолить. Так худо еще никогда ему не было. Мысли путались. Он догадался попросить у старушки хозяйки рассолу огуречного: пил его чуть не ведром; и к утру почувствовал облегчение. Медик, присланный Репниным, узнавшим, что брат захворал, подтвердил ему пользу выпитого рассола.

В одиночестве, терпеливо справляясь с болезнью, — до прибытия медика только старушка помещица, в доме которой он был постигнут хворью, ухаживала за ним кое-как, — Волконский познал незнакомое прежде ощущение. Страх перед смертью.

Он прежде смерти совсем не боялся. В бою о ней даже не вспоминал. Теперь же все время об этом думал.

Едва на ноги встав, князь Волконский уверил своего эскулапа, что уже хорошо себя чувствует. Поскакал за своими вдогонку, гонимый прежде незнакомой тоской. Немного не доехав до Вильны, свалился снова, но чуть только смог подняться — опять поскакал. В самой Вильне еще раз свалился: так худо сделалось, думал — конец. Однако спустя недолгое время стал поправляться. Очень медленно.

В Вильне Волконский застал многих старых приятелей. Они все навещали его, расспрашивали, дивились, как его угораздило так не вовремя заболеть. Шутили. Орлов, Алексей, адъютант великого князя Константина

Павловича, знакомый Волконского еще с пансиона аббата Николая, так крепко обнял его, что трещали кости.

Шумный, могучий Орлов смеялся:

— Ну, ты, брат, такой худой теперь стал, — говорил он, — что в пору тебя на кресте распять, вместо здешнего Иисуса!

Он впрямь был живые мощи. И лицом изменился. От пригожести не осталось следа, все черты посуровели...

В Вильне Волконский жил у приятеля, штабного офицера. В доме пили, играли в карты, болтали о новостях: кто награжден и какие предвидятся новые назначения. Он от слабости и в разговорах не мог участвовать, но не тяготился чужою веселостью. Скопище шумной и праздной молодежи не раздражало его. Наедине становилось тоскливо. Когда сквозь привычный гомон с улицы доносилось звучание проходивших вблизи похорон.

Печаль поднималась в душе и долго не отпускала. Он никому не решался признаться в ней. Хотел понять, что с ним происходит. И как он мог прежде вовсе не думать о смерти? Когда, например, после разгульной жизни неожиданно очутился волонтером в Молдавской армии (потом уже догадался, что это — следствие мамашина попечения, из опасений, что влюбчивость на пользу ему не пойдет) и ему не терпелось, как многим из молодежи, грудь украсить «егорием», который у офицеров был редкость тогда и давался только за личную храбрость, проявленную в бою. Они тайком удирали на аванпосты, адъютанты тогдашние, надеялись как-нибудь отличиться. При всякой стычке с противником так и лезли под пули. Один прибывший из Петербурга приятель его старался особенно, — как говорили, он в любовном отчаянии смерти искал в бою. И Волконскому отставать от влюбленного было неловко. Ездоки они были так себе, не чета турецким джигитам. Однажды так далеко вперед заскочили, что рядом уже своих никого, а влюбленному горя мало. Волконскому пуля случайная в грудь ударила: он подумал, что прострелила насквозь. Пуля была на излете, ударилась в бурку и причинила контузию, но Волконскому показалось, что ранен смертельно. Он лошадь поворотил — спешил к своим умирать. В тот же день и забыл бы нелепое происшествие, если бы не генеральские строгости. Адъютанты обязаны были ежедневно являться к обеду. Генерал не терпел, чтобы его подчиненные проявляли большую храбрость, чем та, на какую он сам был способен. Сам же любил изучать

противника издали. Князь, хотя был контужен, признаться в этом не смел и обед высидел до конца. Каким все это было ребячеством!

Издали многое виделось заново: долгое отступление, партизанские поиски, наглые в начале войны французы, грабившие оставленные поместья, взбудораженные войной мужики... И то, как рекруты, виданное ли дело, плясали от радости. Патриоты! И московский пожар, его дальнее зарево, в свете которого ночью можно было читать поступившее донесение. Москва, свободная от французов, разграбленная, с черными головнями в снегу. Загаженные и превращенные в конюшни соборы московские. Варварство беспримерное...

А он сам, похожий на Иисуса, распятого на придорожном кресте?

Третья тетрадь

I

«Дражайший родитель! Вот уже почти три года, как я не имею об вас никаких известий. Много писал писем, но не получил на оные ни одного ответа. Конечно, болезнь или какое-нибудь другое злосчастное обстоятельство, думал я, вам то воспрещает. Я решился не писать до тех пор, пока точно не узнаю, где вы находитесь; не писал более года, но нужда снова меня принудила взяться за перо. Та минута, которую достигь жаждал я не менее как и райской обители — священного Эдема, но которую ум мой, утраченный философами, желал бы отдалить еще на время, быстро приближается. Эта минута есть переход мой в волнуемый страстями мир. Шаг бесспорно важный, но верно, не столь опасный, каким представили его моему воображению мудрецы, беспрестанно вопиющие противу разврата, обуревающего мир сей. Так, любезный родитель, я знаю свет только по одним *книгам*, и он представляется уму моему страшным чудовищем; но сердце видит в нем тысячи питательных для себя надежд. Там рассудку моему представляется бедность во всей ее наготе. Но... сердце показывает эту же самую бедность в златых цепях вольности и дружбы, — и она кажется мне не в бедной хижине и не на соломенном одре, но в позлащенных чертогах, возлежащею на мягких пуховиках, в неге и удовольствии. Там, в свете, ум мой видит ряд непрерывных бедствий и ужа-

сается! Несчастья занимают первое место; за ними следуют обманы, грабительства, вероломства, разврат и так далее... Безрассудный! в свете каждая минута твоя будет отравлена горьким страхом, и ты не насладишься жизнью! Хотя бы ты проходил свет ошупью, но не избежнешь несчастий, скрытые сети вовлекут тебя в оные, и ты погибнешь! — так говорит мой ум. Но сердце, вечно с ним соперничающее, учит меня противоположному: иди смело, презирай все несчастья, все бедствия, и если оные постигнут тебя, то переноси их с истинною твердостью, — и ты будешь героем, получишь мученический венец и вознесешься превыше человечества! Какие сластные мечты!.. О! я повинуюсь сердцу!..»

Не чудак ли этот странный мечтатель с душой фанатика, постигающий мир из книг? Написавший отчаянное письмо отцу — человеку давно чужому, холодному сердцем, с детства памятному лишь своим жестоким тиранством, мучительством близких. И много ли мог он помнить о доме, вырванный лет шести из теплого семейного гнезда, отданный в корпус? На что его родителю, равнодушному, перед гробом стоящему, выпревшие надежды семнадцатилетнего юноши, ждущего встречи с жизнью, а если проще сказать — выпуска в офицеры? Отцу, ничего не достигшему в жизни, ничего и не видевшему в ней, кроме жестоких разочарований.

Чьи уроки юноша затвердил? Не отцовские ли? Отвечал же он прежде, хотя бы изредка, на сыновние письма. Учил разумному, как он сам понимал, поведению.

«Следовать разуму, — пишет юный философ, — есть быть человеконенавистником, людей не считать людьми и искать их при свете ясного дня с фонарем. Но поступи так и ты будешь счастлив! Бедствие никогда не постигнет тебя...» Не отцово ли это отношение к жизни?

Сообразуясь с малым собственным опытом и с велением сердца, юноша, смелый и своевольный, не принимает это как данное. Разве счастье всего лишь в отсутствии бедствий? Так думать — и жизнь пронесется мимо! Он спорит с отцом: «Не лучше ли, — возражает он разочарованной старости, — любить своего ближнего с нежною дружбой, не раздражать его самолюбия, не хулить чужих поступков, — и злоба их никогда не коснется тебя, и ты будешь тоже счастлив, хотя счастье будет и зыблемо, хотя ты падешь в бедствии, но... друг утешит тебя в твоей горести, и ты найдешь отраду в его состра-

данин, и возвращение твое к счастью будет неизъяснимо приятно, с рукоплесканиями твоих друзей... Вот, любезный родитель, каковы мои мысли!» — учительно заключает он, не сознавая в заносчивой слепоте своей юности, как ядовиты для отца эти истины.

«Вот мои правила!» — утверждает он с дерзким упрямством.

«Любезный родитель», все это прочитав, покривился, естественно, и... ничего не ответил. За выпреним суесловием сына он видел только плохо спрятанную корысть. Ибо за философскою частью письма, как и всегда, следовала практическая.

«Отечество наше, — писал ему сын, — потерпело от врага вселенной, нуждалось в воинах, кои и были собраны. Из нашего корпуса были нынешний год три выпуска... Слышно, что будет новый выпуск в мае месяца будущего 1813 года. Мои лета и некоторый успех в науках дают мне право требовать чин офицера артиллерии; чин, пленяющий молодых людей до безумия и который мне также лестен, но ничем другим, как только тем, что буду иметь я счастье приобщиться к числу защитников своего отечества, царя и алтарей земли нашей, приобщиться и возблагодарить монарха кроткого, любезного, чадолюбивого — за те попечения, которые были восприняты обо мне во все время долголетнего пребывания моего в корпусе».

Пробежав торопливым взором страницы письма, где сын обещал возблагодарить обожаемого монарха «мужеством и храбростью на поле славы», отец не без видимого злорадства нашел наконец и самую суть его, для которой назначено было все это многоречивое предисловие: «Я буду проситься в конную артиллерию, ибо вообще конная служба мне нравится», — сообщал сын легкомысленно. Далее шли денежные счета на предмет предстоящей обмундировки. Сообразуясь с общей дороговизной и вовсе не думая об отцовских обстоятельствах, сын предъявил длинный список необходимого офицеру при выпуске: «Два мундира, сюртук, трое панталон, жилетки три, рейтузы, хорошенькая шинель, шарф серебряный, кивер или шишак, конфедератка, тулуп и прочее», — все это обойдется, писал он, тысячи в полторы. «Да с собою взять рублей до пятисот, а не то придется ехать ни с чем», — прибавлял он беспечно. И ко всему еще просил прислать в первом же письме пятьдесят рублей, «дабы нанять учителя биться на саблях».

Отцовские обстоятельства были уже хуже некуда, и отец в конце концов отписал неразумному юноше, что более скромный в своих желаниях сын не просил бы, не требовал бы прислать ему эти две тысячи, а воспользовался бы казенным пособием да поскакал бы нетерпеливо к родителю — двенадцать лет ведь не виделись! — за благословением, а тогда уже, может быть, и получил бы что-либо, в соответствии с денежными делами отца. Не то был бы рад и казенному обмундированию...

Получив суровый ответ через полгода, сын снова писал, уже в середине июня 1813 года, с упрямством и всею возможной учтивостью: «Дражайший родитель! Письмо ваше получено мною. Я не мог оное читать без пролития слез и сокрушался сердцем, что вы, не разобрав все в совершенстве, меня вините. Вы пишете, что письма мои наполнены противоречиями, — я немало сему удивляюсь! Копия с оных и теперь еще лежит передо мной, я в них ничего такого не нахожу, кроме разного назначения времени выпуска; вот тому причина: после прошлогоднего выпуска ожидали вдруг другого, оной не случился... Но теперь уже подходит то время, в которое обыкновенно бывают годовые выпуски. Зная, сколь неприлично мне оспаривать мнение отца, хотя и несправедливое, оставляю то. Будьте уверены, что желание ваше, дабы я приехал к вам, есть и мое собственное, оно во что бы то ни стало будет свято исполнено. Но с чем я поеду к вам? Как проживу две трети года без жалованья? Вот два вопроса, которые прошу вас разрешить. Просил я у вас 50 р. — дабы нанять учителя биться на саблях, ибо я выйду в конную артиллерию, но не получаю никакого на то ответа, осмеливаюсь повторить свою просьбу. За сим свидетельствую сыновнюю мою к вам любовь и почтение, остаюсь покорнейший сын ваш К. Рылеев».

«Дражайшая матушка Настасья Матвеевна! Ровно почти через год я вновь переправляюсь через Рейн. Какая величественная река! Какое чудесное зрелище! При приближении к ней я ощутил некоторый род благоговения, — множество различных чувств волновали душу мою!.. Года за четыре перед сим кто предполагал, что войска чужих стран так легко будут переправляться через реку сию? Этого мало! кто мог предполагать столь быстрые действия союзников и столь слабое сопротивление

ние противников? Но обстоятельства переменились: что было за четыре года, что могло быть тогда — то не будет и не может быть теперь. Великая нация теперь слабая, войско ее — шайка разбойников, начальник — странствующий Дон-Кихот. Но куда завели меня мрачные размышления? Как могу я определять случаи будущности? Время, время! — лета, скорее удвойте полет свой: любопытство знать будущее снедает меня... С глубочайшим почтением и такою же преданностью ваш всепокорный сын Кондратий Рылеев».

Приписка: «Право, некогда — еду вперед!»
А впереди — Париж.

2

Дважды вступали победным маршем в Париж войска союзников, но их путь не был легким. После временных неудач, последовавших неожиданно весной 1813 года, уже за пределами российских границ, и после недолгого затишья, в осенние непогожие дни антинаполеоновская кампания вступила в завершающий этап. На стороне России снова были ее союзники: отставшая от подневольного соучастия в походах Наполеона Пруссия и переменчивая в поисках своего интереса Австрия. Приближалась грандиознейшая — в глазах всей Европы — неотвратимая катастрофа. В ходе этих назревающих событий вдруг патетически выросла фигура императора Александра. Хотя он с прежней учтивостью оставлял генералам-немцам их право одерживать победы в битвах с Наполеоном или терпеть от него поражения. Роль Александра на исторической сцене была иная. Выгодно оттененный, с одной стороны, ничтожностью прусского короля, а с другой — ненадежностью австрийского императора, Александр Павлович был перед лицом всей Европы герой и освободитель. Его гибкие рассуждения о будущем Франции, не исключавшие возможности даже республиканского правления, рождали, у молодежи особенно, радостные иллюзии относительно широты его политических убеждений. И хотя все завершилось водворением в Париже Людовика Восемнадцатого, жалко прозябавшего за пределами Франции брата казненного революцией французского короля, приятные впечатления о политических рассуждениях Александра долго еще сохранялись. Ему принадлежали слова: «Если по остатку малодушия они — государи европейские! —

еще упорствуют в своей пагубной системе покорности, то должен раздаться глас народа, чтобы властители, ввергающие своих подданных в позор и несчастье, были увлечены им к мести и славе!»

Александр Павлович не скупился на обещания, уверенный, как всегда, что между любимыми словами и делом лежат горы препятствий.

Но каким же титаном он виделся в этот момент своим молодым современникам, этот скромный, вежливый, немного даже застенчивый человек с мягкими и приятными чертами лица и несколько отяжелевшей уже фигурой, умный, умеющий очень ласково улыбаться... Казалось даже, что, потрясенный народным подвигом, он полюбил свой народ, готов был сблизиться с ним, проникнуться доверием и уважением к своим подданным! И конечно он был благодетель Европы. И Франции.

«Россия была спасена, но для императора Александра этого было мало, — писал Якушкин в своих очень правдивых воспоминаниях. — Он двинулся за границу со своим войском для освобождения народов от общего их притеснителя. Прусский народ, втоптаный в грязь Наполеоном, первый отозвался на великодушное призывание Александра; все восстало и вооружилось. В тринадцатом году Александр перестал быть царем русским и обратился в императора Европы. Продвигаясь вперед с оружием в руках и призывая каждого к свободе, он был прекрасен в Германии. Но он был еще прекраснее, когда мы пришли в четырнадцатом году в Париж...»

3

В битве под Кульмом русская гвардия простояла весь день перед неприятелем, вчетверо сильнеею, но не уступила ни пяди. Геройски показал себя Семеновский полк, награжденный за Кульм памятными знаменами. В битве под Кульмом был ранен в ногу Матвей Муравьев, а Якушкин, оставшийся в своем батальоне единственным офицером, не раненным и не убитым, в рукопашной схватке ободрял солдат, вскинув шпагу над головой, за что и получил свой «егорьевский» крест.

Несколько дней спустя он писал из Теплица своему полковому другу Ивану Николаевичу Толстому:

«С каким удовольствием, любезный Иван Николаевич, мы узнали от Кознакова, который приехал сегодня, что тебе лучше и что мы скоро будем иметь удовольствие опять наслаждаться твоим присутствием. Письмо твое к братцу отправлено — касательно твоего жалованья, — я постараюсь им расположить по твоему желанию; только не знаю, найду ли купить лошадь: твари этого рода здесь очень дороги. Прости, любезный друг, выздоравливай поскорей и приезжай к своим друзьям, которые ожидают тебя с отверстыми объятьями. Навсегда твой...»

Для сюжета было бы, разумеется, интереснее, если бы письмо адресовано было Матвею Муравьеву, который тоже отстал временно от полка. Он, естественно, получал от Якушкина письма, но в предвидении известных неприятностей, может быть перед арестом, архив уничтожил, и письма не сохранились. Толстому ничто не грозило — он один из немногих сохранил все письма Якушкина.

Брат Матвея Муравьева Сергей писал родным из немецкого городка на Рейне: «Мы тут отдыхаем теперь, после столь славной, но и тяжелой кампании». Он сообщал, что Матвей поправляется, скоро будет совсем здоров, что, возможно, им еще доведется и вместе повоевать в Семеновском полку, что за участие в Кульмском сражении брат награжден все же меньше, чем заслужил, и что сам он, Сергей, с большой радостью передал бы Матвею лучший из своих орденов, потому что Матвей достойнее... Писал он еще о том, что недавно чуть было не свиделся с двоюродным братом Никитой Муравьевым, который заскочил к ним ненароком, квартиру даже нашел, но сперва Сергея не оказалось дома, а когда Никита зашел еще раз, Сергей спал, и Никита его будил-будил, но не добудился, хотя долго дергал за руки, в бок толкал, позорачивал... Так и уехал в досаде.

На войне, однако, Никита Муравьев никому не показался нерешительным или робким. Он делал весь заграничный поход, участвовал в нескольких сражениях. Но главное — сумел убедить матушку отпустить его в армию!

Сергей Муравьев-Апостол в одном из сражений попался на глаза генералу Раевскому и так приглянулся ему, что Раевский приказал Муравьеву быть при себе

неотлучно. Он и в семнадцать лет уже был удивительный человек, Сергей Муравьев. Изящный, тонкий, умный, но и практичный не по летам, очень серьезный; вместе с тем — самоотверженный, лишенный самодовольного эгоизма. Его любил даже трудный характером и недоверчивый Батюшков; служа вместе при генерале Раевском, они часто вдвоем философствовали...

И Батюшков был в это время в Теплице. В юные годы он вместе с Писаревым служил, командиром третьего батальона Семеновского полка. Они встретились дружески, хотя Писарев был уже гвардейский полковник, а Батюшков и в конце войны — армейский капитан. Его всегда обходили и чином и орденами, — он Гнедичу признавался, что даже плакал, обиженный!

В феврале 1813 года Батюшков из Нижнего Новгорода перебрался опять в Петербург, с единственной целью — добиться, несмотря на расстроенное здоровье, отправки в действующую армию. Один генерал еще в Нижнем обещал взять его адъютантом, но раны задерживали генерала в тылу. В Петербурге нетерпеливый Батюшков сам напросился в курьеры, что было в его годы смешно. Да он и сам над собою подсмеивался — в письме к старой приятельнице Елене Григорьевне Пушкиной.

«Представьте себе, — писал он, — Батюшкова, который оставляет Петербург вдруг, скачет две тысячи верст сломя голову, как говорят у нас в России, приезжает в главную квартиру под Дрезден, разезжает в ней десять дней взад и вперед под пушечными выстрелами, единственно затем, чтобы сдать какие-то депеши, наконец сдает их, остается у Раевского, делает с ним всю кампанию — и какую кампанию! — вступает с армией в Париж, проведя два месяца в шуме и в кружении головы, делаясь между рестораторов, спектаклей, парадов, встреч королей и проч...»

«Часто мы просиживали на высотах Шлоссберга, посреди романтических развалин, — вспоминал К. Н. Батюшков свое пребывание в Теплице, — и любовались лагерем, который расстилался под нашими ногами: от башен Теплица вдоль по необозримой долине, огражденной лесистыми неприступными утесами Богемии... Мы бродили по лагерю... посреди пушек, и пирамид

ружей, и биваков, и веселились разнообразием войск, столь различных и одеждою, и языком, и рождением, но соединенных нуждой победить...»

4

Раевский, как все, томился ожиданием решающей битвы. Человек очень умный и, по замечанию Батюшкова, удивительно искренний, до ребячества, при всей хитрости своей, он пробуждал к себе наряду с уважением какое-то невольное любопытство. Небольшого роста, но крепкий и все еще моложавый, вопреки пробивающей черноту волос уже густой седине, Николай Николаевич Раевский был непохож на других александровских генералов: ироничный, гордый, чуждый придворной угодливости человек. Ему это стоило многих наград и чинов. Сосредоточенный, замкнутый, порою надменный и недоверчивый, вспоминал о нем Батюшков: слишком знает людей! А иногда вдруг — непостижимо добрый, душевный... Раевского все уважали, — и те, кто его не любил. Он был прямой контраст «болтливому Боярду» — романтическому графу Милорадовичу, храбrecу несравненно-му, но позеру и любимцу двора.

При Раевском Батюшков был целый год неотлучен: ел и спал при нем, — казалось ему, генерала он познал в совершенстве. «Раевский славный воин и иногда хороший человек, — писал он. — Иногда — очень странный...»

Вечерами Раевский, случалось, звал Батюшкова к себе — просто так, поболтать. Войска стояли в бездействии, и время свинцом лежало у генерала на сердце. Он по обыкновению много курил, почитывал журналы, брал на колени и гладил свою американскую собачку — прегнусного мопсика, которого адъютанты лупили исподтишка, но при генерале ласкали; Батюшков стыдился этого, он был тоже искренен до ребячества.

Постепенно все расходились.

— Садись, — говорил Батюшкову Раевский. — Хочешь курить? Я же знаю, что ты куришь...

— Благодарствую, — сдержанно отводил предложение Батюшков.

Он из гордости не позволял себе вольностей в присутствии генерала. Курить при нем — вольность. Сидеть рядом — и то уже вольномыслие, которое многими осуж-

далось. Приятель Блудов Батюшкову рассказывал, как они, молодежь тогдашняя, служили при фельдмаршале Каменском, который тоже любил на досуге беседовать с умниками и кофе пить в их присутствии. Граф Каменский в кресле сидел, окруженный стоявшими секретарями и адъютантами, и милостиво задавал им вопросы. «Спасибо еще, что не лежа и не в халате!» — смеялся Блудов.

Раевский, человек современный, себе такого не позволял.

— Давай говорить, — обращался он к Батюшкову с обычной твердостью в голосе.

— Извольте, — отвечал Батюшков.

Но слово за слово — и разговор становился занимателен для обоих. Раевский был не слишком учен, но что знал, то уж знал, и его ленивый в мирное время ум временами делался и остер и замечательно ясен. Колкости Раевского были всегда неожиданны.

— Из меня сделали римлянина, милый Батюшков, — говорил Николай Николаевич. — Из Милорадовича сделали великого человека, из Витгенштейна — спасителя отечества... Я — не римлянин, но и те господа не великие птицы. Вот царь приехал, и все великие люди исчезли, остались посредственности... Небылиц про нас в Петербурге много печатают. Про меня, например, что будто бы под Дашковкой я в жертву принес моих детей...

— Помню, как же! — откликнулся Батюшков. — Вас до небес вознесли...

— За то, чего я не делал, — перебил его Раевский серьезно. — А за мои истинные заслуги превознесли Милорадовича и Остермана. Вот вам и слава, и плоды трудов наших...

— Но помилуйте, ваше высокопревосходительство, Николай Николаевич, разве не вы под Дашковкой, взяв за руки сыновей ваших, взошли на мост, повторяя: «Вперед, ребята!.. Я и дети мои откроем вам путь к славе!..» Или что-то подобное?

Раевский искренне рассмеялся.

— Ты же сам знаешь, Батюшков, что я так витьева-то не говорю никогда. Ну, правда, я тогда был впереди. Мои солдаты пятились, и я ободрял их, а со мной были мои адъютанты и ординарцы... По лезую сторону от меня всех перебило и переранило, на мне картечь остановилась... Моих детей вовсе не было там. Младший

сын в лесу ягоды собирал, он тогда был еще ребенок, и случайная пуля порвала ему штаны, вот и вся истина! Весь анекдот был сочинен в Петербурге от слова до слова, и твой приятель Жуковский в стихах эту глупость воспел, а потом уж граверы, журналисты, нувеллисты! Все спешили воспользоваться удачей... И так я был пожалован римлянином. Вот как пишут историю.

Сражение под Лейпцигом началось 16 октября 1813 года.

Огонь с утра был жестокий. Раевский из любопытства несколько часов подряд разъезжал под ядрами, осматривая прусские посты и позиции. Батюшков был вынужден рядом с ним проявлять, как ему представлялось, бессмысленный героизм.

«Признаюсь тебе, — писал он назавтра Гнедичу, — что для меня это были ужасные минуты; особенно те, когда генерал посылал меня с приказаниями то в ту, то в другую сторону: то к пруссакам, то к австрийцам, — и я разъезжал один по грудам тел убитых и умирающих. Не подумай, чтобы это была риторическая фигура. Ужаснее сего поля сражения я в жизни моей не видел».

По числу жертв «битва народов» под Лейпцигом превзошла и Бородино. Составленная немецкими генералами диспозиция была неудачна, не все войска союзников успели подойти вовремя, — исход сражения далеко не был предрешен.

Располагавшийся позади корпуса генерала Раевского на небольшой возвышенности Александр кожей чувствовал небезопасную близость на глазах у него происходившего боя. Гром пушек отчетливо слышался. Сквозь лорнет Александр вглядывался тревожно в растущие перед ним груды убитых солдат... Красиво начавшаяся атака легкой кавалерии захлебнулась, расстроилась. Страх оказаться обойденным неприятельскими драгунами и, может быть, попасть в плен побудил императора слишком поспешно распорядиться прикрытием: казаки были брошены им на поддержку рассеянных выстрелами гусар...

Вблизи спокойно-деловитого Раевского град гранат казался Батюшкову не столь опасным, и посвист пуль легче было терпеть. Они стояли против густой цепи не-

приятеля. Направо, налево — все было опрокинуто: что австрийцы, что пруссаки... Только русские гренандеры держались. Раевский стоял в их цепи безмолвно-мрачный. Дела шли нехорошо. Батюшков, пряча тревогу, поглядывал на Раевского: видел на лице его неудовольствие, но беспокойства ни малого... Вот кто в опасности истинный был герой. В такие мгновения Раевский казался прекрасен: глаза его разгорались, как угли, и благородная осанка делалась величественной.

Глядя, как Писарев летает вихрем на коне перед своим батальоном, по грудам тел — уж точно по грудам! — Раевский негромко сказал Батюшкову:

— Писарев молодец.

Французы, казалось, усиливались, а цепи русских гренандер редели, но — никто ни шагу, ни вперед ни назад...

Лицо Раевского внезапно переменилось, и Батюшков подумал, что дела, видно, плохи. Однако Раевский, поворотясь к нему корпусом, — оба верхами стояли, — тихо сказал:

— Батюшков, посмотри, что это... — он взял руку Батюшкова и сунул ее под плащ себе, но в растерянности Батюшков не понимал, чего он хочет; тогда Раевский высвободил от поводьев руку и, сунув ее за пазуху, хладнокровно посмотрел на запачканные кровью пальцы свои.

Батюшков ахнул и побледнел, но Раевский сухо предупредил:

— Молчи.

Прошла еще минута, другая... Пули вокруг свистели. Наклонившись к Батюшкову, Раевский шепотом приказал:

— Отъедем немного. Я сильно ранен.

Когда отъехали, попросил негромко съездить в деревню за лекарем. Батюшков поскакал. Нашел докторов около резерва, но первый наотрез отказался с ним ехать под пули, второй поехал. Генерала уже не было там, где Батюшков его оставил. Казак пикой ткнул в сторону чудом уцелевших домов. Поскакали туда. Раевский сходил уже с лошади, поддерживаемый адъютантами. Лицо его было бледное, страдающее, но все беспокойство — только об оставленных гренандерах. Раевский то и дело поворачивался в сторону, откуда пальба доносилась, пока его раздевали. Сняли плащ, мундир, фуфайку, рубашку... Пуля раздробила грудную кость, но не вошла в

нее — сама собой выпала; пробила подбитый клеенкою плащ и суконный мундир и застряла в стеганой ватной фуфайке. Кровь сильно текла из раны. Суетились нервно адъютанты. Батюшков, которому рана показалась смертельной, болезненно побледнел и шепотом спросил что-то у хирурга. Глуховатый, как все артиллеристы, Раевский слов его не расслышал и, поворота лицо к бледному Батюшкову, произнес:

— Чего бояться, господин поэт?.. — так он шутил звал Батюшкова, желая показать расположение к нему; и вдруг с живостью прочитал по-французски вольтеровский стих:

Все, что имею, — кровь мою —
Всю за отечество пролью...

Это потрясло Батюшкова. Разорванная рубашка, кровь ручьем, лекарь с окровавленными бинтами, суеящиеся вокруг офицеры: ведь ранен лучший, может быть, в целой армии генерал! И пальба беспрестанная, дым, грохот...

Не слушая лекаря, Раевский позволил только перевязать себя и сел на коня. В тот день Лейпцигское побоище не кончилось. Он отправился назавтра проверять отбитые казаками, но все же побывавшие в руках неприятеля русские батареи. Отказался покинуть обожавших его гренадер. Но через несколько дней у Раевского сделался жар, ему стало очень плохо, и он наконец позволил увезти себя в Веймар лечиться. Дал отдых на время и адъютантам — всем, кроме Батюшкова, которому особенно доверял. Раевский послал его с личной просьбой узнать что-нибудь про своего младшего брата Василия Львовича Давыдова, — говорили, что Давыдов был убит во время неудачной гусарской атаки, и труп его не нашли.

Наступило тягостное затишье. Пасмурное, печальное утро вставало. Удержанное союзниками поле боя покрыто было трупами людей, лошадей, разбитыми зарядными ящиками, лафетами пушек и кучами ядер, гранат; кое-где еще слышались вопли умиравших. Близ полудня хлынул невиданный ливень — спрятал страшное поле за мокрой завесой. С поручениями Раевского Батюшков объехал весь Лейпциг кругом. Расспросив гусар, он узнал про Давыдова, что тот был действительно весь изранен, когда в последний раз его видели. После этого Батюшков побывал в соседнем пехотном корпусе, где

служил старший сын генерала Раевского, Александр Николаевич. Этот был цел-невредим.

Василий Львович Давыдов через несколько дней отыскался: он, израненный, попал в плен, а потом его отбили у французов пруссаки и переслали к своим.

5

Под Лейпцигом закончил военный поход князь Сергей Трубецкой, раненный в ногу ядром. В полк он вернулся уже в Петербурге — полковым казначеем.

По свидетельству знавших его, Трубецкой был безупречно смелый и добросовестный офицер. Его отличало чрезвычайное хладнокровие в моменты опасности. Якушкин рассказывал с удивлением, как, стоя в резерве при Бородине, где они под разящим огнем неприятеля находились четырнадцать часов сряду, Трубецкой держался с таким же спокойствием, с каким он обыкновенно сидел в землянке за шахматами. При свисте ядер и пуль ходил, не стесняясь своего роста, и успокаивал товарищей, приносил известия об успешно отбитых неприятельских атаках. Якушкину запомнился и случай под Люценом, где французы из сорока орудий громили стоявшие насмерть полки русской гвардии. Трубецкому вздумалось пошутить над офицером, которого знали как труса: он бросил ком земли ему в спину, и тот повалился, считая себя убитым. А при Кульме две роты Семеновского полка, уже не имевшие в сумках ни одного патрона, посланы были штыками да громким «ура» прогнать французов с опушки леса, и князь Трубецкой шел спокойно впереди своей роты, в полный рост, и размахивал шпагой над головой...

6

Летом 1812 года, в только что захваченной Вильне, начиная поход в Россию, Наполеон хвалился русскому генералу Балашову, присланному императором Александром для последних переговоров, что на войну он обычно ходит, как на охоту, и может себе позволить ежегодно «расходовать» триста тысяч солдат. Но за два последующих года он потерял много больше, чем мог позволить себе, и теперь маневрировал тем, что осталось от некогда громадной армии, еще надеясь дерзостью маневра восполнить утраченное. Его неожиданные броски

в самом деле ошеломляли, но эта дерзость казалась уже груба. Союзные армии мощно его теснили. Наполеону оставалось последнее: бросить на карту Париж, сохраняя свободу действий...

29 марта 1814 года русский авангард под командованием генерала Раевского с боем занял Бондийский лес.

Штаб-квартира императора Александра обосновалась в Бондийском замке. Тридцатого на рассвете двор замка заполнили военные в разноцветных мундирах. Все ждали выхода императора Александра, взявшего на себя командование *Парижским* сражением. Пушки вдали уже подавали голос. Войска приходили в движение. В это время во двор замка привели французского парламентаря. Он был один и в руке держал белый платок, привязанный к шпаге. Видимо, это был пленный, придумавший остроумный способ возвратиться к своим. Его тем не менее повели к императору, и Александр с ним беседовал полчаса.

Теперь, когда поражение Наполеона казалось неотвратимым, Александра заботило все, что касается Франции. Его скромности поражались надменные прусские генералы, привыкшие брать города на шпагу. Русский император только и рассуждал, что о будущих делах мирной и свободной Европы. Его забота была о бескровном и безопасном для населения вступлении армий в незащищенный Париж!

Российский министр иностранных дел граф Нессельроде, маленький человек, в высшей степени исполненный чувства собственного достоинства, с важностью выслушал высочайшее повеление тотчас начать переговоры с французами о капитуляции Парижа. Скрывая недоумение, он отвечал деловито, что, разумеется, при первой возможности начнутся переговоры...

— Нет, граф, — живо возразил ему император, — именно теперь, не мешкая, начинайте переговоры!

Генерал-адъютант Уваров, который присутствовал при этом, как бы ненароком оказавшись во дворе, отыскал там флигель-адъютанта Михайлу Орлова, двадцатипятилетнего полковника гвардии, имевшего опыт переговоров с французами. Небрежно пересказал ему беседу государя с министром иностранных дел.

— Да просто надо французам доставить возможность самим начать разговор о капитуляции, — беспечно улыбнулся Орлов. — Они на это пойдут в теперешнем положении. Послать к ним кого-нибудь из военных — с правом

остановить огонь по всему фронту в любой момент и даже при наступлении...

Уваров кивнул молча и скрылся.

А вскоре Михайлу Орлова кликнули к императору.

Готовый к парадному выходу, в мундире и голубой андреевской ленте, особенно бывшей ему к лицу, государь стоял посреди нелепой, кое-как обставленной комнаты, служившей ему кабинетом. Как бы рететируя, он произнес небольшую речь: ясно и скоро исчислил данные о состоянии неприятельских войск, заключив, что, по сути, Париж теперь беззащитен, лишенный и своего великого мужа, который с остатками армии где-то блуждает в надежде посредством уловок поправить свои пошатнувшиеся дела. Париж им оставлен на попечение маршалов Мармона и Мортье с их весьма поредевшими корпусами. Они не способны, да вряд ли и пожелают сопротивляться. Превосходство союзников чересчур очевидно. В самом Париже ничего не оставлено, кроме национальной гвардии.

— Ступайте! — обратился он вдруг к Михайлу Орлову торжественно. — Я даю вам право остановить огонь там и тогда, где и когда вы сочтете это необходимым. Желая предотвратить бедствия парижан и ненужное кровопролитие, я облакаю вас властью прервать атаку, если даже она чревата скорой и легкой победой. Я верю, что Париж неспособен защищаться, и я не хочу... Господу, дарующему нам эту победу, угодно, чтобы ее плодами я воспользовался для дарования мира и спокойствия Европе. И Франции... Мир в Париже должно установить без сражения...

Государь выдержал долгую паузу, а потом вдруг закончил речь неожиданно жестко:

— Если же нет, нам придется уступить печальной необходимости. Волей или неволей, с бою или парадным маршем, во дворцах или на развалинах, но Европа сегодня же должна ночевать в Париже!

Орлов понял, что эта красивая фраза — приказ, и бодро ответил, что все будет как угодно его императорскому величеству.

За эту понятливость государь Михайлу Орлова всегда отличал.

Привели лошадь «парламентеру», и Михаила Орлов, прихватив еще двух трубачей и одного офицера, поскокал с ними к только что отбитой у французов деревне. Он приказал прекратить огонь и велел трубачам тру-

бить. Выстрелы смолкли. Француз поскакал к своим. И там вскоре тоже перестали стрелять. Вдвоем с офицером Орлов подъехал шагов на тридцать-сорок к французской цепи. Остановились в ожидании. «Парламентер», смешавшись со своими, исчез. Внезапно тишину прервали дикие крики и почти одновременно грянул залп. Десятка два конных егерей вырвались из французской цепи и поскакали к парламентарам, что-то громко крича на скаку. Орлов едва успел выхватить саблю из ножен, чтобы встретить удары наскочивших кавалеристов, а спутник его отбивался нагайкой. Поскакали назад, и французы следом. Неестественно возбужденные, они заскочили в русскую цепь и взяты были в плен. Оказалось — пьяные.

За день Орлов сделал несколько безуспешных попыток вступить в переговоры с противником.

Кровь продолжала литься с обеих сторон.

Ядра достигали уже парижских окраин, и это произвело впечатление на французов. Часам к четырем пополудни появился настоящий парламентер. В это время Александр делал смотр своей гвардии, готовый бросить ее в огонь для достижения скорейшего результата. Вечер близился. За Орловым послали, и государь приказал ему поговорить с французом. Орлов поговорил — убедился, что этот парламентер в сущности тоже лишен полномочий; он только требовал немедленно прекратить наступление. Но это значило бы надолго отсрочить победу или даже лишиться ее. Французу было отказано, а Орлов получил предписание отправиться с парламентером к маршалу Мармону. Они поскакали вдвоем, стараясь держаться поближе друг к другу и все же рискуя попасть под пули не с той, так с другой стороны.

Издали Орлов увидел в цепи французов маршала Мармона и поневоле залюбовался им: со шпагой в руке маршал жестами и словами ободрял своих солдат, и его лицо показалось Орлову печальным и мужественным. Когда приблизились, маршал Мармон первым назвал себя и спросил: с кем имеет честь?

— Я полковник Орлов, флигель-адъютант его величества императора всероссийского, желающего спасти Париж для Франции и для мира, — звонко ответил русский парламентер.

— Это и наше желание, — сказал сухо маршал. — И наша единственная надежда... В противном случае нам остается только умереть. Какие ваши условия?

— Наступление будет немедленно остановлено, — твердо ответил Орлов. — Все французские войска должны войти в город, за укрепленные заставы, и тотчас будет назначена комиссия для переговоров о сдаче Парижа.

— Согласен, — коротко произнес Мармон. — Прекращайте огонь. Ждем вас у Пантенской заставы... Прощайте.

Возвращаясь, Орлов слышал, как по всей линии французской обороны перекатывалось: «Да здравствует император! Да здравствует великий Наполеон!» — это храбрые защитники Парижа ободряли себя. Русские офицеры с трудом удерживали солдат от стрельбы. И Орлов дорогою, строго нахмуря брови, чтобы не рассмеяться, остановил одного гренадера, который просил очень жалобно: «Ваше высокоблагородие, ну дозвольте мне еще хоть одного — вон того, последнего подстрелить!» Орлов не позволил, солдат, сердито ворча, потащился к своим...

В комиссию для переговоров о сдаче Парижа кроме графа Нессельроде и Михайлы Орлова вошли два немца: один от пруссаков, а другой — из лифляндцев — по просьбе графа, как служака самый старательный. У Пантенской заставы их ждал маршал Мармон. Оборонявший с ним вместе Париж маршал Мортье должен был вот-вот подъехать, и, чтобы времени не терять, Мармон предложил выехать навстречу ему. Прежде чем граф Нессельроде успел обдумать, прилично ли это, Орлов ответил согласием. Медленно двинулись вдоль внутренних городских укреплений. Успокоительный цокот копыт один нарушал тишину. Орлов отметил привычным глазом: французы отошли в полном порядке, солдаты стояли бодро, опираясь на ружья, попадались незнакомые мундиры — национальная гвардия не ходила в русский поход. А куртины, заметил Орлов, оснащены слабовато, — похоже, что все это для видимости, не для действительной обороны. Парижа им, конечно, такими силами не удержать. Едва ли и станут удерживать. Больше всего его поразило спокойствие парижан. Тишина. Это было особенно странно в сравнении с русскими городами. Ни малейших приготовлений к защите города со стороны населения.

Близ Виллетской заставы им встретился маршал

Мортье. Был пятый час пополудни. Они вошли в какой-то трактир и приступили к переговорам.

Вопрос о капитуляции был предрешен. Спор возник о войсках, обороняющих город. Граф Нессельроде торжественно изложил волеизъявление российского и прусского государей: Париж должен сложить оружие. Маршалы возразили, что сдать без боя оружие значит покрыть себя вечным позором, — лучше они себя похоронят под развалинами Парижа, чем пойдут на это бесчестие. В душе Орлов им сочувствовал. Холодно слушал, как граф Нессельроде пытался красноречием утвердить свой резон. Сдать оружие, говорил он, это единственный способ принудить Наполеона к скорейшему заключению мира, на что он, конечно, добровольно не согласится.

Орлов понимал, что честь честью, но ведь и способов нету заставить французов в Париже разоружиться. Нессельроде забыл, что Париж вовсе не окружен. Французские маршалы, рассуждая так пылко о чести, в сущности просто время тянут. Дело-то к вечеру! Ночью наступление на Париж невозможно.

Маршал Мортье сказал наконец раздраженно:

— Париж не окружен и не может быть окружен, нам дороги открыты. . .

Граф Нессельроде ответил, что вынужден ехать назад за новыми инструкциями.

Орлов огорчился: сколько времени потеряно зря!

В семь часов вечера переговоры возобновились. Речь шла теперь только о том, по каким дорогам французским войскам уходить из Парижа. Граф настаивал на праве союзников назначить свои маршруты.

Разумеется, французов больше устраивало направление, по которому можно соединиться с Наполеоном кратчайшим путем. Через Сен-Жерменское предместье, за Сену, по дороге на Фонтенбло. Они говорили, что дело чести. . . Опять это дело чести!

Французские маршалы зывали к великодушию победителей. Не простирайте же ваших условий до крайности, говорили они. Великодушие стоит силы. . .

Тронутое их призывом душевное благородство Орлова побуждало его согласиться. Тем более что и времени нет для споров. А главное, как их заставишь уйти по тем или другим дорогам? Дело к ночи. . .

— Наша миссия, — говорил Нессельроде торжественно, — в том, чтобы укротить исполина, переломить меч в руке Наполеона, с каковою целью необходимо рассеять

его войска, уничтожить все стихии сопротивления и поставить его одного, обнаженного, со всем его эгоизмом, перед лицом отвергшей его Европы, перед лицом изнемогающей Франции...

В другое время Орлов с удовольствием слушал бы эти слова. Но тут он видел: вежливое упорство французов — крепость, которую не возьмешь красноречием!

Солнце клонилось к закату. Холодное зарево плавило стекла в парижских домах. Скоро ночь, а приказ царя не исполнен!

Глядя в глаза Нессельроде, он сказал приглушенным голосом:

— Великой цели должно быть чуждо суетное желание во что бы то ни стало унижить противника, тем более — побежденного...

Глаза графа Нессельроде остались непроницаемы. Подумав, он объявил, что не может принять окончательное решение без консультации и вынужден ехать назад.

Орлов ужаснулся. Переговоры зашли в тупик.

Французские маршалы объявили, что смысла не видят продолжать этот разговор, и сухо откланялись.

Орлов по-русски сказал графу Нессельроде, что можно считать дело конченным. Города ночью не взять, а завтра переговоры вести будет не с кем. И все равно они уйдут из Парижа куда хотят... Или надо найти способ сегодня вернуться к переговорам, или мысли об этом оставить...

— Но зачем же? — вежливо, по-французски, возразил ему граф. — Утром продолжим...

«С кем продолжим? — про себя усмехнулся Орлов. — Утром их здесь не будет. Сколько усилий потрачено зря!» Он вслух ничего больше не сказал: Нессельроде не понял его, а может быть, просто не захотел понять? Царский приказ не был выполнен. «Европа сегодня должна ночевать в Париже!» Ну что же, пусть граф со своими немцами едет домой. Он, Орлов, останется выполнять поручение.

Маршал Мортье успел исчезнуть куда-то. Орлов догнал маршала Мармона и весело, с детски простодушной улыбкой бросил ему на скаку, словно бы нечто само собой разумеющееся:

— Конечно, мы еще вернемся к нашему разговору... — И уже спокойно, едучи рядом с маршалом, предложил себя в роли заложника для гарантии, что наступ-

ление союзников на Париж не начнется, прежде чем он, Орлов, возвратится за русские аванпосты.

Озадаченный простодушным русским парламентарем маршал Мармон не сумел отказать Орлову в гостеприимстве. То ли французская вежливость не позволила, то ли понравился маршалу этот полковник, громоздкий, тяжеловатый, но подвижный и ловкий, похожий на большого воспитанного медведя с повадками светского человека и с безупречным французским произношением, в отличие от министра... И с таким искренним взглядом коричневых умных глаз. С детской ямкой на подбородке. С удивленно заломленными, уголком, густыми бровями...

Орлов поехал с французами в город.

Сопровождаемые немногочисленной свитой, они ехали молча. В темноте. Тишину нарушал только топот конских копыт по мостовой. Несколько лиц, любопытных или встревоженных, промелькнуло в слабо освещенных окнах: ставни распахивались внезапно и тотчас захлопывались. Париж застыл в ожидании. Всадники ходили на тихий патруль, объезжающий улицы спящего города. За всю дорогу едва ли обменялись двумя-тремя фразами.

Примерно в середине пути маршал Мармон подозвал к себе адъютанта и что-то тихо сказал ему. Адъютант скрылся в темноте. А где-то поблизости, на соседней улице может быть, шум послышался: по звуку Орлов догадался, что проходит большой отряд, с пушками; этот шум их сопровождал на всем остатке пути, и Орлов решил, что французы уже выводят из Парижа войска.

Сверкая огнями среди потонувших во мраке строений, открылась глазам резиденция маршала Мармона. Большой дом, освещенный снизу доверху. В гостиной их встретила озабоченность и суета. Иные из лиц показались Орлову знакомы. Оставив его на попечение адъютантам, хозяин удалился в кабинет, и несколько самых важных особ за ним последовали. Другие переговаривались оживленно, не обращая внимания на Орлова...

Во время войны Михайла Орлов, тогда еще ротмистр, бывал не однажды у французов как парламентар. Он был с Балашовым в захваченной только что Вильне. Знал нравы штабные: привычную для французов вежливость, которая так облегчала общение с ними; заученность хороших манер не нарушалась мотивами политической розни или вражды. С ним обращались как с гостем. Так было и под Смоленском, когда Орлов к ним явился узнать о судьбе тяжело раненного генерала Туч-

кова. Французы были с русским офицером подчеркнуто лжбезны, позволили видеть Тучкова и разговаривать с ним. Держали несколько дней, не отпуская к своим, но обхождение было безупречное. Теперь же, в Париже, Орлов огорченно заметил, что эта безукоризненная воспитанность французов поколебалась. Неприятные обстоятельства прибавили раздражительности, а общительность их сделалась суше и холодней. Иные, казалось, вовсе не замечали его, а другие, видя, не умели скрыть удивления. Оставленный без внимания, неожиданный гость занялся наблюдением.

В зале то появлялись, то исчезали важные государственные персоны. Встревоженные, испуганные. Из фраз, какими они успевали перекинуться на ходу, Орлов уловил, что действиями маршала Мармона недовольны. Военный губернатор Парижа граф Гюллен, у которого под началом был парижский городской гарнизон, не пожалел энергических выражений.

— Черт побери! — услышал Орлов. — Вы что, и меня хотите заставить сложить оружие? Да тот бешеный с меня шкуру спустит, если я не приведу к нему все, что еще способно колоть и стрелять!

Он прав, подумал Орлов, и Наполеон будет прав, если спустит с них шкуру; однако воспитанные французы могли бы и не ругаться в обществе, как в казарме. Он понял: французы хотели бы тихо оставить Париж и, собрав за его пределами все свои силы, соединиться с остатками армий Наполеона. Нет способа этому помешать.

Незримый вихрь, возмутивший гостиную, обозначил внезапный приезд наполеоновского адъютанта генерала Жирардена. Видимо, он привез новые распоряжения. Его появление всех заставило подобраться. Некоторые лица опять сделались горды и важны, на некоторых других отразилось непонятное недовольство.

Поручение, данное генералу Жирардену, как вскоре узнал Орлов, было сложно и противоречиво: обман и угрозы смешались в нем. Он прибыл подбодрить своим появлением парижан и принудить их защищать дома, жен и детей своих, как испанцы защищали Сарагосу, но вместе с тем он имел приказ Наполеона взорвать в Париже пороховые магазины — поднять город на воздух... Наглядевшись на русские пылавшие города, тот, казалось, готов был Парижем пожертвовать...

Когда в одиннадцать ночи их позвали обедать, Орлов за общим столом оказался рядом с генералом Жирарде-

ном. Они в Вильне встречались и теперь неловко раскланялись. В прежние времена Жирарден отличался разговорчивостью, но тут хмурился и молчал. Он понял уже неисполнимость наполеоновского приказа, как первой, так и второй его части. Парижане попрыгали, а взорвать пороховые склады императорскому адъютанту попросту не позволили. С присущим ему упрямством Орлов терпеливо старался разговаривать соседа. И своего достиг: Жирарден ядовито и громко обрушил на странного гостя все свое раздражение. Орлову ничего другого не оставалось, как скрепя сердце выдерживать красноречие ущемленной гордыни. Это не могло быть приятно, тем более — в роли, какую он, двадцатипятилетний полковник гвардии, русский аристократ, добровольно взял на себя. Будь он частное лицо — сумел бы за себя постоять. Но что могло быть неуместнее в его положении, чем гвардейская шепетильность? В его лице за парижским ночным обедом сидела побеждающая Европа.

Было приказано, чтобы Европа сегодня же ночевала в Париже, и, как сумел, он исполнил приказ.

«Мне очень нужно было сохранить некоторого рода народность, приобретенную мной, и которой каждое неосторожное слово могло лишить меня», — вспоминал М. Ф. Орлов впоследствии.

7

...Орлов старался не потерять хладнокровия. Благообразие, скромность — вот единственный способ добиться расположения в этом взвинченном обществе. Если не благосклонности, то хоть сочувствия этой обиженной публики. Обратит в свою пользу внимание участников политического спектакля. Он долгом считал пожертвовать личным своим самолюбием для сбережения достоинства общего. Эти господа в его лице должны были увидеть не просто русского полковника, но Европу, утверждающую всеобщую справедливость. И не было смысла откликаться на мелкие колкости. Если о чем стоило говорить, то прежде всего о союзнических намерениях касательно будущего Европы и, естественно, Франции.

«Это была поэтическая часть спора», — вспоминал спустя много лет Михаил Федорович Орлов.

Меланхолическим стоном насчет жестоких, бесчестных, несправедливых планов победителей — расчленить и разграбить Францию, уничтожить ее, — генерал Жирарден громоздил здесь тучу на тучу, стараясь очернить весь политический горизонт, — Орлов с достоинством человека, в руках которого истина, стремился противопоставить свет надежды, и его отчетливый голос, хорошо слышимый на самом дальнем конце стола, оповещал о будущем, равно счастливым для всех.

— От побежденной Франции, — говорил он, — Европа ничего не потребует, кроме гарантии мира и обеспечений против честолюбивых угроз вашего надменного властелина. Союз Европы против Наполеона, собравший в мощный кулак столько разнородных элементов, это вынужденный союз против угрозы и силы. Никакая прежняя коалиция не создавала такой громадной мощи и не являла столь дружеского согласия. Общие интересы Европы здесь сражаются против частных наполеоновских целей, против его корысти, против его жестокого эгоизма, против его честолюбия. Дело идет о благе всего человечества. Что нужно Пруссии, Австрии, Англии? Они возвратят свое, отнятое у них. Что нужно Европе? Неприкосновенность границ. А что нужно России? Ничего для себя и всего для мира. Благородное и высокое бескорыстие создало императору Александру его ведущую роль, дало ему голос главнейший во всех европейских делах. Наша цель извлечь из нынешнего хаоса два важных результата: общий мир и безопасность всех государств, больших и малых. Недостойно Франции обольщаться тщеславием своего повелителя, его мечтами о мировом господстве, вряд ли и вообще достижимом... В мирной Европе и Франция обретет наконец спокойствие и благоденствие. Она займет свое достойное место и примет участие в воссоздании разрушенного европейского здания, которое без нее не может иметь ни прочности, ни блеска...

Свою речь Михайла Орлов завершал в оглушительной тишине. А когда он кончил, французская вежливость в отношении лично к нему обрела и желанную теплоту. По выходе общим из-за стола все столпились вокруг непонятого гостя.

Давно было за полночь, и Орлов ощутил вдруг немислимую усталость. Не обращая больше внимания на

французов, он устроился в кресле, в углу, и слегка задремал, но чутко — как на войне: все вокруг слышал и даже как будто бы видел сквозь сон все передвижения в зале... Кто-то близко стоявший сказал: «Вот сон победителя». Другой тихо добавил: «И честного человека».

Между тем еще дело не было сделано. Переговоры о капитуляции не возобновлялись, и намерения французов оставались неопределенны, а роль самого Орлова туманна. Подремав с полчаса, он стал опять испытывать беспокойство. Утро близилось...

Около двух часов ночи прибыл посланец от графа Нессельроде с письмом, в котором сообщалось Орлову, что государи, обсудив дело с прусским фельдмаршалом Шварценбергом, нашли выгодным не настаивать на своих прежних условиях. Орлову предоставлялись полномочия по своему разумению заключить всеми ожидаемую конвенцию.

Орлов послал тотчас же адъютанта к маршалу Мармону сказать, что препятствий нет больше; маршал вышел из кабинета, и в общем зале Орлов на листке почтовой бумаги набросал все статьи, — Мармон пробежал глазами трактат, и его беспокойство исчезло; он вслух прочитал документ, который завершался словами: «Город Париж предается на великодушные союзных государей». Орлов сам списал с него копию, оба экземпляра были тут же подписаны. Оставалось назначить депутацию.

Депутатам Орлов от своего имени объявил, что они вправе изъявлять свои пожелания, — их исполнение он, Орлов, гарантирует. А подумав, взял на себя смелость — от своего имени и от имени союзных государей! — избавить город Париж от позора передачи ключей победителям. Чтобы после они пылились в каком-нибудь иностранном музее! Молодость благородна.

Уже день занимался.

Он ехал шагом, чтобы пешая депутация не отстала.

Солдаты на биваках, отдохнувшие за ночь, весело чистили ружья.

Орлов торжественно ввел депутацию в самый большой замковый зал и послал сказать Нессельроде. Сам направился к государю, и Александр его принял в спальне, не вставая с постели.

— Ну, — спросил он Орлова, — какие у тебя новости?

— Вот капитуляция Парижа, — сказал Орлов, протягивая листок простой почтовой бумаги.

Александр прочитал и сунул листок под подушку. Потом приказал:

— Поцелуй меня!.. Поздравляю. Ты соединил свое имя с событием историческим.

Он еще заставил Орлова рассказать подробности этой ночи.

Орлов коротко рассказал.

Выйдя от государя, он тут же, в соседней комнате, лег на диван и заснул. В восемь часов утра, когда войска союзников были готовы начать торжественный марш, вступая в капитулировавший Париж, Орлов был уже на коне, бодр и свеж, как всегда.

Он в этот же день произведен был в генерал-майоры.

8

Парижане с ленивым восторгом кричали «Да здравствует!» императору Александру. И своему новому королю. И прусскому, и австрийскому государям. Кричали — как будто в Париже происходило что-то забавное.

«Может быть, — думал затертый толпою Батюшков, — они просто из вежливости нас приветствуют?»

— Мсье! — кричали ему, хватая за стремя. — Ведь это же правда, мсье, что русские, как и мы, христиане?

«О, господи, — думал Батюшков, — это после всего-то! Да как они смеют... после разграбленной и сожженной Москвы? Христиане!»

Но французы вокруг него были так дружелюбно-учтивы. И так наивны в своем обывательском любопытстве. Так приятно поражены, что их любимый Париж нисколько не пострадал. Тогда как Москва, говорят, увы!.. Батюшкову недоставало решимости рассердиться. Он был потрясен легкомыслием парижан.

— Но, сударь! — кричали ему из толпы. — Должно быть, вы сами француз? У вас даже не слышно акцента...

— Много чести, господа, — отвечал им Батюшков. — Много чести!

«Наконец-то мы в Париже, — писал он вечером Гнедичу. — Теперь вообрази себе море народу на улицах. Окна, заборы, кровли, деревья бульвара — все, все покрыто людьми обоих полов. Все машет руками, кивает головой, все в конвульсии, все кричит...»

В день вступления русских в Париж Батюшкова так сдавили в толпе, что у него голова закружилась. Он был вынужден сойти с лошади. Оберегавший его казак, отодвигая пикой теснящихся парижан, спрашивал удивленно:

— Ваше благородие, да что они тут все с ума посходили?

— Давно, — кивал Батюшков.

Француженки разглядывали его.

— Какие белые волосы! — удивлялась одна. — Но, мсье, отчего у вас такие белые волосы?

— От снега, от чего же еще, — объяснял какой-то старик.

— Но для чего же они так длинные? — дивилась дама. — В Париже длинных волос давно не носят. Мсье, наш мастер Делон подстрижет вас по моде...

— Нет, нет, — перебила ее другая. — Он так хорош! Посмотрите, у него кольцо на руке... Разве кольца в России носят?

— Мундир слишком прост...

— Зато лошадь! Вы только взгляните, какая длинная лошадь. Это, верно, степная лошадь? Мсье...

— Да посторонитесь же... Артиллерия!

— Какие длинные пушки... Длиннее наших.

— Но, господин офицер, согласитесь все же, что Париж наш великолепен!

«Мы пробежим Музеум, где не станем терять времени в рассматривании картин и статуй, — вспоминал иронический Батюшков времяпрепровождение русских офицеров в Париже, — мы знаем, что перед Аполлоном, Венерою и Лаоксоном надобно сказать «Ах!», повторить это восклицание перед картинами Рафаэля, с описанием их в руках, разумеется, и, оставя чудеса искусств, явимся к третьему часу на террасе Тюильрийского сада, где остроумнейший народ в мире стоит несколько битых часов перед окнами замка, стоит разиня рот и изредка без всякого энтузиазма, а так, от скуки, кричит: «Да здравствует король!» В четыре часа Бовилье или артист Верн ожидают нас с лакомым обедом. Часом позже все места заняты! При шуме разговорном мы проглотим несколько дюжин устриц,

осушим бутылку шампанского и пойдем пить кофе в кофейный дом... Мы забежим во Французский театр, где Тальма, Дюшенуа, Жорж и прочие удивляют искусством неподражаемым; не дослушав трагедии, мы явимся у Брюнета в Варьете, — будем хохотать во все горло над остроумными его каламбурами, которые всякого русского охотника могут привести в отчаяние; затем — это один шаг оттуда — к Тортони, где все красавицы парижские кушают мороженое и пунш, и...»

9

Париж. 18 сентября 1815 года.

«Сегодня день моего рождения. Прошлого года провел я оный в Дрездене, и мог ли воображать тогда — через год праздновать его в Париже? Вот, друг мой, каковы нынешние обстоятельства: сегодня здесь, а завтра — бог весть! Помнишь ли, как мы читали исторические описания славных веков Рима и древней Греции? Это басни! — восклицал ты часто. Сообрази же теперешние случаи с тогдашними, и ты увидишь, что происшествия наших времен более достойны удивления, более невероятны, нежели все дотоле в мире случившееся, и ежели мы не верим событиям лет прошедших, то не знаю, как поверят потомки наши происшествиям, которые происходили при глазах наших...»

Письмо Рылеева — к воображаемому другу. Литературный опыт.

Восемь дней провел в Париже конноартиллерийский прапорщик Рылеев. Ах, что за восемь дней! Что за обед был дан им приятелям в Палерояле по случаю своего двадцатилетия, и как дивились французы солдатскому их аппетиту, здоровью русских желудков...

Но надо же знать, что такое Палерояль! Древняя и грешная душа Парижа. Аркады бывшего дворца герцогов Орлеанских, преобразенного в бездну приманок... Зеленый сад во внутреннем дворе с утра до ночи народом кипит. Под старинными арками продается и покупается все! «Приди туда голый, но с деньгами, и тебя назовут маркизом, ты в одну минуту одет по последней моде!» Но где столько денег взять?

Кто не может купить — любителю драгоценностями

в витринах. Весь нижний этаж занимают лавки и маленькие славные кабачки. В галереях второго этажа магазины самые знаменитые. Ателье. Роскошные рестораны. Игорные залы. Пустившись на волю фортуны, можно с легкостью бросить на ветер или приобрести миллионное состояние. Жалко, нет времени, чтобы рискнуть. И маловато средств... Пожалуй, и правила не позволяют... Ох, эти правила, им самим для себя утвержденные! Они заставляли Рылеева с чрезвычайной опаской глядеть на приветливый рой красавиц палерояльских, обитательниц самого верхнего этажа. Бедный прапорщик вспомнить не мог их без ужаса: красота некоторых представлялась ему чрезмерной... Но, победитель, он был все же горд, что в Париже не попался в липкие сети соблазнов. «Роза сия, — рассуждал очень здраво Рылеев, — сколь ни приманчива с виду, но все же, если к ней приглядеться, ненатуральна. Благоухание оной несходственно с благоуханием свежего цветка, разливающего оное в поле».

Ах, друзья мои, Вандомская колонна! Ах, Триумфальная арка! Ах; Аустерлицкий мост... Каждому русскому прапорщику известно, где еще следует в Париже остановиться, чтобы сказать: «Ах!..»

10

...Но ни в первом, ни во втором вступлении союзных армий в Париж не участвовал князь Волконский. Прислышав про отречение Наполеона, он посчитал свое поприще законченным и поспешил в Петербург, желая, как он вспоминал, по одному любовному обстоятельству быть в столице прежде других, выказав этим, что пренебрег всеми прелестями парижскими ради той, чьей руки он перед самой войной пытался искать; и перед ее родными хотелось покрасоваться в генеральских больших эполетах и в ленте.

«Приехав из первых, воротившихся из армий, при блистательной карьере служебной, ибо из чина ротмистра гвардейского, немного свыше двух лет, я был уже генералом с лентой и весь увешанный крестами и, могу без хвастовства сказать, с явными заслугами, я был принят в высшем обществе радушно, скажу даже — отлич-

но; но не удалось мне получить руки той, которой искал; эту неудачу я забыл в общем угаре светском», — вспоминал спустя полвека С. Г. Волконский, седоглавый, белобородый, благородный в старости, перед которым вольнолюбцу и демократу Герцену хотелось встать на колени.

11

Он мыслил, что вольным казаком отправится путешествовать по Европе, а если бог даст, посетит и Америку, занимавшую в те поры мысли всей образованной молодежи по ее «самостоятельному быту и демократическому составу», как Волконский сам объяснял. Матушка для путешествия определила ему по двадцати тысяч в год на ассигнации; с таким кошельком да с паспортом заграничным, он думал, сам черт будет ему не брат.

Год назад он еще нервничал из-за родственных проволочек нелицеприятного зятя, князя Петра Михайловича Волконского, ожидая производства в генералы: зятю казалось, что молод еще; с месяц назад был пожалован анненской лентой, — тешился ею, как дитя; получив ленту ближе к вечеру, он ее, ложась спать, повесил на стул против самой постели и, по собственному признанию, «до сомкнутия глаз» любовался. И вдруг с такой легкостью от всего отказался: снял мундир, построенный лучшим петербургским портным, и надел никогда не любимый им фрак. Волконского фрак преображал до неузнаваемости, придавая ему заурядную штатскую внешность. Только в русском его разговоре, крутом и картавом, слышался прежний военный. По-французски он говорил с безупречностью парижанина.

Лет через тридцать, на поселении, преобразившись в сибирского хваткого мужичка, с бороденкой, в странной одежке и в дегтем смазанных сапогах, он на людях жевал, не стесняясь, краюху, пристроившись с краю телеги, груженной мешками с зерном, на базаре, и торговался отчаянно; в сапогах, благоухающих дегтем, он вваливался некстати в гостиную княгини Волконской, поражая ее гостей. Случалось, что гость по-французски выражал свое удивление. И тотчас был готов провалиться сквозь землю, услышав от «мужика» кое-что сказанное с таким презрительно-великолепным парижским прононсом, что...

...Он приехал сначала в Вену, где был в это время конгресс. Светская жизнь кипела в Вене. Сменяли друг друга дворцовые выходы, роскошнейшие пиры, концерты, охоты, спектакли и маскарады.

Неожиданно выпал снег, и для высочайших особ устроено было русское развлечение — катанье на санках с гор; снег на гору свозился со всех ближайших окрестностей.

Несчастливых ланей и кабанов загоняли под царские выстрелы.

И военные игрища были.

Но для русских во всем этом ощущалось и нечто щекотливое: государь, не скрывая душевного расположения ко всякому офицеру, одетому в заграничный мундир, со своими подданными был строг и, похоже, их даже стыдился, считая, что в светской образованности русские безнадежно отстали от европейцев. Волконский признавался, что ему не однажды случалось отказываться от приглашений дворцовых; предпочтительнее казалось веселье в своем кругу, разгульном и шумном, необходимом для национальной гордости.

В нем появилась чувствительность к таким вещам, которым он прежде вовсе не придавал значения. В памяти прочно застряли некоторые эпизоды тех лет. И даже не связанные с его пребыванием в Вене. Первый случай был еще во время похода. Некий цивильный немец пожаловался на русского армейского офицера генералу Винценгероде, при котором служил Волконский, и генерал, не разобравшись ни в чем, обманувшись простой солдатской шинелью, в которую ради армейского щегольства офицер был одет, ударил его по лицу. Офицера! Да если бы и солдата... Волконскому стало вдруг отчего-то невыносимо стыдно, и он, двадцатитрехлетний гвардейский полковник, как бы от собственной непоправимой беды убежал во внутренние комнаты дома и там, в углублении окна, за занавеской — от злости, а может быть, от сочувствия офицеру — заплакал навзрыд. Генерал испугался. Он готов был дать сатисфакцию офицеру, но тот не смел думать о поединке: просил не забыть его производством...

... В другой раз, когда саксонская армия без боя сдалась союзникам и государи торжественно въехали в Дрезден, им вышел навстречу престарелый саксонский король, до конца сохранявший верность Наполеону; бед-

ный старик, вспоминалось Волконскому, еле спустился с высокой дворцовой лестницы, чтобы встретить победителей, но они его вниманием не удостоили. В древних своих летах и при горестных государственных обстоятельствах саксонский король был унижен своими собратьями. Он, возможно, заслуживал кары, но со стороны торжествующих императоров эта мелкая месть выглядела и некрасиво, и нерасчетливо. Волконскому было стыдно смотреть, как обижают беззащитную старость. Нельзя же, подумал он, приносить нравственное чувство в жертву сиюминутной надменности.

В конце войны, когда продовольствия не хватало и для своих солдат, а число пленных французов бесконечно умножилось, проезжая мимо маршевых их колонн, Волконский часто слышал упреки французов; хотя он не имел отношения к провиантскому ведомству, но как русский испытывал чувство вины перед чужими солдатами, от голода изнемогавшими, — не мог заглушить в себе неразумное чувство человеколюбия.

В Париж князь Волконский прибыл туристом, когда русская армия была уже частью выведена из Парижа на север, а частью — к морю для отправки на родину. Париж наводняла петербургская знать, и видную роль здесь играла графиня Лаваль, через брата Никиту находившаяся с Волконским в родстве. Она была в центре русской салонной жизни в Париже, была связующее звено с новым французским двором. Знакомство с графиней Лаваль поневоле вовлекло Волконского в сенжерменское аристократическое гнездо торжествующих легитимистов. Это нелепое окружение короля Людовика Восемнадцатого, силой союзнических штыков оказавшегося на троне, у него вызывало противоречивые чувства. Странное зрелище был этот круг старинной французской аристократии, насильственно возвращенной к порушенным революцией очагам. Прямые враги своей пользы, принесшие из изгнания все прежние предрассудки и страсть к отмщению, они надменно не желали признать новейшие — необратимые даже после изгнания Наполеона — общественные начала. Вместе с прелой галантностью старого двора они вытащили из сундуков и свой прежний, уже давно бессмысленный гонор...

В Англии он был свободный от всех забот путешественник, зевающий по сторонам. Все казалось Волконскому необычно: самый вид лондонских домов, мрачных по колориту, — здесь топили углем, и каминные выбрасывали на ветер обилие копоти. Улицы, однако, жизнью кипели. Поражала высокая степень общественного развития. В то время как в английском парламенте шла дискуссия о принципах ввоза зерна, кошелек англичанина спорил с его желудком, — и весь остров, казалось, участвует в прениях: простолюдины били стекла в окнах богатых особняков, потому что именно господа противились свободному ввозу пшеницы! В каждом трактире что-нибудь обсуждали, но, к сожалению, Волконский не понимал по-английски. Нашлось и несколько светских домов, где он был любезно принят. Жаль, не хватило времени, чтобы взглянуть в английский, совершенно особенный быт. Волконского сбива с намеченного пути внезапная весть о возвращении во Францию Наполеона. О его стремительном продвижении к Парижу. Эта весть побудила князя Волконского к самым неожиданным действиям. И хотя англичанина странностью не удивишь, его новым знакомым эти действия показались невероятными...

Князь Волконский посетил русского посла в Лондоне и объявил ему, что намерен как можно скорее возвратиться в Париж.

— Но что вы там будете делать, князь? — удивился посол. — Все иностранцы сейчас вон из Франции спешат, а вы туда собрались?

— У иностранцев для бегства должны быть свои причины, а у меня свои, — возразил Волконский. — События на континенте могут быть интересны, и я предполагаю изучить их. Не ради любопытства, но, может быть, даже и для государственной пользы... Мне это, как частному лицу, удобнее.

Посол был озадачен.

— Я все изучу, — говорил Волконский, — в какую бы сторону ни повернулись события...

— Но вы представляете, князь, какие это может иметь для вас лично последствия? Как на все это поглядит государь? Я боюсь, что он вами останется недоумен...

— Мне это не важно, — ответил Волконский. — Пусть думают что хотят, но ясно же и ребенку, что во Франции будет теперь борьба. И в конце концов, если возникнет

необходимость, я смогу последовать за королевским двором. Для меня это решено: я завтра же еду во Францию! С паспортом или без паспорта... Но если вы не подпишете паспорт, я во Франции могу иметь неприятности: я, русский генерал, стану, возможно, предметом преследования... Подумайте, какую ответственность вы на себя берете, отказывая мне в вашей подписи...

Посол не нащелся, что возразить.

— Если вы, князь, несмотря на все мои увещания, упорствуете, я подпишу ваш паспорт, — сказал он, — однако я нахожу это с вашей стороны безрассудством. Ехать сейчас во Францию... Помните, что я вас предупредил. И естественно, я вынужден обо всем сообщить в Петербург. Что я употребил с вами все мое красноречие, убеждая не ехать. Если мое донесение в итоге навлечет на вас неудовольствие государя, прошу вас, князь, не гневаться на меня. Я только исполняю свой долг.

Александр был раздражен самоуверенной выходкой князя Волконского. «Я понимаю, — сказал он, — мсье Серж, конечно, хотел посмотреть, что же станет с несчастной Францией... Но если он, с его удалой головушкой, вздумает взять на себя какое-нибудь порученье от Наполеона ко мне, везите его прямо в Петропавловскую крепость, без разговоров!»

12

Волконский достиг Парижа, когда все войска французские, во главе с храбрым маршалом Неем, уже перешли на сторону своего императора. Однако Бурбоны, обреченные, не успели еще оставить дворца, и Людовик Восемнадцатый даже делал вид, что готовится к обороне.

Волконский оказался свидетелем королевскогомотра дворянской гвардии — жалкой пародии на гвардейский парад. На четверых кавалеристов едва ли была одна лошадь. Престарелые чучела — прямые дон-кихоты! — показывали готовность сражаться за своего короля. Комический сброд кое-как построили, и Людовик объехал их, сидя по-стариковски в карете. Народ стоял молчаливой толпой. Ради озорства, сидя в коляске, Вол-

конский негромко крикнул: «Да здравствует король!» На него с таким видом стали оглядываться, что пришлось поскорее отъехать от этого места.

Парад был прелюдия бегства Бурбонов в Бельгию.

Наполеон еще находился далеко от Парижа, когда над Тюильрийским дворцом, вместо белого королевского, взвился трехцветный императорский флаг.

Втершись в толпу возбужденных французов, Волконский до вечера протолкался на площади Карусель, ожидая со всеми въезда Наполеона в Париж. В сумерках он из нелепой предосторожности возвратился в отель и обиднейшим образом проворонил приезд императора. Наполеона внесли на руках в Тюильри!

Утром вся Франция поспешила представиться своему императору. Волконский с толпой проник в Тюильрийский сад и занял местечко поближе к окнам наполеоновских комнат. Происходящее во дворце было видно отсюда как на ладони...

Еще несколько дней приходил Волконский под окна Тюильрийского дворца, где народ толпился с утра до ночи.

Парижские обыватели подтвердили знаменито-печальную истину: «Только шаг — от великого до смешного!»

Мальчишки шныряли в ногах у толпы. Они кричали:

— Кто хочет увидеть великого императора? Императора — за три су!..

Подобрав брошенные монетки, они хором принимались скандировать:

— Да здравствует император Наполеон! Да здравствует римский король! Да здравствует маршал Бертран!..

Толпа возбужденно подхватывала их крики, и наконец отворялась балконная дверь: появился Наполеон в сопровождении маршала Бертрана.

Наполеон за три су!

Впечатление не изменилось и после великолепного смотря старой наполеоновской гвардии, когда ветераны, наткнув на штыки медвежьих шапки, без команды в лад волновали ими воздух.

Уже не было смысла оставаться во Франции.

«Желанная минута настала — я пишу вам, и я счастлив! Больше месяца ожидал я случая написать вам; и вот вы получаете вести от меня из Роттердама, прекрасного нидерландского города. Противный ветер больше трех недель задерживал нас в море, и если бы я не занимался службой, то умер бы от скуки. Еще в Гельсиноре мы узнали о поражении Наполеона, и потому, вместо того чтобы иметь случай отличиться на войне, нам приходится заниматься здесь выгрузкой кораблей; и мне кажется, что, несмотря на все мои старания, счастье всегда будет оборачиваться ко мне спиной. Сейчас я почти отчаялся достигнуть чего-нибудь на службе, и если я должен ее переменить... (*Зачеркнуто*: «Но каким образом я заплачу мои долги Американской компании, если перемену ее?») ...то что я выиграю, раз война идет к концу. Но в конце концов — все к лучшему.

Что я делаю сейчас? Я думаю о вас. Я знакомлюсь с обычаями голландцев... Я гуляю... Но здесь нет ни садов, ни мест для прогулок, ничего похожего, если не считать деревьев, посаженных вдоль набережных каналов. В Гельсиноре я чувствовал себя хорошо: я гулял по садам в полном одиночестве и находил удовольствие в том, что вырезывал ваше имя вместе с моим на деревьях, предоставлявших мне свою благодатную тень. Я живу не живя, или скорее — только существую. Счастье мое ушло, и мне не остается ничего, кроме воспоминаний. Пусть будет угодно богу, чтобы я смог когда-нибудь осуществить снова это радостное воспоминание. Все, что есть у меня сейчас дорогого, это ваш медальон, который я ношу, лента, которую вы мне дали для часов; и я нахожу удовольствие, вдыхая еще оставшийся в моем (*одно слово не разобрать*) запах ваших духов; и мне кажется, что вы рядом со мной, потому что это ваш любимый запах...

Наконец мы получили вчера приказание следовать в Россию, когда корабли нагрузят провиант; но я еще не знаю, отправимся ли мы сушей или морем? Я предпочел бы пересечь Германию сушей, чтобы еще кое-что осмотреть. Теперь я надеюсь уже скоро увидеть вас. Может быть, еще три-четыре месяца, и я буду иметь счастье прижать вас к моей груди. Прощайте. Знайте, что я никогда не изменю вам. Прощайте! Ваш навсегда...»

Черновик этого письма был найден в записной книжке Николая Александровича Бестужева. Он, однако, имел привычку писать сперва начерно, со всей откровенностью, а потом отправлять адресату совсем другое письмо — сухо сообщать о себе, что, мол, жив и здоров.

Он был человек веселый и остроумный в обществе, но всегда как бы застегнут наглухо — на все положенные приличием и уставом крючки. В душу он даже близким людям не позволял заглядывать. А знакомых и вообще не пускал дальше парадных апартаментов. Разумеется, говоря фигурально. В натуре он таковых апартаментов не имел никогда.

Жил Николай Бестужев, расставшись наконец с Морским кадетским корпусом, в Кронштадте; сперва у своего приятеля Тихменева, преподавателя того штурманского училища, в котором Михайла Гаврилович Степовой, муж Любови Ивановны, был инспектором классов, а потом и директором; позднее Бестужев имел в Кронштадте свою квартиру, деля ее с младшими братьями, Михаилом и Петром, уже мичманами к тому времени. Квартира была в том же самом казенном доме, где жили и Степовые.

В 1813 году, воротясь весной из Свеаборга, Бестужев твердо решил переменить род службы. Он получил приглашение от одного капитана, служившего на корабле, принадлежавшем Российско-Американской компании. Собираясь в плаванье, он взял деньги для обеспечения семейства в счет будущего офицерского жалования, но пригласивший его капитан рассорился с директорами компании, был отстранен, и с ним вместе были отставлены все набранные им офицеры. Бестужев несколько лет выплачивал этот долг...

Любопытно, что в это время и позже слава у Николая Бестужева была самая донжуанская. Литератор Греч, считавший Николая Александровича другом своим и не стеснявшийся признаваться в этом даже после трагических событий в декабре 1825 года, вспоминал с огорчением, что Бестужев, «человек редких качеств ума, рассудка и сердца», имел одну прискорбную слабость — «страсть к женскому полу, особенно к порядочным замужним женщинам»; «и женщины привязывались к нему легко и страстно», — писал он. Булгарин, считавший себя и ловчей и галантней сухого Греча, завидовал Николаю Бестужеву.

1815 год воскресил в беспокойной душе Бестужева патриотические порывы. Бежавший с острова Эльбы На-

полеон в кратчайший срок достиг Парижа, был встречен восторженно, и... появилась надежда у не успевших по-воевать. Николай Александрович был зачислен в сформированный в Кронштадте сводный флотский экипаж.

15 мая они вышли в Голландию на фрегатах «Архипелаг» и «Аргус». Фрегатам предстояло конвоировать караван транспортов с провiantом для русской армии, воюющей за границей. Сводный экипаж, назначенный сверх комплекта фрегатских команд, имел целью доставление провiantа по Рейну в главную квартиру союзников. Предполагалось, что после разгрузки провiantа моряки примут участие в военных действиях. Получилось же, что не только поле битвы не ждало их; но в Голландии не нашлось и известных из книг препятствий: ни топких болот на полузатопленных островах, ни других коварных стихий.

Не было и обещанных книгами таинственных городов, повисших над водою на сваях.

С помощью лоцмана утром вошли в реку Маас и через шесть часов были уже у цели. В Гельвет-Слюйсе.

Чистенький городок окружен был опрятно возделанными полями.

Нарядные, сытые, довольные горожане приветливо встретили русские военные корабли. «И все попечения употреблены были к спокойствию и удовольствию нашему», — вспоминал огорченный Бестужев. Доверенный от голландского правительства, любезный лейтенант Ван-Эсс выразил готовность сопровождать русских офицеров куда они захотят и показывать им все, что их любознательность пожелает увидеть.

Они пили чай на крыльце в трактире, а вдали, над городом, висело неправдоподобное, сверкающее на солнце море; корабли плавали выше домов, рассекая облака парусами.

Любезный лейтенант Ван-Эсс еще раз деликатно напомнил, что завтра их сводный экипаж должен выступить сухим путем в Роттердам, куда русские фрегаты за малую глубину реки не смогут пройти, и что не следует им терять драгоценного времени — надо отправляться осматривать Гельвет-Слюйс.

Они в тот же день все достойное примечания осмотрели: адмиралтейство и новый док, из которого воду выбрасывала огненная машина; потом еще рейд и канал, на канале — рыбацья лодки. И лейтенант Ван-Эсс объяснил им устройство дока и строгие правила засолки,

которые гарантируют неповторимый вкус знаменитой голландской селедки.

Назавтра суда с провiantом двинулись по реке в Роттердам, а сводный экипаж отправился туда же пешком, оставив домашние удобства корабельной жизни. Вышли на прекрасную дорогу и... в тот же день прибыли в Роттердам. Устали, конечно, — можно с непривычки устать от почти восемнадцатичасовой ходьбы.

Близ полуночи офицерам раздали билетки на постой, и все разошлись по квартирам. Бестужев нашел назначенный ему дом, и тут ему единственный раз за всю войну повезло насчет трудностей. В доме он застал чрезвычайные хлопоты: хозяйка только что родила. Не желая делать хозяевам новые неудобства, Бестужев, усталый, потащился на другой конец города в трактир и там, не дождавшись ужина, о котором бросился хлопотать, несмотря на ночное время, трактирщик, замертво свалился на кровать и заснул.

Придя утром к назначенному часу на площадь, Бестужев узнал, к своему новому огорчению, что военные действия союзников завершились вторичным вступлением в Париж. Сводному экипажу приказано в связи с этим, обеспечив в Роттердаме разгрузку провiantа, оставаться на месте и ждать из России дальнейших распоряжений...

«Время течет, повеление не приходит... Мы печально бродим посреди голландцев, радуясь успехам союзного оружия и собственной свободе. Одни чудеса сей земли развлекают нас; мы рассматриваем оные — удивляемся силе духа и терпения человеческого. Но отчего море выше всей Голландии? Откуда сей вал, удерживающий оное от низвержения? Как возвысилось море и как упала земля столь низко со всеми городами и обитателями?» Эти и многие другие вопросы задает себе Николай Бестужев, обратившись на досуге к истории Голландии и ее географии, к экономике и, разумеется, конституции. Через пять лет он выпустит книгу «Записки о Голландии 1815 года».

Переходя согласно квартирному расписанию из дома в дом, Бестужев подружится с деловито-любезными и замкнутыми голландцами, и европейская сдержанность не устоит перед его обаянием: вместо положенных по расписанию трех дней, он проживет у первого хозяина три недели, у второго — месяц, у третьего — полтора месяца, и все семейство последнего, заливаясь слезами, будет прощаться с ним, когда наконец придет повеление сводному экипажу возвращаться в Россию.

Голландский быт поразил Бестужева странной противоречивостью. Обед, например, хотя сытный, но необычный: салат идет за отдельное блюдо, а жаркое едят с картофелем (дома картофель был еще малопривычным барским лакомством, им угощали). На сладкое — ягоды или плоды, которые пересыпают толченым сахаром и едят с хлебом, намазанным маслом. Мелочная точность голландцев, привлекательная сначала, в избытке становится неприятной. Чай пьют с толченым сахаром, чтобы верней положить ложкой нужную меру!

Есть и более странные вещи. Зашел, например, к женатому сыну отец, среди дня, по какому-то делу, — семья сына обедает, но отца и не подумают пригласить к столу. Он только скажет, зачем пришел, получит ответ и откланяется. В отношении к детям — такая же незаботливость. И при этом — большая любовь к животным. На прогулке чуть ли не каждый с собачкой на ленточке или шнурке, из предосторожности...

Пройдемся с Бестужевым по Роттердаму. Красивый город. Весь каменный. Приятно разнообразный от смешения старой и новой архитектуры. Дома небольшие, но почти все высокие, — земля в городе дорога. Многие дома из глазированного или обыкновенного кирпича, украшены диким камнем.

На площади рынок. Торгуют женщины. Рыбой, морской живностью, зеленью... Посмотрите, обращает внимание Бестужев, как забавно дерутся две бабы за несколько копеек, переданных покупщиком. Рыбные торговки. У каждой в руке по угрю. И живыми угрями они блчуют друг друга. Угорь скользок, но этому горю они умеют помочь: хватают угря рукою, натертой песком. И угри, и лица торговок в крови... Зрелище неприятно.

Свернув от рынка направо, можно выйти к каналу и переправиться через него на пароме, заплатив дойту. Дойта — мельчайшая из голландских монет; в ней, однако же, почти три наших полушки. Расставшись с дойтой, переправляемся на Испанскую набережную, где выгружается провиант, прибывший из России. Здесь много празднующихся. Испанская набережная — роскошнейшая часть города.

От Гойдских ворот ежедневно отправляются дилижансы в Париж. Заманчиво: в тридцать шесть часов спокойной езды можно быть в Париже! Бестужев вздыхает: в Париже ему не бывать. . .

А вот и знакомый трактир, в котором он провел свою первую ночь в Роттердаме. Трактирщик приветливо машет рукой. В узкой улочке, приближаясь к трактиру, Бестужев вежливо поклонился двум симпатичным девицам. Они в Роттердаме слынут за первых красавиц, эти дочки нотариуса. Завидя Бестужева, они высунулись из окошка и машут ему руками.

Улицы и каналы в беспрестанном движении. Народ снует, экипажи грохочут по мостовой, мелькнула тележка с зеленью, запряженная рослой собакой. Бывает, что и козой. . . Подъемные мосты пропускают суда: в руках у мостовщика длинная палка с привязанным к ней деревянным башмаком; башмак опускается вниз, корабельщик в него кладет свою дойту — плату за пропуск, и подъемные лошади крутят ворот, стуча большими подковами по булыжнику.

Мимо проходят биржевые крикуны с колоколами в руках, прилепив на грудь и на спину афишки с сегодняшней таксой товарам. Прибыла партия чая. Купцы собираются на бирже. Как будут пробовать? Русский торговец взял бы щепотку пальцами, потер бы в ладонях, понюхал, пожевал бы несколько листиков и сказал бы точную цену. Не то голландец! На роттердамской бирже устанавливают на длинном столе много маленьких чайничков, просто игрушечных; в каждую игрушку заливают меркой вода, часы у всех вынуты — считают секунды, по истечении срочного времени каждый — и непременно на тощий желудок — пробует заваренный чай, соображает, бракует, потом назначает цену. Вы, может быть, думаете, что чай, который они пробуют, ханский, цветочный, разных сортов? Вовсе нет! Вся эта мелочная внимательность для одного только простого чаю. . . Еще год назад здесь все биржевые цены диктовались француза-

ми, к их, естественно, выгоде. Данники Бонапарта внимали предписанному. Теперь же торговля у них расцвела, и каналы полны кораблей.

Вот музей. Прекрасное здание. Стоит ли заходить? Музей ограблен французами дочиста. Все ценное вывезено в Париж. Остались какие-то склянки с уродами. Уж лучше в кирху зайти — обедня еще не кончилась. Самодовольные протестанты сидят в своей церкви на длинных лавках и не снимают шапки, — такая у них, лютеран, привилегия. Машинально Бестужев снимает, входя в божий храм, фуражку, — на него оглядываются молча.

Бестужев размышляет о веротерпимости европейцев и о борьбе голландцев с испанским владычеством в прежние времена, об их отношении к наполеоновской Франции, о преимуществах конституционной монархии сравнительно с неограниченной; о разнице между гражданской свободой и деспотичеством. Еще — о преимуществах бедности и об опасностях изобилия.

Старинные республиканские нравы голландцев рождены были бедностью и борьбой. Теперь же от прежней простоты их нравов осталась только видимость. Место гражданских добродетелей заступил порожденный сытостью эгоизм. В глазах граждан их собственность обрела более важное значение, чем благо общегосударственное. И характер голландца переменился с тех пор...

Осенью в Роттердаме начались городские балы. Русские офицеры приглашались в качестве самых почетных гостей. Но, как и во всяком «порядочном» обществе, здесь, вспоминалось Бестужеву, тоже преобладали холодная вежливость и принужденность. Претензии хорошего тона везде одинаковы.

Вопросы считавших себя образованными людьми европейцев Бестужева раздражали.

— Скажите, у русских есть своя письменность или вы пишете по-французски?

— А как у вас женщины одеваются?

— Бывает у вас воскресенье?

И почему-то все считали особой учтивостью говорить Бестужеву, что он очень похож на француза.

Окружающее казалось ему менее привлекательным. И здешние жители представлялись уже в большинстве своем малорослы и хилы, среди них множество скрюченных ревматизмом, и у женщин не встретишь ни

рук, ни зубов красивых... Недавно еще Бестужев заглядывался на роттердамских простолоудинок, на миленьких продавщиц в мелочных лавчонках на ярмарке, торговавших перчатками, ленточками, снурками. Покупал иногда у них ленточку к часам или пару перчаток, чтобы только иметь удовольствие поговорить с хорошенькой продавщицей и потрепать ее по румяной щечке...

Но силы не стало слушать, как эти воинственные голландцы тщеславятся своим участием в битве при Ватерлоо и чуть ли не мнят себя спасителями Европы.

Если проще сказать, Николаю Бестужеву нестерпимо захотелось домой, в Петербург.

15

из дневника николая бестужева

30 октября 1815 года: «Я не верю, что был день, когда мы отплыли из Кронштадта. Все осталось по-прежнему. Был в Петербурге — то же самое...»

9 февраля 1816 года: «Сегодня свадьба нашей великой княжны с голландским наследником. Я получил из Роттердама письмо от Бейера. Нужно ему ответить:

Здравствуй! Я уже думал, что ты умер, дорогой мой, или по крайней мере женился, потому что написал тебе два письма, а в ответ получил только твое письмо от 26 января. Я собирался бранить тебя, но прочтя твое письмо, понял, что мои пропали. Увы!.. Хочешь ли услышать что-нибудь обо мне? Изволь, друг мой. Я вернулся в Россию, не увидев по дороге ничего, и живу сейчас вместе со своими родными, без каких-либо замечательных происшествий, исключая того, что маленький проказник амур иногда нарушает мой покой; он всегда появляется, когда его вовсе не ждут; и вот твой друг делается рыцарем печального образа, вздыхает, клонит колена и проделывает все романтические глупости... Был ли ты когда-нибудь влюблен? Если был, то поймешь, что это значит; а если ты никогда не испытывал этой комической страсти, то посмеешься над моей участью и поступишь как нельзя лучше. Я очень занят, но вовсе не службой, как ты говоришь; тем не менее я с удовольствием вспоминаю нашу охоту, и особенно способ подстреливать уток флоринами. Без комплиментов, друг мой, если ты будешь писать мне только о прошлом,

я стану отсылать тебе твои письма. Пиши мне, что ты сейчас делаешь, что делается с тобою и нашими общими знакомыми, а я в ответ буду сообщать, что происходит с твоим Б. Напиши, пожалуйста, как чувствует себя твой отец, лучше ли ему?»

11 февраля: «Я писал, но не это...»

Бестужев писал свой дневник по-французски, для того что во всех отношениях это было удобнее: матушка, например, любопытная к сердечным делам сыновей, по-французски не знала, а сестры хотя и знали, но не настолько; и вообще, для сердечного разговора, пусть и с самим собой, французский язык способнее, в нем для всего есть готовые формы, и всякая шутка по-французски изящна, легка, тогда как по-русски это может быть слишком серьезно. Бестужев любил взглянуть со стороны на себя. Он прислушивался к своему непонятному чувству. По всем правилам известной игры ему давно бы пора было стать ручным и послушным огнем, подобным хорошо разгоревшейся плитке торфа в голландском кухонном очаге, перед которым хлопочет хорошенькая хозяйка в опрятном передничке. Но его любовь больше напоминала горящий в лесу торфяник: сгорая, он образует в глубинах пустоты — раскаленные ямы, прикрытые сверху слегка обгоревшим дерном, — не дай бог ступить на него!

Откуда бралась тоска? Почему он все время помнил об этой женщине?

За ироническим — так и не отосланным! — посланием Бейеру в той же тетради другое письмо:

«Вы не приходите. Говорят, вы больны, и я не могу вас видеть. Долг и благопристойность удерживают меня в Петербурге. Какую скуку я здесь испытываю! Я не могу ни отправиться в Новгород, ни вернуться в Кронштадт...»

Зачеркнуто: «Будете ли вы, примете ли участие в петербургском карнавале или нет, но я не могу удержаться от того, чтобы не написать вам хотя бы несколько строк. С какою радостью я полетел бы к вам — сказать сто раз, что я люблю вас, что живу для вас...»

И снова: «Сегодня свадьба нашей княжны, мать и сестры во дворце, и вот потому я один, свободен и пишу вам и наполовину счастлив».

Зачеркнуто: «Примете ли вы участие в карнавале или нет? Вы больны... что еще вам сказать? Нужно ли говорить, что я люблю вас и что каждое мгновение посвяще-

но вам. Тем не менее завтра я еду в Новгород; если губернатор еще не приехал, то я поеду...»

Вообще он ей писал иногда, но, конечно, не это.

Мысль, что он мог бы встретить ее на балу, держала его в Петербурге, в тесноте их квартиры на Васильевском острове, где у него не было своего угла и только по счастливому стечению обстоятельств порой удавалось на час-другой остаться наедине с самим собой. Моряк, он ничего не ценил так, как это изредка доступное одиночество. Дела по имению требовали поездки в Новгород, и в конце концов он туда поспекал на почтовых.

Тешился призраком иметь свободу хотя бы в течение нескольких дней. Ради этого приготовился мокнуть и мерзнуть в дороге, бока отбивать на ухабах, ругаться на каждой станции, требуя лошадей, и, когда их не дают, валяться на чужой неопрятной постели, на грязном трактирном диване с клопами; и снова скакать; и ждать как отрады встречи с придорожной харчевней, где самодельная, издали видная живопись изобразила на вывеске мужичка-раскоряку, а приблизившись, можно под ним прочитать и стихи:

К соседушке зайтить
и там винца напиться,
здесь сайкой закусить,
кваском опохмелиться.

Но мрачный харчевник на вопрос, что у него найдется доброго, скажет насмешливо: «А ничего, барин, кроме вывески...»

Бросишь приставшему нищему грош и скачи дальше на голодный желудок. Воеет унылую песню ямщик. Горбятся заснеженные поля. Кое-где потонули в снегу черные деревеньки. Ни огонька кругом.

12 февраля: «Приехал в Новгород. Ничего не видел.

Л. Чем дальше я от вас, тем больше моя душа и мысли стремятся к вам. Я уже в Новгороде. Матушка устала с дороги и спит, а я пишу к вам. У меня и в мыслях не было, что матушка поедет со мной...»

На этом тетрадка кончилась.

И матушка проснулась. Время чай пить. Трактирный слуга, самовар притащивший, всем своим гнущимся телом показывает преданность и расторопность. Глаза-то пьянущие... .



Четвертая тетрадь

1

Граф Алексей Кириллович Разумовский, министр просвещения, из первых узнал, что Кутузов оставляет Москву неприятелю, — это известие несколько дней в Петербурге держалось в тайне от всех. Графу судьба Москвы не была безразлична. Как натура широкая, он всех своих незаконнорожденных детей, кто бы их матери ни были, называя Перовскими, поселял в своей подмосковной деревне Перово. Старшие Перовские были уже гвардейские офицеры, но судьба младших, и особенно девиц, графа тревожила. В Перово граф отправил курьера с полномочиями: всех чад перовских и домочадцев немедленно и без объяснений, что бы они там ни кудахтали, перевезти в другую, пензенскую деревню, в Ершово. Приказ был исполнен: чад с их мамками, няньками, гувернантками распихали в кареты и вывезли наспех, девичьих платьев не дали собрать; по приезде в Ершово барышень в Пензу пришлось возить — шить им новые платья.

Тамбовские и пензенские имения граф Разумовский не из важных считал, предпочитая край дедов — Малороссию. Но и эти имения были богаты. В Ершове стоял каменный дом с оранжереями, парком и мраморной баней, всегда готовой к приезду господ. Хотя на памяти живших в Ершове граф ни разу не приезжал. Парк был

давно запущен и превратился в рощу, там собирали грибы. Но в ближайшей от дома части жили еще павлины.

В недалеком прошлом управляющим этих имений был Петр Гаврилович Беляев. Смолоду графу знакомый дворянин. Беспоместный. Как офицер в свое время известный лично Екатерине Второй.

Будучи некогда в Выборге с полком своим, Петр Гаврилович там был пленен неяркой северной прелестью юной шведской дворяночки. Дома ее называли Шарлоттой Андреевной. Она оказалась кроткой и домсвитой супругой. Разделяя с мужем походную жизнь, родила ему пятерых дочерей, а напоследок двух мальчиков.

Должность управляющего Беляев, выйдя в отставку, за божью милость считал и служил безупречно. Семейство проживало в большом деревянном управительском доме. Для домашней услуги граф подарил Беляеву семью дворовых людей. Домашний быт был обычный, как у помещиков средней руки. И дом — обыкновенный помещичий. Из просторной прихожей дверь вела в залу, служившую в парадные дни столовой; влево из залы — дверь в кабинет Петра Гавриловича, еще левее — в его же спальню, где на пороге всегда спал любимец хозяйна старый легавый кобель Валерка; в глубине были детские спальни и девичья, где под надзором Шарлотты Андреевны графские девушки вышивали и плели кружево. Дверь из залы направо вела в гостиную...

Петр Гаврилович был собою красивый и по тому времени образованный барин, всюду в соседях принятый; умел сказать речь за большим столом, писал без ошибок по-русски и по-немецки; по общему впечатлению слыл справедливым и строгим, жестокостей сам не терпел и другим не потворствовал, но почему-то его боялись не только крестьяне — и его сыновья. Дружил Петр Гаврилович с животными и умел их приваживать. Ручная белка смело шныряла в рукавах его шлафрока. Мальчики, между прочим, и белки отцовской побавались, когда, убежав из клетки, она носилась по комнате. Стоило детям оказаться у нее на пути, как эта рыжая фаворитка замирала сердито, прижимая короткие лапки к груди, и угрожающе цокала на мальчишек, строя хвостом фигуры. Еще был у Петра Гавриловича холодный черный уж, которого он, не обращая внимания на безгливый ужас супруги, клал за пазуху и поил молоком из своей чашки. Большой умный ворон произносил картаво: «ворон слава богу», «ворону кушать» и «Петр Гаврилович».

Умер Беляев еще не старым. Зимой парился в бане, а в это время прибежали сказать, что на деревне пожар. Был сильный мороз и ветер. Он выскочил на пожар и тушил со всеми. Видимо, простудился и умер в несколько дней. Граф Алексей Кириллович приказал дать вдове десять тысяч рублей, а императрица Мария Федоровна определила семейству Беляева пенсию — тысячу рублей ежегодно. Вместо управительского им был оставлен в Эршове дом поменьше, но тоже хороший.

Детство братьев Беляевых по тем временам — самое заурядное. И между собою они были так похожи, что многие принимали их за близнецов, хотя в самом деле Петр Беляев родился через год после Александра. Достаточно рассказать об одном: другой был, что называется, тех же щей, да пожире влей. Копия, близкая к оригиналу и несомненно того же мастера.

В нежном младенчестве Саша Беляев имел шелковистые кудри до плеч, и матушка их любила расчесывать большим костяным гребешком.

Когда он подрос немного, то шаловливо растрепывал и расплетал толстую косу красавицы няни своей, крепостной девушки Пелагеи, отлично умевшей рассказывать сказки.

В погожие дни братья играли во дворе с крестьянскими мальчиками, а в ненастье возились в прихожей, которая заодно еще служила теперь буфетной. В зале, бывшей теперь и столовою, и гостиной, стоял старомодный диван из карельской березы, такой же овальный столик, — на нем матушка раскладывала пасьянсы, — а в простенке между двух окон едва уместилось большое зеркало с подзеркальником. Шарлотта Андреевна, как набожная лютеранка, читала по вечерам по-немецки псалмы, а в назидание православным детям каждое воскресенье терпеливо выстаивала обедню. В Петров день ежегодно заказывала панихиду по мужу и тихо плакала. Дети, выходя из церкви, дразнили павлинов с ощипаннми хвостами. Павлины кричали скрипучими голосами и больно щипались.

Старшие сестры сами учили мальчиков по-французски и по-немецки. Милостью императрицы Марии Федоровны одна из пяти сестер получила возможность воспитываться в самом лучшем столичном Екатерининском

институте; когда одна возвращалась, закончив курс обучения, на смену ей посылали другую.

Нашествие французов девятилетнему Саше Беляеву запомнилось как веселое время: в Ершово нагрянули гости — перовские барышни. Их старшие братья ушли на войну, и все были настроены очень патриотично. С помощью старинного песенника перовские барышни и старшие сестры Беляевы, знавшие нотную грамоту, исполняли торжественные, очень красивые песнопения. Музыка целый день не смолкала. И соседи-помещики стали в Ершово наведываться. Мальчишки по очереди вытаскивали из ножен висевшую над диваном отцовскую саблю и трогали пальцем холодное лезвие.

Потом появились в Ершове и пленные: обмороженные, оборванные, голодные. Их и крестьяне жалели — выносили поесть. . .

2

В 1813 году дома решили, что Саше пора учиться по настоящему. Еще при жизни отца граф Разумовский обещал пристроить мальчиков в царскосельский Лицей, но теперь никто не решился напомнить об этом графу. Одна из старших сестер подружилась в Екатерининском институте с княжной Гагариной, Варварой Сергеевной, сиротой, но богатой и знатной девицей, за которой было приданого до тридцати тысяч душ. Подруги дали клятву не расставаться. Вскоре княжна вышла замуж за князя Василия Васильевича Долгорукого, офицера, который тотчас подал в отставку, для того что его невеста имела каприз не идти за военного. Девуцу Беляеву молодые согласились взять в дом компаньонкой. Они объезжали свои поместья, частично порушенные войной, и Ершово было им по пути. Саша Варваре Сергеевне очень понравился — он был хорошенький, белокурый, сообразительный и довольно воспитанный мальчик. Она и его захотела с собою взять. Матушку наспех уговорили, и Сашу, заплаканного, приткнули в коляске возле сестры. Князь с княгиней сели в карету с гербами, запряженную шестерней, и лошади тронулись, колеса затарахтели. Жизнь одного Беляева покатила по новой колее.

А через год этот путь — с другой сестрой — предстопит и второму брату.

Путешествовал длинный обоз. Кухня с запасом провизии, с самоварами и посудой. Складная супружеская

кровать. Толпа поваров, кучеров и лакеев, горничных и мальчишек-форейторов. На станциях князь Долгорукий требовал целый табун лошадей и, если сразу не приводили, бесновался по флигель-адъютантской привычке, пускал даже руки в ход: и зрителю доставалось, и ямщикам. Княгиня от несдержанности мужа страдала и старалась кротостью, лаской умерить его досаду.

Впервые Саша Беляев увидел город. Тамбов. Он показался мальчику великолепным. Больше всего ему понравился встреченный на улице всадник — гусар в нарядной красной накидке. И еще чрезвычайно громадный, привезенный из самой Астрахани арбуз.

Рязань миновали. Переправились на пароме через Оку. В Москву приехали ночью. Саша почувствовал, как его сердце забилось при виде темной недвижимой массы домов. Его испугал непрерывный шум в темноте куда-то едущих экипажей. И ночная толпа, непонятно куда спешащая. Он тарашил глаза из коляски, прижимаясь к сестрину теплому боку. Остановились у высоченного дома, перед освещенным фонарями и факелами подъездом. Суетились лакеи, и кто-то из барских людей взял Сашу за руку и повел в дом по темным лестницам. Спать его положили в комнате княжеского камердинера итальянца Жозефа.

Сперва итальянец казался Саше важным, и Саша его даже побаивался, но вскоре понял, что хотя Жозеф рядом с другими слугами и выглядел господином, но это перед слугами только он барин, а Саша... Он — дворянин, и не могли же его подарить насовсем княгине! Дарить можно только дворовых и мужиков. Хотя, правду сказать, иногда, бывает, дворового от дворянина не сразу и отличишь: иной музыкант или даже конторщик так чисто одет, в белом галстуке... А все-таки его тоже можно продать или подарить.

Ранним утром Сашу Беляева разбудил непонятный, неправдоподобный, со всех сторон густо накативший звон московских колоколов.

Его как пажа наряжали, кудри ему расчесывали, выводили к гостям. Приучали таким образом к светской ловкости и развязности.

Утром, в комнате у сестры, Сашу поили чаем. Сестра, как любимая подруга княгини, кофе пила. А сдобный крендель и сливки подавали обоим. После чая мальчика

посылали с лакеем гулять, и важный старик в ливрее с истершимся позументом, ездивший смолоду на запятках карет, водил Сашу за руку по Москве. Еще много было вокруг обгоревших развалин, и старик объяснял барчонку про бедственное нашествие на Москву *неприятелей-басурманов*. Рассказывал, как Бонапарт поджидал всю ночь на Поклонной горе *депутацию* с ключами от Кремля. Так и стоял бы, если бы возле него случившийся мужичонко не объяснил ему, *басурманскому императору*, что и не было никогда на Москве никакой *депутации*, а что Кремль спокон веку не запирался — зачем же и быть ключам? Старик с достоинством пересказывал мальчику только что сложенные легенды о подвигах православного воинства в Бородинском сражении, как в огне видели Георгия Победоносца на белом коне, ободрявшего русское войско. И про то еще, как чудесным образом уцелел над взорванными врагом воротами кремлевскими лик Спасителя. «Кремль хотели взорвать! — говорил сердито старик. — Ну, разве не басурмане?»

Саше весело становилось при мысли, что ведь и он же русский!

Зимой князь Василий Васильевич отвез беременную жену с ее свитой в свою подмосковную, а чтобы ей там не скучать, отпросил у родни — у Хованских — на время шута для нее. Савельич был шут знаменитый на всю Москву. Карлик ростом, но толстый и коренастый, кубического телосложения. Пожилой уже. Сам граф Ростопчин, московский главнокомандующий, во время войны употреблял Савельича для государственных нужд. Нарядив шутовски и снабдив шутовским экипажем, свиньями запряженным, посылал он Савельича развозить по Москве афишки с насмешками всякими про Бонапарта.

Тяжелым трудом сколотил Савельич себе состояние и на старости лет у господ откупился, приобрел товары и лавку, приписался в купечество. Он умно «дурачился»: знал, кого можно задеть, а с кем лучше поостеречься. Саша однажды с большим удивлением обнаружил, что этот Савельич, так их всех забавлявший своей корявой французско-русской словесностью и смешными телодвижениями, по-русски и по-французски, когда он вне «должности», говорил очень правильно и хорошо.

Савельичу Саша Беляев подыгрывал. Сперва нечаянно, а потом уже — видя общее удовольствие. Озорничал

и дразнил пожилого шута, — про себя удивлялся, как все ему с рук сходило? Смешно-то, конечно, смешно, однако ведь и неловко так доводить до каления старого и усталого человека. И зачем он ребенку позволяет над собой издеваться? Шутки ради Саша чуть не утопил старика в пруду. Удирая, выскочил на лед, еще по-осеннему тонкий, выдержавший мальчишку и провалившийся под ногами тяжелого карлика. Пруд, по счастью, был неглубок, и голова Савельича над водою торчала. Его тащили веревкой.

Княгиня Варвара Сергеевна, когда шут провалился под лед, вскрикнула тоненько. Саше за это был нагоняй. Но князь, узнавший про этот случай, когда все уже обошлось, не сильно гневался. Он и смеялся. А вечером в тот же день играл в жмурки со всеми. Княгиня сидела в сторонке с шитьем и только протягивала тонкую руку, если к ней приближался водивший с завязанными глазами. Князю нравилось, завязав глаза, хватать в охапку девушек. Он не только горничных, он и Сашину сестру обнимал, если вдруг она попадалась. А Савельич нырял водившему под руку, забавно кряхтя. Иногда издавал и более смелые звуки, если княгини не было. . .

. . . Наконец Петербург. Дом князя Долгорукого, большой и парадный, с белым мрамором лестниц. Кавалергарды, гусары, дамы — весь модный свет! Хорошенький паж, белокурый, в новеньком полуфрачке, вглядывался внимательно в разнообразие лиц. Видел толстого гусарского генерала Васеньку Левашова с большими усами. Когда он спускался по лестнице, сабля с грохотом волочилась за ним по ступенькам. Будь он Савельич — все бы со смеху померли! Но никто и не улыбался. Про генерала Левашова рассказывали, что своих гусар, обучая, он часто запарывал до смерти.

А генерал-адъютант Александр Иванович Чернышев? Всегда любезный, улыбчивый и речистый. Такой молодец! Саша слышал, как Александр Иванович повествовал о своем геройстве:

— Вот, помню, когда я брал Кассель. . .

Саша замечал с недоумением, что лица гостей становились сразу скучны. А другие, напротив, насмешливы. Кое-кто просто делал вид, что не слышит. Поворачивался спиною к рассказчику. Что за невежливость?

Саша не знал, что город Кассель, столица маленького немецкого государства, русским сдался без боя, но генерал Чернышев чересчур постарался, когда описывал в рапорте государю свое взятие Касселя, и за эти придуманные им подвиги получил большие награды.

В доме князя Долгорукого Саша Беляев увидел и великих князей. Николая Павловича — высокого, стройного, с горбатым носом и ледяными глазами. И «рыжего Мишку», курносого и коренастого.

Но вскоре Беляева, как подросток медвежонка, сделалось неудобно в доме держать, и пришлось пристроить его в учебное заведение.

3

В Морском кадетском корпусе сразу казенной вакансии для него не нашлось, и Сашу определили вольным слушателем. Поместили временно на квартире у корпусного учителя рисования, который жил в маленьком флигеле на лазаретном дворе, деля квартиру с учителем русского языка. От нужды приходилось сдавать помещение своекоштным кадетам, хотя и сдавать было нечего. Саша был удивлен, когда его привезли на эту квартиру. Княжеский камердинер Жозеф жил роскошней.

Квартира учителя состояла из темной прихожей, которую комнатой трудно было назвать, в ней и мебели не было, кроме больших часов, из тесной гостиной, где на кожаном диванчике спал учитель и была еще втиснута раскладная кровать для Саши, да из чуланчика, в нем спала матушка Карла Карловича. Возле прихожей находилась кухонька, почти всю ее занимала большая русская печь.

Саша подумал: ну как же тут можно жить?

Когда уехала привезшая его коляска, он едва не заплакал. Добрая старушка хозяйка предложила ему выпить чаю, но чай оказался жидкий и вовсе не сладкий. Саша выпил из вежливости, но старушка спросила, не хочет ли он еще, — и тогда слезы посыпались из красивых Сашинных глаз.

Старушка хозяйка сама варила обед и сама ходила на рынок. Иногда брала Сашу с собой, и он ей таскал кошелки. Чтобы приготовить обед, растапливали русскую печь. Ужин вечером подогревали на дымном железном таганке. Из печурки извлекалась жестяная коробочка с трупом из горелой тряпки, огнем и оббитым кремнем.

На спичках экономили. Чтобы затеплить трут, приходилось делать не меньше сотни ударов. Попадая по пальцам, старушка жалобно охала, бросала кремень, и брался за дело Саша. Трут начинал дымиться, к нему прикладывалась насеренная лучинка, смрад ошеломлял на мгновение; от лучины зажигалась свеча в медном подсвечнике...

Учителю рисования жалованье платили двести рублей ассигнациями в год и не всегда аккуратно. Но матушка его была старушка предобрая: к приходу Саши из корпуса приберегала ему то кусочек булки с изюмом, то другое лакомство. И обед готовила вкусный. Саша вскоре к ней привязался, но тут открылась вакансия, и его поместили в казенной спальне, где были другие, суровые нравы.

Кадет воспитывали спартански. Кормили впроголодь. За всякую провинность пороли. Никто не стыдился розог, а стыдно считалось кричать, когда порют, и плакать. Самых стойких уважительно называли «чугун» и «старик». И Сашу Беляева высекли скоро. За дело. Когда он стоял на дежурстве, то побил фухтилем тесака большого кадета, который не слушался его. На дежурных по ротѣ всегда надевали тесак, но ведь не для этого! Наказание Саша стойко терпел. И драки были как самое обыкновенное дело. По вечерам в спальне дрались из-за принесенных из дому свечных огарков, особенно восковых. Во дворе дрались «двухкампанцы» против «трехкампанцев» — гардемаринны, бывавшие дважды и трижды на мореходной практике. Эти драки описывали стихами в стиле Херасковой «Россиады».

Летом два месяца плавали по Маркизовой луже — из Петербурга в Кронштадт, из Кронштадта в Петергоф, из Петергофа обратно в Петербург — и ругали не в меру осторожного маркиза де Траверсе, который это придумал. Первокампанцы делали все матросские работы на палубе. Двухкампанцы и трехкампанцы ставили и убрали паруса. Наверху работа была тяжелая и опасная. В марсовые назначали самых сильных и рослых — отдавать и крепить паруса, стоя на большой высоте, на веревках, привязанных к реям. До братьев Беляевых (Петр годом позже присоединился к Александру) еще дошла легенда о Торсоне: как он, будучи гардемаринном, поднимался на клотик — маленькую круглую пло-

щадку на самой верхушке мачты — и вставал на него коленями; случилось, что в этот момент уронили тяжелое что-то на палубу, сотрясение передалось мачте, и потрясенный Торсон едва спустился и никогда больше этот номер не повторял.

К тому времени, когда Беляевы впервые занялись мореходной практикой, старший Бестужев ушел из Морского кадетского корпуса. Мишель вышел в мичманы. С ними учился Петр Бестужев, нервный и замкнутый, предпочитавший веселому обществу одиночество и серьезное чтение. Матросские навыки давались Петру Бестужеву трудно: он вынужден был прятать страх, но ни разу не отказался от самой тяжелой и опасной работы. Саше Беляеву запомнилось, как однажды, когда марсовые лежали на реях — убирали паруса, Петр Бестужев находился на самом ее краю, и в это время рея под ним вдруг осела резко на целую четверть; испугались все, но Бестужев так побледнел и обмер, что не мог уже сам вниз спуститься, пришлось его силой тащить.

У Беляевых головы на высоте не кружились. И даже путен-вант, по которым надо лезть вниз спиной, держась на весу руками и ногами, они не пугались. И все им нравилось на корабле, даже чай матросский — его наливали в большие оловянные миски, густо заправляли сухарными крошками и хлебали ложками, как суп...

4

Александр Бестужев тоже чуть не стал моряком. Он несколько месяцев бредил морем — из-за воспитательской неосторожности старшего брата Николая, который летом 1813 года во время каникул решил взять Сашу с собой на корабль. Он и в Маркизовой луже морем успел заболеть. Сначала, правда, ему пришлось очень худо. В начале плаванья он с непривычки робел, оглядывался, казался неловким. Зная его самолюбивый и отчаянный нрав, Николай запретил Саше за чужие дела хвататься. Море, сказал он, требует навыка даже в простейшей работе на палубе, а тем более наверху. Не забудь, что я за тебя перед матерью отвечаю!

Александр Бестужев, рослый не по годам, здоровый и сильный, бродил по палубе, как пассажир, и мальчишки над ним смеялись: дразнили «крысой», «кротом» — за черный мундир его Горного корпуса. Александр растерялся. К такому он не привык. Когда корабль оказался

в устье Невы, чтобы сдать в лазарет заболевшего гардемарина, он бросился к брату — просил со слезами домой отпустить.

Николай Александрович рассердился:

— Что за вздор? А дома что будешь делать?

— Ничего... Отпусти, а то сам уйду.

— Ну, что ты еще придумал?

— Ты сам виноват, что меня здесь трусом считают. Я — крыса? Или домой отпусти, или дай мне со всеми работать...

Пришлось позволить ему работать со всеми. Для Николая Бестужева это была настоящая пытка. Сердце замирало, когда Александр — в широких парусиновых штанах и в рубахе, подпоясанной веревкой, — бежал со всеми по рее, подражая самым отчаянным «старикам», или в свежий ветер на шлюпке черпал воду бортом...

Зато Александр сразу завоевал общее уважение на корабле.

Вернувшись домой, он заявил матери, что не станет больше учиться в Горном корпусе. Хочет стать моряком.

Он в самом деле горную службу возненавидел. Учебные шахты теперь казались ему гробами. «Катакомбы!» — жаловался он приходившему навестить его в корпусе Мишелю. И кто это может перенести, чтобы заживо погребали? Где там воля, где простор? Море — вот это прекрасно...

Александр ластился к матери, умильно заглядывал ей в глаза — просил взять справку у доктора, что нездоров он и больше не может учиться. Где ей было перед любимчиком устоять?

— Да как же ты вдруг нездоров, дружочек? — пугалась мать. — Почему я в тебе никакой хворости не примечаю?

— У меня голова болит.

— А жить как будешь невыученный? Ведь какой вздор говоришь! Мне и слушать немоготу.

— Да меня, если я в Горном корпусе выучусь, сразу в Сибирь зашлют! Для чего и учиться? Я нашалю — так меня в Сибирь зашлют и без корпуса...

И в конце концов мать взяла справку у доктора.

С присущим ему азартом Александр Бестужев стал готовиться в гардемарины. Засел за учебники. Старался пересилить свое отвращение к математике.

А кроме того, он задумал написать о моряках роман. Или, может быть, — пьесу... Не решил окончательно. Ге-

роем представлялся отец. И хотелось изобразить то сражение, в котором отца ранили. И как его чуть не бросили в море, считая убитым... Он все приставал к Мишелю с вопросами: помнит ли, как отец им рассказывал? Мишель ничего не помнил. И старого Федора снова и снова слушал.

— Жалко, я тех больших кораблей никогда не видел, — говорил Александр брату. — Ты можешь себе представить, как сразу сто пушек палит?.. Или двести! А зря ты не вел дневника, когда вас в Свеаборг везли. Вы как раз мимо тех островов проходили, где наш отец сражался. Мог бы мне все рассказать...

Но Мишель ничего не помнил.

Книги Александр читал теперь только про морские путешествия. Его пылкое воображение навещало неведомые острова, носилось в океанских просторах.

Николай уверял, что на Земле неоткрытых островов давно уже не осталось.

А Саша видел незнакомые берега, и высокие пальмы ему кивали лохматыми головами. Но чем ближе он к ним приближался, тем отчетливей видел и прибрежные рифы: интегральные, дифференциальные формулы, в которых и черт ногу сломает! Об эти-то рифы и разбивался его летучий корабль. Хлестала вода во все дыры...

— Как будто нельзя моряком стать без этих формул? Без хаоса цифр с плюсами и минусами... Что? Или Колумб не открыл бы без них Америки? — иронизировал он.

Николай был в дурном настроении. Второй раз у него сорвалось кругосветное плаванье. И еще имелись причины для раздражения.

— Хаос не в цифрах, — сказал он Саше. — Хаос в твоей пустой башке! Ты без математики не Колумб, а болтун. И в те времена никто ничего не открыл бы без математики. А в наше время не только хорошим — вообще никаким моряком без математики стать нельзя. Ты что, может быть, всю жизнь собираешься палубу драить с матросами? Лазить по реям... Так это может и обезьяна. Лучше, чем ты!

Расстроенный Александр признался Мишелю, что вряд ли ему удастся когда-нибудь стать хорошим моряком. А дюжинным — он и сам не захочет.

Мишелю показалось досадно лишиться товарища. Он пытался нажать на самолюбие брата. Намекал, что-де стыдно сворачивать с полдороги. Труси! Математики ис-

пугался... Что же ты, в пехоту пойдешь? Носок тянуть! Гусиным шагом маршировать...

— Упаси бог! Лучше я инженером стану, а возможно — артиллеристом...

— Шутись, братец! Какой же ты инженер без математики? Артиллерия тоже чистая математика.

Но Александр упрямо взялся за фортификацию. С помощью младшего брата Павла сделал несколько макетов крепостей. Потом они их расстреливали из самодельных мортирок. Матушка голову закутывала платком, жалуясь на мигрени.

Павел Бестужев действительно стал хорошим артиллеристом, кое-что даже в этой области изобрел.

Александр на том и закончил, что в саду произвел замечательный фейерверк...

Его судьба определилась нечаянно.

Зашел навестить Прасковью Михайловну старый приятель мужа, лейб-драгун, генерал Чичерин. Красивый. Еще молодой. Остроумный. Они долго беседовали в гостиной. Уходя, Чичерин подозвал к себе Александра и сказал весело:

— Знаю, друг мой, что ты не любишь фрунта. Кто его любит? Но мне говорили, что ты хотел бы полезным отечеству быть по ученой части. Ради бога! Я это одобряю. Но согласись, что и тут одного желанья мало. Военная служба чем хуже всякой другой? И разве она тебе помешает в ученых занятиях? Настойчивому ничто никогда не мешает. А знаешь, что надо, чтобы на службе военной приносить пользу отечеству? Ведь не знаешь! На первый случай надо иметь штаб-офицерские... впрочем, для начала сойдет — хотя бы обер-офицерские эполеты. Не зная фрунта, кто же тебе их даст? Да хоть бы ты звезды с неба хватал... Я-то слышал, что ты и звезд пока не хватаешь. Ну, стало быть, и не финти, друг мой, не миновать тебе горькой участи... Этого самого фрунта! И чем ты скорее начнешь, тем скорее и кончится все мучение... Сколько тебе теперь? Вот видишь, уже почти восемнадцать. В твои годы я... Ну, да не в этом суть. Суть будет в том, что я беру тебя в полк. Юнкером. Месяцев пять или шесть потрешь солдатскую лямку, что делать? Зато после этого ты офицер. Держи хоть прямо в начальники штаба, если охота...

Александр выслушал длинную речь. Генерал ему нравился: молодой, добродушный, щеголеватый. И что было возразить? Пора чем-то всерьез заняться.

Надел Александр Бестужев зеленый драгунский мундир и стал учиться ездить верхом в манеже. И в этой науке свои тонкости...

Спустя несколько лет он подумывал, не написать ли ему пособие по обучению верховой езде. Написал бы, пожалуй, если бы не увлекся другим — писанием повестей из российской истории наподобие Вальтера Скотта.

Добрый, покладистый, ловкий, он всякое дело осиливал с ходу. Освоил и верховую езду. Постиг академию конного строя. Поладил с товарищами, с начальством... Хотя глупостей тут было, как и повсюду, никто ничего не умел объяснить — все только сердились, кричали, руками размахивали (не оттого ли и мысль об учебнике родилась?). И что с них возьмешь, думал: «лошадиные офицеры!» Потом изобразил офицеров в своем альбоме — в виде домашних или диких животных, кто на кого похож. Рисунки показывал — все смеялись. Только один толстый ротмистр, изображенный в виде индюка, надулся сердито и... вызвал Александра Бестужева на дуэль. Такая вот жизнь начиналась.

Он трусом себя никогда не считал. А подумал: что же дома-то будет, если его убьют?

Гвардейский драгунский полк стоял в Петергофе. Летом в свободное время Бестужев любил бродить в парке. Возле Марли в бассейне плавали рыбы. Ручные. Кормивший их сторож выходил с колокольчиком — толстые карпы учтиво собирались на зов.

Он старался выглядеть бодрым, всегда веселым, лихим гулякой, но в самом-то деле ему больше нравилось вечером дома с книжкой прилечь на диване. Боясь показаться смешным, он старался скрывать эту склонность к серьезным занятиям. Имел всегда уйму приятелей. Ни один из них, вероятно, не мог бы считать себя его истинным другом.

Из пятерых братьев только Александр писал охотно и часто домашним, особенно летом, когда они жили в деревне. Писал и деревенской их соседке. О себе рассказывал с юмором; случалось, что и стихами. Такие письма читались обычно вслух — вечером за самоваром. Чтобы в руках у мужчин дымились трубки и смех, сотрясая

чайные чашки, выплескивал чай на блюдечки. И говор звучал приглушенно. И время летело быстрее московских курьеров...

Он видел все это картинно и несколько гарцевал:

Я не живу почти — дышу;
Скучаю сам — других смешу;
И хладность дружбы
Мечтами золотя,
Играю цепью службы,
Как малое дитя...

Набрасывал в письмах живые картинки драгунских суетных будней. В ожидании летних маневров под Красным Селом писал: «Собираемся тешить царя и чистимся, чтобы как можно красивее забрызгаться для блага отечества и славы вахтпарадского Олимпа».

Или слегка философствовал, размышляя, что-де «только в одних сновидениях человек может быть счастлив, — тогда прошедшее не занимает, а будущее не беспокоит его; он оживляет все химеры воображения и часто в садах Сильфид и Сильфов повелевает так же, как наш царь днем, и ни войны, ни заговоры не нарушают его власти, — кто счастливее?»

Вахтпарадские репетиции напоминали балет, однако будущее продолжало его беспокоить. И химеры воображения томили, пробуждая литературное тщеславие.

Из *Марлинского*: «Возвращаясь верхом из Красного Села часов в десять вечера и желая проехать ближнею дорогою в деревню, где кантировал наш эскадрон, я потерял бойную тропинку и ехал наудачу. Вы знаете, что Петербург окружен подземными болотами, на которых плавающие мхи и растения образуют обманчивую плеву. Не замечая, что конь мой начал прорываться, я понуждал его далее и далее, — наконец он прыгнул еще, рванулся и осел; обманутый травой, я думал в трех шагах найти берег и шпорами заставил его прыгнуть вперед, снова огрузнуть, — поздно уже я заметил неосторожность свою, голос мой исчез бы в пустой окружности, и я это знал! Холодный пот выступил на лице, волосы поднялись дыбом; в воображении моем изобразились все рассказы о подобных не-

счастиях; конь мой рвался и бился; вода фонтаном брызгала из пробони и клочкотала под коурою — окружность колебалась, бездна засасывала. Умирать таким образом и в такие лета — ужасно! Наконец я спрыгнул с коня моего и, ежеминутно обрываясь сам, не желая однако же бросить на погибель товарища моего несчастия, ободрял его голосом и поводом; и вот ступил с радостным биением сердца на твердую землю. Вообразите, какой праздник для меня, какая холя коню моему!»

5

Серьезная переписка с братом Николаем была давним желанием, и Александр его высказал в длинном и, как ему представлялось, дельном письме. Там были всякого рода соображения. О служебной карьере, — он признавался, что вовсе ею не дорожит. И относительно чести благородного человека. О деньгах и о женщинах...

Николай ответил ему престою отповедью размером в тетрадь. Писал по-русски, тяжелым и старомодным слогом, о красоте не заботясь:

«Любезный брат! Напрасно ты сомневался когда-либо в моей искренности перед тобою, но причина малой доверенности, или лучше сказать, поверенности может быть изъяснена так: обстоятельства, кои приходят тревожить или радовать нас в жизни сей, столь многообразны, что надобно иметь подле себя человека, который бы некоторым образом если не был бы непосредственным наблюдателем, то, по крайней мере, хотя бы ход событий был бы ему известен. Такой человек может быть поверенным, но и от сего укрываются подробности...»

На предложенные братской и дружеской откровенности, каковую хотелось бы Александру иметь в основании их переписки, Николай ответил сухо и холодно:

«Каким же бы теперь образом мог я быть к тебе доверен, когда мы видимся, можно сказать, в год один раз и в сей раз едва имеем время сказать друг другу здравствуй или прощай? — рассуди сам; тем более что искренность моя не послужит ни к чему ни для меня, ни для тебя. Расскажи я тебе случай, бывший со мною, ты, не будучи предварен ничем совершенно, примешь

оний как анекдот... Необходимо долгим следствием одинаковой жизни одинако мыслить, чтобы быть совершенным участником доверяемых обстоятельств... Но со всем тем ты не можешь меня упрекнуть в неискренности, — писал Николай Бестужев брату, — сколько раз ты от меня слышал все, что только я мог о себе сказать, — то, что знал ты, знал бы только и тот, к которому я имел бы наивеличайшую доверенность; и сие-то самое доказывает, что ты принимал оное как посторонние впечатления, не почитая меня искренним, тогда как вся искренность в сем заключалась. Теперь я буду говорить тебе яснее: мы все представляем дружбу, искренность и все прилежащее к ней качества некими особенными чувствами; до тех пор пока не изведем собственной опытностью, полагаем, что присутствие друга, разговоры с ним должны иметь нечто особенное, что сердце наше трогается необходимо всем до него относящимся, — но на деле оное не так бывает. Ты по неопытности воображал, что, дабы позерить тебе тайну, надлежало бы нам с тобой спрятаться, говорить тайком, заставить тебя клясться и так далее, — но я, изведав более, нежели ты, не делал сих пустяков, а ты, видя, что ошибся в своем ожидании, никак не полагал важного в том, что я тебе сказывал без обиняков. Ты ожидал впечатления и обманулся. Думал видеть дружбу в картинном виде, не нашел ее таковою, — и обманулся в другой раз, не почитая оную таковою, какова она есть на самом деле. Любовь только подходит немного, и то сначала, к тому идеалу, который мы создаем из книг в нашем воображении...»

Трезвая опытность Николая делала его беспощадным.

«Я знаю, — писал он брату, — что ты хочешь забрать меня в переписку; скажу тебе наперед, что лишнего в сем случае не дождешься. Писать много я не охотник, а если пишу, то, право, больше дельное, нежели острое; дельное же не займет и осьмушки».

Начав свой урок «морального образования» брата с рассуждений о дружбе, Николай Бестужев не остановился, пока не исследовал всех затронутых Александром вопросов.

Как найти себя в жизни? Как достигнуть успеха и положения в обществе? Оба понимали, что им рассчитывать можно лишь на самих себя. И Александру каза-

лось, что строгий к другим старший брат его в отношении себя что-то уже упустил, а теперь понапрасну тратит время в Кронштадте, среди пошлых людей и недостойных его обстоятельств. И Мишель с ним рядом теряет время. Он это брату со всей откровенностью выложил. Но Николай в горячности его рассуждений увидел только слабость здравого смысла да отсутствие логики.

«Хочешь ли,— предложил он,— я докажу тебе справедливость моих слов, докажу, что ты привык думать, а не обдумывать. Две вещи совершенно различные! Первая свойственна стихотворцам, а вторая нам, прозаикам. Ибо мы живем прозою в этом мире. Одни только мечты наши — стихотворения; все же видимое есть проза. Ты говоришь, что ждешь чину, но что оный — игрушка! Философствуешь над сею мыслию — прекрасно! И в ту же минуту уговариваешь меня искать славы в Новом свете, — что это такое? *Ботфорта и шлагбаум*... Если ты ищешь денег — то военному неприлично быть корыстолюбивым. Если славы — наемники никогда оной не получают!.. Советуешь мне бросить Кронштадт и идти делать дела... Согласен. Но для чего же ты сам, с сими прекрасными советами, до сих пор не офицер? Для чего не богат и для чего случай до сих пор тебя не сыскал? Не понимаю. А думаю — потому же, почему и я до сих пор малозначащ и до сих пор ничего важного предпринять не могу...»

Оба еще помнили старое слово «случай», означавшее в прошлом веке нечаянную удачу, но старший уже отдавал отчет себе, что их жизнь идет по другим законам.

«Спасибо за совет о брате, — писал Николай Александрович, имея в виду Михаила Бестужева. — Действительно, ты говоришь правду, но добрая воля делает более, нежели принуждение, и поэтому я ему советовал сам, читал твое письмо, а дальнейшее оставляю на его произвол, ибо, друг мой, ты знаешь, каковы все Бестужевы, каков ты сам: они принуждения не любят!»

Александру представлялось, что брат Николай с его умом и характером зря пропадает в Кронштадте, погрязши в пустых своих связях. Брат понял его намек. Однако же притворился, как будто не знает, что за «связи» Александр имеет в виду. Ведь связи — это всякие вообще личные отношения между людьми, без которых нет и общественной жизни. Об этом и начал сперва: что-де можно ли говорить о каких-то кронштадтских свя-

зях, будто бы недостойных его? Нехорошо, объяснил он брату, одних людей возвышая, низко располагать о других. Каждый человек рожден, чтобы жить в обществе. «Уединив себя, он будет столь же мало похож на человека, как...» Он вспомнил одного их общего знакомого, который, сильно себя уважая, никого больше не считал человеком порядочным...

«Не знаю, — писал Николай, — был ли бы я теперь в Петербурге тем, что я здесь, то есть офицером на счету у начальства, что — ты, думаю, согласишься — в службе многое значит, а сам думаю, простирается и не на один Кронштадт. Осужден же будучи судьбою, или чем ты хочешь назови, служить во флоте, я необходимо должен служить так, как должно. Или ты полагаешь, что, приняв намерение когда-либо оставить службу, я уже не должен заботиться о том, каково будут думать обо мне во весь остаток времени, если я пренебрегу службой? Нет, надобно служить — покуда должно! И надобно иметь связи: им-то я всем и обязан — более вероятно, нежели предполагаемым тобою во мне мнимым достоинствам...»

Между прочим, и все пятеро братьев Бестужевых будут служить как должно, покуда должно служить. Таковы Бестужевы!

Николай Александрович приглядывался с тревогой к характеру брата: видел пылкость его и безоглядность, не всегда разумную храбрость. Видел он и порочность принявшей Александра среды, самой вздорной и самой ничтожной в гвардии, о которой и вообще-то Николай Бестужев был невысокого мнения. А уж эти «лошадиные офицеры»! Пусть даже иронический склад ума, образованность и домашние добрые навыки и оградят брата, хотя бы отчасти, от всей этой пошлости. Надеялся, что так будет, и все же предостерегал: «Образ мыслей, нравы товарищей, даже род службы необходимо действуют на наш характер, нечувствительно переменяя направление наших мыслей, склонностей, обычаев, и, словом сказать, переменяют совершенно человека, а особливо в такие мягкие лета, как твои. Я не потому говорю так, — подчеркивал он, не желая обидеть брата, — чтобы ты имел мягкий характер, с которым все можно делать из человека, но не менее того и люди с самым твердым характером, уже получившие основание, сдаются на примеры живущих с ними...»

Николай Александрович тут попал в самую чувствительную для брата точку.

«Ты начинаешь думать о дуэлях, — писал он, — полагаешь истинную честь в том, чтобы задирать других или чтобы другие тебя задирали; думаешь, что почтение к тебе не иначе может утвердиться, как только на заблужестве?»

Легко ему было так говорить! У морских офицеров дуэли не в обычае. Но как было Александру от поединков уклониться? Его бы трусом посчитали. Да хотя бы и в той глупой истории с шаржами! Тогда, слава богу, все кончилось дружеской выпивкой в загородном трактире, на третьей версте по Парголовской дороге — излюбленном месте всех дуэлянтов. Оба пальнули в белый свет как в копеечку... Однако же честь и взаправду может оказаться задета, считал Александр. Офицерская честь! Позже, когда он стал уже офицером, случилась другая дуэль — из-за дамы. Его вызвали на балу, между двух кадрилей, — он виду не показал, что взволнован, доплясал до конца. Домой беспокойный вернулся. Утром исчез незаметно из своей комнаты. В десятом часу прибежала подруга сестер, дочь одного моряка, в панике: ваш Александр дерется! Дома все переполошились... Часа через полтора он вернулся целый и невредимый. Успокоил своих: дескать, была просто шутка — стреляли в воздух! А как в самом деле было?

Один раз он сам чуть не вызвал бывшего моряка, мужа очень хорошенькой дамы, которая в Смольном институте училась с его сестрой и как подруга ее в доме у них бывала. Этот фон Дезин, муж, ее к Александру отчаянно ревновал. В воскресенье однажды остановил Прасковью Михайловну при выходе из Андреевской церкви и наговорил ей на Александра бог знает что. Матушка с сыновьями была строга, зря слова ласкового не скажет, а тут она ужас как рассердилась. Он и вызвал тогда фон Дезина. Из чести! Однако ревнивец драться с ним наотрез отказался. Их сестры потом кое-как помирили...

Да и как же быть, если затронута честь офицера?

Николай Александрович был уверен, что никакой особенной офицерской чести нет и не может быть. Есть на все случаи здравый рассудок, им и следует руководствоваться, «Не род службы нам образует оный», — объяс-

нял он брату. Скорее наоборот: в службе, как и везде, опираться должно на здравый смысл, — «он должен быть мерою, коею измеряем все деяния наши».

Ну что такое гвардейское забиячество, как не следствие этих пошлых офицерских понятий? Не имея способов превзойти других своими достоинствами, бретеры пытаются приклонить внимание общества сомнительной славой отважных людей, а говоря попросту — неуступчивых, с которыми дружеского сближения и быть не может, потому что для них всякая близость рискованна: заметнее делает их душевную пустоту. Они и в попытке сойтись приятельски могут углядеть оскорбление. Такой герой, замечал Николай Бестужев, предпочитает всегда блистать издали, на балах и вахтпарадах, а в дружеском мирном кружке ему привлечь к себе нечем. И все, что ему недоступно, он и не уважает, — считает излишним. Вот тебе и особенная «офицерская честь»!

Нынешний офицер, не без сарказма заметил Николай Бестужев, «тем отличнее кажется, чем он бессовестней».

«Всякий человек, — писал он, — прежде чем делается военным, бывает человеком; оставя военную службу, он должен быть также человеком; следовательно, права и поступки каждого должны быть везде одинаковы, сколько бы раз ни переменял он свое состояние; но чтобы сим поступкам быть одинаковыми, надлежит управлять ими по правилам вообще для человека принятым, а не по тем, коими некая часть людей управляется; общие же правила не иначе как в обществе избранном приобретаются. Ты не считай обществом, — писал Николай Бестужев брату, — собрание двадцати или тридцати молодых ветреников, из коих каждый поступает по своим законам; каждый из них рано или поздно узнает свои ошибки и, вероятно, исправит их, но не лучше ли исправить их как можно ранее?»

Для Николая Александровича Бестужева «избранное общество» — это общество честных людей. И где же как не в таком обществе искать человеку своего назначения? Где как не в обществе учиться мыслить и поступать правильно? Себя усовершенствовать. . .

«Я уверен, — писал он брату, — что лучший общественный человек будет и лучшим офицером, тогда как усумнюсь, будет ли лучший офицер хорошим общественным человеком?»

Но для того чтобы стать хорошим общественным

человеком, считал он, иметь надо прочные отношения с людьми — *связи*, а не визитные или приятельские знакомства.

Сказать, как позволил себе Александр, про то, чем он жив уже несколько лет, что это «пустая связь»!

Исчерпав околичности, Николай Александрович упирается опять в этот самый трудный для него вопрос. Считает ли брат его честным человеком или бездельником, для которого не существует связей, касающихся сердца, душевного расположения? Бездельник имеет одну цель — свое возвышение; все другое для него вещи посторонние, которые он только использует при случае, но ничто никогда не свяжет его, ничто для него не важно, «он жертвует всем для своего эгоизма».

С горечью пишет старший Бестужев брату, что лишь тогда мы умеем ценить чужие чувства, когда они нам самим известны, «подобно тому как чувствуешь живо несчастье другого, испытал сам подобное».

«Как ты ни говори, даже как ни уверяй меня, — пишет он, — что ты научился мыслить здраво, я тебе не поверю, пока ты не будешь в кругу действий большого света. Ибо единая опытность доставляет нам рассудок, а не пылкое умозрение, в коем острота заменяет место здравого смысла. Скажу тебе больше: пока не узнаешь женщин, не будешь иметь и ясного понятия о вещах; одно обращение с ними внушает нам ту разборчивость и приличие, которые не могут быть заменены никакою логикой на свете, но которые вместе с оною составляют полный курс морального образования. Не подивись моим речам, я прежде сам думал так же, как ты, а теперь нашел, что обращение с мужчинами есть чистая геометрия, а обращение с женщинами — хитрая алгебра, посредством коей самые хитрейшие задачи разрешаются...»

Смешно было бы обижаться на брата. В жизни каждого человека, думал он, «есть время для шалостей, есть время для важнейших связей, время славы и почестей, наконец — время скупости или жадности к деньгам, и тот, кто проходит сие поприще, назначенное ему судьбою, не изменяя ни должности своей, ни важнейшим обязанностям, не заслуживает никакого нареkania».

Жизненный опыт Александра, казалось старшему брату, не вышел еще за «время шалостей».

Александрю же представлялось, заметим, что его умный брат непозволительно задержался в том времени, которое сам же он и определяет как «первые случаи молодости». Что пора уже с этим кончить...

Но с чем?

«Если ты считаешь меня честным человеком, — возражал ему брат, — то, положив, что у меня есть связи (ибо есть оные или нет — мне все равно отвечать), я тебе отвечаю: честный человек, идучи по пути жизни, покоряется необходимости, сужденной человеку, — любить, и любит искренне, не основывая своих домогательств на бесчестных правилах искать единого удовлетворения, не заботясь о следствиях и оставя то, что связь сия делает его в свое время счастливейшим человеком; он полагает оную нужную для сердца, потому что без оной человек сиротеет, так сказать, в мире, в оной чувства его самые благороднейшие образуются и находят пищу, самые его способности от нее возвышаются, сердце удобряется и самая душа его приемлет лучшее направление. Я могу тебе сказать опытом, сколь действует связь сия на все наши способности; даже думаю, что в оной есть нечто божественное...» — писал старший Бестужев.

Он не мог обойти и прямую обиду, хотя и без злого умысла нанесенную слишком самоуверенным братом.

«Наконец дошел я до того, что мне сказать хотелось, — признавался он, — именно — каким образом мог бы я с тобою быть искренен, когда образ мыслей наших столь различен? И когда то, что для меня дорого и свято, для тебя кажется навозною кучею? Ты спрашиваешь, неужели не достанет у меня силы согнать муху с носу?.. А слышал ли ты когда-нибудь о сумасшедшем, который чрезвычайно пленялся ангельским пением, слышным только в его воображении, и который, будучи вылечен, сделался несчастлив, лишившись приятного своего сумасшествия? Если ты хочешь — вся наша жизнь составлена из заблуждений, но лишив их человека, сделаешь из него сурового и дикого зверя, ибо заблуждения сии, если не превышают здравого рассудка, делают человека счастливым... Скажи же теперь, нападая на мои связи, не обижаешь ли ты меня, не поражаешь ли ты меня в самое чувствительное место, нападая тем самым на мою нравственность?.. Знаю, что любовь братская заставила тебя говорить таким образом; знаю, что тебе жалко видеть меня бездейственного. Но утешься: я следую очень доброй системе — извлекать изо всего пользу, что бы мне ни

встречалось, доброе или злое; и если судьба надолго оставит меня в сем кругу бездействия, то, по крайней мере, будь уверен, любезный, что брат твой образует сердце свое и характер, и если не будет героем, Фениксом, то будет человеком!..»

6

В той сложной и тонкой сфере, о которой писал ему старший брат, Александр Бестужев, увы, так никогда и не двинется дальше простой арифметики. Хотя, между прочим, он сам признавался уже в зрелые годы, что с девятнадцати лет любовь стала маятником всех его жизненных устремлений и повседневных забот. Она вносила во все свой ритм и всему придавала малую толику смысла. И она же его подстегивала — как в тщеславных помыслах, так и в литературных занятиях... Но — сама же собой и рассыпалась.

«На беду мою, — горевал он, — из всех тех, которые владели моими мыслями, не было ни одной, которая могла бы оценить мои дарования и потребовать от меня чего-то цельного: создать или, так сказать, вылепить из меня что-нибудь гениальное. Любила ли хоть одна из них мой ум более моей особы? Мою славу — более своего наслаждения?»

С искренней горечью он признавался приятелю, что за два десятка лет его благородного волокитства одна только женщина и попалась ему, которая недели две-три играла с ним в неприступность, — Александр Бестужев помнил ее всю жизнь с благодарностью за дарованное ему тревожное, острое, сладкое ощущение победы, единственный раз испытанное им в любви. Остальные сдавались прежде, чем он успевал к ним приблизиться, как немецкие крепости знаменитым наполеоновским генералам.

«Городишь им турысы на колесах!» — смеялся он. Не над ними смеялся — над собой...

Александр Бестужев любил, вспоминая те славные годы, посетовать. «Терпеть не могу, — говорил он, — как это нынешние молодые люди любят находить во всем трудности. Не закрыть козырного туза, а все прочее трын-трава!»

Он помнил молодость — свежесть души и сердца. И застенчивость юности, тщательно маскируемую под мнимую опытность. И как он счастлив бывал, сотво-

ря себе нового идола и украшая его всеми прелестями жаркого воображения. Оживляя его... Безумец! Преклонялся иной раз глиняному кувшину, вообразив его статуей Медицейской Венеры... Но как бы то ни было — благодарил Провидение: что была бы и ночь без снов!

И он же с досадною трезвостью сокрушался, припоминая: «Сколько времени бросил я в корм своему несчастному сердцу! Более пылкий, чем постоянный, и, может быть, более сладострастный, чем нежный, я губил годы в волокитстве, почти всегда счастливом, но редко дававшем мне счастье. Моя безумная, бешеная страсть палила женщин, как солому, и нередко так же быстро проходила... Я стыдился своих идолов!»

7

И Рылееву не было счастья в чинах. Правда и то, что в службе он не всегда показывал истинное усердие.

Служба для конноартиллерийского прапорщика Рылеева с каждым годом становилась все более тягостной. В героических обстоятельствах ему не досталось себя проявить. Батарея в конце войны находилась в авангарде у генерала Александра Ивановича Чернышева, чья слава, больше салонная, не простирала крыла на мало-чиновное воинство. У Чернышева служить — не у Раевского!

В Дрездене, очень недолго, Рылеев служил под началом родственника, Рылеева же, тогдашнего дрезденского коменданта. Отец как раз умер, и дядюшка был с ним добр: и деньгами, случалось, ссуживал, и на службу пристроил в артиллерийские магазины, и ко дню рождения подарил для мундира сукна, а про обеды и нечего говорить! Но живость характера все испортила: по рукам разошлись какие-то сатирические стишки, за ними — жалоба на сочинителя, на прапорщика Рылеева, саксонскому генерал-губернатору князю Репнину. *Вице-король Саксонии*, князь Николай Григорьевич, важный, вельможный, а слыл справедливым, — он строгим способом предпочитал всегда меры домашние. Вызвал к себе коменданта Рылеева, сделал ему отеческое внушение, вследствие этого дядюшка сам уже в двадцать четыре часа выставил поэта из Дрездена.

Все-таки заграничный поход не лишен был приятностей. Даже кое-каких, скажем так, лирических приключений. Их поэтическое свидетельство — бойкий стишок,

обращенный к девице Эмили, который позднее, вследствие домашних причин, переадресовался Наташеньке.

Лирические порывы, однако, не застли света в глазах, — Рылеева занимали подробности чужеземного быта, и, по свидетельству армейского товарища, он во Франции вел дневник, отражающий впечатления относительно европейских порядков и кое-какие соображения, касающиеся будущего России. Дневника Рылеев никому не показывал; говорил, что приводит его в порядок.

Батарея, в которой Рылеев служил, вернувшись в Россию, стояла долго близ западных границ — в белорусской нищей деревне, в литовских убогих местечках: . . . Конная артиллерия получила для доукомплектования много новых людей и лошадей, начались учения; производились они два раза в день, в пешем и в конном строю; это было всем тяжело, но Рылеев учения и за то еще ненавидел, что они его отвлекали от литературных занятий. При малейшей возможности он от муштры уклонялся, а так как у него не было взвода, то, кое-как отправляя обязанность конных учений, он от пеших старался отлынивать. Офицеры его батареи говорили, что-де живет он у них, как на пенсии.

Рылеев охотнее брался за исполнение всяких казенных комиссий, предоставлявших ему больше самостоятельности в действиях; бывало, что исполнял и квартирмейстерские обязанности, еще в Германии, где в помощь ему прикомандировывался какой-нибудь юнкер из прибалтийских немцев, потому что Рылеев не знал по-немецки, а по-французски тоже едва-едва. . .

Воспитанный на скудноватом учебном довольствии в Первом кадетском корпусе, некогда знаменитом, Рылеев многое впоследствии постигал самоучкой.

Бывая квартирмейстером, Рылеев, как потом его товарищи вспоминали, расходовал много энергии — кипятился, требуя у надутых важностью немецких бургомистров подводы и лошадей для батареи, ссорился с бургомистрами и писал на них рапорты своему начальству, жалуясь на недостаточное к нему, русскому офицеру, с их стороны почтение.

Вместе с тем Рылеев проявлял интерес и к внутреннему устройству немецкого городского управления, сопоставляя с русским, и много досаждал своим товарищам рассуждениями касательно не относящихся к службе предметов.

Отношения Рылеева с другими офицерами батареи, несмотря на традицию, согласно которой дружба между артиллерийскими офицерами считалась более прочной, складывались не так, как ему мечталось. Товарищи были к Рылееву сдержанно дружелюбны, даже те прибалтийские немцы, самые ревностные служаки, которых он задевал своими насмешками, — в батарее они составляли почти половину всех офицеров. Сердечности в дружбе их не было. В Рылееве они видели человека общительного, задорного, а порою и вздорного. Чувствительный, экспансивный, он с детства грезил о дружбе необыкновенной, и те неплохие в сущности отношения, которые сложились у него с товарищами по службе, Рылеева не удовлетворяли. Он этого и не скрывал.

Странности рылеевского характера его товарищи небидчиво относили на счет его беспокойного нрава, нервного настроения, унылой скуки провинциальной и, наконец, просто бедности. Рылеев сравнительно с другими офицерами батареи был очень беден. Ему после смерти отца, служившего в последние годы жизни управляющим малороссийскими имениями княгини Голицыной, не только что ни гроша не перепало в наследство, но и доброе имя родительское потерпело серьезный урон: княгиня Голицына подала в суд на своего покойного управляющего, обвинив его в недостатке по имени крупной суммы, и все отцово имущество было описано; матушка горевала, что ей не на что выкупить и попавший в постыдную опись ее портрет. . .

Жил Рылеев в мужицкой избе, черной и неустроенной, и его постоянная беспечность, как в зеркале, отражалась в повадках Ефима, его денщика. Вещи были всюду разбросаны в беспорядке, в пыли. На лавках — рылеевские бумаги, которых и трогать не дозволялось, а не то чтобы прибирать. И тетрадки, и множество книг, журналов, и какие-то свертки, и письма, и просто кучи всякого хлама. . . Ради барского приказа не прикасаться к бумагам Ефим заодно уж и пола не подметал, барского платья не чистил.

Сберегая износившуюся в походах форменную одежду, Рылеев из купленного за границей по дешевке сукна велел сшить себе очень оригинальный двубортный сюртук, у его товарищей получивший прозвание *пиитического*, — длиной до колен, с широкими рукавами, с модными буфами на плечах, но с таким маленьким воротником, что вся шея оставалась открытой; сюртук украшали

два больших кармана на груди и масса шнурков, кистей — франтовского вздора. И серые домашние панталоны были под стать этому скуртуку: без положенной артиллеристам красной выпушки и без штрипок. По расseyанности Рылеев однажды явился в этих панталонах во фронт — и отправлен на гауптвахту! И черный картуз носил неформенный. И сапоги без подборов. Галош и домашних туфель у Рылеева вообще не имелось, а халатом служила выдавшая виды шинель. Хотя Рылеев считался охотник покрасоваться, не говоря уже об одном возникшем вскоре особенном обстоятельстве...

В пище он тоже поневоле сделался неразборчив: ел — что Ефим подаст, не глядя. Но если ему доводилось оказаться за хорошим столом, любил и поесть с аппетитом, и выпить.

Увлечшись, как водится, делался многоречив и громко витийствовал, не терпя возражений.

Затем и Державин являлся на сцену — «Водопад» или ода «Бог»:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом — громам повелеваю!
Я — царь; я — раб;
Я — червь; я — бог...

Кончалось обыкновенно чтением его собственных стихов. Тут Рылеев от волнения быстро трезвел. Прочитав несколько стихотворений, он говорил смущенно, что все это слабо, плохо, и если у него под рукой оказывался листок со стихами — рвал его, а потом, раскрасневшись, садился на место.

Удивительно, что Рылеев его армейским товарищам виделся человеком самонадеянным и, что совсем уже странно, неоткровенным. Пусть ленивым — куда ни шло! Но почему же неоткровенным? Он же только и говорил им все время о необходимости взаимопонимания. Этого только и добивался.

— Ах, господа! — начинал он взволнованно. — Да как же вы не хотите меня понять. Ну, какие, скажите, у меня особенные от ваших помыслы? Разве же не от всех нас ожидается сегодня отечество соединенных к добру усилий? Да, да, не смейтесь! На благо всего человечества... Не хотите — пусть государства... Разве души, наделенные всеми благородными чувствами, не обязаны постоянно стремиться к лучшему? Нет, господа, мы не смеем пресмыкаться во тьме! Да мало ли зла повсюду? Разве это

не наша священная обязанность — переменять все на лучшее?.. Умоляю вас, господа, вы только правильно поймите Рылеева...

Надо сказать, когда дело заходило о предметах возвышенных, особливо клонящихся до будущего России, или о священных обязанностях наделенного благородными чувствами человека, — Рылеев хорошел бесконечно: он оживлялся, и голос его звенел, и глаза горели, а речь становилась свободной и гладкой. Рылеев немного пугал всех невиданной твердостью убеждений. В такие восторженные минуты смуглое лицо его, бледное обыкновенно, зажигалось от волнения и едва ли не становилось прекрасным...

Рылеев не был собою хорош. Небольшого роста, хотя правильно сложенный, стройный. Лицом кругловатым прост. Разве что лоб у него был выдающийся, широкий. И несколько выпуклые глаза. Очень черные. Но его украшала способность загораться в беседе.

То он яростно обрушивался на бесстыдное судопроизводство, в котором ничего не достигнешь без взяток, сущий позор; то яростно возглашал, сколько зла в бездарной администрации... Его и слушали не без опаски. Рылеев требовал никому не повиноваться, издевался над ревностными служаками из остзейцев, — он считал унижительным их старание. Даже самая неизбежность быть в подчинении у начальников казалась Рылееву нестерпимой. Он так прямо и говорил, что, дескать, вы все, господа, — про офицеров! — живые куклы... Что все это, а пуще всего пеший фронт, — настоящее издевательство, оскорбление человеческого достоинства. Рылеев от всех бесконечно требовал здравого смысла и твердо настаивал, что в нем одном заключается счастье мыслящего человека.

Приятели-офицеры в пылком его красноречии видели больше заносчивость, чем откровенность.

Кто-то из них сказал:

— А не слишком ли много, любезный Кондратий, мы слышим от тебя слов о равенстве? Где подтверждение их на деле? Ты вот попробовал бы разок хотя бы почистить платье Ефиму... Или хотя бы сбегай сам к колодезю за водой!

— Уж колодезь тут решительно ни при чем, — покраснев, рассердился Рылеев. — Со временем эта статья должна сама собой разрешиться... Все-таки вы, господа, как я вижу, совсем не хотите меня понять!

Возможно, иные и понимали — предпочитали помалкивать.

Вокруг себя Рылеев создал тревожную атмосферу. Подобие тайного подвижничества. Душою он жил в романтическом мире страстей, многозначительной недосказанности, непонятной значительности, которая больше подразумевалась, чем могла быть им высказана. Но вне этого он бы рыбою бился об лед...

Однажды ему заявили прямо:

— Мы разве не знаем, к чему в конце концов приводит весь этот вздор? Пугачев, как известно, многое затевал, а чем кончилось? Злодея четвертовали.

— И ладно, пусть Пугачева четвертовали! — воскликнул Рылеев. — Да если бы я и смог объяснить вам подробнее все мои мысли, вы мне все равно не поверили бы! Вам дороже ваши жалкие заблуждения... А я вам прямо скажу: все равно, какой я смертью умру, — это мне неважно. Да хоть повешенным! Я знаю зато, что мое имя займет страничку в истории. А вам дороже ваша жалкая участь, и вы умрете в неизвестности...

Разговор принимал нежелательный оборот, и, чтобы Рылеева успокоить, кто-то из присутствовавших заметил полусерьезно:

— Конечно, любезный Кондратий, мы все вам завидуем... Вас же судьба постоянно станет хранить и лелеять, как лелеяла до сих пор...

— И хранила! И будет хранить! — Рылеев не унимался. Он привычным жестом отбросил назад со лба взмокшую черную прядь. — А вам этого не понять, господа! Я убежден, что судьба никогда не перестанет покровительствовать гению, который... которого... Ну и что тут такого? — улыбнулся он вдруг своей прелестной, почти детской улыбкой. — Может быть, правда, — сама судьба нас ведет...

— А как же, конечно судьба! — поддержал его вдруг самый добрый из немцев. — Я думаю, Кондратий Федорович, — пояснил он совершенно серьезно, — что это есть ваше полное право так в свое предопределение верить. В этом, я думаю, есть настоящее ваше счастье. И будемте все считать, господа, что судьбе в самом деле это необходимо, чтобы Кондратий Федорович так в свое предопределение верил. И пуля его поэтому миновала, и в реке он избежал возможного потопления...

— Славный повод, чтобы всю жизнь переть на авось!

Разошлись, рассуждая: что, можно ли все-таки верить столь несерьезному человеку? Сам службы не признает, а требует от других благородства... Почему кто-то за него ломаться должен? И вообще непонятно, зачем это нужно устремляться к невиданному? Может быть, оно и прекрасно, да ведь надобно иметь на тот случай побольше ума и еще другие условия, а теперь еще ничего этого не заметно...

— Да как можно — пойти на явные неприятности с одними только тайными убеждениями? — подвел итог самый трезвый.

«Будучи постоянными свидетелями нескольких лет образа жизни и суждений Рылеева, — писал много лет спустя один из тех офицеров А. И. Косовский, — могли ли мы когда думать, чтобы прапорщик конной артиллерии, без средств к жизни, с такими наклонностями, непостоянным характером, мог затевать что-либо похожее на дело серьезное? Предаваясь всегда не дельным своим занятиям в уединении, которых никто из товарищей с ним не разделял; да и посторонних лиц, кто бы водил дружбу с Рылеевым, не было; даже друг его прапорщик Миллер не был посвящен в эти тайны, так он вел дела свои скрытно!»

8

Что за пуля Рылеева миновала?

Был такой странный случай с ружьем, уже и по тем временам старинным, небывалой длины. Содержатель почтовой станции купил его у заезжего мужика, а мужик говорил, что будто бы откопал это ружье в кургане. В степи. Приятель Рылеева, охотник до старины, ружье это разглядывал: в дуло заглядывал, дул туда, приложив руку к затравке, потом поднял ружье и прицелился. В комнате для проезжающих было тесно, и приятель просил Рылеева из предосторожности несколько посторожиться, но Рылеев ответил ему беспечно:

— Да что там! Стреляй, пожалуй... из пустого ружья. Не стану я прятаться от заржавленной палки. Я два раза под пистолетным дулом стоял, на поединке...

Потом уже выяснилось, что брат хозяина почтовой станции ходил на охоту третьего дня с этим ружьем. . .

В комнате громыхнуло, и полный заряд волчьей дробы вошел в стенку чуть выше рылеевского плеча. Рылеев машинально сделал шаг в сторону и рассмеялся:

— Ну вот, и убить не сумел!

А история непотопленья в реке и того была проще.

Батарея уже на Дону стояла, и летом офицеры купались на другом берегу Дона, переправляясь туда на пароме; иногда в лодке спускались по быстрине вниз на версту от слободки. Однажды в лодках возвращались после купания, и Рылееву, сидевшему возле борта, показалось, что по воде несет убитую утку, он хотел ее рукой подхватить — потянулся за ней, наклонился низко к воде и вывалился за борт. Он плавал неважно, а на быстрине испугался и чуть было не потонул; пока спохватились его спасать, воды нахлебался и, в завершение всего, схватил горячку. Долго болел. . .

Поднявшись после болезни, Рылеев почти все свободное время проводил за крестьянским грубым столом, освещаемым вечерами тусклою сальной свечкой. Он за болезнь свою несколько опустился: щетиной оброс, кутался зябко в старую шинель. Вооружившись очками в железной оправе, он часами просиживал над своими бумагами. Рылеев был близорук, но из какой-то застенчивости не пользовался очками, кроме как дома, во время книжных занятий. И потому еще, может быть, не любил учений, что отчетливо видел всего на несколько сажень перед собой.

Выздоровев, Рылеев начал одаривать стихами своих сослуживцев, чего никогда прежде не делал. Дружескими посланиями, одами и входившими в моду элегиями, аккуратно им самим переписанными на листках почтовой бумаги. Стихи расходились, но как-то быстро терялись, и ничего почти из них в итоге не уцелело. То ли не были стихи достаточно хороши, то ли в самом содержании их имелось какое-то неудобство.

Рылеев подражал то Жуковскому, то Батюшкову, то Державину. Приятели его в толк не успевали взять: отчего он сегодня слезлив, завтра ветрен, а послезавтра напыщен?

Он и в своих стихах оставался неумеренным человеком: и сарказмы рылеевские казались чрезмерны, и восторг притический, и элегическая плачевность.

Теперь Рылееву чудилось, будто слава его поджидает на поэтическом поприще. Он отчаивался, понимая, как все-таки плохи пока что его стихи. Рвал их в клочья и снова писал. Получше...

Приятели в конце концов проникались его настроением и, ради рылеевского восторга, прощали ему и лень, и нерадивость во фрунте; Рылеев им скрашивал однообразие провинциальной армейской жизни.

Начальство смотрело иначе. Полковник Сухозанет; командир батареи, прапорщиком. Рылеевым оставался всегда недоволен. Его командирские увещевания не приносили успеха. Попытки полковника перевести беспокойного офицера в другую команду тоже не дали желанного результата, упираясь в невинное благоразумие выше стоящих начальников, помагавших, что и в другой батарее характер прапорщика Рылеева не переменится. Возникло предположение: не служил ли отец Рылеева вместе с их генералом? Откуда столько снисходительности...

Не имея способа приручить строптивца, полковник Сухозанет все чаще употреблял его для казенных комиссий — особенно для принятия всевозможных казенных сумм и ремонтов. Уж не таил ли надежд на соблазны, какими всегда обладают большие казенные суммы? Но плохо он знал Рылеева, коего первый девиз был: России нужны честные люди!

9

Батарея стояла летними лагерями в слободе Белогорье, близ Острогожска, Воронежской губернии. Не в самом Острогожске — городке, не лишенном книжных лавок и умственных интересов, а, можно сказать, в совершенной глуши, в полуверсте от Дона. В письмах к матушке Рылеев не скупился, однако, на поэтические подробности в описании этих мест. И квартиры хвалил — «каких мы еще никогда не имели!» И природные красоты, и времяпрепровождение офицеров...

«В будни, — писал он, — свободные часы посвящаем или чтению, или приятным беседам, или прогулке; ездим по горам и любуемся восхитительными местоположениями, которыми страна сия богата; под вечер бродим по берегу Дона и при тихом шуме воды и приятном шелесте

лесочка, на противоположном берегу растущего, погружаемся мы в мечтания, строим планы для будущей жизни и через минуту уничтожаем оные; рассуждаем, спорим, умствуем и, наконец, посмеявшись всему, возвращаемся каждый к себе и в объятиях сна ищем успокоения...»

За два года в глазах Рылеева мир заметно преобразился.

Матери он рассказывал и о новых знакомствах. «Иногда, — сообщал он, — посещаем живущую в слободе вдову генерал-майоршу Бедрату; у нее лечится теперь сын ее, полковник гвардейского конноегерского полка, раненный при Бородине. Дом весьма почтенный и гостеприимный, и мы в сном приняты как нельзя лучше. В праздные дни едем к другим помещикам, а я чаще на зимние свои квартиры в село Подгорное, где тоже живет добрый, гостеприимный и любезный помещик, господин Тевяшев, — в семействе его мы также приняты как свои и проводим время весьма, весьма приятно».

В большом казенном селе Подгорном, где батарея зимовала, знакомство Рылеева с этим семейством сделалось уже прочным.

Помещик Тевяшев был отставной майор времен Екатерины Второй, двадцать лет прослуживший государыне верой и правдой. Человек минувшего века, добрый, почтенный, но безо всякого образования и слабый уже здоровьем, он безвыездно жил тридцать лет в деревенской глуши.

Жена и дочери его никогда не бывали и в Острогжске.

Рылеева все, что касалось тевяшевского семейства, чрезвычайно заботило. Почтенная матушка, думал, куда бы ни шло, но ведь дочери в том уже возрасте, когда пора позаботиться о настоящем их воспитании. Об образованности...

Девушки едва знали даже русскую грамоту.

Когда с ними Рылеев познакомился, им было лет по тринадцать-четыренадцать. Одну звали Настасьей, а другую Наташенькой. Им светского обращения увидеть не довелось, и обе казались редкостно простодушны, наивны, мило застенчивы.

Их матушка только усердно молилась богу: о ниспослании женихов дочерям и здоровья супругу. На досуге варила варенья.

Имением не управлял никто. Дела шли сами кое-как — по воле управителя, крепостного мужика Артамона, который бар своих грабил, а не то что обкрадывал. Этак, думалось, и на приданое барышням ничего не останется.

Книг в доме не водилось. Господин Тевяшев и не читал ничего, кроме «Московских ведомостей» месячной давности. Газету выписывали в складчину пять-шесть семейств, передавая из дома в дом.

Учителей в степной глуши и с огнем не сыщешь. Но Рылеев, припомня кое-какие усвоенные в корпусе науки, вызвался сам — с доброго согласия родителей — девиц обучать, дабы они вовсе не потонули во тьме деревенской необразованности. Читал с ними кое-какие из книг и слегка их учил по-французски, — сколько знал сам, фраз расхожих с десятков. . .

И время быстрее бежало.

Огонек знакомый в окошке светил год от года при-манчивей.

Девочки стали невесты. Милые обе. В особенности Наташенька.

У Рылеева появилась забота самая затруднительная: как подступиться к матушке с решительным разговором? Исподволь он ее подготавливал, но странное дело — намеков она то ли не понимала, то ли просто не хотела понять.

«Дазно уже приметил я, — писал ей Рылеев, — что с самого того времени, как я только в состоянии стал рассуждать, ни вы, ни я совершенным счастьем не наслаждались, любезная матушка! Долго изыскивал я сему причину. Наконец приметил, что расстроенные домашние обстоятельства главною и настоящею тому виною. Ах, сколько раз, увлекаемый порывом какой-нибудь страсти, винозный сын ваш предавался удовольствиям и мог забывать тогда о горестях и заботах своей матери! Но благодаря ангелу-хранителю это заблуждение недолго продолжалось. Первый предмет, напоминавший мне вас, извлекал меня из оногo; мнимое мое счастье исчезало, а место оногo заступало мучительное беспокойство в рассуждении о вас. Не однажды, среди самого веселогo общества, взирая на прочих товарищей, на лицах коих светлели беспечность и удовольствие, ничем не отравляемые, задумывался я и говорил сам себе: почему подобно им и я не могу быть счастливым? Так протекло около четырех лет; в продолжение оных я непрестанно приду-

мывал средства, кои бы, поправив домашние обстоятельства, могли спокойствие ваше сделать прочным... Наконец теперь случай открылся и, может быть, решил все!»

Случай — это знакомство с семейством господина Тевяшева.

Удивительные противоречия уживались в рылеевском сложном характере: мечтательность и безрассудство, дерзость, отчаянность — с мелкой, ни на каком житейском опыте не обоснованной расчетливостью, больше уповающей на «авось!». Откровенность и подчас неудобная в обиходе душевная прямота — с наивной и большей частью бессмысленной хитростью. Дипломатичность — с безоглядною искренностью. Умозрительность — с детской чувствительностью...

Эти сентиментальные рассуждения относительно счастья семейного целью имели одно — растрогать матушку, чтобы она не противилась самым рискованным планам.

«Скажу короче, — брал в конце концов Рылеев быка за рога, — посещая довольно часто живущего от Белогорья в тридцати верстах доброго и почтенного помещика Михаила Андреевича Тевяшева и быв принят в доме почти как за родного, я имел приятные случаи видеть двух дочерей его, видеть и узнать милые и добродетельнейшие их качества, а особливо младшей. Не будучи романистом, не стану описывать ее милую наружность, а изобразить душевные ее качества почитаю себя весьма слабым; скажу только вам, что милая Наталия, воспитанная в доме родителей своих, под собственным их присмотром, и не видевшая никогда большого света, имеет только тот порок, что не говорит по-французски. Ее невинность, доброта сердца, пленительная застенчивость и ум, обработанный самою природою и чтением нескольких отборных книг, в состоянии сделать счастье каждого, в ком только искра хоть добродетели осталась. Я люблю ее, любезнейшая матушка, и надеюсь, что любовь моя продолжится вечно, ибо я предался оной не вдруг, как сродно пылкому юноше; нет, я, напротив, в первый раз видел ее весьма равнодушно, но уже по прошествии нескольких посещений, узнав некоторые достоинства милой Натали, а особенно доброту души ее, я полюбил ее, и теперь время от времени любовь моя более и более увеличивается; но я, однако, имел твердость еще не открываться, хотя твердо надеюсь, что и

она меня любит взаимно, и почтенные ее родители, любя ее особенно от прочих детей своих и будучи ко мне отлично расположены, не захотели бы лишить нас нашего счастья. . . »

Простота деревенских нравов, впрочем, и не давала ни малейшей возможности сомневаться в ответном чувстве *Наташеньки*, как он звал ее. Девичья привязанность, не престающая, конечно, границ приличия, но все же явная, пылкая даже, именуемая в те поры *страстью*, бросалась в глаза. И Рылеев, как человек благородный, уже не имел путей к отступлению. Он сумел внушить всем в доме почтительное к себе отношение. И своим редкостным красноречием, и столичной ученостью, и учтивостью, и душевной добротой. . .

Да войдемте же, наконец, и в положение отца, степняка-помещика, безнадежного домоседа, для которого и уездный город — роскошь почти недоступная, а про губернию что говорить! Человека, сумевшего сохранить все понятия *бабушкиного века*. Имевшего двух подрастающих, изрядно уже подросших и ничему не обученных дочерей: ни танцам не выученных, ни французскому разговору, ни хотя бы пению по нотам, брэнчанню на фортепьянах. . . Как их пристроить? Где приданое?.. За любимой Наташенькой обещали дать Рылееву двадцать пять душ. Тогда как в столице и двести душ за богатство не почиталось. Разумеется, строгость в отношении дочери — дело не лишнее. Однако и господа офицеры — что птицы перелетные: сегодня тут они, а завтра ищи-свищи. . . Как слышно, скоро переведут батарею в другое место. И тогда где взять женихов?

Уже стало известно о предстоящем переходе на другие квартиры, и сам Рылеев об этом со страхом подумывал. Истинно был влюблен!

Дела его были нехороши. Матушкино имение, он это знал, и расстроено, и заложено, и проценты не из чего платить. Из семейных доходов не выпросить и на новый серебряный офицерский пояс. А между тем старый шарф до невозможности обтрепался. И все белье изорвалось. На эполетах номер переменялся — новые покупай! Из каких же доходов? А еще надо новый мундир — в ожиданий государева смотра. И сукна непременно купить па рейтузы. . .

Одно остается — пока не упущено время, подать в отставку. Как-нибудь по-другому наладить жизнь.

«Итак, любезная матушка, — писал Рылеев, скрывая отчаяние, — от вас зависит благословить сына вашего и, позволив ему выйти в отставку, дать заняться единственно вашим и милой Наталли счастьем. Знаю, что неприлично в такой молодости оставить службу и что четырехлетние беспокойства недостаточная еще жертва с моей стороны отечеству и государю за те благодеяния, коими я от них осыпан... Но разве не могу я и не в военной службе доплатить им то, чего недодал в военной? А равно и расстроенное имение, год от года все уменьшающееся, не есть ли самый справедливый предлог, на котором основываясь, я могу оправдаться в глазах моих родственников и всех благоразумных людей?»

Это письмо, посланное из Белогорья 17 октября 1817 года, Рылеев закончил нервной припиской: «Ради бога, отвечайте поскорее!» — ибо и матушка на его письма, подобно покойному батюшке, по полгода не отвечала.

Она и написала ответ через полгода, однако ни об отставке, ни о женитьбе — ни полслова!

Так и не дождавшись родительского благословения, Рылеев просил руки Наталли Михайловны и получил согласие как от нее самой, так и от ее отца с матерью. С провинциальной наивностью родители Наташеньки вообразили, что теперь ему следует в Петербург отправиться — за согласием от родных. При мысли об этом Рылеева ужас охватывал. Да и ехать-то из каких средств? Сошлись, что и письменным благословением достаточно обойтись. Его, однако же, не было. На очередное рылеевское письмо матушка уже более года не отвечала...

И Рылеев тогда решился выложить своего, так сказать, козырного туза: написал матери, что если она ему срочно не даст своего разрешения на женитьбу и на отставку, то время, когда еще принимают отставки, безвозвратно будет упущено, «а как теперь произошла у нас перемена в форме мундиров, прежние отменены, а положено теперь иметь однобортный колет и вицмундир по образцу драгунских, только с петлицами и красною выпушкою кругом; сверх того велено иметь лядунку с золотую перевязью на манер гвардейской конной артиллерии, с тою только разницей, что у нас на лядунке вместо орла должны быть крестообразно пушки; эполеты золотые, такие же точно, как в гвардии, но с прибавкою нуме-

ров... португеза к сабле тоже золотая... — то на всю сию необходимую обмундировку нужно:

1) темно-зеленого (не черного!) сукна — на колет, вицмундир и двое панталон — шесть с половиной аршин;

2) сукна серого для шинели шесть аршин и сукна серого лучше для рейтуз два аршина и пол-аршина лучшего красного;

3) лядунку с золотой перевязью;

4) к сабле золотую португезу;

5) две пары эполет золотых с серебряными нумерами;

6) петлиц две же пары золотых на черном сукне и

7) два темляка...»

Мелочно все перечислил — знал, тут уж никак невозможно, чтобы матушка не ответила. И в самом деле получил вскоре письмо от нее.

Настасья Матвеевна уведомляла горестно о самых тесных своих обстоятельствах. Она и для предстоящей необходимой уплаты процентов в ломбард не знает, где деньги взять.

Конечно, Рылеев тут же поспешил матушку успокоить, заверив, что и полковник, зная его желание выйти в отставку, не станет, наверное, требовать новой обмундировки.

Однако же относительно сватовства и в этом письме ответ был самый невразумительный. Настасья Матвеевна только ссылаясь на какие-то свои прежние письма, каковых он и вовсе не получал, а сама ничего определенного опять не писала.

Пришлось Рылееву еще раз просьбу о благословении повторить.

«При сем скажу вам откровенно, — сообщал он матушке, — что от вашего ответа зависит вся моя участь: ваш отказ погубит меня!»

И с отставкой, писал он, больше нельзя тянуть. А к тому же, писал он, военная служба «никакой не принесла мне пользы, да и впредь не предвидится, а с моим характером я и вовсе для нее не способен. Для нынешней службы, — писал Рылеев, — нужны...» Тут в старинном издании, где письмо это напечатано, следует длинное многоточие; «а я, к счастью, — пишет дальше Рылеев, — не мог им быть, и по тому самому ничего уже не выиграю».

Матушка, однако же, и на этот раз с ответом не спешила.

А друзья торопились Рылеева поздравлять, спрашивали о свадьбе, удивлялись, что им до сих пор нет приглашения.

От матушки неожиданно пришло письмо с тьмою слепых беспокойств и советов еще хорошенько обдумать все — разобраться в своих чувствах, испытать себя...

Как будто бы он все четыре года себя не испытывал!

Ни на что больше не надеясь, Рылеев показал это письмо Наташным родителям: если бы в письме было прямое запрещение ему жениться, а то...

Этой рылеевской откровенностью старики были тронуты. Они думали целую ночь. Наутро объявили свое согласие и на свадьбу, и на его отставку.

Получилось даже, как будто они понуждали его к отставке.

«И как было мне не согласиться для Наташи оставить службу, — написал он Настасье Матвеевне. — Мог ли я отказаться от нее? А это было бы все равно...»

Пятая тетрадь

1

Якушкину стала невыносима пустая петербургская жизнь.

Нестерпимо стало слушать брюзгливую воркотню стариков, бранивших все западное — чужое и выхвалявших свое — прогнившее. Порицавших движение человечества!

«Да ведь мы же ушли от них на сто лет вперед!» — думал он.

С тоской слушал бредни, что-де война испортила гвардию: и строй не тот, и прежней выправки нет. Старое предстояло наверстывать...

Время поглощали пошлые заботы вседневного полкового быта. Мелочные придирки начальства касательно фрунта все более раздражали. Бессмысленная муштра, от которой, как они давно убедились, несколько не зависят боевые успехи.

Приверженность к фрунту царя и всех его братьев — фамильное свойство. Их ничему не научила война.

Служба в гвардии окончательно разочаровала Якушкина.

К этому прибавлялась нужда материальная. Жизнь гвардейского офицера требовала доходов, каких у него не могло быть.

Набрав у приятелей в долг по мелочи, Якушкин взял отпуск и поехал проведать свою порушенную войной смоленскую деревеньку, брошенную на попечение дядюшки, помещика старинного образца, человека малособразованного и убежденного в своем полном праве крепостника. Не спросясь у Якушкина, дядюшка продал со своими деревенскими музыкантами и двух якушкинских мужиков графу Каменскому, старшему сыну фельдмаршала, большому орловскому барину, игравшему в любителя-театрала. Оказавшись в Орле, где жила его мать у одной из замужних сестер, Якушкин нечаянно встретил в обществе графа, и тот ему запросто предложил обычную стоимость этих артистов — за каждого по две тысячи на ассигнации. Это предложение Якушкин ощутил как пощечину. Денег у графа не взял, а своим музыкантам дал вольные...

Он чувствовал камень у себя на душе. Мужики! С возвращением из Франции ощущение несправедливости в отношении крепостных обострилось.

Когда их первая гвардейская дивизия, привезенная морем, высадилась на берег близ Ораниенбаума, там служили благодарственный молебен. Якушкин видел, как во время торжественной службы полиция избивала пришедший увидеть своих защитников народ. Потрясенный, он отправился в Петербург на почтовых, не дожидаясь идущего медленным маршем Семеновского полка.

В столице гвардии была устроена пышная встреча, для которой у Петергофской заставы сколотили из досок большие триумфальные ворота, сверху поставили шесть алебастровых лошадей, символизирующих шесть полков старой гвардии. В Петербурге Якушкин остановился у своего полкового товарища Ивана Николаевича Толстого. В день вступления гвардии в столицу они, взяв коляску, во фраках отправились любоваться патристическим зрелищем. Встали недалеко от золоченой кареты, где находились императрица-мать Мария Федоровна с великой княжной Анной Павловной.

Показался вдали император Александр во главе гвардейской дивизии, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которою он собирался приветствовать императрицу-мать. Все им любовались... Но в ту минуту, когда он готовился опустить всю шпагу перед золоченой каретой, под самой мордой его лошади испытался перебежать дорогу нерасторопный мужичок. И вдруг император дал шпоры лошади — с обнаженной шпагой он кинулся на

беднягу. . . Полиция приняла в палки мужика. Не хотелось верить глазам. Они отвернулись, стыдясь за своего героя, и Якушкин признавался потом, что с этого случая началось его разочарование в государе. Случившееся напомнило ему старую басню о некоей обращенной в красавицу кошке: красавица, однако, видеть не могла равнодушно мыши — тотчас кидалась за ней!

Якушкин страдал от сознания, что и сам он душевладелец. Он хотел бы отпустить на волю своих мужиков, но дело упиралось в сложности непредвиденные. Мужики упорствовали, сколько он ни убеждал их. Глядя в глаза, староста с непонятною дерзостью спрашивал:

— Чья же, отец наш, говоришь ты, земляца-то будет?

— Земля моя, — повторял Якушкин. — Вы землю будете нанимать у меня. Сами — вольные, и ваши дети вольные. . . Все имущество будет ваше, и дома, и скотина, а землю вы будете у меня нанимать! Что вам непонятно?

— Понятно, отец наш, — говорил недоверчиво староста. — На то и барская воля! Уж чего не понять. . . А земляца-то чья, говоришь ты, будет?

— Моя. . . Вы ее будете у меня нанимать.

И тогда мужики ему в ноги кидались:

— Родимый, не погуби! Пусть по-старому остается: мы — ваши, а уж земляца наша. . .

Не только соседи, и дядюшка даже, — все считали Якушкина сумасбродом и фармазоном.

«. . . Не сердись, любезный друг Иван Николаевич, за то, что я так бесстыдно пользуюсь позволением твоим и без всякой церемонии прошу тебя заняться моими делами. Посылаю к тебе тысячу рублей, которые ты употребишь следующим порядком: 1-е, купишь мне 30 четвертей овса, и пуд 150 сена, и несколько возов соломы, — что, я предполагаю, будет стоить около 450 рублей; 2-е, отдай Буйницкому, а если он не приехал, то князю Броглию 240 серебром. Себе заплати 100 сер., Храповицкому — 110 сер., Щербатову или Чаадаеву, которому из них нужнее, 100 сер. Если увидишь других моих заимодавцев, то успокой их и уверь, что я сам скоро буду. . . Если негде тебе будет положить овес и сено, то найми для этого сарай, на месяц или два. . .» — это проза гвардейского

быта; половину скудных доходов Якушкина съедали лошади.

2 декабря 1814 года Якушкин писал из Орла Толстому:

«Ты обещал, любезный друг Иван Николаевич, всякую неделю писать ко мне, но во все время моего отпуска я не получил от тебя ни одной строчки. Не подумай, однако, чтобы я почитал тебя в этом виновным; я знаю, что ты не можешь так скоро позабыть о человеке, который тебя любит и которого ты сам так часто уверял в своей дружбе. Итак, в этом нет и сомнения: ты ко мне писал, и твои письма лежат где-нибудь на почте, но не менее того я лишен удовольствия получить их и потому иметь известие какое-либо о твоей особе. Я не удивляюсь, что Муравьев и Трубецкой меня позабыли: первый, как я думаю, в отпуску еще, у своих родных и, следовательно, в кругу веселый московских, а второй проводит жизнь свою на улицах петербургских. И так мудрено бы им было вспомнить о приятеле, который от них за несколько сот верст. Я к тебе писал два раза и в последнем письме послал тысячу рублей. Сделай одолжение, любезный друг, посвяти мне час времени и напиши ко мне обо всех известиях подробно. Я буду в Петербурге не прежде начала будущего месяца. Узнай, пожалуй, каково об этом думает наш штаб и унтер-штаб, а я думаю послать свидетельство задним числом. Прощай, целую тебя. Навсегда твой верный друг Иван Якушкин».

«1815-го года. Генваря 6-го дня. Орел. Сейчас, любезный друг Иван Николаевич, получил твои последние два письма, за которые много тебя благодарю, тем более что они мне только доказывают, сколько ты принимаешь участия во всем том, что до меня касается. Ты не должен принять сию благодарность за обыкновенную церемониальную фразу, которыми наполняют пустые места в письмах, но быть уверенным, что я истинно умею ценить твою ко мне дружбу. В одном из твоих писем я нашел письмо из Парижа ко мне; если ты получишь еще сему подобные, то сделай одолжение, любезный друг, оставь их у себя до моего приезда, ибо я теперь скоро надеюсь с тобой увидеться. Ты спрашиваешь у меня, думаю ль я выйти в отставку? — я могу тебе ответить, что я более нежели когда-либо желаю оставить службу, но так как на этом свете не все то делается, чего хочешь, то я и не

смею ничего тебе сказать верного. Прости, любезный друг... Поклонись всем нашим; к Муравьеву и П. Чаадаеву потому не пишу, что они сами ко мне не писали, и к тому же лично скоро надеюсь их побранить...»

2

...Приехавший из дворца флигель-адъютант Ожаровский, муж старшей из сестер Матвея и Сергея Муравьевых-Апостолов, за слышанное своими ушами рассказывал, как государь обо всех них отзывается: дескать, всякий русский если не дурак, то непременно плут! Все друг другу передавали слова императора Александра — и каждый прапорщик видел в них личное оскорбление.

Кое-кто до того договаривался, что за такие слова его бы к барьеру... Ведь это вопрос чести, господи!

— Царя к барьеру?

— А что? Он, как и мы, дворянин.

— Хорошо бы, — задумчиво согласился Якушкин, небольшого роста и весьма щупловатый прапорщик в расстегнутом по-домашнему темно-зеленом мундире; его лицо, и всегда-то бледное, побелело, и сверкнули загадочно светлые пронзительные глаза.

В его детской серьезности просвечивали наивность, душевная хрупкость и чистота. Худое, угловатое лицо казалось не до конца определившимся.

Да что с ним творилось?

Однажды Якушкин объявил всем с отчаянной простотой, что он не может верить в святость церковного таинства, потому что тайна исповеди больше не тайна для их полкового начальства. Посему ноги его более в церкви не будет...

Изумились не потому, что другие все так уж в святость церковного таинства верили, — прямоте Якушкина изумились, с какою все было сказано. И как это — в церковь совсем не ходить?

А Якушкин, сделав такое заявление, в церковь ходить перестал.

Он все еще жил в Петербурге, желая и не решаясь переменить свою участь. То подумывал в армию перевестись, то подать совершенно в отставку, поселиться в деревне, заняться устройством жизни своих мужиков.

В казармах Семеновского полка с Якушкиным вместе проживали Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, князь

Трубецкой, — они и еще кое-кто из приятелей вместе сложились, чтобы обедать, образовали артель.

Обедали не одни артельщики, конечно, а все офицеры, которым по службе приходилось весь день проводить в полку. И даже сам генерал Потемкин, их полковой командир, с ними часто обедал. А после обеда играли в шахматы, или читали вслух иностранные газеты, или спорили о европейской политике. И не только о европейской...

Заходил разговор и о том, что же, в конце концов, происходит в России. С откровенностью разбирались главные язвы отечества: закоснелость народа и крепостное состояние крестьянства, жестокое обращение с солдатами, служба которых в продолжение двадцати пяти лет сушая каторга. И повсеместное лихоимство чиновников, их прямое грабительство. И вообще неуважение к человеку... Хоть бы даже и со стороны государя!

Царь находил, что после войны господа офицеры непростительно поумнели.

На придворные балы их чуть ли не назначали нарядом, как в караул! Танцовщики стали редки. Иной отбудет танец-другой и, смотришь, уже устал, потянулся на праздные разговоры. У того в ноге старая рана болит, у этого нет настроения... Все эти ученые господа и сами не умножали числа танцующих кавалеров и молодежь отвлекали; собираясь в гостиной, толковали бог знает о чем, и общество их обладало неожиданной притягательной силой.

В казармах все вдруг вспыхнуло охотой учиться: брались за Адама Смита и за Бентама, писали ученые рефераты, углублялись в историю, изучали — кто английский, кто итальянский язык, а кто и латынь! Одних математика увлекала, других — уж совсем удивительно — химия...

Не редкостью сделалось встретить и рассуждающего об отвлеченных материях кавалергарда.

Сергей Муравьев-Апостол отца умолял отпустить его в Геттингенский университет, но гордившийся сыновьями Иван Матвеевич отказал ему наотрез. Он был вторично уже женат, на молодой особе, влюблен, обременен долгами. Сыновья очень старались не досаждать отцу просьбами о деньгах. Не имея подчас на что купить свежую пару перчаток, оба они отказались от светской жизни и, кроме дома Катерины Федоровны Муравьевой,

вернувшейся после войны в Петербург, не бывали нигде.

Как и прежде, тетушка к ним оставалась заботлива. Как-то, прознав, что Матюша лежит в казарме больной, она тотчас за ним послала, перевезла к себе, ходила за ним, как за сыном. . .

Матвей Муравьев-Апостол, подобно Якушкину, службой тяготился. Его раздражала бессмысленность фрунтового педантизма. Бесили нечаянные обиды. В 1816 году приключилась с ним неприятность, больно задевшая самолюбие. Вечером он стоял в карауле, с командой возле присутственных мест и замешкался — не успел выскочить из помещения, когда по Гороховой проезжал из Царского Села государь. Приказом императора Матвей Муравьев-Апостол на сутки был посажен на гауптвахту. Он принял это как оскорбление.

У него ко всему еще рана открылась в ноге. Он выпросил отпуск на неопределенное время, размышляя уже об отставке, и поехал лечиться на кавказские минеральные воды, — они ему, впрочем, нисколько не помогли — рана так и не затянулась. . .

Царю доносили, что гвардейские офицеры, собираясь вместе, толкуют о чем бы им вовсе не следовало и думать по их малым чинам; что, образуя артели, они сообща занимаются чтением книг и даже подрядили в складчину профессора — на Васильевском острове, — слушают лекции у него на квартире:

Трубецкой вспоминал, как после двух или трех лекций по политической экономии, которые профессор читал им согласно университетской программе, любезный хозяин просил у господ офицеров позволения, чтобы с ними вместе лекции слушал его молодой приятель. Имея к Трубецкому доверенность, профессор ему признался, что этот молодой человек прислан из полицейского ведомства.

Император Александр потребовал у генерала Потемкина и других полковых командиров сведений об офицерах, посещающих лекции.

— Странно, — говорил государь, — мне это очень странно, почему господа офицеры вздумали вдруг учиться?

Артели появились и в других местах, и они государю тоже не нравились. Первой была запрещена «священная артель» — так прозвали компанию офицеров генерального штаба, образованную Александром Николаевичем Муравьевым. Никита Муравьев, живший дома, при матушке, часто бывал гостем «священной артели». И Муравьевы-Апостолы заходили, и Трубецкой, и Петр Чаадаев, из Семеновского полка перешедший после войны в лейб-гусарский, стоявший в Царском Селе (говорил, что ради гусарского голубого мундира, который больше ему к лицу; и трудно было понять — он шутит или это серьезно?). Гостями «священной артели» стали и новые чаадаевские друзья — лицейсты Пущин, Вальховский и Кюхельбекер. Там велись опасные разговоры.

Следом за «священной артелью» были запрещены и другие.

Но собирались и дома: за бутылкой вина или даже под видом невинного чаепития. На Фонтанке — у Никиты Муравьева, у Ильи Долгорукого. . .

«Предлог составления тайных политических обществ, — показывал на следствии князь Сергей Трубецкой, — есть любовь к отечеству. Сие чувство, которым всякий человек обязан своей родине, хорошо понятое, заставляет действовать к пользе государства; худо понятое — может сделать и величайший вред, и бедственные последствия оно не могут быть довольно исчислены. . . Люди с пылким воображением, с горячим сердцем, с пламенной душой, при чистых и великодушных чувствованиях, легко могут быть увлечены ревностью и усердием к пользе общей, не предвидя гибельных последствий. . .»

3

Трубецкому идея тайного их содружества представлялась бесконечно прекрасной.

«Нападение Наполеона на Россию в 1812 году возбудило в русских любовь к отечеству в самой высокой степени, — объяснял он в своих

показаниях, — счастливое окончание сей войны, беспримерная слава, приобретенная... императором Александром, блеск, коим покрылось оружие российское, — это заставило всех русских гордиться своим именем, а во всех имевших счастье участвовать в военных подвигах поселило удостоверение, что и каждый из них был полезен своему отечеству. Связи, сплетенные на биваках, при делении одинаких трудов и опасностей, бивают, особенно между молодыми людьми, откровеннее, живее и сильнее. Я был дружен с Александром Муравьевым и Шиповым, сей последний был дружен с Пестелем, с которым и я познакомился. Мы часто говорили между собой о бывших событиях, о славе государя, о чести имени русского; рассуждали, что, быв уже каждый по возможности полезен отечеству в военное время, не должны быть бесполезны и в мирное... Что содействие каждого частно — малозначаще, что полезнее действовать общими силами; последствие сего — что чем больше людей действуют вместе, тем действие их сильнее; наконец, что для успешного действия нужен порядок...»

4

Трубецкой вспоминал, что 9 февраля 1816 года было положено основание тайному обществу. Создатели его — Пестель, Никита Муравьев, Сергей Шипов и он сам, Трубецкой. Затем к ним присоединились Якушкин и оба Муравьевы-Апостолы.

Якушкин рассказывал: вместе с Трубецким он зашел к Муравьевым-Апостолам, а немного позднее подъехали Александр и Никита Муравьевы, и кто-то из них предложил создать тайное общество, а все согласилось. Как выяснилось потом, Александр Николаевич Муравьев, Никита и Трубецкой сговорились обо всем заранее, намереваясь вовлечь в это дело Якушкина и Муравьевых-Апостолов.

Приведенный Шиповым Пестель объявился позднее их всех, но с его появлением *общество* обрело более опасный характер.

Павел Иванович Пестель, по общему мнению, был ум исключительноный, может быть гениальный. За границей

он получил отличное образование, каким никто из них похвалиться не мог. А главное, Пестель имел боевой темперамент. Медальным профилем, плотной и невысокой фигурой, серьезностью выражения он им напоминал того керсиканца. Сходство и пугало и привлекало. Слово вспыхнуло: *бонапартизм*...

Лицо Пестеля — широкое, белое, полное — оставалось всегда серьезно. Его несколько портили длинные зубы и *беглый* взгляд, но глаза были черные, умные.

Михаил Александрович Фонвизин, племянник автора «Недоросля», человек строгих принципов и неллицеприятный, заметил о Пестеле, что, при всех его высоких личных достоинствах, позволявших подозревать в нем даже и гениальность, Павел Иванович не имел дара, необходимого предводителю политической партии, — способности привязывать к себе людей. Что-то черствое в нем проглядывало и отвращало душевное сочувствие тех, кого Пестель хотел бы повести за собой.

Лицо Пестеля казалось непроницаемо, но его красноречие увлекало. Он был не только оратор, но и замечательный математик и тактик, глубокий политик, мыслящий трезво и отчетливо, неотразимый в споре, умевший гибко использовать аргументы — в зависимости от склада ума и характера тех людей, для которых они предназначались. Пестелю все отдавали должное — и те, кто его не любил.

Трубецкого в Пестеле больше всего отвращала его холодная рассудительность. Расчетливость Пестеля, казалось, ему, прикрывала наполеоновские замашки.

Луннина забавляло Пестелево немецкое педантство, его привычка располагать все по цифрам, и Лунин смеялся, что Павел Иванович наперед хочет *Энциклопедию* написать, а уж после этого приступить к *Революции*.

Но Пестель твердо стоял на том, что сначала необходимо составить хотя бы план будущей *Конституции* и главнейшие проекты гражданских установлений, а потом приступить к делу, чтобы в момент революции не оказаться застигнутыми врасплох и сразу ввести новый порядок. Действительно, в нем ощущалась железная воля.

Восстановление старого Бурбонского дома во Франции Пестелю дало пищу для размышлений: сколько бы ни шумели, говорил он, против ужасов французской революции, на деле и самая реставрация прежней династии уже не смогла отменить коренных революционных пре-

образований. Ни в самой Франции, ни в перепаханной наполеоновскими войнами Европе. Эти перемены в глазах всего мира признаны полезными и необходимыми. А государства, оставшиеся в стороне от революционных преобразований, лишились и преимуществ от новых государственных учреждений.

Однако в российских понятиях самое слово «революция» за собою влекло другое, всякому русскому памятное — «пугачевщина»!

В России, говорил Трубецкой, любая революция обернется кровавым крестьянским бунтом, перейдет в стихию бурную, безудержную, жестокую; и тогда, говорил он, отечество будет подвинуто на край бездны. С крестьянским восстанием неминуемо соединятся такие ужасы, каких и вообразить нельзя. Государство может сделаться жертвой раздоров и легкой добычей честолюбцев...

Слушая это, Пестель бледнел, а потом сухо спрашивал, пожимая плечами: если не революция — что же тогда?

Опыт французов подсказывал, что свергнутую монархию легко сменяет другая и столь же безжалостная деспотия.

Этот французский пример, с его диктаторством и тиранством, с террором и беспощадной борьбой за власть, оставался постоянным предметом споров, и смелое заявление Пестеля, что-де Франция блаженствовала под управлением комитета общественной безопасности, озадачило. Против него, вспоминал Трубецкой, все дружно восстали, и спор породил неприятное впечатление. Недоверие к Пестелю.

5

Если верить уклончивым показаниям Трубецкого на следствии, первоначальная цель их общества не содержала в себе ничего злонамеренного. Их стремление в том заключалось, чтобы всеми доступными средствами подвизаться на общую пользу, чего ради все добрые начинания правительства поощрять в общественном мнении похвалами, а когда возможно — и делом поддерживать; злу же, напротив, сколько есть силы противиться, разглашая его.

Подтверждал это и более откровенный на следствии Сергей Муравьев-Апостол, который рассказал о собрании в казармах Семеновского полка, у Трубецкого, где при-

существовали, кроме хозяина и двоих Муравьевых-Апостолов, Якушкин и Александр Николаевич Муравьев. На собрании решено было, что так как нет пока способов для введения в России представительного правления, то и должно покуда ограничиваться воздействием на умы да приобретением новых членов для общества, пока оно достаточно не усилится.

А также, показывая на следствии Трубецкой, и самим надлежит поступать во всех случаях, на службе и в частном быту, так, чтобы не заслужить ни малейшей ни в ком укоризны. А ежели кто увидит в товарище что-нибудь нехорощее, сказать то тотчас об этом, и тому не только не обижаться, но постараться скорее загладить проступок делами добрыми.

Они даже постановили совсем отказаться от общения с пожилыми людьми — *бабушкиного* толка. Особенно с лицами чиновными и начальственными, чтоб не быть вынуждаемыми к подличанью и лести.

России прежде всего нужны честные люди!

Пестель тоже показывал, что среди первоначальных задач их общества была такая: создавать, как он пишет, «общественное мнение в пользу революционных преобразований». Он подтверждает и сказанное другими, что если бы мысль о необходимости общественных преобразований возникла у самого правительства, то они бы ее одобрили и всеми мерами поддержали.

По поводу этих иллюзий Якушкин писал в своих позднейших «Записках», что в словах этого рода была изначально ложь и никто из них всерьез не верил в благие намерения правительства.

В это время, как вспоминал Якушкин, число членов тайного общества сильно умножилось, и некоторые при всяком удобном случае начинали греметь против диких учреждений — каковы палка в солдатском быту и крепостное состояние крестьян...

Они назвали свое тайное общество «Союзом Спасения».

Пестель, которому было поручено составление устава общества, предлагал другое название: «Общество Истинных и Верных Сынов Отечества». Согласились на первом. Решение сочинить устав общества стало шагом к организации.

Пестеля особенно раздражала bestолковость их неорганизованных прений, приистекавшая, как он думал,

от полной несогласованности в мнениях. Часто, замечал он, спорили против тех мнений, которые перед тем сами же защищали, а после всех споров — признавали опять! И от личных взаимных колкостей спор обострялся, — колкости иногда подменяли предмет разговора.

Обсуждение предложенного Пестелем устава вызвало самые острые разногласия. Большинству не понравилась педантическая серьезность, с какою Павел Иванович взялся регламентировать их поведение. А прежде всего он предлагал утвердить театрально-торжественный, несколько напоминающий масонский, ритуал приема новых членов в Союз. Значились в нем и клятвы вступающих, и суровые кары для изменивших обществу членов. За измену предлагалось и за нескромность, то есть за разглашение тайны, жестокое наказание ядом или кинжалом. В этом духе составлены были уставы студенческих антинаполеоновских немецких союзов, где говорилось, что «собственная безопасность каждого члена делает необходимым наказывать смертной казнью за болтовню, переходящую в предательство, и никакое убежище во всем мире не спасет такого члена от мести могучего Союза».

Когда Пестель зачитывал это место из принесенной им с собою немецкой брошюры, смеялись. Показалась забавной кровавая беспощадность буршей. И вопрос возник: кто же и как будет в действие приводить угрозы? Спрашивали, смеясь: выбирать ли среди своих палача или лучше его выписать из Германии?

Павел Иванович рассердился на это легкомыслие и сказал, что угрозы на деле, возможно, и не будут осуществляться, но важно, чтобы вновь принимаемый знал это правило. Написал бы расписку... Расписки можно и сжечь, но не надо, чтоб это знали.

Заведомая ложь никому не пришла в голову. А какая реально могла быть угроза изменнику общего дела?

Принятая в итоге клятва на случай измены включала слова: «Да будет мне стыдно!»

Но споры об уставных формальностях долго еще продолжались.

Два года спустя Якушкин, уже отставной, случайный гость в Петербурге, попал на одно собрание и поражен был: «Формальность этого совещания давала ему вид плохой комедии,

В протяжении всего совещания рассуждали о составлении... заклинательной присяги для вступающих в Союз... о том, как приносить присягу: над Евангелием или над шпагой». Пестель, заметил он, и другие, в прошлом ревностные масоны, «привыкли в ложах разыгрывать бессмыслицу».

6

Тайное общество в первый же год увеличилось до тридцати человек; по другим источникам — до десяти или пятнадцати. Оно и умножалось и одновременно таяло. Многие поразъезжались из столицы. Устроив общественные дела, отбыл по делам службы в Митаву Пестель. Еще раньше выехал из Петербурга Якушкин, получивший наконец перевод в один из армейских полков.

Летом 1816 года тяжело заболел Трубецкой, слег надолго.

У Трубецкого открылась чахотка. Болезнь семейная, от которой и матушка его, княгиня Дарья Александровна, урожденная княжна Грузинская, молодая скончалась.

Он, казалось, уже поправлялся к осени. Взялся с энтузиазмом за устройство традиционного ежегодного праздника Семеновского полка. Но как только праздник прошел, Трубецкой занемог пуще прежнего. Проболеl до конца января 1817 года.

В январе вышла замуж Лиза, его единственная любимая сестра. Ее выдали за последнего графа Потемкина, внучатого племянника екатерининского вельможи. Граф Потемкин богат был, дом имел на Миллионной. Человек молодой, образованный и неглупый, литератор и театрал, или, как тогда говорили, «гражданин кулис». Однако семейного счастья отчего-то не получилось. Лиза любила всю жизнь другого, почти через двадцать лет родила сына от любимого ею человека, а почти старухой, после смерти мужа, с Ипполитом Подчасским обвенчалась. Он был *бастард* — незаконнорожденный сын одного большого московского барина, Льва Кирилловича Разумовского. Она была в старости счастлива: душою молода, изящна... Но и старости графиню Елизавету Петровну Потемкину называли «самой изящной женщиной Петербурга». К ней долгое время оставался равнодушен великий князь Николай Павлович. Даже после трагических собы-

тий 1825 года он ей не смел отказывать в просьбах: дозволял Трубецкому то переписку с женой, то посылочку к празднику в каземат. Но графиня Елизавета Петровна придворные милости не ценила и, после того как брат ее был осужден, переселилась в Москву навсегда.

Переведенный капитаном в армейский егерский полк, назначенный к переформированию, Якушкин по совету друга, командира полка Фонвизина, роты не принял и жил теперь большей частью в Москве, человеком почти свободным.

Михаил Александрович встретил его не как полковой командир, но как самый любезный товарищ. Они за полночь просиживали, обсуждая все те же вопросы, которые волновали и друзей в Петербурге; соглашались, что надо как-то противостоять злу, а прежде всего — тяготевшему над Россией староверству закоснелого в крепостнических привычках дворянства; и надо иметь возможность влиять на сознание молодежи. Для этого, соглашались они, хорошо бы учредить общество, где бы каждый, излагая свое мнение перед другими, обретал уверенность в правоте своей и способности к действию. . .

Фонвизин готов был присоединиться к такому обществу, и Якушкин ему открылся; он нарушил принятое сообще положение — не набирать новых членов иначе как только с согласия всех «бояр», первооснователей. Якушкин был убежден, что для их Союза Фонвизин самое ценное приобретение.

Приехавший вскоре после того в Москву Никита Муравьев отчитал Якушкина за своеволие. Якушкин терпеливо выслушал выговор, но сказал, что, если бы все это повторилось, он снова бы так же поступил, потому что Фонвизин — это такой человек!

Любимая фраза Михаила Александровича Фонвизина была: «Ни в коем случае цель не освящает средства». Он, по общему признанию, рыцарь был. Уважаемый всеми. Кристально чистой души человек.

С венециановского портрета, писанного весной 1812 года, смотрит как бы вовнутрь обращенным взором юноша несколько меланхоличный, мечтательный, большелобый, с глазами немного сонными, с модным взбитым

высоко хохолком; еле видные усики над розовыми губами; синий фрак с изящным кремовым жилетом и белый небрежно повязанный галстук, — не скажешь, что это военный, переживший Аустерлиц. Он выглядит на портрете моложе своих двадцати трех лет. . .

Между тем за участие в Аустерлицком сражении семнадцатилетний Фонвизин произведен в офицеры. В начале Отечественной войны он — адъютант у лихого генерала Ермолова, а в 1813 году — командир полка. При Кульме под Фонвизиним было убито пять лошадей.

В самом конце войны, во Франции, Фонвизин оказался в плену и сумел восстановить против Наполеона жителей городка, где его держали, — нашлось достаточно роялистов, и Фонвизин поднял восстание! Император Александр, не любивший у своих подданных большей инициативы, чем та, на какую он сам способен, встретил возвращение Фонвизина холодно и надолго оставил его в чине полковника. Лишь в 1819 году после одного особенно удачного смотра государь изволил произвести Фонвизина в генералы.

Михаил Александрович давно мечтал об отставке.

Он уже мало похож был на юношеский портрет. Между глубоких залысин спускался на лоб темный мысик волос, а заметно поредевший кок торчал задорно, и это ему придавало нечто мефистофельское. Но в сущности Михаил Александрович был человек наивно-добропорядочный, очень добрый и простодушный. Хотя, может быть, несколько суховатый, не в меру серьезный. В глазах его виден был ум, отточенный хорошим образованием. Строгость фонвизинского облика отпугивала симпатии тех, кто не знал его. Женщины относились к Михаилу Александровичу почтительно, как к старику, хотя ему тридцати еще не было. Он в женском обществе выглядел замкнутым, вялым, хотя сохранял в душе сердечную пылкость юноши.

Несколько лет спустя, генералом уже, Фонвизин влюбился, как мальчик, в прелестную девушку, свою родственницу, экстравагантную, жаждавшую призвания: она то душою рвалась в монастырь и носила под платьем вериги, то рядилась в мужскую одежду, собираясь бежать из дома, то влюблялась без памяти в бедного подпоручика, то всю ночь напролет сочиняла роман. . . Фонвизин был человек довольно богатый, а семейство Наталии Дмитриевны в неоплатных долгах: часто сальных свечей для дома не на что бывало купить — при лучине

сидели! Родители пали ей в ноги, и Наташа согласилась пойти за Фонвизина. После она себя называла Татьяной.

Михаил Александрович счастлив казался безмерно, хотя и не мог, конечно, не понимать, что ее согласие вынужденное. Наивный рыцарь избранницу боготворил, не чувствуя разницы между любовью и покорностью воле родительской.

Что же касается политических убеждений Фонвизина, то ему, как и многим мыслящим людям тех лет, опыт европейской действительности, можно сказать, поневоле открыл глаза на российское ретроградство. После войны полк Фонвизина два года стоял во Франции, в составе экспедиционного корпуса. Вернувшись в Россию, он, естественно, сравнивал европейскую жизнь с тем, что встретило его дома. Рабство большинства населения. Жестокое обращение начальников с подчиненными. Произвол... Михаил Александрович жил, стыдясь за Россию, униженную неограниченным самовластием царским.

Такой образ мыслей и побуждал Фонвизина думать о пользе конституции — твердых законов, равно обязательных и для народа и для императора.

Еще в молодые годы Фонвизин знал о существовании проектов ограничения самодержавной власти в России, в составлении которых участие принимал его дядя, Денис Иванович Фонвизин. Те проекты имели в виду предоставление политической независимости дворянству, но в них говорилось также о необходимости постепенной отмены крепостного права. Бумаги с теми проектами хранились у родственников Михаила Александровича, и сам он распространял в списках среди друзей знаменитое дядюшкино «Рассуждение», где доказывались противоестественность и безнравственность неограниченной власти самодержавия; необходимость установления «непременных государственных законов», без которых «не прочно ни состояние государства, ни состояние государя».

Никите Муравьеву, когда принялся он за составление своего конституционного проекта, это фонвизинское «Рассуждение» пригодилось...

...Лучше других знал Фонвизин подробности дворцовых заговоров. И против Екатерины, и против Павла Петровича, В 1803 году вступив в службу, он слышал

своими ушами от очевидцев историю с Павлом. Рассказы об этом еще оставались предметом офицерских застольных бесед. Стоя в карауле в Михайловском замке, Фонвизин из любопытства заходил в комнаты, где Павел жил, и в спальню его, — она была еще в прежнем виде. Участники происшествия объясняли ему на месте, как в замок проникли, обезоружив наружную стражу при самом ничтожном ее сопротивлении, — заткнули тряпками солдатские глотки и заперли этих стражей до утра в караулке. Когда в спальню ворвались, Павел спрятался у камина за ширмы, — ноги видны были. Императора ударили табакеркой в висок и задушили шарфом.

Все имена участников были известны. Новый император — Александр — не наказал никого. Он и сам знал про заговор. По свидетельству очевидцев, Александр Павлович эту ночь провел в своей спальне, не раздеваясь. Спать не ложился. При нем неотлучно находился князь Петр Михайлович Волконский.

Когда пришли доложить, что свершилось, Александр, не спрашивая подробностей, упал на постель ничком и залился слезами. Утром гвардия ему присягнула.

Павла обрядили в любимый им прусский мундир, прикрыв треуголкой изуродованное лицо, и гроб поставили на высокое ложе в соборе Петропавловской крепости. Александр слушал панихиду с печальным видом, окруженный толпою убийц, ожидавших от него — он знал это! — милостей и наград. Не с этих ли пор он за правило взял никогда не делать того, чего все от него ожидают?

Они радовались напрасно в те утренние часы, — возбужденные ночным происшествием, полупьяные, вообразившие, что теперь с молодым царем будут царствовать, — Александру они внушали одно отвращение. Делить власть он с ними не стал.

Якушкин слушал рассказы Фонвизина с интересом, но душа его поглощена была чувствами совершенно иного рода.

7

Ивану Дмитриевичу Якушкину, армейскому капитану и кавалеру многих орденов, было двадцать два года. И что-то поразительное твердилось с его целомудренною, по выражению Матвея Муравьева, душой...

Самому Муравьеву-Апостолу, другу Якушкина, было уже двадцать три. Он был ветеран с незажившею раной в ноге.

Засидевшемуся в полковниках Фонвизину исполнилось двадцать восемь. Он был среди них старик.

Якушкин казался сдержанным, суховатым в обращении человеком. Щепетильный не в меру, душевно одинокий и очень привязчивый...

8

Летом 1816 года Якушкин простился с полковыми друзьями и покинул Семеновский полк. Взял с приятелей клятвы, что будут ему писать.

Направляясь к новому месту службы, дал крюка — заехал в Москву.

Хотя он и не был москвич коренной — он родился в Смоленской губернии, — но душа Якушкина издавна в Москве обитала. Она, как теперь бы сказали, была прописана в старинном доме на Девичьем поле, чудом каким-то уцелевшем в больших московских пожарах.

Якушкина в этот дом еще мальчиком привел Грибоедов. Они познакомились летом в деревне. У Грибоедовых на Смоленщине именице было, Хмелита. В соседстве жили Лыкошины, родственная и дружбою с Грибоедовыми связанная семья. Молодежь между собою в особенности дружила. А в лыкошинском доме жила, как старинная подруга хозяйки, вдова Прасковья Филагриевна Якушкина, с двенадцатилетним сыном и двумя почти взрослыми дочерьми. По соседству где-то имела она и свою деревеньку. Умный и независимый мальчик, сын вдовы, подружился с ровесниками из обеих семейств. С Грибоедовым, который уже отличался ироническим складом характера, близко сошелся. Прямого, ершистого, беспощадного к собственным слабостям Якушкина друзья полюбили.

Его полюбили и московские приятели Грибоедова — братья Пьер и Мишель Чаадаевы, жившие после смерти матери в доме своего дяди, князя Дмитрия Михайловича Щербатова, — в том самом доме на Девичьем поле. А младший Щербатов, ровесник и тезка Якушкина, стал его лучший друг.

Вскоре одна из сестер Якушкина вышла замуж и с мужем переселилась в Орел, взяв с собой мать и другую сестру.

В четырнадцать лет Якушкин окончательно «эмансипировался», как он сам говорил, от семейства. Учась в Московском университете, на факультете словесности, он и жил, как тогда было принято, на пансионе у одного из профессоров, Алексея Федоровича Мерзлякова, человека еще молодого, но знаменитого. Он добрый был, но подверженный общеизвестной в России слабости к крепким напиткам, что, впрочем, ему не мешало читать свой курс увлекательно, и студенты его любили. Мерзляков и стихи сочинял. Как теоретик литературы Алексей Федорович считал, что в поэзии главное — чувство. Утверждал, что любое чувство имеет в себе систему: правильный ход и в спокойном течении, и в исступлении величайшем. И буря, говорил он, знает свои законы, определенные природой. Свое начало, правильный ход и конец есть и у бури сердечной. . .

Якушкин слушал его прилежно.

Друзья находили в Якушкине стонка.

Петр Чаадаев, гордец и спорщик, перед которым и дядюшка, князь Дмитрий Михайлович, пасовал, высоко ценил дружбу Якушкина и даже, похоже, слегка перед ним заискивал. А Якушкин часто отдавал предпочтение брату его Мишелю, человеку вполне заурядному.

Язвительно вежливый и холодный, умевший любого поставить на место, Петр Чаадаев любил Якушкина, колючего и незадачливого, до конца своей жизни; любил какую-то странной, ревнивой, почти женской любовью; и счастлив бывал самым сдержанным вниманием с его стороны. В письмах Петр Чаадаев называл Якушкина «братом».

Из письма Якушкина к Чаадаеву: «. . . ах, бог мой, ты позволяешь себе слишком быстро осудить человека, которого не знаешь. Вынести приговор, меня не выслушав, приписать мне лишенное любви сердце и омертвевшую душу! Но если бы это и было так, разве ты знаешь, что меня таким сделало? Причина — в печальной участи не иметь сердечного друга, никогда не слышать слова приятни. Правда, моя душа утратила часть своей энергии, она устала от страданий и разбилась, она не хотела принять жизнь полную горечи и ослабела в борьбе. Я выносил бремя существования одиноким. Время от времени встречалась

душа, способная, может быть, симпатизировать мне, но судьба, обстоятельства, я уж не знаю, что именно, всякий раз нас разлучали, и я оказывался еще более одиноким и обособленным, чем раньше. Над жизнью моей тяготели годы разочарований; горькие слезы жгли мне лицо; лишенный утешения молитвы, я был предоставлен себе. Не суди же меня по наружности, будь настолько проныцателен, чтобы понять, каков я на самом деле; мне тяжело видеть, что и ты разделяешь суждение обо мне толпы, полагающей, будто душа, сложившаяся в таком мире, который несколько возвышается над людской пошлостью, ничего иного, кроме одиночества, и не заслуживает... Слишком длинно то, что я тебе написал; взгляни на эту полуисповедь, как на одну из редких минут излияний, коим подвержены люди, всегда сосредоточенные и замкнутые в себе самих...»

9

Князь Дмитрий Михайлович Щербатов был сын знаменитого историка Михаила Михайловича Щербатова, державшего оппозицию к Екатерине Второй, приверженца древних боярских установлений и автора любопытнейшего сочинения «О повреждении нравов в России», которое Герцен впервые напечатал за границей в одной книге с радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву».

Супруга историка, дочь петровского дипломата, Щербатова тоже, воспитывалась в Англии, и после смерти ее в доме на Девичьем поле сохранялся утонченный европейский комфорт, повседневный твердый порядок и дух независимой просвещенности.

Князь Дмитрий Михайлович был человек образованный, щеголевато-опрятный и чуждый московских барских замашек. Его считали за чудака. Старый князь благоволил молодежи, и в его доме все себя чувствовали свободно, вели вольные разговоры. А впрочем, сам князь мало прислушивался к ним и ко всему относился с модным в конце минувшего века ироническим скептицизмом. Царь ли его раздосадует неразумным решением, или дворовый мужик учинит безобразия, — у него на все был один приговор: «Всемилоостивейшее разорение!» Он это произносил с тончайшей улыбкой,

В гостиных витал дух «парламентской» оппозиции. Княжна Лиза, старшая из двух дочерей, рассказывала гостям, по семейным преданиям, как их дед, историк, однажды придя из Сената сердитый за что-то на императрицу Екатерину, взял молоток и собственноручно разбил на куски стоявший у них в зале ее мраморный бюст.

Княжнам уроки давали лучшие московские профессора. Они обучали девиц физике и ботанике. Чуть ли даже не политической экономии! Им дозволялось читать новейшие французские романы...

Единственного сына князь тоже с младых ногтей приобщал к наукам, но каковы результаты — трудно судить: в марте 1812 года семнадцатилетний князь Иван Дмитриевич Щербатов уже месил дорожную грязь, белорусскую и литовскую, вместе с Якушкиным и своими двоюродными братьями Чаадаевыми, подпрапорщиками Семеновского полка. Воевал молодой Щербатов отважно, служил старательно и после войны, — иначе как бы он стал командиром первой — «государевой роты»?

Якушкин с княжнами тоже был старый приятель. Больше дружил, конечно, с Наталией, своей ровесницей. Лиза была года на три постарше, очень рассудительна и держалась хозяйкой в доме, рано заняв место умершей матери. Конечно, Якушкин знал и всю их подноготную: что Лиза собсю жертвует ради младшей сестры.

Шансы старшей сестры выйти замуж прилично, то есть за состоятельного человека, были невелики, и поэтому она отказывалась от своей части приданого в пользу Наташи.

Первая встреча Якушкина с Наталией Дмитриевной, после нескольких лет разлуки, когда он проездом в свой полк побывал в Москве, показала, что все осталось по-прежнему...

Дело в том, что Якушкин в Наташу с тринадцати лет был влюблен. Тайно и безнадежно. И эта любовь составляла единственный, хоть и печальный смысл всей его жизни.

Потом он сам не без горечи признавался: «Большую часть моей молодости я пролюбил».

В доме на Девичьем поле никто не догадывался, конечно, об этой таинственной страсти. Они для всех оставались друзьями с детства. Старого князя дружба младшей дочери с Якушкиным вовсе не тревожила: Якушкин, в его положении, был, естественно, не жених и, как умный человек, должен был понимать это. Князь Дмитрий Ми-

хайлович Якушкина уважал за твердость его нравственных правил и любил в досужий час побеседовать с ним. А Наташе серьезная дружба Якушкина льстила. Он с детства был совершенно свей человек у них в доме, и она относилась к нему почти как к брату.

Он возвратился в Москву, как Чацкий. Можно думать, что Чацкий списан как раз с него. В нем тоже годы не охладили сердечного пыла. Наталью Дмитриевну он увидел впервые — не девочкой, какую он прежде знал и любил, но взрослой девицей; удивился ее красоте и благородию.

О чем они спорили с князем Щербатовым?

Без споров, разумеется, не обошлось, но только князь-то Щербатов — не Фамусов. Он, если угодно, *антифамусов*.

Да и Якушкин все же не Чацкий во всем. Он умнее был; возможно, что и острее, — любовь все способности в человеке обостряет; но он не был дерзок. Дерзко острить в этом доме была привилегия Петра Чаадаева, который тоже отчасти стал прообразом Чацкого.

Якушкин вообще никогда речами не красовался, хотя во многом сходился мыслями и с Чаадаевым, и с самим автором знаменитой комедии. В доме Якушкин держался скромно и казался задумчив; о любви он, понятно, и единым словом не обмолвился.

Да и сам он не сразу понял, что с ним творится.

«Я пишу тебе сегодня, мой милый Щербатов, не из желания сообщить тебе вести о себе, — растерянно признавался он брату Натальи Дмитриевны, оставшемуся в Петербурге, — меня просто влечет желание сообщаться с тобой и хотя минуту с тобой побеседовать, и я не могу противиться этому желанию. Я еще не знаю даже точно, что мне сказать тебе; но мне необходимо говорить с тобой...»

Если бы даже они в эту пору встретились, Якушкину не хватило бы духу признаться в том, что он сам едва еще только начинал сознавать.

Он писал: «Может быть, лучше, если я умру вдали от людей, которых я нежно люблю и которые интересуются мною, чем страдать в их присутствии, не имея никогда возможности ничего им сказать»; и еще: «Если я не ошибаюсь, то чем больше будет сумятицы в моей жизни, тем более она будет для меня переносима».

Он, возможно, рассчитывал на догадливость друга?

Чувствуя необычную важность письма, Якушкин медлил отправить его Щербатову, а решившись, просил у друга прощения за такое «эгонистическое» послание.

Якушкин догадывался, что не надо ему задерживаться в Москве. Однако, приехав в Сосницы, где в то время стоял его полк, он душою остался там — на Девичьем поле.

«Сосницы — плачевная дыра, наполненная грязью и сутягами», — писал он Щербатову; жаловался на столичных приятелей, которые позабыли о нем и на письма не отвечают. «Привет всем этим господам!» — писал он.

К новому 1817 году Якушкин снова появился в Москве. Он опять каждый день бывал у Щербатовых..

..20 февраля Якушкина отыскал в Москве Трубецкой, получивший письмо из деревни, что отец очень болен и умоляет приехать; и сам больной еще, он поскакал туда; в Москве не имел в виду задерживаться, но все же просидел несколько часов у Якушкина — рассказал петербургские новости. Главная — нынешним летом гвардия будет в Москве с государем и всем царским семейством. Этой радости Якушкин и верить не смел.

Они, возможно, говорили и о серьезных делах, но об этом подробностей не сохранилось.

В феврале же Трубецкой приехал в деревню, однако отца уже не застал в живых; сам опять захворал, да так сильно, что испугал родных. Он застрял в деревне до самого августа...

Из следственных показаний С. П. Трубецкого: «Отец мой был добрый и хороший человек. Он старался поселить во мне и в братьях моих чувства чести и добродетели, и я тщился быть всегда человеком честным и искренним христианином...»

Письма Якушкина к Ивану Щербатову производят порою странное впечатление: когда, например, Якушкин с наивной серьезностью намекает в них на какие-то щербатовские сердечные интересы в Москве; с таинствен-

ностью сообщает, что некая особа завтра, вероятно, будет в концерте: «Я, может быть, ее увижу и в следующем письме расскажу тебе, если все это еще может тебя интересовать. . .» Похоже, однако, что молодого Щербатова это все не особенно занимало! Якушкин об этом догадывался. «Не упусти сказать, — просит он, — как ты теперь поживаешь: продолжаешь ли быть *существом чувствующим* или уже стал несчастным *прозябателем*? Я не мог бы решить, что более подходит к твоему положению!»

Кажется, Щербатов из принципа был «прозябателем». Дул привычно на воду, не успевши обжечься на молоке!

«При всяком исполнении долга чем-нибудь да рискуешь!» — поучает его Якушкин цитатой из подвернувшейся под руку французской брошюры. И ему невдомек, что это — почти пророчество.

«Я начинаю поистине беспокоиться, — пишет Якушкин другу, — видя тебя всегда в затруднении, всегда недовольным собой».

Может быть, в силу душевной инертности Щербатов и в тайное общество не вступил. Не из трусости, а скорее из привычной покорности существующему порядку вещей. Он, однако, все знал об обществе от Якушкина.

Замысловаты пути провидения: князь Иван Дмитриевич Щербатов, аккуратный, исполнительный офицер, командир «государевой роты» — первой роты первого батальона славного Семеновского полка, — падет первой жертвой слепой деспотии, против которой его товарищи подняли голову.

В Москву приехал Матвей Муравьев-Апостол, и они с Якушкиным вместе явились к Щербатовым; с французской галантностью Матвей Иванович вспоминал забавные пустяки из гвардейского быта, рассказывал про Ивана Щербатова — что в последнее время он как будто повеселел и в свет иногда выезжает, собирается переменить квартиру, хочет жить вместе с Мишелем Чаадаевым, это было бы хорошо для обоих. . . Матвей так трогательно рассказывал о Щербатове, замкнутом и неумеренно щепетильном друге своем, что старый князь прослезился и сказал, что готовит сыну сюрприз: купил ему модный французский кабриолет. Лошадки башкирские, трехлетки, чудо какие! Через месяц закончат их выездку, и можно будет отправить в Петербург. . .

Якушкин был в этот вечер весел и легкомыслен,

А затем наступил непонятный провал. Молодой Щербатов не мог понять, что случилось: Якушкин совсем перестал отвечать на письма. От всех отстранился. За молчал.

«Я думал, — объяснил он позднее Щербатову, — что никогда больше тебя не увижу».

Весенняя травка пробивалась между камней, веселя мостовую, первые птицы запели в московских садах, Якушкин окончательно голову потерял. В отчаянном иступлении, не питая и малейшей надежды, хотя не будучи убежден и в обратном, понимая все обстоятельства, их разделившие, он тем не менее вдруг объяснился с Натальей Дмитриевной. До сих пор шага не сделал, чтоб с нею сблизиться. А легко ведь могло бы случиться, что он ее компрометировал! Он и сам удивлялся, что этого не произошло. А в момент иступления вдруг забыл обо всем: остановил ее на садовой дорожке и нервно заговорил о своем к ней отношении, безнадежном, как он и сам понимает...

Неожиданное признание ошеломило ее: перед этим натиском — внезапной стремительностью одержимого человека — Наташа и не противилась. Не убежала. Не прервала Якушкина на полуслове. До конца его слушала...

«Может ли она упрекать себя, как в слабости, в том, что совсем не сопротивлялась человеку, который был иступлен столькими различными чувствами, которые, соединившись все, сделали его на миг ненормальным?» — спрашивал ее брата Якушкин, едва оправившись от потрясения.

11

И как ей было не растеряться? Ей, никогда от него не ждавшей таких страстей...

«Ах, если бы ты мог видеть Якушкина! — восклицала она в письме к брату, почти восхищенная происшедшим. — Его отчаяние, его страсть!..»

Все было бы как во французском романе, если б не грустное продолжение. Бедный Якушкин. Он ничего не сделал дурного: он только душу вывернул наизнанку и немного ее напугал этим. Но она бы не рассердилась, если бы не ужасное продолжение...

Вернувшись домой, Якушкин, все еще возбужденный, написал ей письмо, совершенно безумное: доказывал, что не в силах жить без нее, тем более что он понимает всю тщетность своих желаний...

А потом безоглядно и неумело попытался убить себя.

Как все считали, Якушкин был безнадежен. Только заботы друзей не дали ему умереть. Фонвизин, Матвей Муравьев и старинный университетский приятель Облеухов по очереди дежурили у Якушкина день и ночь и не позволили ему повторить попытку.

«Какие люди!» — восклицала Наташа растроганно.

Наталья Дмитриевна, княжна, московская чувствительная барышня, начитанная, неглупая, была в доме младшая и привыкла слушаться всех: отца, и брата, и Лизу, конечно, которая всем ей пожертвовала.

От посторонних скрывались домашние обстоятельства, но Наташа, девушка серьезная и неглупая, знала, что она — последняя надежда семьи. От нее зависит спасти фамильную честь. Разорение неизбежно, если только она не выйдет замуж за человека с состоянием.

Еще прежде Якушкина в Москву приезжал Нарышкин, тоже семеновский офицер, служивший ныне в составе экспедиционного корпуса на севере Франции. Знатного рода, воспитанный, светский. Предполагалось, что богатый. Как часто бывало, он сам искал невесту с приданым и пускал пыль в глаза. Старому князю и Лизе Нарышкин сумел понравиться. Наташе дали понять, что в ее руках будущее семьи. Ничего не было решено, потому что Нарышкину предстояло еще возвратиться во Францию. Но в домашнем кругу об этом говорилось определенно: «Нарышкин упорно сватается к Натали больше года».

Якушкин об этом узнал — отсюда и его внезапная одержимость.

От брата и от Якушкина Наташа знала, что представляет собою Нарышкин, какие у него душевные качества. Она много об этом думала и несколько не обольщалась. «Душа Нарышкина, — писала она брату, — такая, как ты мне ее рисовал: порочная, низкая, не имеющая другой цели, кроме личной выгоды, за счет своей совести и уважения тех, кто его знает...»

Видимо, брат догадывался и о расстроенном нарышкинском состоянии, — его это сватовство не прельщало; отец, однако, закусил удила...

Описав столь малопрigлядную душу возможного жениха, Наталия Дмитриевна драматически вопрошает брата: может ли эта душа, низкая и порочная, сочетаться с душою его Натали?

И тут же с девичьей наивностью она пробует себя уговаривать: «Хотя, женившись на мне, — пишет она брату, — он сделает свои выгоды мои. . . Но. . . смогу ли я снести самые легкие следы того, что называется интригою, нечестностью, если бы даже его выгоды и мои служили им мотивом?»

Разумеется, она понимала, что Нарышкин — главная из причин, отчего едва не погиб Якушкин.

Перед собой она видела выбор: с одной стороны — «блестящее будущее», о котором ей твердили домашние: Блеск столичный, придворные балы. . . Прежде об этом в их доме говорили иронически, но какая девушка может с легкостью всем этим пренебречь? А с другой стороны — и Якушкина жалко!

Якушкину Наталия Дмитриевна сочинила длинное письмо, в которое, как говорится, вложила душу. Ее ли вина, что письмо это вышло набором фраз, напыщенных и красивых? «Поведение мое по отношению к вам, — писала она Якушкину, — непростительно! Я отплатила неблагодарностью за чувства, которые вы мне выражали, и, вместо того чтобы убить химеры вашего воображения, я, напротив, поощряла их моим присутствием. . . Я ввергла в пучину несчастья дорогого друга моего брата, товарища моего счастливого детства! На подводной скале его упований я разбила его сердце. . . Как раз тогда, когда вы мне давали доказательства вашей привязанности, я строила основу моего будущего благополучия на обломках вашего. Да, я цветами украшала свою жертву, чтобы затем своей же рукой заклать ее. . .» — и дальше в таком же велеречивом духе. Понятно, письмо написано по-французски: отсюда и гладкость заемных фраз, и холодное «вы». По-русски Наташа, как и большинство московских и петербургских княжон, прилично писать не могла. Но зачем же так вычурно: «жертва», «заклание»? За словами не видно главного. . . Впрочем, догадаться нетрудно: при всей давнишней их дружбе она никогда Якушкина не любила.

Хотелось бы сказать, что Наталия Дмитриевна в отчаяние пришла от его поступка. Только кто же выражает отчаяние посредством красивых слов? Скажем проще: поступком Якушкина искренне огорчилась. . .

Умоляла его: «Живите, Якушкин!.. Имейте мужество быть счастливым». И просила уехать, чтобы горе забылось. И почти обещала ему, что не выйдет и за Нарышкина. Этот союз, уверяла она Якушкина, «столь же маловероятен, как и возврат к жизни засохшего цветка».

Сочиняя письмо Якушкину, Наталия Дмитриевна трепетала от собственной смелости. Это делалось тайно от всех. В ее жизни это была первая тайна, коварно ею похищенная, как она выражалась, у дружбы любимой сестры.

Брату она сообщила почти деловито: «Ты должен все знать. Нужно, чтобы ты через мое перо узнал то, что ты, может быть, давно уже знал в глубине своего сердца... Якушкин меня любит... Его отчаяние, его болезнь причинены крушением всех его надежд... Подумай об ответе, который ты должен мне дать. Покой, я скажу больше, жизнь твоего друга от этого зависят. Не бойся предложить мне средство наиболее верное для обеспечения счастья Якушкина: отказаться от союза с Нарышкиным... Я благодарила бы небо, если бы могла вернуть мир этой небесной душе пожертвованием моих надежд. Мой друг, подумай же о твоем ответе; остерегись приговорить твоего несчастного друга — это существо исключительное по благородству и стойкости своих чувств... Не обращай внимания на счастье твоей сестры, или скорей — сочетай его со счастьем того, кто заслуживает твою привязанность во всех отношениях...»

Она объясняла брату: «Одобряя чувства Нарышкина, ты вонзишь кинжал в сердце твоего друга!.. Он от того умрет рано или поздно, и что тогда станется с твоей Натали? с тобою самим?»

В другом письме Наталия Дмитриевна уверяла брата, что она «способна на подвиг добродетели, чтобы спасти жизнь несчастного!»

Увы, и это — только слова.

С дружеской прямою Щербатов просил Якушкина не повторять глупостей, вредных его здоровью.

Матвей Муравьев, просиживая дни и ночи у постели больного, терпеливо твердил о том же. И Фонвизин, и другие знакомые. Мать Облеухова прислала записочку, в которой умоляла Якушкина подождать хотя бы несколько дней, не совершая на жизнь свою нового поку-

шения; добрая женщина просила позволить ей приехать к нему побеседовать. Нельзя же, писала она Якушкину, не думать о том, каким страшным грузом он рискует обременить остаток жизни особы, которую любит, если себя убьет! Этот довод и повлиял на Якушкина. Он обещал друзьям глупостей не повторять,

Наталии Дмитриевне писал: «Неужели мне суждено быть виновником одних только ваших беспокойств, между тем как я отдал бы жизнь свою за минуту вашего покоя! Я желал бы быть в состоянии ценою еще больших мучений, нежели те, которые я только что пережил, искупить те беспокойства, которые я вам против воли причинил. Вы повелеваете, чтобы я продолжал влачить свое существование, — ваша воля будет исполнена. Я буду жить и даже по возможности без жалоб. Только бы вы смогли быть спокойны и счастливы. . .»

• Поправившись, снова стал навещать Щербатовых, — и один, и с Фонвизиным, — его принимали, как если бы все было забыто.

Якушкин себя убеждал, что все минуло. И только разговоры о скором приезде Нарышкина нарушали его душевное равновесие. Надежды на этот брак в семье не были оставлены. Из принципа, как ему представлялось, Якушкин продолжал тайную войну с Лизой и старым князем, обо всем подробно уведомляя младшего Щербатова. Себя он находил вне подозрений. Ну, разве что человеком несколько экстравагантным! Он всего лишь защищал интересы Наталии Дмитриевны. Она ведь не раз говорила ему, что мучается раскаянием за невольные «авансы» Нарышкину.

Обдумав возможные последствия возвращения Нарышкина в Россию, Якушкин сочинил бывшему приятелю краткое письмо: «Господина Нарышкина просят потрудиться размыслить о том, что он будет делать по возвращении. . .» — и так далее. Форменный вызов, но не подписанный. Вызвать Нарышкина — право брата, и Якушкин отправил записку Щербатову, показав ее предварительно Фонвизину и самой Наталии. Догадываясь, что Щербатов ни на что не решится, Якушкин предлагал взять на себя неприятную обязанность.

«Я узнал, — писал Якушкин Щербатову, — что к нему не переставали писать и приглашать его вернуться: возможно скорее, что его даже вовлекли в заблуждение, что не существовало никаких препятствий для его про-

ектов. Его нелояльное поведение в отношении твоей сестры, все его интриги и хитрости клонятся к тому, чтобы поставить ее в такое положение, при котором замужество с ним стало бы неизбежным. . .»

Наталья Дмитриевна догадалась, что это — дуэль, и не на шутку перепугалась. Не знала, что Якушкину и Фонвизину возразить. Брату она написала отчаянное письмо: кто им право дал, спрашивала она, оберегать ее честь столь опасным способом? Якушкин становится невыносим, жаловалась она. Вызов — нелепость! Она умоляла брата порвать записку и признавалась, что ей надоели «все эти господа»! На эту невольную грубость ее толкнула усталость от всех этих приключений, которые сносны в романах, а в жизни тягостны.

Щербатов с дружеской откровенностью передал Якушкину просьбу сестры и самую фразу, что ей надоели «все эти господа».

Это был для Якушкина едва ли что не смертельный удар.

«Моя главная ошибка, — объяснял он Щербатову, исследуя окончательный крах своих сердечных иллюзий, — заключалась в вере, что твоя сестра, быть может, имела ко мне чувство, которое было больше, чем доброта». Отсюда происходила, писал он, и та «назойливость», в какой его теперь обвиняют. «Чтобы искупить, если это возможно, свою ошибку, я искренне признаю свое заблуждение, — клялся он, — и я от него отрекаюсь от всего сердца».

Якушкин обещал Щербатову никогда больше не появляться у его родных, несмотря на любые приглашения и уговоры Фонвизина, — ему, кстати, он тоже показывал щербатовское письмо, где «все эти господа», что к Фонвизину тоже относится. Сам он сделает больше: он завтра же отправится к матери в Орел и там останется до того времени, когда сможет еще далее удалиться!

Якушкин честно прощался со всем, что десять лет составляло смысл его земного существования.

«Это было бы несправедливостью быть счастливым прежде, чем того заслужишь! — писал он другу. — Провидение не допускает такой несправедливости. . .»

И все же он никуда не уехал.

Спустя короткое время, приняв объяснения Натальи Дмитриевны относительно жестокой фразы, Якушкин опять появился у них.

Летом 1817 года из Франции возвращался русский экспедиционный корпус, где и Нарышкин служил (он, между прочим, женился вскоре по возвращении, только не на Щербатовой).

Пехоту вывозили морем. В начале мая из Кронштадта вышли к французским берегам корабли, на одном из которых — «Не тронь меня» — служил Николай Бестужев. С ним вместе отправились в дальнее плавание братья, Михаил и Петр Бестужевы, тогда еще гардемарины, и поход, как потом вспоминал Михаил Бестужев, для них не прошел бесследно.

Франция оставалась в состоянии политической напряженности: то ли французам все же недоставало Наполеона, то ли еще нужнее, чем он, представлялась свобода? Им во всяком случае виделся глупой ненужностью их престарелый король, смешной в своей старческой немощи Людовик Восемнадцатый, вторично подпертый штыками чужих гренадер. Французы не любят находиться в смешном положении. Обо всем этом откровенно толковалось в кают-компании, как и о многом другом. Здесь, как дома, расположились почетные пассажиры: две дамы — завзятые республиканки, а также отчаянно либеральный в морских просторах ученый-писатель Николай Иванович Греч, видом похожий на чиновника средней руки. Сутуловатый, чахоточный, как и большинство петербуржцев, блондин. Он ожил на свежем воздухе, вдали от цензурных и всяких других притеснений. Преобразился душевно — как только лодка, в которой он угнездился опасно, веслами плеща, отвалила от петербургской пристани...

Николай Иванович Греч ощутил себя мореплавателем на «Нетроне», как тут все, не считаясь с грамматикой, называли корабль. Он обстоятельно расспрашивал, где какая есть часть и какое ее назначение, где имеет пребывание господин капитан, а где живут прочие господа офицеры, где матросам дозволяется песни играть, а также где их секут при замеченной неисправности. Все подробности корабельного внутреннего устройства им описаны в толстой книге, предметом которой послужило сие путешествие.

Любезный и образованный лейтенант Николай Александрович Бестужев представил Гречу своих братьев, мальчиков лет по пятнадцати или шестнадцати. Петр —

худой, высокий, черноволосый — держался очень стеснительно. Ни слова из него не удавалось извлечь, хотя Николай Иванович изредка видел его даже с книжкой в руках. Мишель, с виду более простоватый, напротив, казался самоуверен и не чуждался беседы, по крайней мере сначала. К нему Греч проникся почти отеческим чувством.

Отправившись в плавание не без опаски, Николай Иванович взял с собою, по совету знакомых, кучу лекарств от морской болезни, а сверх того — целый ящик французского лучшего чернослива, который, как сказали ему, больше всего помогает. Однако в море, когда стало покачивать, Николай Иванович понял тщетность советов: ему от лекарств еще тошней становилось, и он матросу велел выбросить их за борт, а французского чернослива жалко было выбрасывать; Греч подарил чернослив Мишелю, который по просьбе брата забегал больного проведать.

Плотный и сероглазый, с насмешливым взглядом, Мишель терпеливо дослушал прерывисто-бледную речь сухопутного гостя, предпосланную подарку: в речи упоминалось благословенное детство — время, когда не грех себя и сладким побаловать. Затем — со всей возможной в столь жалостном положении важностью — Мишелю вручен был весь ящик. И с этой минуты Греч приобрел врага себе на всю жизнь: Михаил Бестужев никогда не простил ему этого чернослива — подаренного ребенку!

Надо сказать, что в шестнадцать лет Мишель выглядел несколько моложаво и всякий намек в этом роде воспринимал болезненно. В этом году ему предстояло стать мичманом.

Благополучно достигнув французского берега и прощаясь, Греч обещал Николаю Александровичу Бестужеву по возвращении в Петербург познакомить его и братьев со своим семейством, а также с лучшими столичными литераторами, которые все у него, Греча, в доме обедают...

«Чувство свободы до такой степени прирождено человеческой природе, — вспоминал М. А. Бестужев, — что семена, неведомо в душу запавшие, дадут росток и укоренятся при обстоятельствах мало-мальски благоприятных их росту. Так было и с нами».

Воздух Франции пробудил и заставил проклюнуться с детства посеянные в их душах семена вольномыслия. Новизна мест и обычаев, сметливая деятельность торгового населения, милая болтовня бойких францушек, климат чужой страны — все восхищало их. А особенно — прогулки в густой южной ночи, под плотной тенью незнакомых деревьев, слегка освещенных снизу бумажными фонариками. Всюду веселые группы танцующих в этом праздничном освещении поселянок. Вольный говор пирующих у своих костров русских молодцов гренадер. . . Ах, бивачные эти огни, вокруг которых живописно сгрудились солдаты, молодые и старые. Непривычно свободные — как в речах своих, так и в движениях, не скованных строгой солдатской выправкой. Михаил Бестужев увидел впервые в этих солдатах живых людей, а не загнанных муштрою в полное тупоумие манекенов. Во всем — обаяние вольности. Все настраивало к восприятию непривычных разговоров и впечатлений.

Вынужденная привычка к обособленности превращает моряков в народ замкнутый, и они редко вступают в общение с пехотой и еще реже сближаются с пехотинцами. Но тут все шло наперекор обычаям и природе. Общение моряков с офицерами экспедиционного корпуса происходило как бы само собой, самое откровенное, насыщенное расспросами и рассказами. Самые дубиноватые из пехотных офицеров, оставя свой прежний тон, либеральничали напропалую.

Чувство человеческого достоинства просвечивало в каждом солдате, и самый вид русского войска, возвращавшегося из Франции, преобразился.

Как вспоминает в своих «Записках» И. Д. Якушкин, эти вернувшиеся из-за границы полки — Апшеронский и 38-й егерский — на смотре царя ужаснули: он увидел только скверную выправку, но и того хватило, чтобы с позором прогнать их со смотра. Михаила Александровича Фонвизина уговорили принять один из разгневавших государя полков. Прощаясь с прежним своим — 37-м егерским — полковник Фонвизин от волнения прослезился, и многие офицеры, да и солдаты, прощаясь с ним, плакали. В своем пол-

ку Фонвизин давно вывел из употребления палку, и все условия солдатской службы при нем значительно изменились. Приняв 38-й егерский полк, Фонвизин и тут сделал все возможное, чтобы не прибегать к обычным жестокостям, добиваясь выправки. Он достиг таких результатов, что на параде его полк удостоился лестного замечания государя, а сам Фонвизин был наконец произведен в генералы и получил личную благодарность императора в самых лестных выражениях.

14

В Кронштадт корабли возвратились в конце августа, и тогда же, сдав экзамен, шестнадцатилетний Мишель получил офицерский чин.

Девятнадцатилетний Александр, его брат, все еще оставался юнкер, и можно себе представить, как больно угнетала его самолюбие эта солдатская ляпка! Всегда несший службу с благородным терпением, не искушая судьбы, Александр Бестужев в ту осень осунулся и погрузился. Его задевали успехи младшего брата.

А тщеславный Мишель не упускал случая погордиться.

Приехав из Кронштадта впервые в офицерском мундире, он в тот же день столкнулся нечаянно с Александром на Невском проспекте. Александр, искренне радуясь, кинулся брата обнять и поздравить, но вдруг услышал самодовольное:

— Вы службы не знаете, юнкер! Извольте приветствовать офицера как положено.

Александр растерялся, побледнел, повернулся неловко, готовый отбрыкнуть Мишелю на караул, но вместо этого снял почему-то фуражку...

Мишель не того ждал — ему стало жалко брата.

— Да ради бога, Саша! — удивленно сказал он, беря Александра под руку. — Я же не хотел обидеть тебя... Как же ты шутики не понял?..

— Больше так не шути, — сказал брат заметно дрогнувшим голосом. — И прощай... Не положено солдату под руку с офицером прогуливаться. Так мне с тобою, глядишь, и ареста не миновать. Но не думай, чтобы я в долгу перед тобою остался! Посмотришь, я тебя еще обойду...

В конце августа 1817 года в Москву, предваряя приезд императорского семейства, прибыл сводный отряд, состоявший из первых батальонов пеших и первых эскадронов конных гвардейских полков. Сводным гвардейским отрядом командовал генерал барон Розен, а начальник штаба при нем был полковник Александр Николаевич Муравьев, один из основателей тайного Союза Спасения, значительно выросшего в Москве и переименованного в Союз Благоденствия.

Деятельность тайного общества в Москве оживилась.

У молодежи, вспоминал Якушкин, ощущался избыток жизни в ее тогдашних ничтожнейших обстоятельствах, и увидеть перед собой благородную цель показалось уже блаженством. Не мудрено, что всякий порядочный человек из гвардейской молодежи честью считал для себя вступить в общество. И на каждом собрании назывались имена тех, кто еще готов был к тому. Являлись новые и новые лица. . .

Возникали собрания стихийно, без соблюдения уставных формальностей, более по знакомству. Чаше собирались у полковника Муравьева — в шефском доме при Хамовнических казармах, где для гвардии приготовлены были квартиры.

Как показывал на следствии Трубецкой, члены общества «должны были истолковывать не знаящим, что такое конституционное правление, и изъяснять необходимость освобождения крестьян».

Сочиненный Пестелем устав при таком стечении молодежи оказался неудобным и был отвергнут. Новый устав, переписанный в книжку с зеленым кожаным переплетом, называли «Зеленой книгой». В нем преобладали общие соображения относительно целей общества. А еще предполагалось составить вторую часть, где указывались бы и цели конечные. Черновик обсуждался, вызывая горячие споры. . .

Никита Муравьев показал в ходе следствия, что новый устав виделся им сводом правил чистой нравственности и деятельной любви к человечеству. Возникла даже мысль поднести экземпляр «Зеленой книги» царю — таким образом тайный союз узаконить как созданный в целях достижения всеобщего благоденствия.

Восторженность москвичей, радостно взволнованных

приездом императорского семейства, создавала впечатлительные прежнего, любовного отношения к Александру. Но в шумных спорах, какие слышались в стенах шефского дома, проскальзывало все чаще: «Глухая тетеря!»

Александр Павлович с детства был глуховат, но имелось в виду не только это.

Чего ждали от царя? Конституции? Раскрепощения крестьян?

Польше после войны была обещана конституция... Говорилось, как о деле решенном!

А в прибалтийских губерниях крестьяне получили и личную свободу, без земли. Их это окончательно разоряло.

Отношение Александра к России не внушало серьезных надежд. И на собраниях говорилось, что если нынешний царь до конца своей жизни не осуществит обещанных им некогда реформ, то по смерти его не следует присягать наследнику, не ограничив прежде самодержавной власти...

Должно быть, это виделось отдаленно. Александру недавно исполнилось сорок лет. Он отличался хорошим здоровьем, скакал то и дело из конца в конец по России, а пуще того — по Европе...

Когда возникла мысль о цареубийстве?

Из следственных показаний этого в точности не узнаешь: от обвинений в этом открещивались так долго, как только могли. И в письмах упоминать об этом не смели. Даже в воспоминаниях остерегались...

Вероятно, такая мысль высказывалась Пестелем в Петербурге еще, — Павел Иванович был сторонник самых решительных мер. И едва ли такая мысль могла кого-либо повергнуть в недоумение.

Не говоря о французском примере, и смерть Петра Третьего, и убийство Павла... Ходило как анекдот: «Какой русский способ государственного правления? — Царское самовластие, ограниченное удавкой».

.. Пестель пересчитал по пальцам, скольких членов царской семьи следует истребить, чтобы избежать в случае революции осложнений: тринадцать, включая детей и женщин... И все равно еще оставались их родственники за границей, которые могли бы претендовать на престол. Хотя при этом подсчете кое-кто содрогнулся, в конечном итоге с необходимостью цареубийства согла-

сились. Прижатый к стене Трубецкой был вынужден это признать. Но это — потом, а в московских спорах такой ясности не было.

«В 1817 году, — писал в первом своем показании Павел Иванович Пестель, — когда царствующая фамилия была в Москве, часть общества, находящаяся в сей столице, под управлением Александра Муравьева, решилась покуиться на жизнь государя. Жребий должен был назначить убийц из сочленов, и оный пал на Якушкина (служил некогда в Семеновском полку, вышел в армию и теперь живет в отставке). В то время дали знать членам в Петербург, дабы получить их согласие; главнейшее — от меня и от Трубецкого. Мы решительно намерения сии отвергли, и, дабы удержать исполнение, Трубецкой поехал в Москву, где нашел их уже отставшими от сего замысла».

16

Получив запрос, Пестель в другом показании приводил кое-какие подробности этой давней истории: «Князь Трубецкой в тот же день испросил себе отпуск в Москву с тем, чтобы туды отправиться и тамошним членам сказать, что мы не соглашаемся на их предложение, и их удержать от исполнения оного. Но между тем они сами уже сие намеренке бросили. Оное возникло между ими по случаю известий, ими полученных, о тех ужасах, которые якобы происходили в Новгородской губернии при введении военных поселений. Жребий назначил Якушкина. Скорое оставление сего намерения доказывает, — обращал внимание Пестель, — что оное произведено было минутным остервенением от слыханных якобы ужасов, и подтверждает мое замечание, в 3-м пункте сделанное, что от намерения до исполнения весьма далеко...»

Замечание справедливо подчеркивало, что хотя они и не исключали насильственной кончины императора Александра, но, пишет Пестель, «ни один член из всех тогдашних мне известных не вызывался сие исполнить».

«Человек, — основательно замечал он, — не скоро доходит до такого состояния или расположения духа, чтобы на смертоубийство решиться, но во всем соблюдается постепенность...»

Павел Иванович тоже надеялся, что сыщется кто-то другой для исполнения их приговора: Лунин или, может быть, какой-нибудь офицер из разжалованных, лично на государя сердитый.

Что же произошло в Москве осенью 1817 года?

Пестель не был свидетелем происшествий. Не удивительно, что он кое-какие подробности путает. Ну, прежде всего, не военные поселения вызвали это, как он выражается, «остервенение». Они существовали уже, и о них спорили много, но толком никто не понял еще, что собой представляет это несчастное изобретение императора Александра. Даже сам Аракчеев, которому были они поручены, уверял, что не его это дело — судить о высочайшем распоряжении. Государь надеялся, что нововведение сделает некоторую пользу. Зачем же и не попробовать? Его раздражали противники поселений. В Тульчине (и Пестель уже служил там) после удачного смотра, в отличном расположении духа, Александр за обедом спросил генерала Киселева, умного царедворца и не лишённого смелости, примирился ли он с военными поселениями. Киселев улыбнулся обычной своей переслащенной улыбкой и сказал, что его обязанность верить в полезность поселений, если это угодно его императорскому величеству, но он не понимает...

— Ну как ты не понимаешь? — оборвал его Александр. — При нынешнем положении что ни объявят рекрутский набор — вся Россия рыдает и плачет, а когда устроятся военные поселения, то не станет и рекрутских наборов: армия будет сама собой умножаться и хотя бы отчасти кормить себя...

Откупленные казной у их прежних владельцев деревни в Новгородской губернии и в Малороссии, поступая в ведомство Аракчеева, расписывались по полкам, по ротам и по капральствам. Мужиков поголовно обрили, выдали им казенную амуницию и объявили, что в свободное от военных учений время они, как и прежде, должны пахать и косить, только не на себя и не на помещика, а всё для полка. Их дома, скот, имущество — собственность полковая; дети поступают в кантонисты, Улицы на-

звали ротами. Дома стали родом казарм. Режим приводился в действие флейтой и барабаном: Диспозиция утверждала, где и когда косить, что сеять, куда коров выгонять, даже — как часто бабам рожать... Коровы первыми воспротивились дисциплине: стали дохнуть. Бабы губили младенцев, чтобы не жить им такой нечеловеческой жизнью. Года через два взбунтовались мужики. Тысячи их были расстреляны и запороты. Но эти ужасы происходили в 1819 году и не могли быть причиной московских событий.

На московских собраниях осуждали фрунтманию государя, говоря, что он всю Россию во фронт бы поставил. Для немцев — куда ни шло, но русскому человеку...

Такой случай был: в январе состоялся традиционный крещенский парад гвардии; погода выдалась гадкая, вспоминал Якушкин, и унтер-офицеры на линиях были неверно поставлены, — не удался парад, и государь взбесился — тут же на Красной площади приказал арестовать начальника штаба отряда Александра Муравьева; князь Петр Михайлович Волконский при всех взял у него шпагу...

У Муравьева нашлась бы причина остервениться: хоть и начальник штаба, но мог ли он отвечать за погоду? Да и за тех неверно поставленных унтеров? Арест был трехдневный, домашний, но слухи распространились, что Муравьев прямо с площади отправился на гауптвахту! Он обиделся — вскоре подал в отставку. Женился и в деревне стал жить помещиком. Отстал и от тайного общества.

Это случилось месяца через два после той московской истории.

Через восемь лет они с трудом вспоминали, как все это было. Поводом к возмущению послужило письмо Трубецкого из Петербурга, доставленное флигель-адъютантом князем Лопухиным, который тогда же был принят в Союз Благоденствия. Одним вспоминалось, что будто письмо это было адресовано Якушкину, другим — что Александру Николаевичу Муравьеву, он это письмо читал всем. Трубецкой показал, что письмо предназначалось Сергею Муравьеву-Апостолу. А читал его Александр Николаевич Муравьев потому, что в тот вечер Сергею Ивановичу нездоровилось — нарывом щеку свело.

Лопухин возвратился только что из Варшавы, Новостей было много, и самых невероятных.

Если бы Трубецкой мог предвидеть, как будет понято это его письмо! Он один скучал в Петербурге — писал с чувством; возможно, и с юмором, которого читавшие письмо сгоряча не заметили. Он писал относительно предполагаемых секретных намерений государя. Истинных планов царя никто никогда не знал. Сам Александр, вероятно, не всегда был уверен в том, что он сделает или чего не сделает завтра. Вот и рождалось множество удивительных предположений. . .

Об этом подробнее других показал на следствии Никита Михайлович Муравьев, о котором Лунин сказал, что его голова академии стоит. Муравьев писал нарочито сумбурно, а может быть, даже иронически о слухах, которые им в письме сообщал Трубецкой: что-де царь, «зная, что таковое предприятие не может исполниться без сопротивления, едет со всею царствующею фамилиею в Варшаву, из коей издает Манифест о вольности крепостных людей и крестьян», и что-де тогда «народ примется за оружие противу дворян и. . .»

«Такое нелепое известие, — объяснял Никита Муравьев, — произвело чрезвычайное действие».

Трубецкой, однако, уверял, что об этом он не писал ни слова. «Был слух, — показывал он, — что государю императору угодно освободить от крепости крестьян двух малороссийских губерний, куда он ездил, но сим слухом я был доволен и, следовательно, не думал основывать на нем какое-либо сопротивление».

А писал он, имея определенную цель — воспрепятствовать кое-каким намерениям императора Александра. Он пояснял: «Сколько было замечено, император Александр Первый обыкновенно не приводил в действие то, о чем много говорили и о чем предполагали, что будет им сделано. . . Писал я потому, — признавался он, — что по уставу общества полагал себя обязанным уведомить о том членов — в надежде, что заблаговременное распространение такого слуха удержит государя императора от приведения в действие сего намерения. . .»

Трубецкой имел в виду организацию общественного мнения.

Общественные страсти оказались, однако, раскалены сверх меры.

Знали, что царь предполагает ехать в Варшаву на открытие первого сейма, где будет объявлено о даровании конституции Польше. . .

В своих «Записках», через тридцать лет написанных, но точных и даже в деталях не расходящихся с его же показаниями на следствии, Якушкин рассказывал: «В конце 1817 года вся царская фамилия была уже в Москве, и скоро ожидали прибытия императора. Однажды Александр Муравьев, заехав в один дом, где я обедал и в котором он не был знаком, велел меня вызвать и сказал с каким-то таинственным видом, чтобы я приезжал к нему вечером. Я явился в назначенный час... Совещение это не было многолюдно; тут были, кроме самого хозяина, Никита, Сергей и Матвей Муравьевы, Фонвизин, князь Шаховской и я. Александр Муравьев прочел нам только что полученное письмо от Трубецкого, в котором он извещал всех нас о петербургских слухах... Потом начались толки и сокрушения о бедственном положении, в котором находится Россия под управлением императора Александра...»

17

«Раздраженное воображение» участников московских событий не было следствием простого недоразумения. Тогда же Михайла Орлов, фаворит государев, стремительно делавший государственную карьеру, составил «записку», в которой выражался протест против предполагаемых планов царя, и ее подписали многие высокочинные лица. Александр, извещенный об этом, вызвал Орлова и потребовал показать ему «письмо». Чувствуя гнев государя и не желая подводить подписавших его «записку», Орлов отвечал, что с собою «письма» не имеет и не помнит, куда оно делось; содержание тоже забыл. Царь Орлову дерзости не простил.

18

На следствии Фонвизин показывал: «В 1817 году сидели у Александра Муравьева я, два Муравьева-Апостола, Якушкин, Шаховской и, кажется, Никита Муравьев. Александр сообщил нам письмо от Трубецкого, который сообщал ему... Сие нас взволновало...»

Якушкин в показаниях писал: «По выслушивании читанного письма, представлявшего Россию в самом гибельном положении, я спросил у присутствующих на совещании членов, точно ли они убеждены в справедливости полученных извещений; и по уверении, что они несколько не сомневаются в достоверности оных, равно как и в том, что для России не может быть ничего несчастнее, как оставаться управляемой покойным государем, объявил я им, что в таком случае я готов пожертвовать собой, дабы спасти Россию от погибели, и решаюсь покуситься на жизнь покойного государя императора. Присутствующие на совещании члены предложили мне разделить со мной опасность предприятия и предоставить жребию назначить того, кто должен совершить оное, но я отверг их участие, не желая никого из них подвергать опасности предложенного мной предприятия».

Положение Якушкина в ходе следствия было особое: о нем уже было известно из показаний Пестеля, где он был поименован исполнителем, пусть и по жребию, сего ужасного злодеяния. И он взял на себя эту инициативу, пытаясь выгородить других.

Их было в комнате семеро.

По прочтении письма разговор сразу сделался общий, громкий и беспорядочный. Говорили одновременно, друг друга почти не слушая. Никто не повышал голоса — просто в небольшом помещении собрались строевые гвардейские офицеры с их командирскими, привычными к манежному и полевому простору, сильными голосами, и каждый хотел быть услышанным.

Каждый ли?

Никита Муравьев, как легко догадаться, тихо сидел в своем углу. Когда он говорил — его слушали. Никита не говорил, не подумав. . . Видимо, не случайно Фонвизин даже не сразу вспомнил о его участии в совещании.

И сам Фонвизин был очень сдержанный человек.

А Сергей Муравьев-Апостол весь вечер держался за щеку и просто не мог говорить; даже письмо, адресованное ему, прочитал другой Муравьев.

Матвей Иванович — тот был действительно спорщик.

Якушкин — лихорадочно возбужден. . .

Громкий голос был у самого молодого из них, князя Шаховского. Но спор начал не Шаховской.

И не Якушкин все начал.

Александр Николаевич Муравьев, полковник, начальник штаба гвардейского отряда в Москве, у которого на квартире шел этот разговор, прочитавший письмо, с которого все началось, в показаниях особенно упирал на общую громкоголосицу. Кто курил табак, вспоминал он, кто ходил по комнате. «Поэтому утвердительно сказать, кто именно, я или кто другой, сделал известное предложение, никак не могу, как ни старался и ни стараюсь вспомнить...»

Ему и вспоминать-то этого не хотелось.

А следствию между тем уже было известно, что первым предложил убить императора Александра именно он, полковник Муравьев.

Вопрос, предложенный Александру Николаевичу Муравьеву, звучал пугающе определенно: «Комитет имеет положительное показание, что на означенном совещании, когда вы сделали предложение о покушении на жизнь государя императора...» — от этих строчек, написанных четким писарским почерком, у него темнело в глазах.

Ему хотелось бы видеть себя одним из тех семерых, кто ходил нервно по комнате или курил табак. Писарская строка его от всех отделяла. Не мог он не помнить свой звонкий, отчетливый голос, различимый среди множества голосов...

Александр Николаевич Муравьев до конца настаивал на своем, что не помнит! Столько лет прошло.

«Честь имею донести, — писал в показаниях Александр Николаевич Муравьев, бывший полковник генерального штаба, — во-первых, что никто из членов сего преступного общества, никто из бывших при сем преступном разговоре мне не друг, да и быть им не может, по причине противомыслия и противочувствия нашего, а скорее мог бы я назвать их противным сему именем, ежели б любовь христианская не воспрещала почитать кого бы то ни было за врага...» Признание по достоинству оценили, и последующая участь А. Н. Муравьева четкой чертой отделилась от судеб его товарищей по несчастью. Будущий городничий в сибирском городе Кяхте, от которого хоть три года скачи, а впоследствии — нижегородский губернатор Муравьев никому не причинил вреда своими показаниями; он только отрекся.

Голос у Якушкина был хрипловатый. Когда он заговорил, все к нему тотчас обернулись. Якушкина била дрожь. Он ходил нервно по комнате. Остановившись, спросил, ни к кому прямо не обращаясь: доверяют ли они сказанному в письме? Что Россия не может быть несчастнее, чем теперь, под управлением Александра?

Послышалось: так все и есть. Несомненно!

— В этом случае, — объявил Якушкин торжественно, — здесь и нечего делать тайному обществу. Каждый должен поступить по своему личному убеждению. По совести...

Якушкин был бледен.

Слушая его, все замолчали невольно.

Случилось это уже после того, как Александр Николаевич Муравьев — ради отвращения новых бедствий, угрожавших России, — предложил насильственно прекратить царствование императора Александра. Бросить жребий — кому нанести удар!

Предложение не вызвало замешательства.

Может быть, только Никита Муравьев вскинул растерянный взгляд на кузена да Фонвизин нахмурился.

Князь Шаховской не успел еще восторженно согласиться с полковником Муравьевым.

Матвей Муравьев-Апостол не решился сверкнуть свербившей в мозгу остротой.

Якушкин опередил их всех. Он так и сказал, что все они опоздали. Бросать жребий лишнее. Он уже все решил. Без всякого жребия он готов принести себя в жертву и этой чести никому не уступит...

В комнате наступило тягостное молчание.

Первым Фонвизин к Якушкину подошел, взял его за плечи и стал тихим голосом успокаивать. Говорил, что в нем кипит лихорадка; нельзя в таком состоянии и расположении духа брать на себя столь серьезные обеты. Назавтра он сам успокоится и поймет, как все это безрассудно.

Якушкин ему отвечал, что напротив — он теперь спокоен как никогда! В доказательство предложил Фонвизину сыграть с ним партию в шахматы. Фонвизин растерянно согласился. Они сели за стол. Якушкин быстро выиграл партию и торжествующе посмотрел на расстроенного Фонвизина.

Беспокойный Никита глядел на Якушкина жалостно,

Никите Муравьеву решение Александра Николаевича показалось необдуманым. Несерьезным. . .

Никита знал про якушкинскую трагическую любовь, знал о его попытках убить себя. Он понял, что это — еще одна такая попытка!

Никита Муравьев написал в показаниях: «Якушкин, который несколько лет уже мучился несчастною страстью и которого друзья с трудом несколько раз спасали от собственных рук, представил себе, что смерть его может быть полезна России. Убийца не должен жить, говорил он; я вижу, что Судьба меня избрала жертвою: я убью царя и после застрелюсь». Это показание Муравьева, возможно, спасло Якушкина от виселицы. В следственном заключении появилась оговорка о помраченном сознании Якушкина в момент, когда он вызывался на цареубийство. И Фонвизин способствовал этому: он сперва показывал, что не помнит, чтобы Якушкин сам вызвался исполнить сие злодеяние, но когда отрицать то, в чем сам Якушкин признался, стало бессмысленно, показал, что «сие могло случиться, ибо, кроме его тогдашней пылкости, мне известно, — писал он, — что Якушкин имел тогда горе, тяготился жизнью, желал умереть». И все же, добавлял Фонвизин, «ненависть была ему чужда».

Позднее, в Сибири, Якушкин упрямо допытывался: кто придумал его выставить перед следствием сумасшедшим? Подозревая Никиту, долго приставал к нему с вопросами, но ничего не добился: на все домогательства терпеливый Никита лишь тихонько, по своему обыкновению, посмеивался да пожимал плечами.

20

После шахматной партии Михаил Александрович снова стал убеждать Якушкина, что у него лихорадка. Уговаривал ехать домой.

В это время Якушкин жил у Фонвизина, который имел дом в Москве.

- Сидя в коляске, Якушкин объяснил Фонвизину свой план: по прибытии императора Александра он отправляется с двумя заряженными пистолетами к Успенскому собору в Кремле, и, когда царь из собора пойдет во дворец, он успеет из одного пистолета выстрелить в него, а из второго — в себя. Это и не убийство, говорил он, а простой поединок, смертельный для обоих.

Дома они об этом целую ночь толковали. Фонвизин сам спать не ложился и Якушкину не дал, убеждая его выбросить из головы эти глупости. Рисовал Якушкину в жалостных выражениях, как его выведут на эшафот и каково друзьям его будет видеть это.

Якушкин уверял Фонвизина, что никому не доставит такого печального зрелища, потому что сам гораздо раньше застрелится.

С пугавшей Фонвизина деловитостью объяснял: это просто поединок с двойным смертельным исходом.

Никите Муравьеву запомнились и другие подробности этого вечера. Как Фонвизин и Сергей Муравьев-Апостол, взяв из рук Якушкина письмо Трубецкого, третий раз его вслух прочитали, толкуя каждое слово. Доказывали Якушкину как дважды два, сколь нелепы все приводимые там резоны. Решительность Якушкина, твердили они, бессмысленна. Прежде надо затребовать Трубецкого в Москву и получить от него разъяснения, после — решать.

Трубецкому на завтра же послали письмо, и, получив его, он в Москву прискакал, пораженный случившимся.

«Я немало удивился и утрашился, узнав, какое действие произвело письмо мое, — признавался Сергей Петрович на следствии, — и сие удивление, — подчеркивал он, — я тогда же сообщил при свидании Сергею Муравьеву-Апостолу».

К тому времени, когда Трубецкой приехал, страсти улеглись. Друзья допросили его с пристрастием и согласились, что все это на деле не так серьезно, как им показалось.

«Трубецкой, естественно, не мог привести никаких доказательств достоверности своих ужасных предположений, и таким образом отвращены были все последствия», — серьезно заключал в своих показаниях Никита Михайлович Муравьев, капитан генерального штаба.

Однако последствия этого печального происшествия оказались важны. На их судьбах сказались.

Пока Фонвизин играл с Якушкиным в шахматы, а Никита Муравьев размышлял о случившемся, князь Федор Шаховской, самый младший участник совещания, с горячностью развивал перед полковником Муравьевым свою идею: он предлагал воспользоваться для убийства царя моментом, когда в карауле окажется Семеновский полк, и под видом солдат на пост при священной особе его императорского величества провести офицеров, членов общества...

Он был фантазер, этот Шаховской, девятнадцатилетний прапорщик Семеновского полка, со всеми вместе проделавший весь заграничный поход, не однажды в сражениях раненный, побывавший в Париже...

На беду, его громкие речи слышал язвительный Матвей Муравьев-Апостол. Насмешливо глядя на Шаховского, он сказал по-французски брату: «Le tigre!»

Матвей Иванович имел неосторожность впоследствии рассказать об этом «тигре» приятелю — члену Южного общества Александру Поджио, тоже пламенному стороннику самых решительных мер и соратнику Пестеля. Тот запомнил его остроту — привел на следствии. Опросили о «тигре» буквально всех, кто и не слышал никогда о московской истории! Никто о нем вспомнить не мог. И Сергей Муравьев-Апостол не помнил...

О Шаховском Сергей Иванович сначала показывал: «Я совершенно не помню, был ли он!»

Когда тот же вопрос ему предъявили в расширенном виде, — что-де Комитет имеет положительное сведение, что, когда на означенном совещании Александр Николаевич Муравьев сделал известное предложение, и так далее... в числе прочих находился и князь Федор Шаховской, который в свою очередь предлагал, и так далее... — Сергей Иванович вынужден был подтвердить как слышанное им лично, что действительно Александр Муравьев сделал предложение «начинать немедленно действие и, кажется, о покушении на жизнь покойного государя»; «о действиях же князя Шаховского, — настаивал он, — при сем случае я, как ни старался, ничего не могу припомнить».

«Помню, — признался наконец Сергей Муравьев-Апостол под давлением сделанных другими показаний, — что было предложение воспользоваться для предполагаемого действия тем временем, когда Семеновский батальон бу-

дет у караула, но не упомяну, князь ли Шаховской или другой кто сие предложил... Девять лет прошло!»

Возглавивший в 1825 году вооруженный мятеж Сергей Муравьев-Апостол о себе не заботился, зная, что его ждет. Однако ему не хотелось погубить молодого товарища, к тому же вскоре отставшего от их общества и ни в чем другом, кроме той нелепой истории, не замешанного.

Сам Шаховской от начала и до конца все решительно отрицал, включая очевидное.

И другие пытались его выгораживать.

Якушкин заявил, что не помнит ни о каком его особенном предложении, не уверен даже — видел ли Шаховского на том совещании.

И Фонвизин сначала твердил, что не видел на совещании князя Шаховского, а про его идею и после вспомнить не мог.

Никита Муравьев, когда его спросили в упор, показал, что хотя князь Федор Шаховской и «находился при оном», то есть в момент безумной вспышки Якушкина, но «сильно опровергал сие предложение». Никита Муравьев умолчал, естественно, что пылкий юноша настаивал на непременном бросании жребия. По его утверждению, Шаховской, «не дождавшись даже конца, оставил собрание и возвратился к себе на квартиру». В том же доме и жил! Тут Никита опять не соврал: Шаховской, не найдя в Муравьеве понимания касательно планов своих, вероятно, обиделся и пошел к себе, когда стали Якушкина уговаривать...

На другой день, убедившись в тщетности своих усилий отговорить Якушкина от задуманного им безумного предприятия, Фонвизин с утра псехал в Хамовники — объяснять полковнику Муравьеву, что с другом их сладу нет и нельзя это так оставить. Условились вечером всем сойтись у Фонвизина. Сергей Муравьев-Апостол не смог приехать — совсем расхворался — и с братом прислал письмо, в котором ко всем обращался с просьбою не утрачивать окончательно благоразумия, ибо при скудости средств, какими они в настоящее время располагают, немислимо никакое серьезное начинание и мера, задуманная вчера, ни к чему привести не может, кроме общей катастрофы... Матвей Иванович прочитал это письмо, и начались новые прения — в совершенно противоположном вчерашнему смысле. Уверяли Якушкина, что теперь

смерть императора Александра вовсе не может быть полезна. Своим упрямством он всех погубит, и общество...

Кончилось тем, что Якушкин поклялся не приступать к исполнению своего намерения. Он при этом сказал, что если все то, чему вчера они так решительно верили, сегодня уже не более как решительный вздор, то своим легкомыслием они вчера едва не увлекли его к совершенно величайшему преступлению, но если действительно нет ничего нужней для России, чем прекращение Александра царствования, как это еще вчера считалось за истину, то сегодня они своей нерешительностью лишили его возможности совершить великое дело, и этого он им никогда не простит. В итоге Якушкин объявил, что он более не считает себя членом тайного общества.

Пошла новая серия уговоров. Якушкина просили общества не оставлять. Никита Муравьев и Фонвизин старались особенно. Успеха они не достигли, и потом всякий раз, когда собирались у Фонвизина, Якушкин демонстративно уходил из дома. Однако виделся со всеми ежедневно, и все при нем говорили, и поневоле он знал все, что делается. И даже не мог отказать Никите, если тот просил что-нибудь Фонвизину передать. А отправляясь по личным делам в Петербург, взял по просьбе Никиты Муравьева письма...

Пестель был крайне удивлен, когда Якушкин, уже не будучи сам членом тайного общества, явился к нему с поручением от Никиты Муравьева. Он держался с Якушкиным холодно.

Снисходя к этому формализму, Якушкин небрежно подписал, не читая, какую-то бумажку для принимаемых вновь; знал, что записку сожгут...

Лунину все это происшествие, о котором он узнал от Никиты и в котором сам принял некоторое участие, присутствуя на совещании у Фонвизина, показалось ребячеством. Допрошенный во время следствия, Лунин заявил, что, невзирая на невоздержанность речей князя Шаховского, он ни в нем, ни в остальных членах общества не приметил готовности к исполнению преступного намерения.

Когда разговоры о случившемся поутихли, внезапно объявился еще один «тигр», пошумней Шаховского, — двоюродный брат Никиты Артамон Захарович Муравьев,

Человек не то чтобы отчаянный, но горячий и беспокойный, любитель похвастать своей решительностью, а при случае, как он сам признавался, и приврать.

Артамону Муравьеву, ровеснику Лунина, показалось, что молодые умники вроде Никиты избегают его, что даже готовы его из общества выключить. Он был самолюбив и обидчив. Тянулся к «обществу умных», как выражались иногда в Петербурге. Никиту Муравьева нежно любил и считал за самого отчаянного революционера из всех.

На следствии Артамон Захарович Муравьев не без гордости показал, что и он в свое время был принят в тайный союз, «под именем, если не ошибаюсь, Зеленой Книшки». Им двигало, как он сам признавался, «желание принадлежать к обществу людей, меня в начале как быкто бы не почитавших достойным». Целью общества Артамон Муравьев полагал прямой способ «связать между собою отличных людей и этим вкупе стремиться к пользе отечества». Он, конечно, догадывался, что у тайного общества могли быть и другие цели, — об этом по-малкивал. На допросах Артамону Муравьеву приходилось сдерживаться в своей гусарской заносчивости: он многое мог бы порассказать, но уж очень боялся повредить ненароком Никите. . .

Не без удовольствия поведал Артамон Муравьев следствию, что вскоре после того совещания он тоже предложил полковнику Муравьеву свой способ покушения на императора Александра — во время бала в Грановитой палате. Он сам лично вызывался исполнить это, но полковник Муравьев отверг напрочь его предложение, сказал, что ничего еще не готово.

Артамон Муравьев тогда сильно обиделся и объяснял всем, что Александр Николаевич на словах только смел, а если до дела дойдет, то и кто его знает. . .

— Прежде, — кипятился он, — как все говорили! А только пришлось решать — все и прочь. . .

Он толковал Никите взволнованно:

— Я да ты только и есть отчаянные!

Допрошенный в связи с его показаниями на самого себя Никита Муравьев подтвердил, что действительно Артамон Муравьев вызывался исполнить указанное им действие и что они тогда вместе приходили к полковнику Муравьеву, но Александр Николаевич эти планы отверг.

Александр Николаевич, отвечая на запрос, не отрицал, что к нему приезжали Никита и Артамон Муравьевы

и что Артамон сделал означенный вызов; а Никита при этом молчал. Однако, пояснял он, вызов был сделан в минуту запальчивости, и Артамон Муравьев, надо думать, на сие злодеяние не покусился бы, когда бы несколько успокоился.

Сведенный на очную ставку с Никитой, Артамон Муравьев на всякий случай отрекся от всех своих показаний; он объяснил, что всегда имел «преступную страсть врать и казаться решительным» и что ему просто очень хотелось сойтись с Никитой коротко.

...Когда решительность от него потребовалась на деле, Артамон Муравьев не сумел остаться на высоте: во время восстания Черниговского полка он отказался помочь обратившемуся к нему Сергею Муравьеву-Апостолу, которого он любил и уважал ничуть не меньше Никиты. Дело, впрочем, заранее показалось ему проиграно.

Нельзя сказать, что ему не хватило личного мужества.

На следствии Артамон Захарович оставался до конца молодцом, хотя ждал для себя самого худшего. При чтении приговора он, оказавшийся в одном разряде с Трубецким, которого с детства знал, к нему бросился радостно, обнимая:

— Как это хорошо, что мы вместе с тобой!

Не ожидавший для себя ничего хорошего Трубецкой возразил:

— Я в этом не уверен.

21

После этой истории Якушкин несколько лет жил в Москве, бывая и в щербатовском доме. Желтый, больной, раздраженный. Они все боялись его новых экстравагантностей: и Натали, и Лиза, и старый князь. Якушкин принес Наталии Дмитриевне еще одно письмо с объяснением. Она благоразумно его возвратила, не прочитав. Он взял спокойно письмо и сказал, что она правильно поступила, что не прочла. Эти слова пробудили вспышку женского любопытства, — Наташа попросила письмо обратно, однако Якушкин его не отдал. Загадочно обещал, что вскоре о нем, возможно, заговорят. Что все же он убьет себя, чтобы избавить ее от назойливости.

Время от времени Якушкин исчезал дней на десять, заставляя Щербатовых тревожиться: князь посылал узнать о его здоровье, посланный не заставлял Якушкина дома, все решали, что это его очередной каприз.

Якушкин понимал, что нелепо ведет себя. Писал молодому Щербатову: «Должно быть, я родился под очень дурной звездой!»

Он все еще исследовал свое состояние.

«Моя привязанность к ней, — писал он Ивану Щербатову, — возвышает меня над всеми обстоятельствами, и доколе она у меня останется, я буду совершенно независим от целого света, даже от жизни и смерти; доколе она мне останется, я не буду считать себя ни на миг несчастным. . .»

Но эта уверенность часто сменялась в нем чувством своей ненужности никому, сознанием бессмысленности дальнейшего существования. Тогда он думал о смерти. Или хотел уехать. Далеко. . . В Южную Америку, например, где тогда шла война за освобождение от испанского владычества.

Он писал Щербатову: «Я уезжаю! Ничего нет ни ужасного, ни чрезвычайного в этом проекте; тысячи и тысячи людей предпринимают это путешествие; одни — чтобы избежать скуки; другие, может быть, чтобы быть полезными, сражаясь за независимость народа, который кажется достойным свободы. Почему бы мне не быть в числе тех или других? Не лучше ли отправиться скучать на корабле среди пьяных матросов, чем делать то же, будучи окруженным друзьями?»

Но и друзей рядом не было.

Когда двор находился в Москве, Матвей Муравьев-Апостол позволил сосватать себя в адъютанты к князю Репнину, ныне — генерал-губернатору Малороссии, имевшему свою резиденцию в Полтаве. Говорили, что князь — человек разумный, просвещенный. . .

Фонвизин был занят женитьбой на красивой барышне, тоже Наталии Дмитриевне, урожденной Апухтиной, которая не любила его, но просто была бедна и покорна родительской воле.

Трубецкой собирался в Париж и довольно долго крутился в Москве, улаживая свои денежные дела.

Якушкин то обещал Щербатову заботиться о своей никчемной особе, как если бы он был счастливейшим человеком на свете; то признавался, что беспрестанно мучается страхом за самого себя; то собирался на завтра куда-то уехать; то объявлял, что на неопределенное время остается в Москве. Не имея возможности жить для

се счастья, согласен с ней рядом прозябать для ее покая... Пообещав Щербатовым явиться завтра обедать, в ночь уезжал — в деревню к матери, никого в Москве не предупредив. Но и там не мог дня прожить спокойно. Скакал то и дело на почту в уездный город, даже по воскресеньям, когда почта закрыта, и мучил расспросами пьяных в дым почтарей, пытаюсь узнать, нет ли для него писем. Сердился, что невозможно добиться толку...

Якушкин теперь был в отставке и совершенно свободен.

Он в конце концов рассудил отправиться в собственную деревню: решать тот давний вопрос — с мужиками. Но ничего и нельзя было решить. Закон воспрещал даже то, к чему в итоге переговоров мужики готовы были склониться. Якушкин хотел им дать сколько-нибудь земли.

Но кое-что он в деревне все-таки сделал.

В год жесточайшего неурожая удалось организовать подписку среди соседей-помещиков — в пользу особенно голодавших губерний. Этой подпиской царь был необычайно рассержен: зачем они лезут не в свое дело!

Император Александр испытывал беспокойство: эти благотворители, говорил он князю Петру Михайловичу Волконскому, на свои деньги способны кормить мужиков, целые губернии, — это не власть ли? Как знать, на что могут еще решиться эти умники...

Государь уже знал кое-что и про тайный союз. И что в нем замешаны известные лица...

Якушкин писал Щербатову, что хотел бы наконец расквитаться со своей совестью. Он имел в виду крепостных мужиков, но Щербатов не понял его и встревожился.

Отношения старых друзей становились порой нестерпимы. «Твое письмо полно тайны, — писал Якушкин Щербатову, — и почему тебе скрывать со мной?» Якушкину мнилось, что от него что-то скрывают. Он чувствовал: старая дружба дала трещину. Думал иногда, что они уже навеки расстались, чтобы не видеться больше, не получать вестей друг о друге...

Не догадывался, как близок он к истине. Но какой!

Вернувшись в Москву, Якушкин узнал неожиданно, что у Щербатовых в самом деле есть тайна от него. Новый жених Натали. И не кто-нибудь — их приятель князь Шаховской!

С нзвивной учтивостью князь обратился прямо к ее родным — сделал формальное предложение; девицами это было принято за образец благородства, хотя старик, раздраженный неудачей с Нарышкиным, Шаховскому наотрез отказал. Тот был настойчив. . .

И Натали уже находила в нем важные достоинства: «Много ума, возвышенная душа, превосходное сердце», — перечисляла она их брату; «маленькие заблуждения молодости», сообщала она деловито, сделали его человеком опытным и серьезным; «его голова созрела, у него достаточно разума, чтобы сознаться в безумствах, которые он совершил. . .»

Минул год после той московской истории — Шаховской имел время остепениться. Ему исполнилось двадцать лет. Он выглядел молодцевато, хотя больше походил на студента, чем на гвардейского офицера. Предполагал вскоре выйти в отставку.

Натали было двадцать два — пора на что-то решиться. Когда Якушкин возвратился в Москву, свадьба уже была решена.

«Теперь все кончено, — сообщил Якушкин в одном из последних писем к Щербатову. — Я узнал, что твоя сестра выходит замуж, — это был страшный момент! Он прошел. Я хотел видеть твою сестру, увидел ее, услышал из собственных ее уст, что она выходит замуж, — это был момент еще более ужасный. Он также прошел. Теперь все прошло. Я осужден жить и искупить, если возможно, все огорчения, какие я причинил тем, кто оказывал мне некоторую дружбу. Я не прошу от тебя дружбы; справедливо, что ты меня презираешь. Я не достоин называться твоим другом; по крайней мере, моя благодарность к тебе продлится всю мою жизнь. . .»

Наталия Дмитриевна Шаховская оказалась прекрасной женой и нежной матерью. Однако за своим мужем в Сибирь — на поселение, не в каторгу! — она не последовала. Оторванный от привычной среды, оказавшийся в одиночестве, князь Шаховской в два года рехнулся умом, обморозился зимой, тяжело заболел, был по просьбе родных переведен ближе к дому и в 1829 году скончался в тюремной больнице Суздальского монастыря.

А другая Наталия Дмитриевна, экзальтированная, романтическая особа, впоследствии называвшая себя пушкинскую Татьяной, — жена генерала Фонвизина — поехала вслед за мужем в каторжную Сибирь и там подружилась с Якушкиным.



Шестая тетрадь

1

Принятый в кадетский корпус в тот год, когда Рылеев был выпущен в офицеры, Андрей Розен радостно признавал себя его однокашником, — он запомнил Рылеева произносившим горячие речи в просторных корпусных коридорах перед отъездом в действующую армию. Нетерпеливым, жаждущим подвига...

Закон священного братства соединил их.

Андрей Розен был дальний родственник генерала барона Розена, и его брат Отто служил у генерала Розена адъютантом, — еще когда сам Андрей в родовой папашинной деревеньке Ментаке под руководством застенчивой фрейлейн из Дерпта заучивал басни и решал задачки. Он был красивый и ладный мальчик, высокого роста, кудрявый, светловолосый, с голубыми глазами.

С двенадцати лет Андрей Розен в Нарве — за пять рублей и сажень дров, такова годовая плата, — изучал латынь у строгого господина Радекера, в его демократической школе, где молодые бароны сидели на скамейках рядом с бюргерами — сыновьями нарвских чиновников, ремесленников и торговцев. Колокол с ратуши им отсчитывал время.

На рождество и на пасху Андрея отпускали в Ментаку. Он радовался каникулам, длинным летним особенно. Экономий ради и чтобы исподволь приучить сына

к самостоятельности, отец никого в Нарву не прислал за ним; Андрей совершал путешествие на обратной подводе — с деревенским обозом, привозившим в Нарву на продажу вино. Молодому барону поручалось взять у посланного с обозом приказчика выручку. Для предосторожности мальчик просил хозяйку квартиры зашить ему деньги в курточку и не снимал ее в дороге, как бы ни было жарко. Он гордился поручением.

Ночью не спал.

Обоз становился табором в поле, недалеко от дороги, под серым прозрачным пологом северной ночи. Лошадей пускали кормиться. Обозные мужики у костров, поговорив про жизнь — про еду и кто умер в деревне, — спали, жутковато всхрапывая во сне. Пел свою однообразную песню стерегущий табор эстонец: «Ай-ду, ай-ду, ай-ду...» — с малыми переливами в голосе. От непонятных слов и тоскливой мелодии Андрея клонило в сон, и он осторожно трогал рукой зашитые в курточке деньги, прислушивался к беспокойному фырканью лошади и, приклонив голову на чей-то нагольный тулуп, на короткий миг задремывал, а раскрыв глаза, видел розовый блик рассвета и темные — против румяным блином встающего солнца — силуэты деревьев. Лошадей вели запрягать.

Дома, после первых объятий и слез матушки, отец приносил большие ножницы и аккуратно распарывал нитки; неторопливо пересчитав деньги, он с важностью благодарил Андрея за исполненное поручение.

После обеда отец ложился отдохнуть на диване. Покуда он не заснет, сын читал ему что-нибудь из газеты. Или сказку Вольтера из маленькой старой книжки в затертом кожаном переплете.

А вечером отец проверял, помнит ли сын спряжение самых трудных латинских глаголов: убеждался, что пять рублей и дрова потрачены не напрасно. И сам вспоминал что-нибудь назидательное: как учился некогда в Лейпциге и какие там были у них лучшие профессора.

Когда Андрею исполнилось тринадцать лет, отец повез его в Петербург в надежде пристроить куда-нибудь, но шла война, никого из нужных людей он в столице не встретил, и Андрея ни в один кадетский корпус не приняли. На обратном пути отец очень расхваливал трудолюбие и ученость господина Радекера: говорил, что он стоит корпуса...

Зимой Андрей невзначай поделился случившейся,

с ним незадачей с их родственником, жившим недалеко от Нарвы, бароном Корфом, чьи младшие сыновья тоже обучались у господина Радекера, — они время от времени приглашали Андрея к себе в деревню на воскресенье. Старый барон Корф, радушный и хлебосольный, посмеялся над их неудачей и сказал, как бы в шутку:

— Отцу напиши, чтобы мне из вашей деревни к пасхе прислали сотню самых свежих яиц. Я тебя устрою в кадетский корпус. Через моего старшего сына. Он, правда, в Варшаве теперь, с гвардейскою артиллерией, да это не важно! Только предупреди, чтобы яйца были самые свежие...

Они об этом говорили вскоре после Нового года, а в марте уже пришло известие из Петербурга, что барон Андрей Евгеньев сын Розен зачислен в Первый кадетский корпус. Лучший в столице!

Конечно, и яйца барону Корфу доставили самые свежие, хотя как раз в эту пору пожар спалил дотла их большой двухэтажный дом в Ментаке и семья перебралась в Ревель.

На обратном пути из Парижа Отто, старший брат Андрея Розена, с разрешения своего генерала заехал в Ревель проведать родных и забрал с собой в Петербург будущего кадета. Сдал его прямо в руки корпусному начальству.

Когда Отто, спустя два часа после этого, зашел попрощаться с братом, он, столкнувшись в коридоре с Андреем, его не узнал: от пшеничной густой Андреевой шеvelюры осталась золотистая кочерыжка, торчавшая сиротливо из высоких, подпиравших уши воротничков...

За обедом, в тот же день, собираясь приняться за кусок пирога, начиненного кашей, Андрей Розен почувствовал острый толчок соседова локтя и услышал злой шепот:

— Урод! Ты что не видишь — у нас столбовой.

Розен растерянно обернулся, ища глазами нечто неведомое.

В это время подошел дежурный офицер и сделал соседу замечание. Но Розен успел заметить в середине зала у столба поставленного в наказание кадета с тупым и надменным выражением лица.

Ему потом объяснили, что «столбсвыми» зовут наказанных за озорство и леность оставленным без обеда. Для них все отделение прячет в рукава или за пазуху пироги, — в спальне тайком их передают голодным.

Начальником Первого кадетского корпуса был человек чрезвычайно ученый и поразительно ко всему равнодушный. Кадеты его прозвали «Белым медведем». Почти все время он проводил на своей квартире, лежа в длинных вольтеровских креслах, в белом халате и колпаке, с длинной трубкой во рту, с пером или книжкой в руках. В Германии он до сих пор считается знаменитым поэтом.

«Белый медведь» строго требовал от дежурных кадет, чтобы в кабинет к нему входили тихо и без доклада, не шаркали, не орали, отдавая рапорт, и не хлопали бы дверьми, коих было с полдюжины до его кабинета. Сам же, когда заметит перед собою кадета навытяжку, рта не смеющего раскрыть, то медленно поворотит голову и кивнет, а дослушает рапорт — снова в книжку носом уткнется, не вынув трубки изо рта...

...Три года спустя император Александр подписал производство барона Розена в прапорщики лейб-гвардии Финляндского полка. Из целого выпуска в гвардию назначены были четверо, и Розен считался из лучших. Высокий, ладный, картинно красивый.

В полку его приняли дружелюбно.

— Скажи-ка, дружище, — спросили, — а кто у нас теперь на Руси птица самая важная?.. Разумеется, после государя императора.

Розен сказал, не колеблясь:

— Аракчеев!

— Вот и не угадал, — засмеялся спросивший. — У нас теперь, после государя конечно, самая важная птица — только что произведенный прапорщик! Ты и есть у нас теперь самая важная птица.

Это была традиционная офицерская шутка. И еще другая: «Курица не птица, а прапорщик не офицер».

Не прошло и года, как Розен, усвоивший назубок все уставы и безупречный в строю, по форме и чисто одетый, невзирая на скудость выделяемых родителем

средств, обогнал по службе старшего брата Отто, служившего с 1812 года. Отто ничего не осталось как выйти в отставку, оставив Андрею поддерживать честь фамилии. . .

2

Для глаза стороннего он оставался все тот же — князь Волконский 4-й, генерал-майор. Потолстевший уже после войны прилично. Украшенный лентой и созвездием орден русских и иностранных.

Командуя кавалерийской бригадой в Малороссии, он и выглядел как всякий уланский или гусарский генерал: с лицом загорелым и грубым от постоянного пребывания на воздухе, с резкой, отрывистой и картавой речью. Озабоченный учениями, смотрами. . .

Отличался, пожалуй, лишь большею попечительностью в отношении нижних чинов да гвардейской учтивостью с офицерами, среди которых тогда было много людей простых и малообразованных, из вахмистров, показавших себя на войне. Они княжеской вежливости боялись пуще любой грозы.

Волконский не терпел залихватской «гусарщины», снова входившей в моду: вздорности, буйства, вранья. Не любил слишком громких воспоминаний о собственных подвигах. Заодно — и гусарских стихов, какими был уже славен его приятель Денис Давыдов.

Молодым столичным либералистам, ретивым на слово, князь был, пожалуй, скучен.

И тем любопытней, что где-то — ведь он и в столице теперь не часто бывал! — Волконского разглядел и приметил Пушкин, вчерашний лицеист, уже шумно известный дерзостными стихами.

Смешливый Пушкин. Непочтительный к чинам и авторитетам. . .

«Пушкин-племянник» — так еще называли его, имея в виду известность дяди, поэта Василия Львовича Пушкина.

Прозорливцы успели, однако, заметить, какое чудо этот маленький Пушкин. Ревниво следили: не повредило бы легкомыслие росту его таланта. Самые ревнивые няньки были Жуковский и Вяземский. Но приглядывался к нему и печальный уже Карамзин. Не оставляли вни-

манием братья Тургеневы, Александр Иванович и Николай Иванович. Да и прочие «арзамасцы». Еще лицеистом Пушкин был введен в их избранный и остроумный кружок.

...Пущин, ближайший пушкинский друг, от первых лицейских дней, случалось, поведением Пушкина раздражался.

Жанно из Лицея был выпущен прапорщиком в гвардейскую конную артиллерию. Искренний и прямой, с непреклонной душой демократа-аристократа, каким он оставался до старости, Пущин не понимал легкомысленной пушкинской тяги к *генералам*, его ребячливой фамильярности с теми, кого от них отделяла пропасть — чинов и возраста.

Пущину было лет около двадцати. Рослый и толстый, с румяным круглым лицом, с глазами серыми и серьезными, он выглядел простодушным, хотя был вовсе не прост. Казался баловнем, а жил беспокойно и трудно. Семейные пущинские дела были самые непроглядные. У стареющего отца текли сквозь пальцы остатки семейного состояния. Он имел кучу детей и жену-затворницу, давней болезнью отгороженную от мира. Правил домом старшие сестры Пущина. Ему было скучно зависеть от них. Обижать — невозможно с его добрым сердцем. Лицеистом еще, вместе с Вальховским и Кюхельбекером, Пущин хаживал в гости к приятелям из «священной артели». Летом 1817 года Пущина приняли в тайное общество.

Пушкин об этом не знал, но чувствовал, что Жанно завел от него какую-то тайну. С досадою тормозил его и расспрашивал, но не сумел пробить непонятной сдержанности ближайшего друга. А когда сам догадался, в чем дело, и любопытствовать перестал. Из гордости. . .

В «Записках о Пушкине» Пущин признался, что в отношениях Пушкина с генералами он видел лишь «жалкую пушкинскую привычку изменять своему благородному характеру». Пущин не разделял внезапных пушкинских увлечений и не сочувствовал им.

Никому не прощая суетности житейской, Пущин, когда видел Пушкина в театре вертящимся возле оркестра, где в первых рядах теснились жирные эполеты с вися-

щим густо золотом «макарон», закипал от досады. Его искренне огорчала пушкинская приверженность к *вельможам*: Орловым, Волконским, к Чернышеву и Киселеву, — он сердито выговаривал другу. К чему, говорил он, тебе унижаться: разве ты ровня им? Для чего ты им нужен? Ведь ты перед ними паяс!..

Пушкин друга выслушивал. Нервно смеялся. Принимался Пущина тормозить — от смущения. Уверял, что больше не будет, — ну, видит бог!

А назавтра снова перед ними вертелся волчком.

Чем они его так привлекали? — вот чего Пущин решительно не понимал.

Свое отношение к пушкинской «жалкой привычке» Иван Иванович Пущин сурово помнил всю жизнь. И в старости, сам уже будучи другом Волконского, с прежним ворчливым неудовольствием рассказывал сыну Ивана Дмитриевича Якушкина, Евгению: «Мы были раз в театре. Пушкин сидел в первом ряду и во время антракта все вертелся около Волконского и Киселева, как собачонка какая-нибудь! И это для того, чтобы только сказать с ними несколько слов, а они не обращали на него никакого внимания. Мне на него мерзко было смотреть. Когда он подошел ко мне, я ему говорю:

— Что ты делаешь, Пушкин? Можно ли себя так срамить? Ведь все над тобой смеются!

Он совершенно растерялся. А в следующий раз опять то же...»

Евгений Якушкин тогда же этот рассказ записал. А Пущин в своих записках смягчил его и не назвал Волконского.

3

После войны Михаил Федорович Орлов объявился нескоро в столице. Государь поручал ему сложные дипломатические задачи; он с ними справлялся блестяще, но, как всегда, своевольничал.

В Париже его внезапно свалила тяжелая и опасная болезнь.

Алексей Орлов, не надеясь его застать живым, в две недели примчался в Париж на почтовых,

С января 1816 года о Михайле Орлове почти в каждом письме спрашивался у брата Сергея, находившегося в Париже, Николай Иванович Тургенев. В конце войны за границей они с Орловым близко сошлись.

«Михайло Федорович, говорят, очень болен, — писал Николай Тургенев брату. — Я об этом сердечно сожалею».

Еще в марте 1816 года Николай Иванович беспокоился: «Есть ли лучше Орлову, и может ли он выздороветь?»

Потом Орлов несколько месяцев жил в Москве у родных.

В Петербург прибыл только в начале 1817 года.

Наверное, Пушкин мог встретить его у Чаадаева, — с ним и Орлов был приятель. Или столкнулся с ним у Тургеньевых на Фонтанке. На «арзамасских» собраниях вряд ли могли Пушкин с Орловым сойтись. Летом 1817 года, когда «арзамасцы» заседали в доме Михайлы Орлова, только что принятого в их общество, Пушкин жил в родительской деревеньке под Псковом. Когда он оттуда вернулся, Орлов уже отправился в Киев.

И все же они где-то еще до отъезда Михайлы Орлова в Киев имели случай столкнуться. И вовсе не безобидно!

Спустя два года Пушкин посвятил превосходное, притворное по тону стихотворение «Орлову» его старшему брату, человеку сухому и заурядному, — Алексею Федоровичу Орлову.

Блистательному Михайле Орлову досталась только злая, досадная эпиграмма неприличного содержания.

Известно, что Пушкин злопамятством не страдал, однако держал в молодые годы за правило ничего не спускать никому...

Где они встретились, на какой такой узкой тропе?

Может быть, в салоне знаменитой «ночной княгини», которая их увлекла обоих?

Княгиню Евдокию Ивановну Голицыну так называли за ее ночной образ жизни. Грех — плохо о ней подумать! Она была обольстительница совсем особого рода. В своем доме по ночам принимала *весь Петербург*.

Многие влюблялись в нее. Удивительно ли, что Пушкин и что генерал Орлов, тоже влюбчивый чрезвычайно, которому и тридцати лет еще не было...

Авдотья Голицына, женщина обаятельная и умная, лет за тридцать, жила по своей, независимой, женской воле, оставив на мужнюю половину супруга, который оттуда редко являлся гостям, а если и появлялся — его никто не замечал, как домашнюю скучную принадлежность. Боязливый и чопорный Петербург избегал о «ночной княгине» судачить, хотя она мало справлялась с уставом светского благочиния. Не преступая, впрочем, границ приличия.

Стареющий Карамзин звал княгиню Голицыну «Пифией» и говорил, что на него пышет холодом от ее божественного трезубца.

Князь Вяземский в ней находил «что-то античное»; видел в ней экзотический благоуханный цветок, непонятно как расцветший на ледяном болоте.

И спустя три года Пушкин Вяземскому с восторгом писал о ней: «поэтическая, незабвенная, конституционная, анти-польская, небесная княгиня Голицына!»

Все тогдашние споры витали в атмосфере ее ночного салона.

Княгиня Голицына, писал другу Пушкин, «всегда достойная обожания, как свобода».

Михайла Орлов был отчаянный спорщик и самый дерзкий политик. Однако ценил он в княгинином доме не только смелые разговоры. Умел заметить и прихотливый наряд хозяйки, и ее ни с какими другими не схожие домашние интерьеры, и строгий выбор гостей. Он и острого Пушкина приметил внимательным взглядом...

Монументальный Орлов.

Красивый — как мраморный командор.

И еще генерал отличался чистотою, такой же непостижимой и страстной, как всё в его сильной, безудержной, высокомерной натуре.

Должно быть, Михайла Орлов имел ранимую душу. Наивную, незащищенную. Ему нравился застенчивый Никита Муравьев. А женщины, и не самые умные или красивые, им, случалось, и помыкали. Его двоюродная сестра, графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, беспредельно богатая немолодая девица, за которую некогда сватались европейские принцы, монахиня в светском наряде, когда ей приходила охота беседовать с генералом, — Орлов по-родственному жил в ее доме в Москве, — посылала за ним лакея — сказать, чтобы к ней во второй этаж поднялся; он безропотно шел...

Пылкий смолоду Вяземский, задушевный приятель Орлова, влюбился в красивую польку — супругу генерала Киселева; Орлов его с детства знал и, бывая у них, передавал жене Киселева от князя Вяземского приветы. Но другу писал: «Чудная красавица, а все что-то не то! Красота без стыдливости для меня точно как мятые груди без шнуровки...»

...От Авдотьи Голицыной в недалеком соседстве — в волшебной и пыльной стране театральных кулис — цвел другой экзотический цветик — Авдотья Истомина. Уже всеми замеченная танцовка. Проворная, черноволосая, с пламенным взором цыганки и хотя резковатыми, но по-своему грациозными жестами.

В доме этой искусительницы хватало и званых и избранных.

Тут генерал Орлов тоже явился соперником Пушкина. Может быть, и удачливым, но и то возможно...

Орлов той пушкинской эпитафии, конечно, мог и не знать. А если знал — даже вида не подал. Не в его натуре на глупости откликаться. Хотя ведь стрелялись и не из таких пустяков!

4

Орлов был тем летом сверх всякой меры занят: и маневры под Красным Селом, и опасные неприятности с государем из-за «записки», и ко всему еще «Арзамас». Литературный кружок, увлекший задорного генерала, пробудивший в его отчаянной голове водоворот неожиданных мыслей, надежд и планов.

Надо сказать, что к началу 1817 года «арзамасское» остроумие ряской подернулось. Длинные речи «арзамасских гусей», нарочито смешные и непривычно серьезные, слушались без привычных восторгов. «Арзамас» держался на дружестве и бесхитростном холостячком застолье. Речи дослушав, радостно брались за жареного гуся. Утешались приятностью тесной мужской компании. Александр Иванович Тургенев, привыкший неумеренно кушать, не стесняясь подремывал. Брат его, Николай Иванович, только что принятый в «Арзамас», напротив, страдал желудком и еле скрывал разочарование. Лучшие русские литераторы, мнилось ему, пустяками тешатся, тогда как и рабство, и все такое вокруг...

«Арзамасские» шуточки прежде воинственно восста-

вали против пошлости и бездарности, против «гасительства» и ретроградства, против шишковской «Беседы», недавно почившей в бозе. Ее поминали еще, но более по привычке. Молодым «арзамасцам» хотелось иных мишеней. Кроме Пушкина и Николая Ивановича Тургенева в 1817 году были приняты Никита Михайлович Муравьев, умный, серьезный, начитанный, и... генерал Орлов.

Никита Михайлович вежливо выступил на одном из собраний, отведал жареного гуся и навсегда исчез. С гвардейским отрядом уехал в Москву.

Орлов неожиданно развернулся.

Михайлу Федоровича в «Арзамас» принимали весьма торжественно, соблюдая традиции. Он и речь произнес, как заведено было, торжественно-шутовскую. Насмешливо и по поводу... Обыкновенно для вступительной речи поводом избирался какой-нибудь непочтенный литературный случай. Так, Николай Тургенев, человек основательный, предпочел острословию острую мысль: произдевался над своим тезкой — Николаем Ивановичем Гречем, которому вздумалось в солидном собрании выступить с защитой цензуры и охраняемой ею российской «благоразумной свободы».

Орлов с юных лет красноречием славился. Однако его могучая длань, привычная к кавалергардскому тяжелому палашу, отточенное гусиное перышко держала неловко. И голос был груб от протяжных кавалерийских команд. С трудом произносились им неперемные в обществе легкомысленные, шутейные словеса. Но главное, никогда не читал он противников «Арзамаса». И от стихов задремывал, исключая басен Крылова...

Со всевозможной веселостью изложил Михайла Федорович свои нелегкие обстоятельства, заявив, что не смеет злоречить о том, чего не знает. «Являюсь пред вами, — сказал он, — как грешник в час страшного суда... Во всей моей наготе. И нет ни одного напечатанного листочка, коим я мог бы прикрыть мою наготу...»

Кто бы не обманулся его ребячески-добродушной улыбкой, его румянцем и милой ложбникой на подбородке, добрым лицом и неловкою грацией широко разведенных рук?

Наивную хитростью трудно не обмануться.

Даже тому, кто вкупе с целой Европой зачитывался листовкой, где некий насмешливый аноним раскладывал

на лопатки наполеоновский «Бюллетень» — о причинах бесславного поражения в России. Остроумный «русский военный» потешничал лихо по поводу бегства «великой армии». Псевдоним Михаила Орлова раскрыли сто сорок лет спустя. «Арзамасцы» могли не знать... Стихов же отчаянный генерал, надо думать, действительно не писал. А возможно, и не читал. И совсем не об этом думал.

Поклонившись, как положено протоколом, «арзамасским гусям», генерал Орлов без шуток добавил, что ждет с нетерпением того счастливого дня, когда, сказал он, «общим согласиём вашим определите вы нашему Обществу цель достойнейшую и ваших дарований, и теплой любви нашей к Русской стране», — тогда, объяснил он, и начнется для «Арзамаса» истинно славный век, в коем свободомыслие...

Дикий гусь ворвался в стаю домашних, прирученных «арзамасских гусей», приглашая их вместе полететь в заманчивые дали. Его выслушали с тревогой.

Только Николай Иванович Тургенев остался речью Орлова доволен.

10 мая 1817 года Н. И. Тургенев писал младшему брату Сергею Ивановичу за границу: «Михаил Орлов вступил в «Арзамас» и сказал прелестную речь. Я с ним только и выдаюсь. Раза с два был у него; умной и прекрасной человек. Намерения и характер его превосходны».

Они все лето общались дружески, покуда — в начале сентября — Орлов не уехал в Киев. В августе Н. И. Тургенев брату писал об Орлове: «Я с ним выдаюсь, и ладим. Он славной имеет характер и славную душу, и хорошую голову...»

5

Летние заседания «Арзамаса» происходили у Михаила Орлова. Под стать его широкому хлебосольству смелые шли разговоры. Пугавшие «арзамасских гусей». Еще в тот майский вечер, когда Орлова принимали в «Арзамас», его твердая речь была выслушана с почтительностью беспокойной. Александр Тургенев и на минуту не задремал. Он по праву старейшины встал для ответной речи:

«Непреступной» веселостью им хотелось оградить свои «правила чести и пользы», но и такая вера в их дружестве угасала.

Жуковскому чудилось: лица меняются... «Тайну» превозмогала житейская трезвость. Они еще позволяли себе пробавляться остротами в адрес «благоразумной свободы», опекаемой репильным писателем Гречем и глухой царской цензурой; они еще видели грань между собой и «гасителями». Но куда звал их отчаянный генерал?

Туда они не пойдут, скажем прямо. Иные из них очень скоро задуют и собственный скромный светильник. Уваров сам станет «гасителем». Блудов подпишет смертные приговоры недавним своим друзьям: в числе приговоренных по делу 14 декабря к смертной казни отсечением головы окажется и Тургенев, Николай Иванович. Александр Тургенев после этого, встретив Блудова в доме Карамзиных, демонстративно, при всех не подаст ему руки, и Блудов сорвется в истерику. Однако же вскоре станет министром внутренних дел.

Один из участников летних «арзамасских» встреч на квартире Михайлы Орлова, Кривцов, тогда же записал в дневнике: «Вечером мы собирались у него — Вяземский, Жуковский, Тургенев и я, и он — Орлов! — развивал ту мысль, что только слабость характера может помешать человеку усвоить либеральные идеи...»

6

Орлову долго казалось, что только случайные обстоятельства им помешали. А если бы все вдруг не разъехались, то родилась бы величественная польза из «арзамасских» забав. «Ежели бы мы жили все вместе, — писал он князю Вяземскому из Киева, — то все мои желания скоро бы сбылись, и дитя арзамасское переродилось бы в стройного и возмужалого человека. Сию надежду питаю еще во внутренности моего сердца, но не знаю, когда она сбудется».

Уезжая, Михаил Федорович Орлов завещал «арзамасцам» свою политическую программу, цель которой заключалась в том, как он говорил, чтобы показать, что «представительная система» включает в себя все выгоды других форм правления, существовавших в древние и новые времена, не имея их невыгод и недостатков.

Обещал, уезжая, подумать о будущей русской конституции...

В своей знаменитой речи на польском сейме в Варшаве, о которой через полгода всем велено было забыть, как если бы ее вовсе не было, император Александр обещал со временем распространить на всю Россию дарованные им Польше «законно-свободные учреждения» — так хитроумный Вяземский, официальный переводчик царской речи на русский язык для печати, переложил на отечественные суровые нравы рискованное французское понятие «либеральные учреждения»; все понимали, что имелась в виду конституция.

«Что сказать о Варшаве? — писал Михаил Орлов князю Вяземскому из Киева 4 мая 1818 года. — Я читал речь государя и принял с радостью душевную обету его для России. С сим словом отверзлись для него двери бессмертия; но венок лишь тогда достигь ему от потомства, когда рука его водворит у нас закон и конституцию. Тогда провозглашу его великим, а Россию счастливой».

7

Волконский служил в Житомире.

Когда ожидали проезда государя на польский сейм, все начальники выехали навстречу ему и Волконский остался в Житомире высшей военной властью. Он возвращался домой с утомительного штабного обеда, на котором был обязан присутствовать, и на улице, в самой грязи, остановил его чем-то сильно расстроенный провиантский чиновник Олов.

— Князь! — кричал он, волнуясь. — Я вас умоляю, спасите мое семейство от беззакония, какому подвергнут я произволом гражданского губернатора...

— Да что же с вами сделали? — спросил Волконский с участием.

Олов объяснил, что его жена родила и еще не вполне здорова, а их по приказу гражданского губернатора вынуждают освободить законно занимаемую ими квартиру, потому что она, видите ли, может понадобиться для кого-то из окрестных помещиков, отовсюду наехавших в город ради императорского проезда. И полицмейстер велел, чтобы из всех окошек рамы повынимали, — говорит, что по личному распоряжению губернатора.

— Я умоляю, князь, помогите, — пресил со слезами Олов. — Больше и обратиться не к кому, а ведь холодно!

Волконский послал привести полицмейстера, и тот нагло ему сказал, что исполнено было точно, как приказал губернатор, которому он и по службе подчиниться обязан, тогда как военным полицейские власти не подначальны.

— Губернатор вам приказал вынуть рамы? — удивился Волконский.

— Вот именно! Начисто все рамы выставить — для того что ведь холодно, а иначе они, — полицейский кивнул на Олова, — не изволят квартиру освободить.

— Ну, так извольте со мной пожаловать к губернатору, — сказал Волконский. — Если этот приказ не может никто другой отменить. . .

Гражданский губернатор был из местных помещиков, Гажицкий. С ним Волконский не только знаком был, но и имел в этот день приглашение к обеду, по случаю большого съезда в город дворянства — в ожидании государя.

Войдя в переднюю губернатора, Волконский через прислугу послал передать, что имеет срочную надобность его видеть.

Гажицкий появился веселый, с заткнутой за галстук салфеткой.

— Рад видеть вас, князь! — произнес он по-французски, сияя улыбкой. — Прошу к столу. . .

— Господин губернатор, — ответил Волконский холодно, — я к вам не обедать пришел. Я хотел бы понять причину непопозволительных действий подчиненного вам лица в отношении господина Олова. Не допускаю, чтобы вы могли отдать столь бесчеловечное распоряжение. Выставить рамы. . . Я вас прошу объяснить полицмейстеру. И чтобы рамы немедленно были на место поставлены, а господина Олова не беспокоили. . .

— Рамы? — не понял Гажицкий. — Что это — рамы? . . . А! — засмеялся он. — Вы об этом. . . С чего это вы решили, князь, что я отменю свой приказ? — он вспыхнул внезапно. — Да если угодно, все русские князья вместе взятые меня не заставят. . . Да, это я приказал! И вас не касается. . . С каких пор я обязан вам подчиняться?

Ситуация неожиданно обострилась. Но и Волконский не из тех был, кто отступает. Он произнес нарочито сдержанно:

— Ежели господину Гажицкому угодно считать себя оскорбленным, он, естественно, вправе потребовать сатисфакции; только дело это личностей не касается и относится к сфере чисто служебной, а потому я настаиваю, чтобы оно решено было безотлагательно. . . Я вас отсюда не выпущу, — добавил князь тихо, с угрозой в голосе, и неожиданно ловко занял позицию между Гажицким и открытую дверь в столовую, откуда слышались возбужденные голоса гостей. — Вы за стол не вернетесь, пока не прикажете полицмейстеру. . .

Задачу могла бы решить рукопашная схватка между гражданским губернатором и бригадным генералом. На это Гажицкий — в присутствии своих подгулявших гостей — не решился. Ему ничего другого не оставалось, как приказать полицмейстеру, чтобы не трогали Олова. Князь Волконский облегченно вздохнул.

Потом они церемонно раскланялись.

В тот же день история разгласилась на весь Житомир.

Ситуация несколько дней созревала подспудно, потому что в город прибыл проездом в Варшаву царь и время тянулось в непрерывных торжествах и обедах. Но слух о дуэли носился в воздухе. Как только отбыл из Житомира государь, к Волконскому явился от Гажицкого секундант. И князь объявил своих секундантов. Переговоры отняли несколько времени, потому что дело принимало характер едва ли не политический. Распря всех взволновала. Оружием выбрали пистолеты. Место для поединка в окрестностях города выискалось удобное. . .

Исход ожидался кровавый.

Волконский не строил себе иллюзий. Он был скверный стрелок и не мог даже вспомнить, когда последний раз упражнялся в стрельбе. А противник славился меткостью. За две недели до происшествия оба они принимали участие в волчьей охоте. Не то чтобы это взаправду была охота — никто и хвоста волчьего не видал! — но

пикник грандиознейший, с превосходным завтраком на траве и с охотничьей похвальбой. И Гажицкий вызвал общее восхищение, показав верность глаза и твердость руки: ему назначали сучок на дубу — он сшибал его с первого выстрела!

Не полагаясь на переменчивую судьбу, Волконский приготовил на случай дурного исхода письма: одно государю — с объяснением всех обстоятельств, чтобы не затруднять этим начальство; другое — матери... Это письмо он писал с великою скорбью в сердце, понимая, что причинит много горя родным. Объяснял им, что вызов принял не ради приличия светского, но был вынужден как гражданин...

В назначенный час князь Волконский был на месте. Зрители, поделившись на партии, маячили на окрестных холмах.

Противников развели на пятнадцать шагов, и Волконский, несмотря на ветреную погоду, скинул военный сюртук и жилетку; остался в рубашке с расстегнутым воротом — показал, что не носит брони.

Пистолеты вручили, и кто-то отчетливо сосчитал до трех. На счет «три» оба выстрелили почти одновременно, Гажицкий — мгновением раньше.

Ни один из противников не был задет. Отдавая секунданту свой пистолет, Волконский сказал:

— Дальше сами решайте.

Правила допускали разное: дрались и до первой крови, и до падения одного из противников, и до третьего выстрела, и пока кто-то будет убит...

Дуэлянты остались на местах.

Секунданты, посоветовавшись между собой, подошли к Гажицкому, — он был сторона оскорбленная. Гажицкий не настаивал на продолжении поединка. Сам протянул Волконскому руку со словами:

— Князь, вы давеча погорячились и заставили меня этим потребовать сатисфакции, но господа секунданты находят, что как мы оба выдержали огонь, то и нет больше причины... Я вам предлагаю руку в знак моего прежнего уважения к вам!

Волконский пожал ему руку.

Дуэль не имела последствий, но и без этого служба Волконского шла ни шатко ни валко. С прежнею фамильярностью царь его звал «мсье Сержем», но теперь Волконскому слышалось в этом неуважение к его заслугам.

Внезапно, без объяснений Волконского отстранили от командования его бригадой, перевели в другую дивизию, бригадным же командиром, и дали ему другие гусарские два полка. И согласия не спросили... Он себя почувствовал оскорбленным. Его швыряли с места на место, как прапорщика!

Но в глазах государя любой из них был не больше чем прапорщик.

Думая об отставке, Волконский подал прошение об отпуске.

Опять ему захотелось объехать весь свет. Однако доехал он только до пыльной и душной в летнюю пору Одессы. Попал из Одессы в Крым, а оттуда в Киев, где угодил на контракты: по случаю ярмарки в Киеве собралось многолюдное, пестрое общество. По старой дружбе Волконский остановился у Михайлы Орлова.

От него и услышал:

— Время теперь такое. Везде под пеплом огонь, и я думаю — наш девятнадцатый век не пробежит и до четверти без того, чтобы не случились какие-нибудь происшествия...

8

Примерно через полгода после отъезда Орлова в Киев к Жуковскому ненароком заглянул князь Трубецкой.

Сергей Петрович, не будучи сам литератор, держался как свой во всяких литературных компаниях. То ли в силу своей общительности, то ли по причине бесчисленных родственных и приятельских связей, но только он всюду был принят.

Как практический человек и один из организаторов тайного общества, Трубецкой понимал роль искусства в создании общественного мнения. Участвовал он и в таком полутайном собрании, как «Зеленая лампа», где не последнюю роль играл его бывший однополчанин Яков Толстой, младший брат Ивана и Николая Толстых, с которыми Трубецкой и Якушкин сердечно дружили. Якова оба они недолюбливали, хотя он, в отличие от старших братьев, был членом Союза Благоденствия. Те даже и либеральных взглядов не разделяли, но дружба, как и любовь, необъяснима.

«Зеленая лампа» горела в богатом и веселом доме Всеволожских. В комнате Никиты Всеволожского, кути-

лы и молодца, завязатого театрала, игрока — одним словом, большого повесы.

«Всеволожский играет — мел столбом! Деньги сыплются...» — восторженно писал Пушкин приятелю.

Смятые карты, надорванные, разбросанные в досаде, шелестели ковром на полу; посреди большой комнаты стоял круглый стол, и за ним играли по-крупному. Седая от мела пыль и трубочный дым застилала воздух. В полумраке плавали бледные лица игроков, и лакеи едва успевали переменять догоревшие свечи в шандалах. За дверью стреляли шампанскими пробками в потолок.

«Прощай, лапочка!» — торопливо дописывал Пушкин письмо приятелю, примостившись за маленький столик в углу.

По субботам за круглым столом у Всеволожских собирались поэты и театралы. Серьезная молодежь. Горела масляная зеленая лампа. Обсуживались премьеры. Чаще — балетные... Читались театральные рецензии и, конечно, стихи.

Ура! в Россию скачет
Кочующий деспот...

Император Александр с некоторых пор сделался большой любитель путешествовать, особенно за границей.

Не обязательно Пушкин читал стихи. Они безмянно жили, как общая принадлежность. Не было офицерской пирушки, где бы их не читали, не переписывали, не давали списать... Говорили, что Пушкина стихи. Но ему и все другое приписывалось, что по рукам ходило. И то, чего он не писал.

А читал это всякий — кто не боялся:

Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский, и австрийский
Я сшил себе мундир!
О, радуйся народ:
Я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял,
Я ел, и пил, и обещал,
И делом не замучен...

Молодые серьезные люди во фраках, среди которых по выправке легко узнавались гвардейские офицеры, возненавидевший мундир, говорили откровенно, что царь

обленился, о благе народа не думает, предался европейской реакции... Их звали «общество умных». К ним Пушкин заглядывал, любопытствуя. Но стороннему взгляду их разговоры всегда казались невинны.

...А лица красны, и волосы встрепанные, и в глазах у Никиты Муравьева странное беспокойство. С ним рядом — миниатюрный, сосредоточенный Федор Глинка, один среди всех в мундире, с серебряным аксельбантом, — любимейший адъютант петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича. На Глинку легкомысленный граф переложил все дела, даже тайные — из полицейского ведомства.

Тут же Сергей Трубецкой. Протянул свои непомерно длинные ноги. Глаза у Трубецкого темные, непроглядные — на очень бледном лице. Рыжеватые волосы... Трубецкой и Пушкину был родня! И Вяземскому — свойственник. Грибоедову — старый, еще по Москве, приятель...

В зеленоватом свете мелькает и грибоедовский острый профиль; сверкнули маленькие очки, покривилась тонкая ледяная улыбочка...

На следствии Грибоедов объявил, что он с князем Трубецким не был знаком.

Но из Тифлиса в 1818 году писал приятелям — Якову Толстому и Никите Всеволожскому: «Трубецкого целую от души!»

...В солидном оленинском доме собирались знаменитые литераторы: и Крылов, и Жуковский, и Гнедич, и Батюшков, думавший даже посвататься к барышне, жившей в семье Оленина. Она, бесприданница, на лучшее не надеясь, готова была за Батюшкова пойти. Он сам не решился.

В оленинском доме Трубецкой был свой совершенно; тогда говорили: «домашний».

Летом все это общество перебиралось в Приютино, оленинское имение под Петербургом, верстах в двадцати. Живописной дорогой. Синим гребнем стоял в отдалении ровный еловый лес, подступая к дороге все ближе; коляска стучала по деревянному мосту; скрипя, поднималась на высокий берег, а там уже до усадьбы рукой подать...

Посещал Трубецкой и Лавалей — во дворце на Английской набережной, в двух шагах от Зимнего. Там Жуковский читал все свои новые сочинения. Домашний кумир! И бедный Гнедич, всегда такой франтоватый, но с циклопым одноглазым лицом, болезненно траченным оспой, декламировал, как на театре, Тургенев, Александр Иванович, в кресле после обеда подремывал, не стесняясь...

Известный всему Петербургу литературный салон Греча Жуковский изредка жаловал. Крылов, любивший обедать в гостях, здесь тоже бывал. Может быть, и Гнедич. Но Трубецкой, как аристократ, обходил это место. Имея обширные связи в различных службах, князь доподлинно знал о визитах Греча в полицейское ведомство. С Гречем Трубецкой держался надменно, за что Николай Иванович с ним впоследствии посчитался в своих мемуарах.

Был еще в Петербурге знаменитый литературный салон — у князя Александра Александровича Шаховского; просто «чердак». В разное время бывали там и Грибоедов, и Пушкин, и Александр Бестужев. Возможно, и Трубецкой...

По скудости театральных доходов — других у этого князя и не водилось — Шаховской нанимал верхний этаж дома в Коломне. Салон был без всяких претензий. Хозяйкой держалась актриса Ершова, немолодая, с грубым голосом, с невыносимым нравом, — непревзойденная в ролях ворчливых и злых старух. Она и князя держала в жестких руках. Домашние и театральные дразги казались ее естественною стихией. Однако же гости умели с Ершовой ладить: кто с помощью недорогих подарков, а кто даже и так! Старушка была доверчива на комплимент.

Сам князь Шаховской — громоздкий, толстый, с огромною лысою головой, с птичьим носом и тонким, писклявым голосом — являл фигуру комическую, хотя драматург был не без дарованья. Автор шумных и злых комедий. В них иногда высмеивались известные лица. То Греч узнавался в облики глуповатого господина Рецензина, то Жуковский проглядывал в роли смешного, жеманного поэта Фиалкина, который читал нараспев изве-

етные всем стихи. Комедия «Липецкие воды», оскорбившая личности, произвела скандал и послужила поводом рождения «Арзамаса».

Как учитель актрис Шаховской успешно соперничал с Гнедичем...

Их пленительный хоровод, предводительствуемый самой Ершовой, являлся сладостною приманкою «чердака». Особенно всех забавляла княжеская галантность Шаховского с актерками. Все себя здесь чувствовали как дома. Гости, конечно, вольничали, но в пределах известных приличий. «Там по крайней мере можно смело гулять рукою по лебяжьему пуху милых грудей», — писал приятелю Грибоедов о «чердаке». И находил, что «чердак» Шаховского не так скучен, как все другие салоны.

Грибоедова знали тогда как гусарского отставного поручика, служащего по иностранному ведомству. Отличного музыканта и заурядного переводчика французских комедий. Их и все тогда переводили!

«Чердак» Шаховского вниманием удостаивал сам Милорадович, тоже любитель актрис. Пока граф великодушно дарил актрис комплиментами, Грибоедов любезничал в соседней гостиной с графскою протеею, от души потешаясь, что надувает смешного Боярда...

9

К Жуковскому Трубецкой заглянул, потому что Союз Благоденствия на него имел свои виды. Принес поэту «Зеленую книгу» — вводную часть устава тайного общества, трактовавшую о понятиях нравственных. Тот внимательно прочитал и, возвращая, сказал Сергею Петровичу с грустью, что этот устав заключает в себе мысль настолько высокую и благородную, что для ее воплощения в жизнь потребовались бы чрезмерные личные добродетели, и что он бы почел себя счастливейшим человеком, если бы на минуту поверил, что в состоянии выполнить столь высокий нравственный долг. Но, сказал Жуковский, он, к несчастью, не находит в себе достаточно сил для этого. Ссылаясь на слабость характера, Василий Андреевич предпочел уклониться от участия...

Спустя очень недолгое время Трубецкой с той же целью посетил Николая Ивановича Тургенева, с которым не был знаком. Лишь наслышан о его либеральных взглядах. Так ему и сказал.

Тургенев, человек необщительный, избегавший новых знакомств, Трубецкого принял нехотя, но разговор между ними произошел откровенный.

«Я знал его лишь по имени, — вспоминает Н. И. Тургенев. — Он сказал мне без дальних предисловий, что слышал обо мне и о моих убеждениях и счел своим долгом предложить мне примкнуть к тайному обществу, устав которого он тут же мне передал. . . Он добавил еще, что только что предложил то же одному поэту, моему близкому другу, но получил отказ от него. Нужно заметить, что князь Трубецкой был так же мало знаком и с этим поэтом, как и со мной. Откровенность и наивность, с которой он вел свою пропаганду, доказывала, по крайней мере, что у него не было никаких преступных намерений. Я просмотрел устав. Целью ассоциации было достижение общего благоденствия. . . Вообще говоря, план отличала неопытность, незрелость и даже некоторое ребячество, что мне не понравилось. Несмотря на все это, мне казалось, что я не имею права последовать примеру моего друга. Я думал, что всякий честный человек должен способствовать успеху всякого полезного и нравственного дела, пренебрегая личными неудобствами и даже могущею представиться опасностью. . . Сейчас же зародилась у меня мысль привлечь внимание общества к вопросу о крепостном праве, коего не касался устав. Я немедленно поделился этой мыслью с моим собеседником и, убедившись из его слов, что он и его друзья воодушевлены лучшими намерениями по отношению к бедным русским рабам, я почувствовал, как в мою душу закралась радостная надежда двинуть дорогое мне дело».

Для Николая Ивановича Тургенева крепостное право являло собою живое и нестерпимое зло, давившее душу ему и мешавшее наслаждаться доступными благами, любоваться красотой природы русской. Одно сознание, что он живет в стране, где законом признано рабство, лишало его счастья.

Встречаясь с Трубецким, он каждый раз в разговоре касался этой гниющей язвы — крепостничества — и находил своим чувствам отклик.

27 ноября 1818 года Тургенев записал в дневнике: «Вчера повечеру слушал у Оленина «Трумфа». Говорил там много с Трубецким, и между прочим он сказывал мне, что хочет дать свободу своим крестьянам. В нем я нахожу большую неутомимость в стремлении к добру; это редкое достоинство, особенно в русском...»

В доме Алексея Николаевича Оленина, директора Публичной библиотеки и президента Академии художеств, ленивый и толстый Крылов с потрясающим юмором прочитал свою старую, давным-давно запрещенную комедию «Трумф», где высмеивались павловские порядки, — она неожиданно свежо прозвучала. Крылов читал с естественным артистизмом и русским лукавым простодушием, распространяя вольную атмосферу, в которой гости Оленина почувствовали себя и свободно, и молодо. После чтения они беседовали так смело, так откровенно, не боясь кого-то задеть, вызвать чье-то неудовольствие; с тем полузабытым, а кому-то и вовсе прежде неизвестным достоинством, что и в старости Николаю Ивановичу Тургеневу радостно было вспоминать об этом.

Человек замечательно образованный, политически более опытный, чем другие, и при этом — честолюбивый, с неудовлетворенным тщеславием, Николай Тургенев, оказавшись в кругу членов тайного общества, не только глубже многих понимал все происходившее, но был способен и кое-что предвидеть. Ему не свойственно было

тешиться самообманом. Незрелость планов, наивность их и, в конце концов, нереальность Тургенев отчетливо видел. Тем не менее он присоединился к обществу. И впоследствии, когда на месте распавшегося Союза Благоденствия образовался более решительный и склонный к разрушительным действиям тайный союз, не уклонился от участия в нем.

Тургеневу принадлежали слова: «Президента, без дальних толков!» — он это с твердостью произнес в 1820 году, на собрании у Федора Глинки, когда решался вопрос: быть ли в России республике или конституционной монархии?

Николай Иванович Тургенев себя ощущал как личность и понимал, что без настоящей трибуны он себя в качестве личности не проявит. Ценил тайное общество — трибуну — и дорожил его вольной атмосферой, наслаждаясь чувством свободы.

Но и как характерно, что в самый ответственный час, когда всем показалось, что *событие* назревает, Николай Тургенев уехал внезапно в чужие края — лечить застарелый катар желудка.

11

В Трубецком Николай Иванович Тургенев ценил больше всего «неутомимость к добру». Видел в нем человека, «по теперешним нашим обстоятельствам полезного, сколько честный и ревностный патриот только полезным быть может».

В письме от 26 июня 1819 года он рекомендовал Трубецкого своему брату Сергею, советуя с ним сойтись покороче и обо всем его расспросить: «Он расскажет тебе о теперешнем быту нашего отечества».

Трубецкой собирался ехать в Париж. Посланное с ним письмо Николая Тургенева брату было не по-почтовому откровенно. «А тот, которым восхищалась Европа и который был для России некогда надеждою, как он переменился!» — писал Тургенев об Александре. «Одним словом, — подводил он итог, — теперь ничего нельзя предвидеть хорошего для России. Может быть, сила обстоятельств что-нибудь сделает. Но кто может знать, что это *что-нибудь* будет и когда?»

Сам он в это «что-нибудь», судя по всему, не верил. «Россия, — писал Тургенев, — с самого начала своего существования, в течение осьми веков, никогда не наслаждалась гражданским благополучием. Слава покрывала ее часто, но счастье всегда было ей чуждо. Ныне можно ли смотреть без содрогания на внутреннее положение России! Иногда, право, приходит в голову и бросить все, и ехать из России далеко-далеко, чтобы хоть несколько забыть — не ее, но ее несчастья. Русские привыкли к бедствиям всякого рода, и терпение сделалось их природой, их элементом... Россия непонятно терпелива!»

12

Они все терзались мыслями о России. О ее прошлом и будущем. Прошрое, благодаря истории Карамзина — в 1818 году появились первые восемь томов ее, — показалось сенсацией. Тираж «Истории государства Российского» раскупили с невиданной быстротой. Споры и в светских гостиных не утихали. В узком кругу разговоры относительно русской истории становились огнеопасны. Карамзин задел за живое.

И самым решительным его оппонентом выступил с детства Карамзину знакомый Никита Муравьев, с отцом которого Карамзин был когда-то почтительно дружен. И теперь, в Петербурге, Николай Михайлович жил в муравьевском доме на Фонтанке, возле Аничкова моста, занимая со своим семейством второй этаж. Когда же в 1823 году Никита женился, Катерина Федоровна Муравьева сама подыскала Карамзиным квартиру поблизости, на Моховой.

Во всех подробностях знал Никита Муравьев о работе Карамзина, относился к ней с уважением и интересом необычайным. Сам он еще в Париже занялся основательным изучением исторической литературы. И глубина его знаний поражала. Критикуя Карамзина, он обращался то и дело к источникам, русским и иностранным, не исключая древнейших и труднодоступных, латинских и греческих... С согласия Николая Михайловича Никита пустил по рукам первую главу своего сочинения, где разбиралась вводная часть «Истории государства Российского».

«История народа принадлежит царю», — почтительно писал Карамзин в посвящении. Это, возможно, считал он долгом вежливости.

Муравьеву заявление показалось слишком ответственным.

«История принадлежит народам» — так начал он свой труд.

В истории, утверждал Никита Муравьев, народы находят «верное изображение своих добродетелей и пороков, начала могущества, причины благоденствия или бедствий».

Но Карамзин! Разве он льстец придворный? Правда, он любил императора Александра. Любил его как человека, хотя часто сердился на него. Случалось, досадовал или негодовал, но и тогда любил. И поэтому царь оставался к нему терпелив. Советов Карамзина Александр не жаловал, однако выслушивал их. Кто бы еще мог быть с ним так откровенен, как Карамзин? Кто бы осмелился ему сказать столько печальных и неприятных истин?

Кто сказал бы царю: «Государь, в вас слишком много самолюбия... Я не боюсь ничего. Мы все равны перед богом. То, что я сказал вам, я сказал бы и вашему отцу... Государь, я презираю либералистов на один день; мне дорога лишь та свобода, которую никакой тиран не сможет у меня отнять!»

Карамзин доказывал право писателя на духовную и творческую свободу. Он чтит честь и достоинство русского литератора.

В подвижническом труде по созданию русской истории находил он долг неподкупной совести.

Давно ли был Карамзин в России властителем дум? Кумиром литературной молодежи... В свое время... Боже мой, как же скоро оно проходит — свое время! Как незаметно минует. Он еще не успел завершить основного труда своей жизни, был в полном расцвете творческих сил, а время... Неужели его время прошло?

Не умолкли еще нападки на Карамзина литературных старообрядцев, но сам он в глазах молодежи не стародум ли уже...

Никита Муравьев как никто умел ценить литературный подвиг Карамзина. Его исторический труд и не называл иначе как «благодеение». Видел лестную обязанность в том, чтобы высказать писателю-историку благо;

дарность. Но льстить недостойным считал. И никто не был так беспощаден к Карамзину, как Никита Муравьев, искренне полагавший для писателя честью величайшей откровенный спор о его творении. Где нет спора, говорил он, там не может быть и настоящей оценки.

«Горе стране, — писал Никита Михайлович Муравьев, — где все согласны. Можно ли ожидать там успехов просвещения? Там спят силы умственные, там не дорожат истиною, которая подобно славе приобретается усилиями и постоянными трудами. Честь — писателю, но свобода суждения — право читателей! Сомнения, изложенные с приличием, могут ли быть оскорбительны?»

Задуманный широко труд Никиты Муравьева остался незавершен. Один вопрос он успел всесторонне обдумать: карамзинскую концепцию возникновения русского государства.

Что представляла собою славянская нация в ее «доисторическом» состоянии — прежде чем ее взяли в руки «варяги», с появления которых начал свой исторический отсчет Карамзин?

Древнейший, «дориюриковский» период русской истории изучал еще Ломоносов: писал о славянском племени, любившем вольность и не признававшем единодержавия, управлявшемся народною властью.

Идея Ломоносова и Никиту Муравьева воодушевила. Он пытался оспорить утверждение Карамзина, будто славным началом российской истории стало появление на Руси монархической власти...

В представлении Карамзина славяне, отказавшиеся от старинного народовластия в пользу Рюрика и его братьев, «варягов», своим последующим величием были обязаны этому случайному обстоятельству. По мнению историка, древнейшие славянские племена лишь вследствие своей дикости до известной поры не терпели на своей земле ни рабов, ни властелинов.

Никите Муравьеву эта мысль показалась оскорбительной для имени русского. Он, однако, с опровержениями не спешил, не сверившись с показаниями древнейших хроник.

Что же все-таки представляли собой славянские племена до появления «варягов»?

«Видишь перед собою народ, — писал Никита Муравьев, — какого не бывало еще в истории: погруженный в невежество, не собранный еще в благоустроенные общества, без письмен, без правительств, но великий духом, предприимчивый. . .»

Нет, считал он, не пришельцам народ российский обязан величием! Не от «варягов» пришло духовное могущество нации.

«Какой народ может гордиться, что претерпел столько бедствий, сколько славянский? — спрашивал Никита Муравьев. — Никакой народ не был столь испытан судьбою! — сам себе отвечал он. — Никакому, может быть, не готовит она такого воздаяния! Он был избран оплотом Европы против кочующих народов. Народ великий, чуждый вероломства и честолюбия. Его истребляли готфы, гунны, угры, авары или обры, болгары, волохи, хозары, варяги, печенеги, половцы и всех ужаснее — моголы. . . Но возвышаясь над всеми силою нравственною, славяне наконец истребили своих притеснителей. . .»

На монархическую идею Карамзина обрушился и Михайла Орлов.

Что лестного, возмущил он, в призвании иностранцев? Если у историка не нашлось прямых доказательств величия славянства в «дорюриковский» период, зачем не привел он хотя бы приличной гипотезы?

«Я критик не по познаниям, но по сердцу, — писал Орлов князю Вяземскому в Варшаву, — и сужу о сочинениях не так, как писатель, но как гражданин. Издание истории Российского государства есть дело отечественное, и потому, читав ее со вниманием, разбираю со строгостью. . . Не имея никакой причины оскорблять самолюбие Николая Михайловича, я хочу только показать здесь впечатление, произведенное на меня чтением его сочинения. . . Воображение мое, воспаленное священной любовью к отечеству, искало в истории российской, начертанной российским гражданином, не торжества словесности, но памятника славы нашей и благородного происхождения. . . Родословную книгу нашего, до сих пор для меня еще непонятого древнего величия. . .»

Как могло произойти, недоумевал Орлов, что Россия, существовавшая до Рюрика без всякой политической связи, вдруг обратилась в могучее государство, долговечное, восторжествовавшее и над междоусобиями кня-

зей и над гонениями рока? «Или сие есть историческое чудо, или должно было сное объяснить единственным средством, то есть блестящею и вероятною гипотезою прежнего нашего величия. . .»

В феврале 1817 года Александр Николаевич Муравьев пробовал склонить Михаила Федоровича Орлова к вступлению в тайное общество. Однако Орлов его убеждениям не поддавался.

Несколько раньше и сам Орлов про это же думал, пытаясь учредить свой таинственный «Орден русских рыцарей», надеясь собрать его «из самых честных людей, для сопротивления лихоимству и другим беспорядкам, кои слишком часто обличаются во внутреннем управлении России», — так он показал в ходе следствия.

Соучастник Орлова был граф Мамонов, отчаянный патриот, во время войны из своих именней поставивший целый кавалерийский полк, человек неукротимого нрава. К 1817 году в натуре Мамонова обнаружилось странности: граф сделался нелюдим, запирался от всех; по Москве ходил анекдот, будто Михаила Орлов, чтобы повидаться с приятелем, своими руками выломал дубовую дверь в его кабинет. По признанию Мамонова, «Орден русских рыцарей» должен был греметь против тирании, против злоупотреблений, взывать к потомству и к теням Шуйских и Пожарских — об установлении закона и для спасения нации.

Еще за границей Орлов обсуждал свою политическую программу с Николаем Ивановичем Тургеневым, предлагая и его вовлечь в «Орден русских рыцарей».

Целью программы считал укрепление позиций русской земельной аристократии. Именно дворянству надлежало упрочить в России законы, которые были бы обязательны и для царя. Своего рода конституцию.

Александр Муравьев не соглашался с орловской программой и предлагал свою. Так, ни в чем не сойдясь, и положили — каждому действовать самостоятельно, друг другу не препятствуя.

Ни в чем не схожие между собою, они тем не менее с юных лет были приятели. Тогда еще Александр Муравьев был прапорщик и начинал свою службу по квар-

тирмейстерской части в хозяйстве князя Петра Михайловича Волконского, у которого кавалергардский поручик Михайла Орлов служил адъютантом. И жили они по соседству: Орлов в кавалергардских казармах, а Муравьев — у родственника близ Смольного. Часто встречались...

Что их сблизило?

Орлов — красавец, богач, а Муравьевы, три брата, бедны, самолюбивы, зависимы от отца, строгого генерала, начальника школы колонновожатых, в которой и все сыновья его обучались.

«Геттингенцу» Николаю Тургеневу Михаил Федорович Орлов представлялся человеком, хотя от природы умным и рассудительным, но беспорядочным в части знаний, нахватанных где попало, без малейшей системы. Но Муравьевым Орлов казался блестяще образованным.

Александр Муравьев приходил в казарму к Орлову биться на эспадронах. Фехтовали до синих пятен. Александр Николаевич был небольшого роста, плотен, крепок, увертлив. Орлов же — силы необычайной!

То же и в споре. Бились, не уступая друг другу...

В житейских делах, напротив, Орлов отличался уступчивостью и добродушием. Всегда был любому готов помочь. Не только деньгами, но и заступничеством перед строгим князем Волконским, который Орлова любил, как сына, иначе как «Мишей» не называл.

Избегая неравных знакомств, эти гордые Муравьевы с одним Михаилом Орловым и знались из высшего круга.

Они особенно сблизились в Вильне еще, в 1812 году, где в ожидании неизбежной войны все веселились и судорожно плясали. Скрывая ущербность своего состояния — чаю порой не на что было купить! — Александр Муравьев сломя голову ринулся в светскую жизнь, на балах ухаживал разом за несколькими красавицами. Орлов держался спокойно. Единственный — кто твердо верил в победу. Истинно верил.

Михайла Орлов, тогда ротмистр гвардейский, смел и в присутствии грозных наполеоновских маршалов стукнуть кулаком по столу.

Это после, когда Париж готовился капитулировать перед силою соединенной Европы, Орлов своей вежливостью озадачил французов. А когда о победе еще не смели думать, когда конница Наполеона двинулась через Неман, когда растерянный Александр послал к французам для переговоров генерала Балашова, а Орлов его

сопровождал... Наполеон генерала Балашова принял. Орлову приказано было остаться при французском авангарде. Он исподволь приглядывался к противнику. Пригласили к обеду. Там во главе стола сидел знаменитый французский маршал Даву. «Свирепый Даву!» Орлов — на противоположном конце, среди офицеров. Пытался острить, задевая соседей грубоватыми шутками. Даву заметил его неуместную дерзость и строго хлопнул об стол ладонью. Сказал:

— Что за тон, мсье офицер! Что вы там говорите...

Тут ротмистр Орлов рассердился и трахнул об стол кулаком — зазвенели бокалы. Ответил своим четким голосом, слышным во всех концах зала:

— Что за тон, мсье маршал! Ведь я разговариваю не с вами...

Назначение Михаила Орлова в Киев начальником штаба второго корпуса, которым командовал генерал Раевский, кому-то могло бы показаться и лестным, но для Орлова это была слегка замаскированная опала. Следствие некоторых поступков, которых государь, не терпевший излишней самостоятельности в поведении своих генералов, не спустил и любимцу. Рожденному для государственных дел и успешно это доказавшему генералу Орлову подобрали самую заурядную должность.

Князь Вяземский в связи с этим писал Александру Ивановичу Тургеневу: «Орлов недюжинного покроя. Наше правительство не выбирать, а удалять умеет с мастерскою прозорливостью».

И Вяземского в скором времени ждала эта же участь.

Орлов обиды не показывал. Тем более что к Николаю Николаевичу Раевскому он питал чувство искренней, давней приязни. О лучшем начальнике нельзя было и мечтать.

В 1819 году, когда в Петербурге открылась вакансия начальника штаба гвардии, друзья Михаила Федоровича давали ему понять, что готовы походатайствовать за него перед государем — надеются добыть для него эту должность. Орлов отказался от этой чести. «Что мне делать в Петербурге? — писал он старшему сыну генерала Раевского, Александру Николаевичу. — Как я возьму на себя должность, которую оставить можно только вследствие опалы, занимать — только по милости? Вы меня знаете: похож ли я на царедворца и достаточно ли гибка

моя спина для раболопных поклонов? Едва я займу это место, у меня будет столько же врагов, сколько начальников. Нет, милый друг, я охотно уступаю моим сонска-телям все почести, спасая свою честь. Да и то сказать: есть ли тут повышение? Ведь и место начальника штаба я взял не так, как делаются столяром или каретником. Это не ремесло, и мне вовсе не хочется на всю жизнь замкнуться в узкий круг забот об изготовлении планов, задуманных другими, или мною для других, смотря по характеру моих начальников. Конечно, лучше быть начальником главного штаба, чем начальником бригады, но еще лучше командовать дивизией. . . »

Орлов и то понимал: государь — человек злопамятный и вряд ли его простил. Не хотел нарываться на отказ и новое оскорбление.

Ему хотелось самостоятельности.

«Я дал нескольким лицам то же поручение, что и вам, — писал он Александру Николаевичу Раевскому, — именно узнать, начинают ли забывать меня. Вы один меня поняли и отвечали в смысле моего вопроса. Что вы пишете о моем положении при дворе — это я знал заранее и несколько этому не удивляюсь. У меня хватает самолюбия верить, что я останусь ненужным до тех пор, пока направление внутренней политики не заставит призвать к делам людей благомыслящих и умеющих видеть дальше своего носа. Верьте мне: все, кто сейчас действует, истощаются в бесплодных усилиях. Еще не настало время, когда старания будут вознаграждаться обильными последствиями. Пусть иные возвышаются путем интриг: в конце концов они падут при всеобщем крушении, и *потом* они уже не поднимутся, потому что тогда нужны будут чистые люди. Я понимаю, — писал Михаил Федорович Орлов умному скептику Александру Николаевичу Раевскому, — что мои слова несколько загадочны, но их смысл *мне* вполне ясен; и, может быть, когда-нибудь и вы признаете правильной мою точку зрения и всю мою систему. Может быть также, что я не увижу даже зари того прекрасного дня, о котором мечтаю, но от того моя система не станет менее верной для тех, кто переживет меня. . . »

« . . . Так думают только немногие, и в этом наше несчастье, — писал Михаил Орлов сыну генерала Раевского. — Найдись у нас десять человек истинно благомыслящих и

вместе даровитых, все приняло бы другой вид. Что до меня, то я чувствую довольно силы в самом себе, чтобы служить не для карьеры, а из гражданского долга. Ведь чего я в сущности хочу? Несколько более широкой сферы деятельности, потому что я чувствую в себе больше способностей, чем могу применить в моей обстановке. Что же я буду ждать; буду ждать, если нужно, и десять лет. Это будет мне только впрок, так как энтузиазма, основанного на любви к принципам, я не утрачу и приобрету рассудительность, являющуюся всегда плодом опыта... Улыбка фортуны не значит для меня ничего, *событие* — все!»

Другой вопрос, занимавший Орлова: «Вы так хорошо вывели, что я значу при дворе, — писал он Раевскому, — теперь узнайте, как относится ко мне общественное мнение? Лышу себя мыслью, что на этот раз ваши сведения окажутся более утешительными. Или, может быть, я ошибаюсь?»

Не пустое тщеславие заставляло его думать об этом. Орлов жил в ожидании момента, когда России понадобится его гражданский авторитет.

«Золотые дни моей молодости уходят, и я с сожалением вижу, как пыл моей души часто истощается в напрасных усилиях, — писал Орлов в 1819 году Александру Раевскому, служившему в Петербурге. — Однако не заключайте отсюда, что мужество покидает меня. *Одно событие* — и все изменится вокруг меня. Дунет ветер, и ладья вновь поплывет...»

Ожиданием «события» жили вот уже несколько месяцев.

В конце 1818 года Сергей Петрович Трубецкой из Петербурга писал в деревню своему другу Ивану Николаевичу Толстому, не разделявшему вовсе таких иллюзий: «Главнейшая вещь, которую я тебе сим письмом сообщить хотел, есть известие, только что полученное, о видах нашего повелителя, — на конгрессе он заговорил о торге негров, и все приступили к нему, что у него в империи такой же точно торг производится, вследствие чего он торжественно обещал дать свободу

белым нашим неграм, и потому, оставя мать и жену за границей, он возвратился один для объявления своей воли; как это делается — неизвестно, что последует — увидим; на всякий случай должно приготовиться; если вдруг объявит — будет кашу и не расхлебать; разве обманет Европу каким-нибудь указом, но это не может, кажется, иметь успеху, — нельзя, чтоб не предвидели чужестранные политики, что сие должно сделать у нас всеобщее потрясение, и чтоб не смотрели пристально на нас в такое время, — следовательно, обман удался не может; я спешил тебе сие известие сообщить, — оно, может быть, заставит тебя переменить некоторые намерения твои; если оно сбудется, то мне кажется — не должно тебе быть разлучену с семейством твоим, лучше быть вам всем здесь; какие дальнейшие сведения буду иметь — не упущу тотчас сообщить...»

Через месяц Трубенкой сообщал тому же Ивану Николаевичу Толстому, что «святки в здешнем народе празднуются нынешний год, кажется, веселее прежних годов, — это общее замечание; может быть, ожидание свободы много к тому содействует».

Однако спустя полгода, убедившись окончательно, что все обещания Александра — обман, Трубенкой отправляется на два года в Париж.

Сестре Михаил Федорович Орлов писал: «Живу спокойно, а чтобы быть счастливым, ты знаешь, мне уже давно не нужно ничего другого, как не быть несчастным. Эта философия отнюдь не должна удивлять тебя во мне. Я вижу славу вдали, и может быть, когда-нибудь добуду немного ее. Жить с пользою для своего отечества и умереть оплакиваемым друзьями — вот что достойно истинного гражданина, и если мне суждена такая доля — я горячо благодарю за нее провидение...»

Князю Вяземскому Орлов ставил такой вопрос: «Неужели не благословит бог увидеть когда-нибудь счастье России?»

И писал ему же: «Денис наш женат, и я его женатого уже видел и смеялся над ним. Что ему вздумалось расплодить свою татарскую рожу? Но он счастлив...»

Денис Давыдов — из давних и самых любимых его друзей. Хотя они спорили непрерывно, не соглашаясь ни в чем. И даже насчет женитьбы.

Тридцатилетний Орлов, ожидая *события*, не спешил обзаводиться семьей...

В феврале 1820 года Орлов жалуется Вяземскому на тысячи вздорных бумаг, которыми он по горло занят, оставаясь начальником штаба второго корпуса.

«В кого влюблен? В представительное правление, — шутил он, — во все благородные мысли, во всех благородных людей, в числе коих и тебя помещаю. Живу с Бенжаменом Константином, с Бентамом и прочими писателями сего рода. Иногда от нашего бракосочетания рождаются уродливые выписки, записки и пр. Из всех детей, прижитых мною, любимое есть *надежда*, но, к несчастью, час от часу чахнет».

На предложение Вяземского издавать в Киеве серьезный журнал Орлов — в марте 1820 года — ответил, что рад бы, да где там!

«Каждое слово, каждое дело, каждое письмо подлежат цензурному присмотру».

Орлов предложил Вяземскому издавать серьезный журнал в Варшаве, но в ответ получил: «В обширной спальне России никакие будильники не допускаются!»

Летом 1820 года он сообщил Вяземскому о первых постигших его неприятностях.

Еще и сам не знал, серьезно ли это.

Михайла Орлов не из тех был, кто может пугаться и собственной тени, однако ему становилось уже тоскливо. Холодной змеей скользнула по сердцу безнадежность.

«Нет ни связи, ни цели, нет узла, словом, нет ничего, — писал он старому другу Вяземскому. — В монархе вижу отдаленное намерение, в себе и некоторых других обретаю страстное желание, но в массе не нахожу ничего, кроме бесчувственного бытия. Мы так напуганы, что и счастья боимся. Какая жатва может быть на поле, которое зарастим осокою? Всякий день озаряет постепенность к падению всего общества. Я не люблю пророчить о дурном. В 1812 году, когда все отчаивалось в спасении отечества, я и несколько других проповедовали, что все будет спасено. Но теперь я вижу опасность другого рода. Не грозой побита будет жатва, но червями

съедена, а червей трудно искоренить. У нас так много пресмыкающихся животных, что нельзя ступить, чтоб кого-нибудь не раздавить. . .»

И вдруг фортуна сделала неожиданный поворот.

Орлова назначили командиром 16-й пехотной дивизии, расквартированной в Молдавии.

«Я еду, любезный друг, в дальний край, за тридцатое царство и отдаляюсь от центра России с некоторым печальным духом, которого сам себе пояснить не могу, — сообщал он Вяземскому. — Хотя мое желание исполнилось, хотя я чувствовал бы себя обиженным, ежели б правительство не дало мне сего знака доверия, однако же я не могу без горести переселиться среди молдаван и греков, коих ни язык, ни образ мыслей, ни намерения, ни желанья не могут согласоваться с моими чувствами. Я чувствую себя изгнанником. Я — вне круга моего, я брошен без компаса на неизвестное море и отдаляюсь от отечества, не зная, когда в оное возвращусь. . .»

Не так уж и чуждо все там оказалось: желанья, образ мыслей. . . У грустного настроения были другие причины: Орлову из Киева не хотелось ехать, — дом старика Раевского вот-вот мог стать и его родным домом.

Спустя год Орлов писал Вяземскому из Кишинева уже спокойно и деловито. Обжился на новом месте.

«Любезный друг, — писал он, — я так обременен разного рода делами, что не имею ни времени, ни охоты переписываться с самыми любезнейшими из моих приятелей, в числе коих и ты, конечно, помещен. Притом скажу, что с тобою привык говорить искренно, а почта искренности не терпит. Самые позволительные сетования на ход дел нынешнего времени могут истолкованы быть в худую сторону. Я сие испытал собственным опытом. Не знаю, кто мой инквизитор, но полагаю, что есть охотник к сему почтенному ремеслу, и потому закуси язык. Сижу в безмолвии и не смею поверить непосвященным цензорам те мысли, кои без страха и безо всякого взыскания мог бы объявить самому начальству. Тут-то вся и беда! Донесения частных и подлых шпионов всегда более или менее позлащены клеветсю. Их выгода явственна. От них требуют известия, и они места свои потеряли бы, ежели б не доставляли каких-нибудь донесений. Оттого безо вся-

кого разбора помещают в оных все свои умствования, ложные и не ложные, употребляют клевету, марают людей невинных, толкуют во зло все их мысли, страшат начальство и готовят его к несправедливости. Мои письма подлежат, вероятно, также их критике. Кто из них довольно чист душою, чтобы видеть во мне гражданина, а не вздорного болтуна? Они сами так подлы и так привыкли к подлости всякого рода, что все деяния, все слова, все мысли, кои не подходят на их дела, на их клеветы, на их соображения, должны казаться им буйственными. Ежели им угодно, пусть прочитают сие письмо. Оно послужит им, может быть, уроком, ежели какие-нибудь уроки могут действовать на их сердце и ум...»

Отчитав деловито своих неведомых соглядатаев, Орлов добавил в конце письма и несколько строк адресату.

15

«Мне жалок Орлов, с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу, — писал раздраженно Денис Давыдов общему их с Орловым приятелю генералу Киселеву. — Я ему говорил, что он болтовнею своею воздвигает только преграды к службе своей, которою он мог бы быть полезным отечеству! Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть самовластие в России. Этот домовый долго еще будет давить ее, и тем свободнее, что, расслабев ночью грезой, она сама не хочет шевелиться, не только что привстать разом! Но мне он не внемлет...»

Такие письма, естественно, отправлялись не с почтой.

«Опровергая Орлова, — писал Киселеву, практическому и осторожному человеку, пылкий Денис Давыдов, — я также не совсем и твоего мнения, чтобы ожидать от правительства законы, которые сами собой образуют народ... Как военный человек, я все представляю себе в военном виде; я представляю себе свободное правление, как крепость у моря, которую нельзя взять блокадою; приступом — много стоит (смотри Францию). Но рано или поздно поведем осаду и возьмем с осадою, не без урона рабочих в сапах и особенно у гласиса, где взрывы унесут немалое их число. Зато места взрывов будут служить ложементами, и осада все будет продвигаться, пока наконец войдем в крепость и раздробим монумент Аракчеева. Что всего лучше, — заметил Денис Давыдов, — это то, что правительство, не знаю почму,

само заготавливает осаждающим материалы: военными поселениями, рекрутским набором на Дону, соединением Польши, свободою крестьян и проч. . . Но Орлов об осаде и знать не хочет; он идет к крепости по чистому месту, думая, что за ним вся Россия движается, а выходит, что только он да бешеный Мамонов. . .»

Седьмая тетрадь

1

«В семь часов вечера шлагбаум Нарвской заставы прогремел далеко за мною. Кони рванулись, и звонкие колокольчики двух троек залились на Петергофской дороге. Мороз был жестокий, небо ясно, мрачились мысли мои. Один сидел я в санях и вполне чувствовал свое одиночество. Сменив лошадей в Стрельне, мы помчались далее. . .»

Так это начиналось: и первое путешествие, и первая книга «Поездка в Ревель», напечатанная в 1821 году; стояло над нею еще не загадочное: «Марлинский», но скромное: «А. Бестужев».

В первой тройке, исчезнувшей в ранних сумерках, усккал вперед его брат Николай Бестужев, с двумя шалунами мальчишками, которых ему доверили отвезти к родителям в Ревель на зимние каникулы. В санях у Александра спал Тишка, сын старого Федора, взятый в дорогу для услуг, — ради пушего интереса он в книге именуется «Санхо Пансой».

С кем бы и поделиться сладостным первым впечатлением путешественнику! — но скучный Санхо сопел, как сурок. Да если бы и проснулся. . . «Вот еще невидаль! — вздернул бы он плечом, глянув на своего «дон-кихота». — Тут еще всякий пригорок вашу милость помнит в лицо».

В полумраке таинственно горбились вдоль дороги заснеженные холмы, на которых летом производились маневры.

Зоревая пушка палила в час, когда снятся самые счастливые сны; и в зеленой, кустами заросшей лощине гикали лихо казаки, устремляя свои пики в атаку; изящно веяли желтыми флюгерами уланы; луч денницы дробился на тяжелых доспехах рыцарей-кирасир; и молодцы драгуны скакали бодро, готовые показать свою лязкость в конном и пешем бою. . . Закончив учение, юнкер Бестужев слезал с коня и твердил соиному Тихону, как мо-

литву: «Выводи сперва хорошенько, потом пой!» Лошадь надлежало беречь. . . Бросив Тихону повод, шел, пропыленный насквозь, в палатку. . . Вечером подымался на самый верх дудергофской горы подышать свежим воздухом. Сверху море — как на ладони. И весь Петербург. . .

Застряли у Красного кабака. Смотритель, сколько с ним ни ругались, отказался сразу дать лошадей. И пришлось сунуть нос в духоту трактирного зала. В его мутном нутре оглядеться: нет ли знакомых?

— Кой черт тебя в Ревель понес? — удивился пьяный гусар в распахнутой жаркой шубе.

Бутылка вина показала дно — и гусар ускакал.

В ожидании лошадей будущий русский Вальтер Скотт успел придумать роман, рассказанный будто бы ускакавшим гусаром: герой его, пылкий, как арабская лошадь, по рождению немец, но русский по воспитанию, спал на лекциях в Гейдельберге, чтоб не дремать по ночам в трактире, затуплял рапиры на поединках и перед самой войной поступал в гусары; на возвратном пути, уже после Ватерлоо, встречался в Германии с чудной блондинкой. . . Тут брат Николай объявил, что лошади есть, можно ехать. В санях сочинял сквозь сон продолжение: как и должно в приличном немецком романе, дело кончилось свадьбой.

С Николаем двух слов не удавалось сказать. Он все возился с мальчишками. Александр дождался, пока эти милые спутники, устав от мороза и озорства, заснут на станционном диване — в ожидании лошадей. От нечего делать упражнял наблюдательность на проезжающих. Всякий встреченный немец, надутый пивом, излагал Александру Бестужеву свой воображаемый анекдот. Сюжеты в мозгу роились. Хотелось закутать голову башлыком, охладить ее на морозе. . . Укутанный, он пошел во двор посмотреть, что там лошади. Ямщики возились с упряжью. Мальчишки в санях тузили друг друга. Мохнатая лошаденка заиндевелой мордой тянулась к брошенному на снег клочку сена. Возница отвязывал колокольчик. Николай куда-то пропал.

Он отыскался на чистой половине почтового дома, где стоял, как суровый Борей, в своей шубе — против стройной блондинки, привольно расположившейся на диване,

Свеча перед ней чуть теплилась; в полумраке она показала Александру Дианой, царицей ночи. Предчувствуя рождение поэмы в байроническом духе, он просунул в дверь голову в башлыке, следом и весь протиснулся, на ходу бормоча извинения и пытаясь учтиво освободиться в присутствии дамы от головного убора. Завязанный тремя узлами башлык можно было снять не иначе как с головой. Кое-как его удалось сдвинуть на нос, а затем придавить подбородком, после чего поэт вежливо поздоровался, имея в виду блондинку, и объявил торжественно, что сани готовы. Брат повел плечами, досадуя, и стал желать даме счастливого пути. Она следовала из Ревеля в Петербург.

Поэма в байроническом духе до следующей станции мучила Александра Бестужева:

Бледнея, утренни поляны
Тонули в сумрачных зыбях,
И солнце на восток румяный
Вдруг вышло...

То и дело приходилось ждать лошадей. Где обедать, где ужинать, где согреть замерзших в санях мальчишек и пить скверный кофе от скуки. Оттаявшие мальчишки тотчас начинали свои шалости. Спящему на диване Вальтеру Скотту углем подрисовывали усы подлинней или совали за галстук снег, от чего он подпрыгивал до потолка и хохотал с ними вместе.

...В четвертом часу утра миновали исторический город Ямбург.

«Сколько раз небо его раскалялось заревом пожара!» — подумал, зевая, путешественник и осторожно высунул нос из шубы.

Мороз и тьма царили окрест.

Нарву проезжали в девятом часу вечера. Сумерки успели уже сгуститься, и не было времени задерживаться. Черные стены замка вздымались в черное небо без звезд. Мрак простерся над шпилями церкви и черепичными крышами...

И всю ночь скакали, то погружаясь в сон, то испуганно пробуждаясь на ухабах. Незадолго перед рассветом санки перевернулись, и Александр далеко из них вылетел, крепко обо что-то трахнувшись головой: чувство было такое, как если бы рядом ударили в колокол! Санхо Панса барахтался под чемоданами. Возница, эстонец

в засаленном треухе, выбирался нехотя из-под саней. Пара смирных лошадок невинно прядала ушами, глядя на это безобразие.

Позади осталась последняя перед Ревелем станция.

Низко мела поземка, и слабый след едва намечал дорогу. Внезапно в лицо ударил колючий снег. Вьюга шумно взметнула крыла на пустынном морском берегу. Ограниченные камни, мелькавшие по обочине, пропали из виду. Слепила пурга, заметала накатанный путь...

Пьяные возчики по-русски не понимали, и Александру пришлось фухтилем убедить своего, чтобы ехал по ветру. Эстонцев нехотя покорились, а через полчаса они чуть не сорвались с обрыва...

Внизу они вдруг различили дорогу — вдоль берега. Вскоре затеплились огоньки вдали — показался Ревель.

Закруженный вихрем танцев на балах рождественских в Ревеле, где он — в мундире гвардейского офицера, находчивый, остроумный — был самый блистательный кавалер; между театрами, и визитами, и веселыми ревельскими обедами, и осмотрами исторических мест; увлеченный гостеприимством и пригожестью дам, вкусом немецкого супа и устриц, а также и гохгеймского вина, опрятностью на поварнях и блеском начищенной медной посуды; удивленный всеобщей готовностью объяснять и рассказывать, — Александр Бестужев едва находил полчаса перед сном, чтобы хоть кое-как записать свои впечатления.

Свеча догорала, и слипались глаза от усталости.

Чего недостало сил записывать или не случилось видеть своими глазами — после пришлось выискивать в книгах; он этим увлекся...

Дорожная повесть «Поездка в Ревель» смахивала в итоге на эстонскую летопись, но об этом он не жалел. Сгоряча сочинил еще несколько рыцарских повестей в духе эстонского средневековья, отчего и пошло сравнение его с Вальтером Скоттом. Он писал потом и про русскую старину...

Напоследок они с Николаем закупили гостинцев домашним — ворох свежих рогулек ревельских — и собрались в обратный путь, в самом деле теперь вдвоем, отчего и дорога им показалась короче вдвое:

На станции Варгель, в четыре часа пополудни, после трактирного отвратительного обеда, за который с них содрали втридорога, Александр записал их утренний разговор в санях.

Они долго ехали молча, а потом Николай спросил с непонятной усмешкой:

— Интересно, о чем ты все думаешь? Какая новая критика у тебя на уме?

Александр Бестужев успел обрести известность в литературных кругах, напечатав под псевдонимом «Марлинский» язвительнейший разбор на шумевшей комедии Шаховского «Липецкие воды».

— Станный ты человек, — продолжал Николай задумчиво. — Ну что за радость доказывать то, что и так видно всякому? Капли здравого смысла довольно, чтобы заметить, что пьеса глупа... Если тебе не лень писать критики, почему бы не взять предмет подстойнее? Есть же и хорошие авторы...

— А может быть, я на себя не вполне надеюсь, — возразил с неожиданной робостью в голосе Александр. — И служба к тому же, сам знаешь, времени нет... Вот ты говоришь, что предмет надо брать достойный, а зачем? Жуковскому или Крылову моя критика славы не прибавит. Пушкина или Баратынского и дурные отзывы не убьют! А поэтов-самозванцев полезно за уши драть. Их столько теперь развелось, что спасения нету: один пробивает ворота славы медным лбом, другой лезет в замочную скважину... Знатоков они не обманут, да ведь не все ж знатоки! Иной, глядишь, и на удочку попадется...

— Ты что же, надеешься всех читателей просветить?

— Не всех! Хоть бы нескольких... Правда всегда благо...

— И та правда, которая на тебя навлекает общее недовольство?

— Иначе не может быть. Господа эти сами себя посвящают в гении. Ездят верхом на палочках своего самолюбия... Их попробуй тронь! Дамы и те клянут мое злоязычие... Разве я виноват, что по-русски слово «критика» значит то же, что и «брань»?

— Не только ты виноват, но зачем же, скажи, превращать разбор глупой комедии в шутовство и щеголять обидными для писательских самолюбий остротами?

— Для того, брат, что все люди сколько-нибудь да злы, и, чтобы их заставить читать статьи, надо польстить

их дурным наклонностям. Кому интересна сухая ученость?

— Есть, однако же, мера всему. Остроумию — тоже!

— Велишь говорить о нелепостях с важным лицом?

— Остроумие — это лишь тень, бросаема умом в свете веселости, братец! Хороша острога, когда она следует за умом, — в то время как ум шагает своей дорогой... Натянутую острогу видно...

Они так до самой станции спорили, но к согласию не пришли.

Николаю Бестужеву думалось, что заносчивость брата в его бойких «критиках» — бенгальский огонь. Пустая игра воображения. Не пора ли уже стать серьезным?

Александр считал, что его умный брат напрасно засушивает себя бесполезным педантством. В литературе, как и в жизни вообще, важнее всего свобода и умение оставаться самим собой, думал он. И свой стиль, цветистый и пестрый, он ценил как свойство своей натуры. Сердился, когда от него требовали безликого строгого вкуса...

Александру Бестужеву от природы всего досталось с избытком: и душевных, и физических сил, и таланта, и ума... Энергию, казалось ему, невозможно растратить. Фантазии, темпераменту — не было удержа. Чего в нем не водилось, так это самодовольства. Он сам себе даже внешне не нравился. Не понимал, что в нем другие находят? Особенно — женщины!

Чем они в нем с такой досадной легкостью увлекались?

Его романтическая эпоха предпочитала уже интересную бледность, загадочность, томность. Казалось стыдно иметь такие красные щеки. По совету знакомой деревенской барышни он даже уксус пить пробовал — не помогло! Иронически себя разглядывал в зеркале: глаза — так себе, кругловатые, матово-черные, под густою дугою изогнутых слишком круто бровей. И нос башмаком...

Александр Бестужев писал о себе: «Редко можно найти в одном человеке столько здравого ума и столько безумного воображения вместе. Кровь у меня истинно азиатская, но сердце европейское вполне. Правда, я предаюсь иногда глу-

ностям по расчету. . .» Ему любопытно было увидеть себя как бы со стороны. Размах неумеренной природы в нем сочетался с привычной житейской организованностью. «О деньгах я не забочусь, — объяснял он, — и мало ценю их, но счет люблю, не из скупости, не из педантизма, но для порядка. . . Бессчетность — мать многих дурных поступков и признак необразованности. . .»

2

В Ревеле было славно. Когда после нескольких лет безупречной службы Розен приехал проведать родных, перед ним широко раскрылись двери лучших домов. Его принимали радушно и в графских, и в генеральских семействах. Редкий день не кончался изящным ревельским балом. Розену не было равных среди танцоров. А танцевали там как в старину: в башмаках и чулках. Не следуя петербургской вульгарной моде — с ее высокими сапогами, цветными отворотами, звонкими шпорами. После войны в моду вошло в мазурке бряцать шпорами! Розен, правда, слышал, что на великосветских балах, где ему не случалось бывать, в пристегнутых шпорах и теперь не танцуют — наборные паркетные щадят. . .

Отец его расспрашивал о службе и о столичной дороговизне.

Матушка много плакала без причины. Выпытывала, как живется Андрею там, в чужом городе. Чем он занимается после службы? С кем водится? Наставляла беречься пуще всякой беды злой случайной любви. . . Должно быть, сердце материнское угадывало за бравой наружностью сына душевную простоту и незащищенность. Розен клялся ей быть в любви осмотрительным. Тут же клятвы свои забывал. . .

Отпускные три месяца пролетели. С печальным сердцем он ехал назад в Петербург, где живут, представлялось ему, только генералы да будочники. . . Еще, может быть, несколько дам да хорошеньких горничных. Солдаты, чиновники и дворовые мужики — те не в счет!

Любил ли он Петербург?

Громадность площадей и дворцов, тоску полосатых будок, разводы поутру, плац-парады близ полудня, ввечеру — караулы в людных местах, звуки флейты и барабана, доносимые ветром с того или иного учебного пла-

ца... Под военную музыку гнало ветрами сквозь строй ледяную тоску полумертвых улиц...

Дорогой он думал, что нет у него в Петербурге друзей, есть только тьма знакомых. Но негде разжиться хоть каплей тепла душевного. Вокруг одни карточные партнеры. А стесненность в деньгах и теперь не позволит ему завести свой выезд. Сиди дома по вечерам! И где уж делать пирушки приятелям... Если сам угощать не сможешь, в чужих забавах не след принимать участие. Всем своим правилам Розен следовал безотчетно. У него они были в крови.

Разве что два раза в год квартирный его сожитель Павел Иванович Греч, брат известного петербургского литератора, затащит насильно в гости к Николаю Ивановичу, на скучный именинный обед, где главное блюдо — знаменитости: неряшливый толстый Крылов, озабоченный расправою с жареным поросенком, опрятный и трезвый Жуковский, тошнотворно и сально острящий Булгарин с хорошенькой Ленхен, которая строит глазки всем мужчинам, чтобы скрыть, что по-настоящему занимает ее Александр Бестужев, драгун. Все другие Бестужевы — моряки. У Греча они как дома и с Булгаринным запросто. Много едят и пьют. Говорят обо всем на свете, смеются, а после обеда спокойно и дружно уходят домой — в какой-то свой Петербург, — там, видимо, нет ни будочников, ни генералов, и ветер не столь промозглый; на улице им не зябко...

Приятели на дежурствах коротали время в пересудах о театре да об актерках. Розену средства и этой потехи не дозволяли.

Одна была радость — карточная игра. Втянулся и не заметил. Ведь карты затягивают, как пьянство. Сначала ему, новичку, как водится, повезло: что-то много выиграл... Привычка считать деньги уберегала от роковых ошибок. Розен дал слово себе не играть кроме как на наличные. В особенности не брать никогда из казенных сумм.

Наслаждался не тем, что выигрывал. К шелесту ассигнаций, переходящих легко из рук в руки, он сохранил равнодушие. Увлекало волнение крови — азарт! Умение угадать по лицу и по рукам партнера его мысли. Чужие страсти делали для него занимательной эту игру. Перехватить чей-то замысел, угадать еще не сделанную ошибку, внезапно пресечь надежду... И он побеждал в этом поединке нервов и воли.

Для Розена карты сперва были просто доступной забавой, потом уже — страсть и потребность.

Странно, что он еще ни разу крупно не проигрался.

Долго тащился бессмысленно длинной, грязной улицы экипаж. Погода — и не поймешь: весна ли, глубская осень? Гнилая питерская зима...

Съезжая с понтонного моста, — уже начиналось лето, но мокро и холодно было, — извозчик лихо ударил кнутом лошаденку, колеса затарахтели. И вдруг, на ходу, Розен выскочил из коляски: увидел солдата в знакомом, родном мундире Финляндского полка! Не своей даже роты. Но сердце забилося, как будто близкого встретил. Рванулся обнять. И «финляндец», внезапно обмякнув душой, слепо ткнулся в сукно офицерской шинели сырыми усами.

Розен вернулся домой.

3

Неожиданный поворот: прибежал из казармы посыльный.

— Ваше благородие, извольте поторопиться. Господ офицеров кличут. Полк выступает, все уже собрались на набережной, извольте туда бежать...

Розен в смятении прыгнул с дивана. Не репетиция ли какая внезапная?

Прибежал, а на набережной солдатам раздают боевые патроны. Офицеры сбегаются и теснятся друг к другу в недоумении: уж не война ли?

— Братцы, семеновцы взбунтовались!

Как обухом. Надо же знать, что такое семеновцы. Государь отбирает лично лучших рекрут в любимый свой полк, знает в лицо солдат. Ни щегольством в одежде, ни выправкой, ни по части ружейных приемов, ни достоинством хора солдатского — с семеновцами никто не сравнится. В казармах солдатских кровати, не нары, как у других. Многие ветераны самовар имеют. Офицеров семеновских по лицу можно признать: выше всех образованностью, и нравственностью, и честью. О палке забыли думать.

— Потемкин, видать, Аракчееву не потрафил, тот государю наплел, что-де выправка у семеновцев хуже стала, Потемкину должность повыше нашли — не обидели,

а солдатикам дали для выправки Шварца — уж такую собаку, сам из кантонистов, слышать, а теперь полковник... Перемудрил, однако, свою профессию!

— Васильчиков виноват! К нему семеновцы с жалобой на шварцевские бесчинства... От розог они с до войны отучены, а с ними как с рекрутами. Усы, слышно, рвал и плевать заставлял друг на дружку — наказывал! А Васильчиков их и слушать не стал. Как, дескать, вы смеете?! Ну, и уперлись — не пошли в караул. Зашумели на полковом дворе, начальство требуют... К ним бы с умом — ничего бы и не было.

— Потемкина вызвали. Плакал, бают, Потемкин, когда солдат уговаривал, и его не послушались... Ночью государеву роту в крепость свели. Другие без первой роты служить не хотят: где голова, говорят, пусть туда и ноги...

— А боевые патроны зачем?

Пробежала команда, и подобрались солдаты, закрепились исподтишка...

Далеко растянувшись по Невскому, шли семеновцы. Без оружия, но, как всегда, аккуратные, с поднятыми головами. Красиво шли, четким шагом, как на парад. По бокам их сопровождали конногвардейцы с вынутыми из ножен палашами. Впереди колонны красовался на коне генерал Алексей Федорович Орлов, тоже с палашом в руке.

Семеновцы в крепость шли спокойно, и лейб-финляндец поворотили назад в казармы, боевые патроны отобрали.

4

Александр Бестужев писал старшей сестре Елене Александровне, в деревню, 27 октября 1820 года, из Петергофа, где драгуны стояли: «Надеюсь увидеть вас здесь, то есть разумеется в Петербурге, в половине ноября, ибо думаю — не забавно да и бесполезно жить между снегов и голых рощ, слушать вой жадного волка или свист метельного ветра! И как ни скоро вертится вертено в руках ваших, время свинцовым маятником означает длинные скукою дни и бесконечные вечера; и со всем вашим равнодушием, вы и даже матушка не без удовольствия, думаю, ждете снегу с туманного неба и

провожаете глазами почтовую тележку и слухом — звон колокольчика в пустынную даль — туда, то есть сюда. Что до меня, я сумрачен по обыкновению, но иногда бываю и весел. Недавно ревматизм посетил меня и теперь из одного плеча перебрался в другое, однако ж он не значителен. Привычкой я доволен, сколько могу, своим положением. Генерал ничего, кажется, не держит на сердце неприязненного против меня, потому что ветрен, а более — потому что не ездит в полк. . .»

И в том же письме сообщает: «Я был у семеновцев на другой день отправки, на несколько часов, но теперь они в Свеаборге».

Александр Бестужев довольно редко навещал братьев в Кронштадте, но ради семеновцев, которых рассылали по крепостям, туда съездил и в непогоду.

Воротясь в Петергоф, он опять зевал, поглядывая в окошко: скучал по дому и по своим, — письмо дописывал с истинным чувством: «Прошу вас, милостивые государыни, быть веселыми и здоровыми, забавлять матушку и не забывать вашего брата, то есть меня. Который, еще раз целуя вас для финалу, остается любящим вас Александром».

5

Государю казалось, что и другие гвардейские полки ненадежны. Страшно было держать их в столице. Под предлогом народного беспокойства в Пьемонте объявили поход всего гвардейского корпуса.

Цель похода оставалась туманна. Кое-кто думал, что дело касается более Греции, где назревало восстание против турецкого владычества. . .

Молодежь, не принимавшая участия в Отечественной войне, оживилась. Ветераны вспомнили радость заграничных походов.

Все суетились: тот наспех улаживал хозяйственные заботы, этот искал денег в долг, чтобы купить лошадей и справить самое необходимое из одежды — в виду предстоящей войны. Объявление о походе возымело нужное действие — умы оборотились к заданному предмету, оставив мечтательность. . .

Хитрость, однако, недолго действовала. Беспечность похода слишком бросалась в глаза. Поговаривали: дескать, идем воевать с невидимками!

Офицеры с досадой подсчитывали непредвиденные расходы. И не ждали от похода ничего, кроме провинциальной скуки. «Жертвовать удобствами ради прихоти одного человека? — возмущались они. — Не слишком ли...» Уже не то чтобы жизнью — и покоем пожертвовать для царя представлялось кое-кому обидно.

Эти настроения достигли слуха высших начальников. Одолевая тупое сопротивление непонятливых или упрямых, князь Петр Михайлович Волконский, начальник генерального штаба, терпеливо внедрял непривычную в гвардии службу. Однако полковые командиры как будто стеснялись присылаемых к ним специальных людей...

Финляндский полк в поход отправился несколько прежде других, а Розен — еще впереди полка, с провиантской командой. Ему это представлялось прогулкой через родные места. Вот и Нарва. Знакомый скользкий повесенному спуск к беспокойной Нарове. Наплавной деревянный мост. Конь Розена поскользнулся на спуске, но всадник на глазах у толпившихся горожан удержался ловко в седле и прогарцевал довольный по мосту. За ним гроыхнули по бревенчатому настилу моста колеса обозных подвод. Мальчишки свистели. Девушки из окошек любовались красивым офицером.

Возле кузницы Розен услышал резкий немецкий оклик:

— Барон! Задержись... У твоей лошади подкова хлябает. Дай поправлю.

Розен узнал кузнеца, своего ровесника Гессе, с которым учился в демократической школе у господина Радекера.

Гессе умело закрепил на станке ногу лошади, снял стершуюся подкову, ловко зачистил копыто и надежно приладил новую...

Дальше — удивительный Дерпт. Красивый город, населенный студентами. Кто в студенческом незнакомом Розену мундире, кто в средневековом плаще, иной, как паяс, весь в обтяжку, иной нараспашку, у одного череп голый, другой отрастил кудри до плеч, а попался и вовсе в буклях, как при царице Елизавете! У многих на головах Розен увидел, вместо студенческих, знакомые семеновские фуражки. И ничего не боятся!

. Вспомнил, как сам однажды, поддавшись моде, вышел франтом — в зеленых перчатках. Только вышел и сразу же наскочил на самого императора Александра; государь погрозил ему пальцем, и Розен сдернул перчатки, вернулся домой в отчаянии, считая уже и карьеру погубленной...

. ...Полоцк. В окрестных полях попадались на глаза кости и черепа и даже целые человеческие скелеты. Русские ли, немецкие ли, французские ли? — кто теперь разберет?

За Полоцком гвардию нагнал генерал-адъютант Дибич и объявил: государь походом доволен, народы в Италии усмирились, гвардин назначено зимовать в Белоруссии. Осенью предстоит смотр в Бешенковичах.

6

Александр Бестужев при всякой возможности писал из похода своим.

«Любезная матушка! Наконец мы в походе; под дождем или на пёкле солнца, в пыли или в грязи всякий день, однако ж нескучно проводим время. Говорю — нескучно, потому только, что веселее не надеемся проводить его, а привычка, вы знаете, со всем принудит ознакомиться и подружиться. Стоим мы втроем, а теперь и вчетвером будем стоять; офицеры эскадрона нашего: именно — Николаев, Рукин и Любецкий, очень хорошие и добрые ребята. Смеемся много, хоть радуемся очень мало; у полковника вовсе не бываем; он — не последнее животное: скуп и глуп донельзя, да мы и не дорожим его обедами, не бываем голодны. Говядины и молока и прочих снадобьев везде достать можно, а не купленный поклонами обед если не вкуснее, то приятнее всегда чужого. Телегу мы намерены купить в Нарве, потому что теперь нанимаем двуколые радки для перевозу чемоданов, облегчая тем лошадей. Кони мои здоровы и, кажется, выдержат поход без всякого повреждения. За фондезинского уж мне давали 350 р., но теперь и самому надобно. В дороге до сих пор ничего не потеряли. Несносная погода продолжается, холод ужасной, но это лучше для лошадей. Часто снег и даже град падает, вместе с лучами яркого солнца. Вчерась нам волк перебежал дорогу, я гнал его далеко, но он ускакал. Говорят, будто

это предзнаменует счастье: тем лучше! Сейчас пишу к вам, приехав от своих офицеров другого эскадрона, верст из-за пяти, потому что полк растянут на восемь верст. Надобно видеть наше путешествие, чтобы смеяться дни два: представьте себе четырех человек в бурках, в халатах, на двуколой радке, а один — верхом, проезжающих с песнями и хохотом по большой дороге. Завтра мы стоим под Ямбургом и обедаем — все офицеры! — по приглашению, у дворянского предводителя Альбрехта... Кажется, любезная матушка, вы не успели после нашего отправления погулять в саду петергофском, посмотреть наши редкости, полюбоваться на фонтаны? Дождь, который провожает нас, верно, помешал и вам? Бурка предохраняет меня на походе, бережет и на ночлеге; днем — на мне; ночью она стелется постелью на солому, — и, несмотря на мое отвращение от насекомых, начинаю уже хорошо спать в курных избах и часто — вместе с хозяевами. Скажите, что делают мои сестрицы? Сохрани их бог, если на них находит блажь плакать об чем! Про поход и слыхом не слыхать, да если он и будет, то мы всё остаемся в резерве. Машеньке желаю на лето побольше цветочков и василечков в чистом поле, Оленьке советую сочинить роман... а Лешеньку, как и прежде именованных, целую не один раз. У вас же прошу благословения и остаюсь покорный и истинно любящий вас сын Александр. 11 мая 1821 года. Деревня Лялицы.

Р. S. Пишу к вам, любезная матушка, из места вашей родины, в виду башен наровских, по которым я вчера лазил, как белка, в опасности быть раздавленным сводами или упасть с тридцатисаженной вышины; лазил по обрушенным и гнилым лестницам, спускался в подземелья, бродил по рвам и бастионам. Какой вид, какое местоположение! Проливной дождь бьет в окна прекрасной квартиры моей, но я собираюсь ехать на водопад. Стою в Ивановской слободе, в новом и пустом доме. Здоровье мое очень хорошо. Город пречистенькой и премилый. Трактир дорог, но хорош. Я все осмотрел и при случае вам опишу. Тишка здоров. Скажите пожалуйста, каким образом я считал, что у меня мелкими бумажками 100 руб., а вышло 50 р.? Будьте веселы и здоровы, поцелуйте сестер и братьев. Николе напишу после. Сын ваш Александр. 14 мая».

Дней через десять он писал из Торманс-Гофа, что в сорока пяти верстах от Дерпта: «Любезная матушка! Думаю, что это последнее письмо, которое застанет вас в городе. Все полки остановлены, исключая нашего, идущего до своей Опочки. Конные егеря остановлены в Дерпте, гусары — в Веро, и так прочие в окрестностях, но пойдут ли назад? — никто не знает. Как вы можете представить, дорога наша единообразием жизни очень скучна: переход и привал, поход и дневка, то же и те же всегда — не радостно! Полк иногда стоит на восемнадцати верстах и более, эскадроны ходят по десять верст в сторону, чтобы найти ночлег в этой скудной Эстонии, и потому видимся с другими товарищами очень редко. Квартыры почти всегда весьма дурны, но более всего неприятна холодная и сырая погода... О здоровье своем скажу, что оно в лучшей исправности. Доказательством тому, что я из бани купался в озере и, слава богу, невредим, несмотря на холод... Мы почти не видим людей, кроме драгун и проезжих, которые прячутся в повозки; местоположения встречаются прекрасные, но грустно любоваться ими, когда некому похвалить вместе. По предосторожности приготавливаю письмо за два дни до Дерпта, в котором, я думаю, мне не удастся взять пера в руки...»

Через два месяца — из Витебской губернии, с мызы Зеленополь: «Здравствуйте, любезная матушка! Наконец мы на месте, на кантонир-квартирах своих, куда прибыли 29 июня, в самый Петров день. Немного могу сказать вам об окрестностях, об соседях и соседках, потому что дождь закабалил нас с арендатором нашей мызы и с толстою-претолстою его женою, с которой я мувию и гадам по-польску. В виду у меня озеро, кругом горы, пески и никакого лесу, а потому пребывание мое здесь, и по удалению от всех существ словесных, и по недостатку зелени, мне не нравится... Стою вдвоем с Николаевым, далеко от горсуду, впрочем, которой не походит и на порядочную русскую деревню, и даже от взводу своего на пятнадцать верст. Сегодня собираемся, если дождь пройдет, в Режицы на ярмонку, подобную Солецкой, а потом пустимся с визитами по панам и «ей мосцям» окружным. Надо вас предупредить, что здесь, как кажется, нет ни богатых помещиков, ни красивых невест, а потому ваш Зигварт, по-видимому, не будет иметь случая повздыхать и на бумаге для близиру... Полк остановлен на мирном

положении, то есть у нас отняли фураж, и если б я не поставил, взятками с деревень, коней своих на траву, то казне моей плотно бы досталось, ибо овес здесь непомерно дорог. Семнадцатого числа будет сюда великий князь Константин, а в августе, сказывают, пойдем маневрировать к Витебску — достойная цель наших военных трудов! Стоять здесь — и то, и се: едим щи с солониной да пьем пивко и так коротаем день до вечера! Жаль только видеть господских крестьян, латышей и поляков, и частию русских, которые все здесь раскольники-филипоны, — нет ни на одном лица человеческого: бледны, худы; измучены; многие в целую неделю получают от господ полгарца ячменю на человека. Можете представить себе их положение. . .»

В конце лета уже: «. . . обыватели все меня очень любят, и просвещенные, и нет. С старухами говорю я польски, молодым сыплю комплиментами, стариков смешу, а с своей братьей смеюсь. Недостаток книг весьма был мне чувствителен сначала, но сведши знакомства с людьми, имеющими библиотеки, я уже пользуюсь польскими книгами, хотя не совершенно еще разумею польский язык».

1821 года, октября 22 дня, из деревни Выгоничи, верстах в сорока от Минска: «Любезная матушка! Оглядевшись немного на зимних квартирах своих, пишу вам из гнезда своего; прошу прощения в долгом молчании, которому поход был причиною, и я объявляю, что благодаря бога здоров и по возможности довольно весел. Брат Николай, я думаю, писал вам, что мы давали государю пышный обед? Я извещал вас, из Режиц выходя, о маневрах в Бешенковичах? — все это прошло счастливо, и мы, блуждая два месяца по проселочным дорогам Белой Руси, забралась наконец и в Литву на зимовье. Судьба была довольно благосклонна, избрав мне квартиру у одного небогатого, но прекрасного человека. Любезное семейство, книги на всех языках, хотя немногочисленные, но занимательные, фортепьяно, умные и здравые суждения отца, доброе расположение матери, компания дочерей, еще более милых, нежели прекрасных, — все это обещает мне сносную зиму, а близость города — и самые удовольствия. . . Вы, верно, улыбнетесь, любезная матуш-

ка! «Не влюбись, Александр! — говорите вы, — польки умеют заводиться в сети». Сказать правду, в младшую сестру можно бы закохаться от нечего делать. Но к несчастью, они обе уже невесты в полном смысле. Следовательно, с этой стороны я обеспечен. Хозяин никак не хотел позволить мне держать свой стол, и я почти всегда сижу у них. Говорю по-польски довольно бегло и смешу часто своими ошибками. На обе стороны, в версте или двух, стоят мои товарищи, с которыми мы беспрестанно плотнимся визитами... Вот, любезная матушка, все, что относится до вашего драгуна, который часто-часто грустит по родным и по родине, тем более теперь, не получая в течение двух месяцев от вас ни строчки...»

Приятельские визиты были скромны: хозяин ставил к обеду на стол лишнюю бутылку домашней наливки.

Минские развлечения, хотя и доступные по расстоянию, оказались не по карману. За зиму он только раз и видел тамошний бал: теснота и пыль да «несколько умильных личиков, вертлявых стаников и забавных физиономий — вот и вся замечательность!» Стоило ради этого тащиться верхом по раскисшей дороге, наподобие Дон-Кихота! И форму блюсти — там полно генералов...

В январе 1822 года Александр Бестужев узнал, что его судьба по мановению чьей-то руки повернулась. Его вызвали в Петербург. Он поспешно распродал излишки походного имущества, за полцены отдал лошадей и поспешил на почтовых.

7

После смотра в Бешенковичах гвардейские офицеры делали складчину. Давали обед государю. И Розен дал деньги, хотя ему и глянуть на это пиршество не довелось. Накануне он получил приказ отправляться вперед для казенных закупок. На пароме переправился через Десну, изогнувшуюся в этом месте широкой подковой.

...Поставщики пытались его учить — как урвать у казны при закупках, но Розен был честный до педантизма немец: у мошенников он и подарка не взял. Его товарищ принял от них корзинку с десятком груш и двумя бутылками шампанского. Розен грушею соблазнился, но после и этой груши себе не мог простить.

Поставленный на квартиру в приятном польском семействе, он прожил недурно всю осень. Хозяйка имела взрослую дочь. В пустые и темные вечера Франциска, так звали дочь, ему вслух читала Шатобриана. Розен слушал, стараясь не задремать. Вздыхая, она говорила, что очень любит Шатобриана. Он верил ей просто душно.

Хозяйка, пани Лескович, рассказывала, как замок их удостоил посещением император Александр и как Франциска ему играла на арфе; за это невинное удовольствие царь подарил ей брошку с бриллиантами. Брошку ему тоже показывали.

Арфа стояла в гостиной с высокими сводами. Пани Лескович усаживала Франциску играть для гостя. Розену это, естественно, льстило. . .

Франциска играла долго, возводя к высокому своду взоры. Он старался выразить на лице удовольствие. Пани Лескович, умильно взглянув на них, шла распорядиться хозяйством, — давала гостю понять, что доверяет ему; в душе он немного гордился этим ее доверием. .

Франциска вздыхала. . .

За обедом она сказала, что пан барон ей нравится скромностью.

Розен почувствовал, что краснеет.

Пани Лескович улыбнулась наивности дочери и лукаво заметила, что из мужских добродетелей скромность не самая ценная. Она была наблюдательна: видела, что и арфе, и Шатобриану их гость предпочитает игру поменьшой в цвик. Но и тут он как-то не по-мужски осторожен.

— Пане бароне, — игриво говорила она, — кто не азартуе, тем и не профитуе!

Наставление матушки — беречься случайной и злой любви — вспоминалось ему некстати, когда хорошенькая служанка вечером, расторопно и все-таки медленно, стелила ему постель. Он слишком долго придумывал, что бы такое сказать ей. Пожелав ему спокойной ночи, девушка уходила.

Зимовали финляндцы в Креславле. Розен стоял на одной квартире с ротным командиром — штабс-капитаном Иваном Васильевичем Малиновским, сыном первого директора царскосельского Лицея.

Тут Розен впервые влюбился.

У медика — в ротной штаб-квартире — была прехорошенькая жена. Розен вдруг понял, что для нее готов на все! У докторши были румяные губки сердечком, тонкая талия и высокая грудь...

Видя страдания Розена, штабс-капитан Малиновский долго безжалостно потешался; но когда ему надоело трюнить над смешной немецкой влюбленностью Розена, Иван Васильевич серьезным тоном заметил, что средняя из его трех сестер, Анета, внешностью — точно как докторша, даже еще лучше! Розен бросил мимо ушей заявление, а в Петербурге — неожиданно вспомнил. Когда Малиновский знакомил его с сестрами. Ротный чистую правду сказал: Анна Васильевна оказалась копия докторши, только без медика-супруга, и опять он мгновенно влюбился! Опять был готов на все...

В Креславле каждое воскресенье для военных делались маленькие балы, веселые и простые. В крохотном зале теснилось много народу. Танцевали при сальных свечах, под смешной еврейский оркестрик, почти до рассвета... Под утро офицеры в парадных мундирах, без шинелей, разгоряченные, выскакивали на холод, валились в санки и мчались к своим оставленным взводам, боясь опоздать на учения. Простуда не брала их. Розен в санках распевал всю дорогу какие-то глупые песни: «Пусть волком буду я — любите лишь меня...» Вспоминал румяные губки докторши, приоткрытые от волнения; звуки музыки, бряцание шпор в мазурке...

В декабре роту Малиновского назначили в караул при штабе полка. Там играли крупно. В жарко натопленной комнате, освещенной десятком свечей, пол усыпан был картами, так что дежурный, отыскивая нужного ему офицера, неслышно подходил к игрокам и заглядывал в лица, измученные бессонницей и азартом до неузнаваемости. И Розен попал сюда...

В роковой день — 14 декабря — он, увлекшись игрою, утратил над собою контроль и впервые в жизни проиграл разом все наличные деньги. Потом еще много — под вексель. Надеясь отыгаться, на завтра он снова играл и снова проигрывал.

Выскочив на мороз в темноте и поостыв немного, Розен понял, что проигранная им сумма превышает в десять раз ежегодно присылаемое отцом содержание. При-

кинул, что если даже он станет жить на одно жалованье, что едва ли возможно, то и в этом случае долга ему не выплатить скорее, чем в десять лет!

Но долг надлежало выплатить в несколько дней. Долг чести! Не отдать деньги — катастрофа...

Розен подумал, не попросить ли отца выслать ему содержание за десять лет вперед? Представил себе лицо его. Строгое и холодное. Рядом — бледное, заплаканное лицо матушки. Она станет молить за любимого сына и плакать, но отец все равно откажет. Матушку это убьет! И без того она уже не встает с постели...

Пока брел до своей квартиры, придумывал разные способы, как достать денег, чтобы выплатить долг. Податься в армию? Просить об отправлении на Кавказ? И все равно получалось, что раньше, чем в несколько лет, таких денег не соберешь... И карьера кончена.

Подумал: а что, если на Франциске жениться? Есть же у нее какое-нибудь приданое кроме царевой брошки...

Ничего не решил — лег спать. Ему приснился в руках пистолет, кожей почувствовал холодок пистолетного ствола, остро и тонко кольнуло что-то в груди... Розен во сне застонал жалобно.

Когда он проснулся, штабс-капитан Малиновский, лохматый, в ночной рубашке, с зажженной свечкой в руке стоял возле его кровати и спрашивал озабоченно:

— Что с тобою, Душа? Не захворал ли ты... Чего ты кричал во сне? Да на тебе же лица нет! Послать, что ли, за лекарем? Или, может, беда какая с тобой приключилась? А, Душа...

Ротное прозвище Розена было «Душа». Пел он душевно. Особенно русские протяжные песни. «Среди долины ровныя, на гордой высоте, стоит-растет высокий дуб, в могучей красоте...» — проникновенно пел, как никто...

— Да много ли ты проиграл? — спросил Малиновский тревожно. — Ах, Душа... И всего-то!

— Так ведь негде взять.

— Уж будто и правда негде?

— Мне правда негде...

Малиновский небогат был, и для него эта сумма пустяком не могла показаться, но как друг он выручил Розена — деньги где-то достал и выкупил страшный вексель. Спас от неминуемого позора.

... Три года спустя, когда Розен приехал к родителям сообщить, что он женится на сестре своего полкового товарища Анне Васильевне Малиновской, отец в виде свадебного подарка вручил ему эти четыре тысячи, и Розен отдал Ивану Васильевичу долг.

Любопытно, однако, что и после такой беды он играть не бросил. Зарекался сто раз и клятву в церкви давал, что не будет больше играть, а увидит бледного от волнения банкюмета, с дрожащими руками, — и не удержаться!

Но ни разу больше не зарывался и не проигрывал сверх того, что имел при себе.

Влюблялся тоже бесчисленно. Случалось, в двух и в трех сразу красавиц — с кем только успел перемолвиться парой слов на балу. Утром и как их звали не помнил! Просыпался и горланил весело: «Пусть волком буду я — любите лишь меня...» — и сам удивлялся: когда к нему эта глупая песенка привязалась?

Все оборвалось, когда он познакомился с Анной Васильевной.

Дочь покойного директора лицея была девица серьезная, начитанная, стихами увлекалась, про Карамзина у него все спрашивала: каков, дескать, писатель! Его история... Что ей Розен мог отвечать? Только вспыхивал до ушей.

Анна Васильевна была старше его на два года. И, как он догадывался, умнее... Однако же Розен и то видел, что она в него втюрилась. Так и вспыхивала, когда он приходил.

А Карамзин — ну, что же! Розен в лавке купил шесть томов «Истории государства Российского». Остальные, решил, докупит, когда эти прочтет. И читал терпеливо. И одолел бы... если бы не петербургское наводнение. Финляндский полк квартировал на Васильевском острове. Квартиру Розена затопило. Все вещи попортились, но книг ему особенно было жалко.

Играть в карты он перестал, когда понял, что женится. Не мог и вообразить себе, чтобы счастье ее зависело от того, что налево ляжет — туз или девятка! Уж тут как отрезало...

Почти шестьдесят лет они прожили душа в душу и умерли в один год.

Бурлило повсюду. Еще до восстания Семеновского полка было крупное возмущение в Чугуевских военных поселениях, были волнения казаков на Дону из-за рекрутского набора, мужицких бунтов по деревням и не счесть...

«Бурная эпоха, в которую мы живем, не менее замечательна революцией идей, чем революцией вещей. Последняя может отступить, и вещи вернутся снова до некоторой степени в прежнее состояние. Первая же, напротив, никогда не отступает; и никто не в состоянии остановить стремительное движение идей!» — так определял состояние умов Михаил Федорович Орлов в письме к княгине Софье Григорьевне Волконской, супруге Петра Михайловича Волконского, начальника генерального штаба, который всеми силами пробовал остановить это опасное брожение идей в умах офицеров гвардейских.

Вскоре после войны Бенкендорф женился на вдове погибшего в Бородинском сражении офицера; по просьбе государя он привез показать при дворе двух своих маленьких падчериц, к которым искренне привязался. Император Александр взял на руки младшую, трехлетнюю, смуглую курносенькую вострушку, и вдруг спросил у нее серьезно:

— Я тебе нравлюсь?

— Очень! — сказала бойкая девочка. — Ты — плеши-вый, как и папá, — она погладила царскую блестящую лысину; подумав, еще добавила: — Папá гадкий, а ты красивый...

Александр Павлович торопливо поцеловал ребенка и, спеша замаять неловкость, попросил озорницу спеть ему что-нибудь.

Девочка спела куплет из какого-то гимна в честь царя, каких тогда множество сочинялось.

Государю давно уже мнилась корысть и в любезностях дамских. После того как известная всему Петер-

бургу, красавица Марья Антоновна Нарышкина, очаровательно лукавая, сбежала за границу с флигель-адъютантом. . . Ей-то чего не хватало?

Придворных любезниц государь одаривал драгоценностями, арендами, но презирал в душе. Умных, пытавшихся в душу ему заглянуть, и вовсе остерегался. Хотя для виду играл иногда с ними в откровенность. Одной признавался: если бы его лучше знали, то не считали бы, что его тяготит царская власть. Можно ли думать, будто он, государь, несчастливый человек? Эта красавица была внучка хитрого и своевольного старика, покойного фельдмаршала Кутузова, которому он не верил, даже вверяя ему судьбы отечества. Александр хотел бы доказать ей, что она в нем ошибается: «Я ничуть не несчастен, — писал он ей, — так как у меня нет никакого желанья выйти из того положения, в которое меня поставила власть всемогущего. Когда человек умеет обуздывать свои желанья, он кончает тем, что всегда счастлив. И кроме того, я не хотел бы себе позволить ни одного шага вне воли всевышнего. Если вы спокойно и последовательно подумаете над тем, что я вам здесь говорю, это объяснит вам многое, что должно вам казаться странным во мне. . .»

Он подчеркивал, что его возрасту свойственно быть сдержанным и не переступать известных границ. Возраст был сорок три года.

Александр понимал, что эта умница ему, скорее всего, не поверит. . .

Его тяготила власть. Ему хотелось бы выйти из того положения, в какое он был поставлен. Больше всего пугала его необходимость принятия каких-то важных решительных мер. И он знал, что его нерешительность слишком многим кажется странной.

На попытки князя Петра Михайловича Волконского его успокоить — относительно преувеличенных слухов о способности заговорщиков что-то предпринять — Александр отвечал сердито:

— Ты ничего не понимаешь! Эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении. . .

В падении Семеновского полка царю виделась рука заговорщиков. Он жалел свой любимый полк, но и то понимал, что на гвардию, которая бунтует, положиться нельзя. Полк повелел расформировать, новый набрать из батальонов армейских, а всех семеновских офицеров —

обычным порядком, с повышением на два чина — перевести в армию. И чтобы никто не смел проситься в отпуск или в отставку!

Александр твердил, что не верит, будто бы в гибели Семеновского полка виноват назначенный Аракчеевым вместо Потемкина ретивый служака полковник Шварц. Что он, зверь, этот Шварц? Царю казалось невероятно, чтобы Шварц мог унижить в солдатах чувство их человеческого достоинства. Солдат — механизм, исполняющий приказания! Что может унижить машину? Бунт — следствие агитации. И не офицерской. Офицеры заставили бы солдат взяться за оружие. Но они ведь покорно отправились в крепость... Полк испортили заговорщики!

Александру они мерещились всюду — гнусные фигуры во фраках...

О заговоре имелись точные сведения. Вскоре после семеновской истории Бенкендорф представил императору Александру записку, составленную на основании доноса библиотекаря генерального штаба Грибовского, который сам являлся членом коренной управы Союза Благоденствия. В записке Бенкендорфа подробно излагались история тайного общества, его устройство, содержание «Зеленой книги», задачи «революционной партии», которая — так считал составитель записки — не прекратила существования с роспуском Союза Благоденствия; высказывалось предположение, что Союз Благоденствия распущен лишь для видимости, чтобы освободиться «от излишнего числа с малым разбором набранных членов, коим неосторожно открыли все». Отмечалось, что в случае судебного преследования кого-либо в настоящий момент едва ли удастся что-нибудь существенное обнаружить. Все опасные бумаги несомненно истреблены, а для своего спасения каждый станет, естественно, запираяться. Полезнее установить за членами тайного общества, большинство которых известно, скрытное наблюдение.

В доносе называлось немало имен: и Тургеневы, и все Муравьевы, и Пестель, и Трубецкой, и Федор Глинка — чрезвычайно опасный ввиду его должности при генерал-губернаторе; и Фонвизин был назван, и Михайла Орлов, про которого говорилось, что он, ручаясь за свою дивизию, преданную лично ему, потребовал от общества всей полноты полномочий, чтобы действовать по своему усмотрению, когда сам сочтет своевременным...

Весной 1821 года были арестованы некоторые офицеры Семеновского полка: командир первого батальона Иван Федорович Вадковский, командир первой — «государевой роты» князь Иван Дмитриевич Щербатов, бывший во время событий в отпуске, но в письмах спрашивавший, что в полку происходит, и подменявший Щербатова в роте капитан Ермолаев. Их имена в доносе Грибовского не упоминались. Всех допросили касательно тайного общества. Разумеется, безрезультатно.

Щербатов как друг Якушкина многое знал, но не открыл ничего. Якушкина, чьи письма имелись в большом количестве у Щербатова, тоже вызвали для допроса. Он показал, что их переписка имела исключительно личный характер и касалась негласных семейных дел. В этом легко убедился и прочитавший все письма Якушкина Алексей Федорович Орлов, производивший дознание по делу Семеновского полка. Орлов написал объяснительную записку, письма Якушкина подшили к делу, а его самого отпустили.

Щербатова отослали в витебскую тюрьму, не предъявив ему никакого определенного обвинения. Два года спустя, по ходатайству старого князя, его перевели рядовым на Кавказ, где в 1826 году Иван Дмитриевич Щербатов скончался от какой-то болезни.

И все хлопоты родственников об арестованных были безрезультатны: император Александр, всегда мягкий и вежливый, не умел прощать и невиноватых.

10

Относительно ликвидации Союза Благоденствия решено было загодя, и едва ли не в этом состояла главная цель предполагавшегося в январе 1821 года в Москве съезда представителей от всех управ. Для их приглашения генерал Фонвизин в конце 1820 года побывал в Петербурге, а Якушкин съездил в Тульчин и в Кишинев, к Михаилу Орлову, с которым не был лично знаком и не видел его ни разу, но слышал о нем как о человеке, способном к решительным действиям. Якушкин жаждал встретиться с ним и немного страшился.

В Дорогобуже он через знакомых добыл казенную подорожную — в России без нее далеко не уедешь — и посакал на почтовых.

В Тульчине Якушкин надеялся видеть Бурцева, приятеля давнего, члена еще Союза Спасения, ныне же стар-

шего адъютанта у генерала Киселева, заправлявшего фактически всеми делами во 2-й армии.

С Пестелем у Бурцева были тоже довольно сложные отношения.

Впрочем, далеко идущие планы Пестеля касательно будущего России многих смущали...

Генерал Бурцеву доверял. Когда — спустя год с чем-то после приезда Якушкина в Тульчин — сгустились тучи над головой Орлова и арестован был его ближайший сподвижник Владимир Федосеевич Раевский, Киселеву приказали заняться этим. Он получил изъятые у майора Раевского документы, при свидетелях вызвал Бурцева, подал своему старшему адъютанту сложенный вдвое лист и велел срочно исполнить... Бурцев, придя к себе, раскрыл лист, но там не было никакого распоряжения: в чистый бумажный лист вложен был список членов тайного общества. Бурцев, естественно, тут же его уничтожил.

Генерал Киселев не сочувствовал крайностям, но в своем присутствии позволял острые споры и сам иногда в них участвовал. Случалось даже, что признавал себя побежденным. Умный, думающий человек, он был тонкий и осторожный политик, придворный до мозга костей.

Киселев ценил высоко дарования Пестеля, находил в нем ум государственный и надеялся приручить этого строптивца. В свою очередь Пестель не оставлял надежды воспитать Киселева: читал ему отрывки из «Русской правды». Оба — и Пестель, и Киселев — полагали, что держат друг друга в узде. Лыстали друг другу, расписывались во взаимном доверии. И в самом деле по-своему уважали друг друга... Характерно, что и после всего Киселев, один из очень немногих, сберег письма Пестеля.

И еще характерно: генерал Киселев слушал с удовольствием резкие отзывы о Пестеле. Однако упрямо его защищал от идущих из Петербурга и из других мест наветов. Столичное начальство он убеждал, что Пестеля крепко держит в руках. И только 13 декабря 1825 года, когда в штабе получили приказ об аресте Пестеля, отступился. Хотя, по-видимому, дал все же ему возможность уничтожить опасные бумаги.

В Тульчине членам тайного общества вольготно жилось...

Знавший Киселева с детских лет Сергей Волконский на следствии показал, что тот его не раз убеждал держаться более здравого смысла и, главное, не увлекаться дружбою с Пестелем — «как человеком ненадежным в таких сношениях». Киселев отклонял его и от дружбы с Василием Львовичем Давыдовым, младшим братом генерала Раевского, «как с человеком, который по неосторожности своих разговоров уже на замечании у правительства».

Василий Львович Давыдов, отставной гусар, жил то в Киеве, где у него имелось большое, но при жизни матери не узаконенное семейство, то в имени матери — в Каменке.

Киселев был уверен в себе и неизменно пользовался доверием государя. Он пытался предостеречь приятелей от беды.

В ходе следствия и Волконский, естественно, выгораживал Киселева. Однако же он и в позднейших своих «Записках» рассказывал, как ему Киселев говорил: «Послушай, друг Сергей, у тебя и у многих твоих друзей бродит в уме бог весть что, ведь это приведет вас в Сибирь... Уклонись ты от всех этих пустяшных бредней, которых столица в Каменке... Выпутайся из этого грозящего тебе исхода, повторяю, это пахнет Сибирью! Послушайся давнишнего и теперешнего твоего друга...»

Волконский не захотел уклониться.

Стращать Сибирью Орлова Киселев не пытался, но больше настаивал на «настоящей пользе», какую бы мог принести России Михайла Орлов, если бы не пренебрегал служебными успехами, не портил себе карьеры...

Киселев не скрывал, что не одобряет сношений Орлова с «красноречивыми бунтовщиками», с «шайкой разбойников», как он без стеснения именовал в письмах к Орлову его друзей-заговорщиков.

Разница между нами с тобой, объяснял он Орлову, в том, что ты «даешь волю воображению, а я ускромняю свое, ты ищешь средств к улучшению участи всех и не успеешь, я же — нескольких только и успеть могу! Ты полагаешь, что исторгнуть должно корень зла, а я — хоть срезать дурные ветви. Ты определяешь себя к великому, а я — к положительному...»

Положительный Киселев достиг со временем наивоз-

можных служебных вершин. Михайла Орлов, ничего не достигший по службе, вошел в историю...

Когда над Орловым нависли грозовые тучи, Киселев уклонился от участия в его судьбе; кое-кто называл это предательством.

11

Как только Якушкин появился в Тульчине, Бурцев перетащил его из трактира к себе на квартиру и строго за ним доглядывал. Якушкин и сам старался вести себя осторожно. Ни с кем не встречался, кроме Пестеля и Юшневского. Пестель, что ни скажи, его старый знакомый по Петербургу. А к интенданту Юшневскому от Фонвизина было письмо... Юшневский, однако, не приглашался ему: показался безволен и прост.

Пестель держался с Якушкиным скромно. Прочитал ему несколько глав из «Русской правды». На своем не настаивал, а сказал лишь, что надо бы сделать хоть самые необходимые приготовления, чтобы в будущей думе, или как еще будет это называться, когда до дела дойдет, действовать правильно. Знать бы хоть, о чем говорить!

Бурцев предупредил Якушкина, что не следует Пестеля звать в Москву, — он там упрется и все испортит!

Павлу Ивановичу в Москву хотелось поехать. Вдвоем они убеждали его, что поездка вызовет лишние подозрения: у Пестеля нет в Москве ни родни, ни приятелей... А Бурцев давно в Москву просится, и начальство этому не удивится.

Потом Бурцев Якушкину выправил подорожную до Кишинева...

...Михаил Федорович писал Вяземскому: «Мы здесь смирно живем, то есть не я, а все другие. Что же касается до меня, то я проехал уже шестьсот верст и сажусь еще на коня, чтоб проехать снова восемьсот. Объезжаю всю границу, мне поверенную, и только после моего возвращения отдохну немного. Моя жизнь, друг мой, мне нравится, хотя она и не весьма приятна с первого взгляда. Много занятий, много трудов, много движения. А это мне и нужно. Дни молодости улетели безвозвратно. Я об них не жалею. Дни старости только бы не так скоро явились. Против дряхлости я вооружен умеренностью, спокойствием духа и самими моими занятиями».

В письмах к другу Орлов много недоговаривал. И свое спокойствие преувеличивал. Он себя вел неистово, безудержно смело — в тех пределах, какие определялись его немалой властью дивизионного командира. Приказы генерала Орлова по дивизии ошеломляли дерзкой решительностью, желанием покончить единым разом со злом — реальным злом: от палочной системы обучения солдат и до казнокрадства! Он боролся против солдатского невежества, против жестокости офицеров... Ему-то казалось, что рамок благоразумия он не переступал!

«Весьма рад, что Миша мой, Орлов, женится, — писал Закревскому князь Петр Михайлович Волконский, — надеюсь, что после того остепенится. Я его люблю очень и сожалею, что ветреностью своею и легкомыслием он много делает себе вреда, тогда как у него душа и сердце предобрые и благородные чувства; но язычок проклятый не может удержать, воображая, что все, что он говорит, все свято и все должны быть с ним одного мнения...»

12

Женитьба Орлова была чрезвычайная неожиданность. Он и сам до последнего дня одержим был сомнениями разного рода. И не только вследствие общего настроения — в ожидании некоторых событий. Иные сомнения происходили, возможно, и от характера его будущего тестя — старика Раевского. Орлов Николая Николаевича душевно любил с давних пор. Однако же знал и его натуру: никогда нельзя было в точности предугадать, как Раевский покажет себя, и даже в кругу семейном! А ко всему старик не разделял ничуть либеральных модных идей. Хотя, с другой стороны, огорчался болезненно и скептицизму старшего сына, — уж тот ни во что не верил...

Характер старого генерала был крут, своенравен, прямолинеен до грубости. Спустя несколько лет Раевский без колебаний отказал от дома графу Олизару, поляку, не чуждому этих новых идей, который вздумал посвататься к Марии Николаевне. Маше граф Олизар пришелся по сердцу, но старик объявил, не справляясь о до-

черных чувствах; что незачем ей быть замужем за иностранцем. А ведь Маша была любимейшей из его четырех дочерей. Спустя еще несколько времени отец позвал ее в свой кабинет — объявить, что князь Сергей Григорьевич Волконский просит ее руки и что он человек хороший.

В доме приучены были отцу не перечить. Мария Николаевна тоже была не робкого нрава, однако с отцовским решением согласилась безропотно. Характер она показала после — когда, вопреки всем домашним козням и уговорам, даже отцовскому проклятию вопреки, поехала за Волконским в Сибирь. Не то чтобы страстное чувство владело ею — стремление выполнить долг и упрямство. . . Она с генералом Волконским до свадьбы потанцевала два раза, когда он явился в Киеве на контрактах, — не держала и в мыслях ему понравиться! Князь был вдвое старше ее, почти незнаком.

Строгость отца сочеталась с жестокой гордыней. Верной службой отечеству не наживешь состояния. У дочерей приданого — только женские тряпки. Елена и Софья так и не вышли замуж, хотя на контрактах, когда на оптовую ярмарку в Киев стекалась масса народу, а пуще — военных, в доме Раевских танцевали каждый вечер. Старик ворчал и демонстративно отправлялся спать в девять часов, однако же бабьим вольностям не чинил никаких препятствий. Хотят — пускай себе пляшут! А толку? Дом полный невест: одна, словно дерптский школяр, философствует, другая Байрона переводит, третья скромна, да дурна. . . Маша за всех плясала и пела. Эта, он знал, и без плясов не засидится в девках!

Старшая дочь генерала Раевского, Екатерина Николаевна, споры любила, ученостью не уступала дерптскому школяру; читала, как пушкинская Татьяна. . . Уж ей бы достало смелости первой в любви объясниться.

Когда ей было семнадцать, служил у отца адъютантом князь Александр Петрович Трубецкой, добрый, скромный. . . Вскоре он вышел в отставку и женился на дочери какого-то из окрестных помещиков; в декабре 1825 года спасал от обыска бумаги своего старшего брата, беспечно им брошенные в квартире киевской, — генерал Щербатов, друг Сергея Петровича, успел его преду-

предить: Александр примчался, завязал в простыню бумаги, увез в деревню и сжег. . .

Екатерина собою была недурна, взяв от бабки-гrecанки черноморскую жгучесть, от поморских предков — прямая правнучка Ломоносова! — ледяную беломорскую стать. По отцу она приходилась родней и светлейшему князю Потемкину. А характер имела крутой: генерал, случалось, пасовал перед ней!

Узнавший Екатерину Раевскую в их совместном путешествии в Крым Александр Пушкин писал брату Льву, что Екатерина Николаевна — «женщина необыкновенная».

Сила ее насмешливого ума, широта неженского кругозора, привычка самостоятельно думать и смотреть свысока на авторитеты — бросались в глаза.

Дружила Екатерина с братом Александром Николаевичем, чей странный нрав Пушкину подсказал его стихотворение «Демон». И кое-что переняла у брата в манере спорить.

С генералом Орловым, который в их доме был свой человек и любимый даже холодным скептиком Александром, она держалась на равных. Чаше нападала на него, чем соглашалась и слушалась. Вела себя независимо. Не упускала случая чем-либо уязвить его и, что называется, загнать в угол. Это было забавно: отважный генерал, не приученный с женщинами сражаться, с досады краснел и чуть ли не заикался. Ее скептицизму, воспринятому у брата, Михайла Федорович, однако, не потакал. Искал способов урезонить ее. Если не удавалось — ретировался. . . После его ухода Екатерина Николаевна спохватывалась. Торжествовать не хотелось, напротив, делалось грустно.

Старомодной учтивости ради, а отчасти и из житейской предосторожности — она ведь могла сгоряча ему отказать, он из гордости никогда бы не повторил предложения, — Орлов, отправляясь в Кишинев, просил Александра произвести дома разведку на предмет возможного сватовства. Исподволь просил выведать у сестры, а потом, само собой, и у родителей. . .

. . . В начале ноября в Кишинев приехал для прохождения службы молодой офицер, воспитанник муравьевской школы колонновожатых, Владимир Петрович Горчаков. Явился представиться генералу Орлову. Его

любезностью был очарован. Душевностью, мягкостью обращения. Однако заметил: сколь ни хорош генерал со всеми, никто и помыслить не смеет с ним фамильярничать.

Пока генерал с Горчаковым разговаривал, зал-заполнялся людьми. Орлов успевал обменяться с каждым любезностью.

Пушкин вошел. И его Орлов обнял душевно, расцеловал. Потом неожиданно произнес: «Когда легковерен и молод я был, младую гречанку я страстно любил...» — воодушевление слышалось в голосе. Горчаков удивился. А Пушкин будто оторопел. Покраснел, засмеялся, спросил:

— Как? Вы уже знаете?

— Сам видишь! — ответил довольный Орлов.

Горчаков был добрый малый, восторженный, Пушкина боготворил. За обедом только — торжественным — он догадался, что генерал Орлов был в тот день именник...

Обеды у генерала Орлова бывали всегда многолюдны. Жить в Кишиневе и у него не обедать считалось как бы неприлично. Обедать же у него означало и принимать участие в шумных и смелых спорах за столом. Не все понимали пределы этой вольницы. Чаще всего увлекался за пределы возможного Пушкин.

Однажды за обедом, о чем-то споря с Орловым, разгорячившийся Пушкин бросил ему в сердцах:

— Ну, знаете, генерал, вы сейчас рассуждаете совершенно как старая баба!

По-французски это чуть-чуть элегантнее прозвучало, но все же дерзко. Орлов рассердился.

— Ох, берегитесь, Пушкин! — сказал он своим далеко слышным голосом. — Не дерзите...

По-русски Орлов говорил всем молодым людям «ты», но и это французское «вы» не смягчило жесткого тона. Пушкин слегка побледнел. Не сказать чтобы испугался: ну что бы Орлов ему сделал? — а просто от непривычной ему интонации генеральской...

Приближался конец ноября 1820 года. Под утро раскисшую от осенних дождей дорогу сковывало морозцем. В карете дуло из щелей, и ехавший с генералом в Киев

Охотников, самый преданный адъютант Орлова, покашливал, кутался нервно в шинель, на станциях упрямо отказывался выпить чаю, согреться. Орлов не выносил дорожных трактиров с их клопами и тараканами, — ел и спал на ходу, в карете. Торопил ямщиков, чтобы перепрягали скорей. . .

И теперь Охотников нервно мерил шагами почтовый двор, четко сворачивая у каждой застекленевшей лужи, перешагивая навозные катыши, огибая стоявшую среди двора обшарпанную коляску. Хозяин ее, проезжий — должно быть, из мелкопоместных, — возле конюшни отчитывал строгим тоном зрителя, кивая на свежую четверню, которую повели к генеральской карете. Он был небольшого роста и щуплый. Смешно насккивал на зрителя.

Орлову, когда он вышел из кареты размяться, проезжий показался занятым. Зритель, видно было, его ни во что не ставил, — Орлов готов был вмешаться. Охотников опередил — подошел к проезжему первый. Они было церемонно раскланялись, но вдруг радостно бросились друг к другу в объятия, оставив зрителя в полном недоумении. Весело заговорили и вместе пошли к Орлову.

Якушкин — вот кто был этот строгий поборник справедливости!

Он в Кишинев направлялся. К Орлову. Имел к нему письмо от генерала Фонвизина. Охотникова Якушкин по Петербургу знал и как члена тайного общества.

Кое-что и Орлов слышал о московских собраниях, ему имя Якушкина было известно.

Фонвизинское письмо Орлов сунул куда-то, не распечатав, а Ивана Дмитриевича в карету к себе позвал. Охотников сел в коляску Якушкина, для которой зритель тотчас же нашел лошадей. Потом они всю дорогу менялись местами, на каждой станции.

Немного до Киева не доехав, Орлов неожиданно предложил Якушкину завернуть в Каменку. На именины, объяснил он, к одной гостеприимной старушке, матери генерала Раевского. В Катеринин день — 24 ноября — у нее всегда собираются. . . Якушкин опешил. Ни с кем из Раевских он не был знаком и вообще не терпел многолюдных сборищ, тем более светских. И что ему было в этой Каменке делать? Однако Орлов его ласково и настойчиво уговаривал. В настойчивости его было столько простодушия, что Якушкин совсем растерялся. Ни

отказаться не смел, ни принять предложения. Только на станции, поговорив с Охотниковым, он кое-что понял. Не слушая якушкинских доводов, Охотников твердо взял его под руку, отвел в сторону и сказал жестко:

— В Каменку ехать необходимо...

Но главного он Якушкину не объяснил — что под предлогом имени ежегодно в Каменке собирается своего рода съезд. Сказал только, что нет и не будет иного способа уговорить Орлова приехать в Москву в январе, кроме как в Каменке. Якушкин не стал противиться.

И что любопытно: впервые сойдясь с генералом Орловым, Якушкин — такой щепетильный! — себя чувствовал так, будто знал Орлова всегда. Они сразу о чем-то заспорили, горячась, и Якушкин был очарован ребяческой непосредственностью Орлова. И несколько удивлен непосредственностью орловских суждений.

Как потом вспоминалось Якушкину, Михаил Федорович в своих очень уверенных рассуждениях редко попадал в точку относительно истины, чаще как бы становился к ней боком. Однако по кротости и доброте своей не обижался на колкие возражения собеседника.

«Орлов с первого раза весь высказался передо мной, — вспоминал Якушкин. — Наружности он был прекрасной и вместе с тем — человек образованный, отменно добрый и кроткий; обхождение его было истинно увлекательное, и потому, познакомившись с ним, не было возможности не полюбить его».

В Каменке их приняли превосходно. Якушкина — за то уже, что он с Орловым приехал. Василий Львович Давыдов, показывая как хозяин веселость и простоту характера, беспрестанно шутил. Он, подведя Якушкина к брату — генералу Раевскому, объявил, что желает ему представить своего давнего друга, Якушкина. С которым он сам час назад познакомился! Стоявший рядом с отцом Александр Раевский, естественно, не сдержал ядовитой ухмылки, хотя протянул дружелюбно Якушкину руку.

Александр Николаевич был чрезвычайно заинтригован появлением в Каменке этого незнакомого чудака. Его особенно озадачило расположение дяди, Василия Львовича, к непонятному гостю. Он думал: такой ли уж это неожиданный гость? Может быть, только Якушкина здесь и ждали?

Якушкин сразу почувствовал необычную для именин атмосферу в доме и настроился на серьезный и осмотрительный лад. Однако его ждал еще один прелестный сюрприз...

Едва Якушкин освоился с обстановкой, представленный хозяевам и гостям, и вышел передохнуть на высоком крыльце большого барского дома, красиво поставленного на взгорке и окруженного парком, сквозь кроны которого речка виднелась внизу и заречные дали; старинная мельница на излуке реки... Едва он огляделся, одолевая смущение и неловкость, как на шею ему кто-то радостно кинулся, и Якушкин очутился в объятиях самых нежных. Это был Пушкин, гулявший где-то перед обедом и пропустивший приезд таких важных гостей.

Якушкин познакомился с Пушкиным у Чаадаева, в Царском Селе. В Чаадаева Пушкин ребячески был влюблен. Он, конечно, не мог не заметить той удивительной теплоты, с какою гусар-философ относился к приятелю, — этого было довольно, чтобы Пушкин, случайно Якушкина встретя, обнял его горячо, как друга. Якушкина эта встреча вернула к жизни. Он сразу повеселел, стал читать Пушкину наизусть «Ура! в Россию скачет кочующий деспот...» и другие запрещенные стихи. Пушкин удивлялся. Якушкин ему говорил, что их каждый армейский прапорщик знает. Разговор завязался.

Вечером, после торжественного именинного обеда на половине старушки Давыдовой, все наконец собрались на втором этаже, у ее сыновей от второго брака, Василия Львовича и Александра Львовича. Разговор превратился в общий...

Эти вечерние разговоры у Давыдовых собирали немало народу. И генерал Раевский участвовал в них. И Александр Николаевич, от которого Пушкин многого в будущем ждал. Пушкин дружбою с Александром Раевским гордился. Якушкин, видя его восторги, с улыбкой пожал плечами. Старший сын генерала Раевского бурвил Якушкина колкими взглядами, не умея скрыть сво-

его любопытства, и это казалось Якушкину неприятно. Раевский явно не верил, что генерал Орлов, случайно встретя Якушкина на дороге, чуть не силой сюда его затащил. Александр Николаевич догадался давно, что в Каменке неспроста собрались. Донимал непонятого гостя вопросами, от которых Якушкин мучительно мялся, не зная, что говорить.

И чтобы спасти Якушкина от его домогательств, Орлов, Охотников и Василий Львович Давыдов затеяли сбить Раевского с толку. Открытый спор заведи: есть ли польза от тайных обществ и могут ли возникать таковые в России? Раевского выбрали председателем в этой дискуссии. Он с неприятной серьезностью управлял разговором и, когда слишком шумели, звонил в колокольчик. У него каждый слова просил, а потом объявлял свою точку зрения.

Михайла Орлов поставил вопрос ребром: полезно ли вообще учреждение тайных обществ? В России... Обсудил это с разных сторон, привел доводы за и против.

Охотников и Давыдов, ему подыгрывая, задавали вопросы и сами высказывали предположения.

Спор готов был стать интересным.

Якушкин взял слово и выдвинул некоторые причины, вследствие которых, сказал он, бессмысленно и невозможно создать в России тайную организацию. Якушкин выступил с непонятной горячностью, и Раевский вдруг стал ему возражать, доказывая прямую необходимость создания тайного общества, на что строгий Якушкин заметил:

— Могу доказать, что вы шутите, Александр Николаевич. Я предложу вам вопрос: что, если бы тайное общество существовало, — вы бы вступили в него?

— Непременно! — сказал, не задумываясь, Раевский.

— Вашу руку! — обратился к нему Якушкин торжественно.

Но когда Раевский протянул ему руку, Якушкин засмеялся и произнес, вытирая слезы:

— Разумеется, это все — только шутка!

Глядя на них, и другие смеялись. Исключая двоих. Не смеялся толстяк Александр Львович Давыдов, проспавший весь этот спор, сидя в кресле. Разбуженный, он озирался в недоумении. А Пушкин едва не заплакал с досады: снова все обернулось шуткой! Он готов был поверить, что общество — вот оно. И он сам в числе из-

бренных. Смех оскорбил его. Раскрасневшись, Пушкин встал и сказал со слезами в голосе:

— Злая шутка! Еще никогда не был я столь несчастен, как ныне. Я только что видел жизнь свою благополучной, видел перед собою священную цель, а что вышло? Шутка...

Он показался Якушкину в этот момент прекрасен.

15

Орлова уговорили приехать в Москву.

Но то, что случилось там, до глубины души потрясло Якушкина.

Кто кого на московском съезде не понял?

Орлов по бумажке прочел совершенно несусветную речь. В ней со всею серьезностью излагались некие немислимые «условия». От общества генерал Орлов потребовал всей полноты полномочий, дабы в случае непонятно какого стечения обстоятельств он мог действовать по своему усмотрению. Орлов утверждал, что в руках у него дивизия, за которую он готов поручиться. Он предлагал устроить тайную типографию, где печатались бы статьи против правительства. Но что больше всего смутило — Орлов посоветовал организовать фабрикацию фальшивых ассигнаций, чтобы таким путем подорвать правительственный кредит, а тайному обществу дать в руки средства неограниченные...

Выслушали Орлова с недоумением. Никто не принял всерьез его неистовых мер. Якушкин подумал: уж не пришло ли на ум генералу Орлову над ними так подшутить?

Орлов, ощутив это сердитое недоумение, аккуратно сложил свою речь, надорвал ее и сказал тоном очень спокойным, что покидает общество, где никто не нашел возможным его поддержать.

В Москве Орлов пробыл несколько дней, но ни с кем больше ни разу не встретился. Уезжал, не прощаясь. Однако, уже перед выездом, одетый по-дорожному, заглянул на несколько минут к Фонвизину, где и Якушкин жил. Он протянул Якушкину руку и, тепло улыбаясь, произнес:

— Вот человек, который никогда меня не простит!

Якушкин передернул нервно плечом и ответил в том смысле, что, дескать, если успеем, Михайло Федорович, то мы еще вместе с вами порадуемся успеху нашего об-

щего дела, а если с вами вместе не выйдет — порадуемся и сами, без вас...

Орлов Якушкина слушал внимательно, а выслушав — бросился обнимать.

А может быть, подумал Якушкин, когда он уехал, речь Орлова на съезде не шутка была, а действие, рассчитанное заранее, — с целью почетного выхода из тайного общества. И причиной была его предстоящая женьба...

Говорили про генерала Орлова, что Раевский, старик, предложил ему выбор: либо он оставляет опасные бредни и женится, либо... Будто бы он сказал, что не разрешит дочери связывать свою судьбу с безнадежной судьбой заговорщика. Якушкин про это слышал и поверил.

Непонятно только, почему же нехитрый Волконский, признавшийся откровенно, что тайного общества не оставит, не встретил препятствий со стороны генерала Раевского, своего тестя? Слишком выгодный был жених? А Орлов... Орлова старик Раевский любил, как сына. После случившейся с ними беды от Волконского все Раевские отступились; отец, убеждая Машу не ехать в Сибирь за мужем, ей говорил, что Волконский там все равно сопьется — себя и ее погубит! Орлова они спасали всем миром.

И неужели Орлов не нашел бы другого способа, менее шумного, уклониться от опасной судьбы?

Может быть, он всерьез предлагал свои «неистовые меры», и его просто не поняли — не пожелали понять!

Пушкин, и ничего об этом не зная, чувствовал обостренно кишиневское состояние генерала Орлова — чего-то необычайного ждал от него. В Екатерине Орловой, старшей дочери генерала Раевского, Пушкин видел незаурядную личность. Работая над «Борисом Годуновым», он Вяземскому писал: «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова! Знаешь ее? Не говори, однако ж, этого никому».

Что он хотел сказать? Не это ли:

... Слова не нужны. Верю,
Что любишь ты; но слушай: я решилась
С твоей судьбой и бурной и неверной
Соединить судьбу мою...
Я требую, чтоб ты души своей
Мне тайные открыл теперь надежды,
Намеренья и даже опасенья;
Чтоб об руку с тобой могла я смело
Пуститься в жизнь — не с детской
слепотой,
Не как раба желаний легкого мужа,
Наложница безмолвная твоя,
Но как тебя достойная супруга,
Помощница...

16

Орловская дивизия стояла у границы, вблизи которой назревали события чрезвычайные: греческое восстание против трехсотлетнего турецкого ига. Восстание готовилось, и об этом Орлов имел, вероятно, сведения от старинного друга его, воевавшего в русской армии против Наполеона, генерала на русской службе, хотя и без определенной должности, князя Александра Ипсиланти, греческого горячего патриота — одного из руководителей восстания.

В кишиневском доме Орлова Ипсиланти был гость желанный, как и его младшие братья, офицеры. Семейство князя Ипсиланти, мать и сестры, из которых одна была фрейлина, а другая замужем за кишиневским гражданским губернатором Катакази, находились тут же, в Кишиневе. Частые визиты князя Ипсиланти к Орлову не могли вызвать подозрений...

Генерал русской службы Ипсиланти не любил, однако, мундира и хаживал обыкновенно к Орлову в синей венгерке, напоявшею несколько греческую одежду, по-домашнему.

Их с генералом Орловым часто видели вечером за бостоном.

Какая игра увлекала их?

Ипсиланти убеждал генерала Орлова принять со своей дивизией участие в предстоящем греческом восстании против турок. Русское правительство, говорил Ипсиланти, не может не поддержать греков, единоверцев своих, в их

благородном деле. . . Поддержит ли? — сомневался знавший придворные нравы Орлов. А если б и поддержало, не слишком ли долго пришлось бы ждать из Петербурга приказа. . . Орлов прикидывал мысленно, что случится, когда он с дивизией выступит, не дождавись приказа: одно из двух — или Россия тут же объявит войну Турции, что маловероятно, или же он, Орлов, будет обвинен в нарушении соглашения между Россией и Турцией о невмешательстве в греческие дела. Окажется вне закона.

— Меня тут же сместят с моей должности, — говорил Орлов, удерживаясь, чтобы не встать из-за стола, и забыв о картах.

— Что же с того! — возражал Ипсиланти спокойно. — Ваша дивизия будет уже за Дунаем. . . Или вы не уверены в вашей дивизии?

В своей дивизии генерал Орлов был уверен.

Офицеры старой закалки, привыкшие к рукоприкладству, боялись его, а солдаты боготворили: они бы за ним отправились на край земли. . .

Знал ли Орлов о предстоящих событиях в Греции, когда в Москве предлагал свои странные меры и требовал для себя всей полноты полномочий? Скорее всего, что знал и по-своему пробовал почву: какое произвело бы все это впечатление в обществе — поддержал ли бы кто-нибудь его дерзость?

Греческое восстание началось в феврале 1821 года, вскоре после возвращения генерала Орлова из Москвы.

Что за страсти в это время кипели в его беспокойной душе?

«Восторг умов дошел до высочайшей степени, — писал Пушкин в начале марта 1821 года в письме, которое неизвестно было ли кому-либо отправлено, — все мысли устремлены к одному предмету — к независимости древнего Отечества. В Одессах я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах — везде собирались толпы греков, все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты, все говорили об Леониде, об Фемистокле, все шли в войско счастливца Ипсиланти. Жизнь, имения греков — в его распоряжении. Сначала имел он два миллиона. . .»

«Романтический трагик принимает за правило одно вдохновение», — писал Пушкин в каком-то из писем Вяземскому.

И Михайла Орлов по натуре был «романтический трагик». Он ощущал нутром, что Россия готова к взрыву. Где это начнется — ему казалось неважно. Пусть на юге! Серьезный толчок, думал он, и все стронется — тогда уж не остановишь. . .

Еще прошлым летом Орлов писал скептику Александру Раевскому: «У французов загорается, и это не кончится. В Турции тоже беспокойно. . .»

Воочию представлялось ему освобождение греков.

«Ежели б 16-ю дивизию пустили на освобождение, это было б нехудо, — писал он Раевскому. — У меня шестнадцать тысяч под ружьем, тридцать шесть орудий и шесть полков казачьих. С этим можно пошутить!»

Генералу Орлову жгли руки эти шестнадцать тысяч штыков. . .

А недавний бунт в Сербии?

Вспыхивало повсюду. Орлову мерещились грозные пожары и нестерпимо хотелось неистовых, безоглядных, невиданных дел. И для этого он потребовал полномочий у тайного общества. Не захотели его понять. Обернули все дело малоудачной шуткой.

Вся переписка Михаила Федоровича Орлова и почти все его разговоры, он это знал, находились под постоянным контролем правительственных шпионов. Нельзя было сомневаться, что царь его полагает в числе опаснейших лиц.

Когда случились греческие события и несколько греческих патриотов, состоявших на русской военной службе, тайком перешли границу, чтобы присоединиться к восставшим, в Петербурге, естественно, встал вопрос: какова была роль генерала Орлова в происходящем и знал ли он обо всем этом заранее?

Официальные данные категорически показывали: нет, Орлов ничего такого не знал. . .

Тут особенно любопытны позднейшие, уже после смерти Орлова писавшиеся воспоминания загадочного русского иностранца Ивана Петровича Липранди, нес-

шего разнообразную службу при штабе орловской дивизии.

К Липранди, незаурядного ума человеку, Орлов проявлял несомненное расположение. Знал, что Иван Петрович с охотой вступил бы и в тайное общество, будь это ему предложено. И кое-кому казалось, что в обществе он был бы человеком весьма полезным, однако Орлов полагал, что Липранди не надо в тайное общество принимать. У генерала Орлова были на этот счет определенные соображения, которых он не высказывал.

По должности в штабе и по призванию Липранди был военный разведчик. Много позже и при других уже обстоятельствах он себя показал и как опытный провокатор — в деле «петрашевцев».

Роль этого человека при генерале Орлове не до конца понятна. Хотя все говорит о том, что его личное отношение к Михаилу Федоровичу, безусловно доброе, в итоге возобладало над всем.

И с опальным Пушкиным в Кишиневе Липранди сблизился тесно, вопреки различию в возрасте и привычках: увлек поэта в отношения самой доверчивой дружбы, брал с собой, отправляясь в служебные командировки. Пушкин Вяземскому писал о Липранди: «Он мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством и в свою очередь не любит его».

Липранди в старости помнил отчетливо канун известных событий: кишиневскую масленицу и костюмированный бал у губернатора Катакази, женатого на сестре князя Ипсиланти. На маскараде молодые князя Николай и Георгий, как и сестры их, появились в греческих национальных костюмах, и в публике возникло заметное оживление: в связи с этой патриотической демонстрацией.

Известие о кишиневском бале на масляной докатилось до Петербурга преображенное: демонстративный маскарад происходил, дескать, на балу в доме генерала Орлова!

Липранди подчеркивает в мемуарах такую, казалось бы, мелочную неточность. Орлов, замечает он, тогда еще не был женат и у себя не устраивал балов. Однако на

губернаторском празднике он, генерал Орлов, не мог не присутствовать.

Орлов и князь Ипсиланти, в русском генеральском мундире, припоминает Липранди, играли в тот вечер в бостон.

Через несколько дней Ипсиланти с младшими братьями отправился в Скуляны, что само по себе никого не насторожило: они туда ездили часто, имея там собственные дела. У генерала Ипсиланти был заграничный паспорт, он этим паспортом воспользовался. Так в русском мундире и прибыл в Яссы.

На третий день после выезда Ипсиланти из Кишинева Липранди, как обычно, обедал у генерала Орлова. Во время обеда курьер из Скулян привез донесение о происшедшем. Он, Липранди, сам был свидетель удивления генерала Орлова и распорядительности его: Михайла Федорович, не оставляя обеда, приказал бывшему тут же старшему адъютанту Калакуцкому, сразу как встанут из-за стола, приготовить рапорт корпусному начальству, а поручику Таушеву — после обеда свезти донесение в штаб корпуса. . .

Спустя два часа был послан офицер с распоряжением усилить надзор на кордонах по Пруту.

Назавтра с таким же заданием был отправлен в Скуляны и сам Липранди.

Орлов оперативно действовал. И его удивление по поводу случившегося показалось естественно.

Все это, однако же, не исключает возможности, что перед своим отъездом в Скуляны мятежный греческий князь в генеральском русском мундире заходил к Михаилу Орлову проститься и сделать ему последний, самый горький упрек.

Потом поступили известия о поражении греческих патриотов.

«Спешу закончить это письмо и сказать вам, что вас люблю от души и любить буду целую мою жизнь, как бы она долга ни была», — писал генерал Орлов.

Он отправил письмо Екатерине Раевской 9 марта 1821 года.

Она писала ему в тот же день. Но в ее письме нежности не было. Только язвительные уколы по поводу самонадеянных греков — ответ на его изъявление чувств относительно тех событий!

Эти привычные колкости задевали генерала Орлова гораздо сильнее, чем казалось ей. Орлов огорчился всерьез письмом Екатерины Николаевны, сколком с позиции брата ее Александра. Он этого не скрывал, отвечая, хотя приписывал: «Бог вам простит. Что бы вы ни делали, я вас ни более ни менее любить не могу!»

«Ежели некоторые части моих писем вам не нравятся, — писал он ей, — то по крайней мере вы должны быть довольны моей точностью в известиях о здешнем крае. Не смейтесь над Ипсилантием. Тот, кто кладет голову за отечество, всегда достоин почтения, каков бы ни был успех его предприятия. Впрочем, он не один, и его покушение не презрительно ни по намерению, ни по средствам. Из моих писем вы все знаете, но прошу вас их не разглашать, особливо сие последнее и предыдущее. То есть те вещи, которые не требуют разглашения, как например, образ действия и создания тайного общества и участия наших вельмож в оном. . .»

Речь идет, разумеется, о греческом «тайном обществе», подготовлявшем мятеж. В предыдущем письме от 9 марта Орлов сообщал Екатерине Николаевне кое-какие подробности восстания Ипсиланти, в которых хорошо был осведомлен.

«Участие вельмож наших в оном» — на языке того времени означало лишь сочувствие единоверцам грекам со стороны русского штабного начальства, готового и помочь им, но, понятно, с согласия правительства.

«Дело идет не на шутку, — писал в связи с этим восстанием генерал Киселев. — Крови прольется много, и, кажется, с пользой для греков. Нельзя вообразить себе, до какого состояния они очарованы надеждою спасения и вольности. . . Все жертвуют всем и с восхищением — собою для отечества! Что за время, в которое мы живем. . . Какие чудеса творятся и какие твориться будут еще. Ипсилантий, перейдя границу, перенес уже имя свое в потомство. . . Помогите ему бог в святом деле! Желал бы прибавить: и Россия!»

Дальше эмоций, по всей видимости искренних, «участие» вельмож не простиралось.

Царь имел свою точку зрения: греки, считал он, восстали против «законного» ига турок, а стало быть — мятежники. Мятежу он не мог потворствовать.

Эмоциям «наших вельмож» — они теплились все лето — положил конец скучный рескрипт князя Петра Михайловича Волконского из Петербурга: «е. в. угодно, —

указывал он, — чтобы отнюдь не подавать повода... почему и должно вам быть весьма во всех действиях осторожными».

«...Я просил позволения отлучиться от дивизии и, ежели позволят, то сейчас явлюсь в Киеве, — писал невесте Орлов 21 марта 1821 года. — Посылаю вам новые известия и целую ручку вашу, несмотря на то, что она пишет такие холодные письма».

Он еще добавлял: «Записка вашего батюшки, сколь она ни коротка, более любезна, чем ваше письмо. Извлеките из нее две фразы: *Мы чувствуем ваше отсутствие*, и еще: *приезжайте обнять меня*».

Имея военный опыт и догадываясь о позиции Петербурга, Орлов не питал иллюзий. Понимал, что с надеждами греков кончено...

С чистой совестью в Киев собрался, зная, что здесь уже никому ничем не в силах помочь. Ехал, чтобы жениться.

Для Пушкина эта орловская женитьба весной 1821 года грянула громом среди ясного неба. И не столько была неожиданна, как неуместна, несвоевременна. Ему даже вспомнилась его старая неприличная эпиграмма на Михаила Орлова.

7 мая 1821 года Пушкин писал Александру Ивановичу Тургеневу: «В нашей Бессарабии в впечатлениях недостатку нет. Здесь такая каша, что хуже овсяного киселя. Орлов женился; вы спросите, каким образом? Не понимаю... Голова его тверда; душа прекрасная; но черт ли в них? Он женился; наденет халат и скажет...»

...Греками Пушкин был восхищен и какое-то время надеялся, но тоже понял, что ничего не будет. Кончилось *ожидание*.

В январе 1822 года он сообщал с облегчением Вяземскому про «Рейна»: «все тот же он, не изменился, хоть и женился...»

В Кишиневе генерал и его молодая жена — Екатерина Орловой исполнилось двадцать два года — появились в начале жаркого лета. Екатерина Николаевна сохраняла свой иронический пыл и к супругу обращалась словами:

«господин мой и повелитель». Орлов принимал ее обращение благосклонно.

Их быт кишиневский представлялся боярским: сняли два дома рядом — петербургские сплетни доносили, что пять домов! — и держали открытый стол. Ежедневно за обедом сходилась толпа народу. Давали балы. Летом устраивали загородные прогулки.

Пушкин долго оставался в этом доме своим. Стихи сочинял, лежа на диване в орловской гостиной, напялив на бритую голову турецкую феску. Приятелям с шутовскою досадой писал, что его на орловских обедах обносят блюдами: прислуга носит кушанья по чинам! Зоркий и памятный Липранди потом опроверг его, утверждая — со знанием дела! — такого быть не могло: прислуга у Орлова была вышколенная и вольничать не посмела бы, а хозяин подобного не терпел.

Екатерина Николаевна брату Александру писала: «Пушкин больше не корчит из себя жестокого; он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно. . .»

И в другом письме: «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек — вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать их нарушителями общественного спокойствия».

И Пушкин друзьям сообщал: «С Орловым спорю. . .»

«Впрочем, — признавался он Александру Ивановичу Тургеневу, имея в виду страсти 1821 года, — это мой последний либеральный бред».

То же самое мог бы сказать и Орлов.

Когда Екатерина Николаевна уезжала в Киев проводить своих, Орлов писал ей частые коротенькие реляции о мирном своем житье: «К обеду собираются мои приятели. После обеда иногда езжу верхом. Третьего дня поехал со мною Пушкин и грохнулся оземь. Он умеет ездить только на Пегасе да на донской кляче. . .»

Но что-то потом случилось.

Сохранилось пушкинское недописанное письмо, черновик по-французски, возможно, что так никому и не отправленное, без адресата: «Не из дерзости пишу я вам, но я имел слабость признаться вам в смешной страсти и хочу объясниться откровенно. . . Не притворяйтесь, это было бы недостойно вас — кокетство было бы жестоко-стью, легкомысленной и, главное, совершенно бесполезной; вашему гневу я также поверил бы не более — чем я могу вас оскорбить? Я вас люблю с таким порывом нежности, с такою скромностью, — даже ваша гордость не может быть задета. Будь у меня какие-либо надежды, я не стал бы ждать кануна вашего отъезда, чтобы открыть свои чувства. Припишите мое признание лишь восторженному состоянию, с которым я не мог более совладать, которое дошло до изнеможения. Я не прошу ни о чем, я сам не знаю, чего хочу, тем не менее я вас. . .»

В шутивных письмах приятелям Пушкин повторял иногда проверенные в разговоре остроты.

«Здесь в Кишиневе, — писал он, — все хорошенькие женщины имеют, к сожалению, мужей, кроме мужей — чичисбеев, а кроме их — еще кого-нибудь, чтобы не скучать. . .»

Казалось бы, нетрудно себе представить в роли «чичисбея», надежного друга дома, а если надо — и телохранителя, который в отсутствие мужа сопровождает даму, например — благородного Охотникова, тогда как Пушкин. . .

Однако дама и рассердиться могла — «кто-нибудь» был бы довольно грубо поставлен на место.

Но Пушкин. . . Что у них напоследок с Орловым произошло?

Вяземскому Пушкин писал с несвойственным ему натужным юмором: «Кстати, не знаешь ли — минуло ли пятнадцать лет генералу Орлову? или нет еще?»

Отчего вдруг. . .

Спустя пять месяцев — уже Орлов был отстранен от дивизии — Пушкин в письме к тому же Вяземскому бросает обоим понятное: «А Орлов?»

В начале сентября 1821 года слух донесся к Орлову, что друг его изгнан со службы и что ему запрещен въезд в Варшаву и обе столицы. Орлов удивился невиданной строгости.

Но, как водится, слух оказался преувеличен. Вяземский сам подал в отставку, оскорбленный недоверием к нему правительства. Узнав об этом поступке от Вяземского, Орлов отозвался ответом неодобрительным: он понял бы, если бы Вяземский службу оставил из личных соображений или для пользы дела, при чем тут гордыня?

«Ежели ты изволил разгневаться и, желая еще служить, оставил службу, — писал он, — то это непростительно. Или ты был полезен, или нет. В первом случае должно было остаться и продолжать быть полезным, или изыскать новое средство подвизаться на новую пользу... Вспомни, кому ты служишь? Отечеству. Оно тебя не отвергало и не отвергнет. Что касается до частных неприятностей от начальствующих лиц, то кто оных не имел?»

Для Орлова это жизненный принцип.

Полтора месяца спустя арестовали майора Владимира Федосеевича Раевского и началось непонятное «дело Орлова», казавшееся сперва пустым, после — раздутым. Шло время — «дело» тянулось туго, обрастая нелепыми слухами. В общем вранье не различить было сути.

Вообрази, растерянно объяснял Вяземскому Орлов в ноябре 1822 года, собрание глупой черни, смотрящей на воздушный шар. «Одни говорят — это черт летит, другие — это явление в небе, третьи — чудеса и пр. и пр. Спускается балон, и что ж? Холстина, надутая газом. Вот все мое дело. Когда шар спустится, вы сами удивитесь, что так много обо мне говорили...»

Было так и не так. Орлов из последнего сопротивлялся унынию. В «деле» все отчетливее просвечивала тупая безнадежность. Какие-то силы, ему враждебные, судя по всему, были заинтересованы в том, чтобы «шар» спустить втихомолку: и не было бы ни чуда, ни явления в небе, ни черта... Спускал потихоньку орловское «дело» приятель его Киселев. Под его наблюдением допрашивали майора Раевского. Раевский, как и рассчитывал Киселев, не признал ни единого из предъявленных ему

обвинений, ни в чем не сознался. Письменные улики были истреблены. Оставались доносы.

В ходе следствия, по мысли Киселева, допущенные Орловым «ошибки» не должны были перерасти в происшествие политическое.

И наверху не хотели скандала.

Император Александр считал преждевременным и опасным делом приступать к широким репрессиям против тайного общества, силу которого он чрезвычайно преувеличивал. Уже вся армия представлялась ему зараженной. Царь боялся найти в кругу заговорщиков и своих генералов — дерзкого Ермолова, упрянца Раевского, отчаянного Орлова. . . Ему подозрителен стал и уклончивый Киселев.

На совет Бенкендорфа принять меры государь ответил: «К чему пронзать шпагой воду!»

В итоге майора Раевского заключили в дальнюю крепость и забыли там.

Генерала Орлова приказано было «числить по армии» — с тайной оговоркой: ~~никогда и ни в какой~~ должности не употреблять. . .



Восьмая тетрадь

1

Летом 1819 года Трубецкой уехал в Париж, взяв отпуск без ограничения срока — для лечения. Пришлось поступиться правилом: до сих пор Трубецкой избегал адъютантской службы, но — чтобы не проситься в отставку — он прицепил серебряный аксельбант. Штабному адъютанту проще было уехать в Париж на два года. Он ехал, сопровождая кузину, княгиню Куракину, дабы избавиться от хлопот иметь свой экипаж, а в Париже поселился с другой двоюродной сестрой, Татьяной Борисовной Голицыной, по мужу — Потемкиной. С отставным преображенским полковником Александром Михайловичем Потемкиным, «двоюродным зятем», был в дружбе. В Париже они снимали квартиру вместе и жили строго, семейно.

Незадолго перед отъездом Николай Иванович Тургенев уверял Трубецкого, что в Париже можно жить со всеми приятностями и недорого. Только надо отказаться от покупок в Палерояле и, естественно, не играть. Также не знакомиться с красавицами из Палерояля: они привлекательны чрезвычайно, однако стоят всего дороже...

Трубецкой, как тогда говорили, был человек, имеющий правенла. В личных потребностях неприятельный, в ма-

нерах скромный, сдержанный, как англичанин. В тридцать лет еще одержимый желанием учиться.

Он жил в Париже студентом. Слушал в Сорбонне курсы наук естественных, но ходил и на лекции других именитых профессоров, из любопытства. С разрешения французского военного министра посещал специальные курсы в Политехнической школе. На эти лекции с ним ходил и Потемкин.

Они с Потемкиным побывали на заседаниях французского парламента. Слушали речи депутатов — их «прежня». Издали заманчивый, европейский парламентаризм на Трубецкого вблизи произвел впечатление странное, чтобы не сказать безотрадное. Не без иронии писал он Ивану Николаевичу Толстому: «Я тебе еще, кажется, никогда не говорил о здешней палате депутатов — она достойна замечания: о пользе в ней никогда не рассуждают, но беспрестанно бранятся; все разделены на мелкие отделения, которые друг друга ненавидят. Один разинет рот, а все противные ему партии кричат и не дают ему говорить. Эта комедия всякой день возобновляется! Общество здешнее также разделено, и хотя я от оного удаляюсь и ни с какою партиєю не являюсь, однако ж встречаюсь с французами, и, как ни удаляйся от сих разговоров, но поневоле иногда на вопрос их отвечаешь, и беда — если не согласно с мыслями его партии, и если не станешь вместе с ним других ругать, то просто тебя изругают. Хоть какого охотника спорить так отучат...» Письмо это из Парижа отправлено в марте 1820 года.

Трубецкой на следствии скажет, что ни с кем из парижских либералов не был знаком, только видел их издали. Его пытались уличить в связях с иностранными тайными организациями и в том, что будто бы он в Париж привозил для утверждения проект русской конституции. Трубецкой возразил: у них не было еще тогда никакого проекта. И какое могло быть утверждение за границей русской конституции? — возмутился он искренне. К чему бы им были тайные связи с иностранцами? «Я на оные, с своей стороны, никак бы не согласился, — писал в показаниях Трубецкой, — ибо я мог заблуждаться насчет пользы государства, но я не мог обманываться, что ино-

странные державы, когда вмешиваются в дела других, то не иначе как во вред им. Особенно же касательно России иначе быть не могло, потому что всем известно, сколько иностранные дворы страшатся ее силы».

2

В Париже встречалось много бывших, да и не только бывших русских военных; все они одевались во фраки. Когда-то на этот счет существовало прямое распоряжение императора Александра — не следует раздражать побежденных. Орденская ленточка в петлице фрака иной раз давала повод для нечаянного скандала в общественном месте или просто на улице. За негромким скандалом неизменно следовал вызов, и дуэли часто имели смертельный исход.

Князь Трубецкой мало походил на военного: долго-вязый, сутуловатый, спокойный. Чувства не отражались на его бледном лице. Черные глаза на мир смотрели внимательно и дружелюбно. Одевался он хотя скромно, однако же в соответствии с парижской модой. В синий фрак с бархатным узким воротником и светлыми пуговицами, — таких еще не носил тогда всякий встречный и поперечный. Может быть, фрак сидел на нем чуть небрежней, чем это предписывал безупречный вкус, но батистовый белый галстук, жилет и твердые воротнички крахмальной рубашки отличались безукоризненной свежестью. Рыжеватые волосы кудрявились, а узкие бакенбарды были подбриты в направлении рта — это называлось «уздечкой».

Светские удовольствия Трубецкого не занимали. Исключая театра... Парижский театр — не забава. Он — жизнь, ее кипучее жерло. На сцене старейшего национального театра Расин и Корнель привлекали больше иностранцев, а парижане предпочитали иные спектакли. Кумир их был тот же великий Тальма. С небывалым триумфом он выступал в новомодной трагедии на римский сюжет.. Было время, Тальма давал уроки пластики Бонапарту, а теперь в его благородной жестикующей публике узнавала своего *Великого Императора* и волновалась — особенно в сцене отречения диктатора, гордо и горестно слагавшего с себя власть над Римом.

Его монолог поднимал всех на ноги — стоя зал предавался неистовым рукоплесканиям.

Русские молодые аристократы, которым не довелось воевать, насмешливо глядели на этот театральный триумф парижан, ничего в нем не видя, кроме дурного вкуса. Смешны им казались потуги театра потрафить народным страстям...

Трубецкого народные страсти заставляли задуматься.

А больше всего поражала терпимость здешних властей: никто не пытался или не смел воспрепятствовать проявлению этих чувств! Тальма был замечательно смел, не скрывая своей — и всего Парижа — ненависти к Бурбонам.

Отношение парижан к Бурбонам не сводилось к таким театральным страстям. Трубецкой мог стать свидетелем и вполне реальной трагической сцены.

В оперном театре все русские даже чаще бывали: они любили поспорить, сопоставляя достоинства здешних и петербургских танцовщиц, — первейшая из корифеек французских не стоила ножки Истоминой!

Трубецкой жил в Париже, когда в толпе, выходявшей из оперного театра, был заколот герцог Беррийский — из ненавистной народу династии; Лувель, парижский ремесленник, подошел к нему и ударил кинжалом в грудь; раненого внесли обратно в здание Оперы, священник успел причастить умиравшего...

...В Париже Итальянская опера, где бесменно царил Россини, собирала самую знатную публику, разодетую, как для бала. Первый тенор особенно славился — Иванов. Из петербургских придворных певчих. Посланный доучиваться в Италию, он потом предпочел благосклонность парижской знати. Пожалуй, дома он снова стал бы рабом, и его могли бы высечь на съезжей за неверно взятую ноту.

В Итальянской опере Трубецкой мог бы встретить семейство графини Лаваль...

В Париж Лавали приехали немного поздней Трубецкого, задержавшись в Варшаве; они оставались за границей тоже два года.

Лавали всему Петербургу были слишком известны, чтобы и Трубецкой не был с ними знаком, но с девицами он познакомился только в Париже. Три старшие дочери графини Лаваль были уже невесты; четвертая, хорошень-

кая, ребенок еще. Разумеется, князя звали запросто приходить.

Салон графини Лаваль и в Париже славился. Как прибежище роялистов. Молодежь из русских, либералисты, этот салон находила скучным. Графиню и графа любезно принимал королевский двор. Людовик Восемнадцатый, подаривший им графский титул, просябая в Митаве, одадживался у них. . .

Князь Трубецкой всю жизнь учтиво платился визитами. Возможно, посетил и Лавалей. Но временем он дорожил и слыл всегда домоседом. Для того ли он ехал в Париж, чтобы снова томиться на скучных балах, в салонах, где и лица неотличимы от петербургских? Вот только наряды у дам и девиц откровеннее. Дома таких декольте не знали еще. Трубецкой не был вовсе педант, несмотря на английскую выучку. В его чуткой натуре что-то осталось и от грузинских предков. Старшая дочь графини Лаваль несомненно могла бы обратить на себя внимание князя в парижском модном наряде: у нее были красивые руки и плечи, кожа нежная, белая — лучшее, что ей досталось от купеческой уральской родни. Лицом Каташа совсем не была хороша: скуласта, курноса, со следами от оспы. И ростом невелика. В свои двадцать лет — полновата. Парижское декольте, однако, могло ее сделать неотразимой. Впоследствии Трубецкой говорил, что был в нее страстно влюблен. Да он и спустя тридцать лет после свадьбы мог бы то же сказать. Человек по натуре мягкий и кроткий, не смевший сделать выговора слуге, он, как только женился, напрочь запретил княгине Катерине Ивановне носить открытые платья. Ей пришлось отказаться от женского маленького тщеславия, и, вопреки упрекам подруг, шить платья, какие впору надеть сорокалетней старухе. «Так мужу нравится», — объясняла она. И глаза у нее были синие-синие, удивительные глубиною и чистотой.

Но Трубецкой-то ее разглядел и в Париже не сразу. А приметив, не торопился принять решение. Нерешительный был человек. Что-то прикидывал, размышлял и, похоже было, свататься вовсе не собирался. Бог знает, чем все бы кончилось, если бы не кузины. . .

Каташа, старшая и любимая дочь богатейшей наследницы уральских горнозаводчиков Александры Григорьевны Козицкой — нынешней графини Лаваль, кузинам не могла не понравиться. Доходы от горных заводов — не мужики, которых упрямый братец надеялся как-нибудь

отпустить на волю. А и без этого был совсем не богат. И с его характером не найти лучшей жены, чем Каташа: умна, и мила, и добра — даром что некрасива! Князь был человек образованный и приятный, но бесхарактерный, а ко всему — ревнивый. . .

В их вторую и последнюю парижскую зиму, — когда тоска по дому давала о себе знать и хотелось поговорить по-русски, чаю напиток из самовара, — графиня Лаваль с дочерьми стала часто проводить вечера у Потемкиных. Русские скучали в Париже без этого будничного домашнего общения, что совсем не принято у французов. «Маленькие вечера» — их так называли. Танцевали и музицировали. Сестру Катерины Ивановны — Зину — в Париже учили знаменитости, она была чудесная пианистка.

Может быть, Потемкины и презирали в душе Лаваль с их купленным графством, но обществом их не гнушались. Александра Григорьевна, умнейшая женщина, умела к себе привлечь. А Лавалю хотелось короче сойтись с настоящею знатною, и князь Трубецкой, с породой его, и родством, и знакомством, любого приданого стоил, будь он и нищий; как-никак — у него двести душ. . .

Тут его домоседство кстати пришлось; вечерами князь и в Париже охотно оставался дома. О чем-то они с Каташей беседовали серьезно, Каташа была умна и внимательна к людям, — друг друга нашли. Трубецкой тоже не был собою хорош, но женщинам нравился. Искренностью, возможно, душевную теплотой. . .

В эту зиму она жила как над омутом.

Трубецкой не спешил с объяснением. И вторая зима кончалась. Говорили уже об отъезде домой. Трубецкой в Петербург собирался; Лавали — в Италию. Ничего не было решено.

В марте 1821 года в Петербурге арестовали четырех офицеров Семеновского полка, в числе их — приятелей Трубецкого; Иван Вадковский, Трубецкому родня, и Щербатов о тайном обществе знали. . .

Библиотекарь генерального штаба Грибовский, предатель, назвал в своем доносе десятки имен, включая и Трубецкого. Возможно, он об этом узнал еще в Париже. Имея повсюду родню и друзей, Трубецкой был слишком осведомлен обо всем, чтобы жить спокойно.

Ему самому пока ничто не грозило: в январе 1821 года ему заочно устроили перевод из Семеновского в Преображенский полк. И во время семеновских беспоряд-

ков Трубецкой находился в Париже, являясь по существу штабным адъютантом.

Трубецкой понимал, как мало все это значит. Незвестность ждала его в Петербурге. Мог ли он всем этим пренебречь, собираясь связать свою судьбу с чьей-то другой?

3

Жены о тайнах своих мужей в большинстве знать не знали и ведать не ведали. По всему бы и Катерине Ивановне Трубецкой так естественно было ни о чем не подозревать. Ее сестры, родственники, подруги, когда приключилась беда, уверены были, что для Каташи это такая же, как и для них, совершенная неожиданность. Да что неожиданность! — никто и не верил, что Трубецкой мог иметь причастность к таким делам...

Но достоверно известно, что княгиня Трубецкая все знала и что в ее присутствии велись опасные разговоры.

Их обвенчали 12 мая 1821 года, в Париже, — очевидно, в той маленькой церкви при русском посольстве, которая тогда была в Париже единственным православным храмом.

В начале сентября 1821 года Трубецкие приехали в Петербург и никогда больше за границу не выезжали.

Возвратившись с любимую страстно женою, Трубецкой погрузился в заботы домашние, закружился в кругу непременных визитов, обедов и балов; часть времени отдавал служебным обязанностям штабного дежурного офицера, — еще находясь в Париже, он был произведен в полковники гвардии.

Трубецкой потом говорил, что не мог ни на единый миг освободиться от чувства тревоги, владевшей им, — ждал катастрофы.

Не мог он не думать об этом и накануне свадьбы. Думал, что должен предупредить Катерину Ивановну, какое будущее их ждет.

Человек нерешительный и привыкший обдумывать каждый ответственный шаг, но при этом способный и на шаги вовсе непредвиденные, он, пожалуй, мог засомневаться и в последний момент: ведь семейные радости и государственный заговор — вещи несовместимые!

Почти все друзья Трубецкого, женившись, отходили от тайного общества. Подавали в отставку. Уезжали в деревню. И Александр Николаевич Муравьев, и Фонвизин, и единственный князь Шаховской, и Якушкин...

Якушкин тоже в начале 1823 года женился. На очень юной девице, влюбленной в него, Анастасии Васильевне Шереметевой.

Двое поступили иначе: Трубецкой и Никита Михайлович Муравьев.

На следствии оба с единодушием редкостным ссылались на светский круговорот — на обеды и балы, не оставлявшие будто бы им времени для общественных дел. Оба, кстати, завязтые домоседы, весьма неохотно уступавшие женам, желающим ехать на бал...

Как это ни трудно, однако же можно представить себе, что перед свадьбой он объявил ей внезапно, что не имеет права связать ее будущее с ненадежным своим. Конечно, не объяснив ей толком истинные причины...

Катерина Ивановна по натуре была экспансивна. Ей, видимо, от отца темперамент достался — французский. От матери — русская безоглядность. К тому же она была влюблена, и ею владело чувство, которое именовалось в те поры *страстью*, в отличие от возвышенно-бесплотных мысленных переживаний. Умная, чуткая и сердечная, могла ли она не заметить его непонятной тревоги?

Не зная причины истинной, чего она испугалась? Подумала, может быть, что ее он совсем не любит?

Она за него пошла бы, и если б он прямо сказал, что ради ее приданого женится. Любовь не живет без надежды, а гордость — не от сердечной любви.

Она ни в чем бы не упрекнула его, что бы он ей ни сказал!

Отвечала бы, может быть, что всегда понимала невозможность для себя столь безмерного счастья. Что теперь уйдет в монастырь. Отчего бы и нет? Она была небожна...

Другого счастья себе она не могла помыслить.

Катерине Ивановне Трубецкой до конца жизни хватило ее любви. Она бога молила, чтобы не допустил ее мужа пережить, и такая милость досталась ей — она умерла первая, на пятьдесят пятом году жизни, после тяжелой болезни, не

оставлявшей надежд; чувствуя приближение смерти, она уверяла близких, что счастлива. Катерина Ивановна имела довольно мужества, чтобы произнести слово «счастье» за несколько часов до конца. «Она спокойно покинула сей мир, склонившись ко мне на грудь, так что я даже не заметил последнего вдоха», — писал Трубецкой ее сестре Зинаиде Ивановне. Он признавался друзьям, что не смеет роптать: она ведь так хотела уйти первая...

4

...Она бы заплакала и сказала ему, что освобождает его от данного слова и что была счастлива бесконечно, а остаток жизни богу посвятит. В отчаянье.

Отчаянная была. Когда — в Сибири — после кратковременной встречи с мужем вблизи Иркутска, хитро организованной, но недолгой, узнала вдруг, что его увозят опять неизвестно куда, — не побоялась кинуться безоглядно тройке наперерез. И Сергей Петрович, в железах, успел соскочить с тележки, чтобы ее удержать. Оба плакали, крепко вцепившись друг в друга, — их растащили фельдъегери и жандармы...

Тогда, в Париже, он ее слов, скорее всего, не понял — про монастырь. Обида женская без упреков больше бьет. Он, должно быть, не выдержал этой пытки слезами, признался ей. Во всем...

По здоровом-то размышлении он бы этого, думается, не сделал. Тем более после — уже в Петербурге.

Никита Муравьев и единым словом жене не проговорился.

И Трубецкому зачем было навлекать на княгиню опасность? Ему бы хватило мужества одному терзаться предчувствием неминуемой катастрофы. Даже легче, если бы жена ничего не знала.

А насколько увереннее он чувствовал бы себя на допросах в Петропавловской крепости! Когда поднимали ночью, набрасывали на голову черный платок, словно в скверном романе, и в легких санках везли в комендантский дом, по морозу — в мундире... Шубу Трубецкого украли еще во дворце, при самом первом допросе, из адъютантской...

Николай Павлович, тоже высокий ростом, наступал грудью на Трубецкого и пальцем тыкал в лоб ему, говоря сердито:

— Ну, что было в этой голове, когда вы, с вашим именем, с вашей фамилией, вошли в такое дело? Гвардии полковник князь Трубецкой! Как не стыдно вам быть вместе с той дрянью... Вы — гвардии полковник! Ваша участь ужасная будет... Князь Трубецкой! И какая фамилия...

В Анничковом говорили «фамилия» — вместо «семья». С немецким акцентом.

— Какая милая ваша жена... Вы, князь, погубили вашу жену! Есть у вас дети?

— Нет.

— Это счастье, что у вас нет детей! Участь ваша будет ужасная, — повторял он; лицо было бледно, как у мраморной статуи, а глаза ледяные. — Ужасная будет ваша участь... Ужасная... Ведь я могу вас расстрелять сейчас!

— Расстреляйте. Вы имеете право! — громко отвечал Трубецкой, попадая невольно в тон Николаю.

После пережитого накануне Трубецкой ничего не чувствовал, кроме странного облегчения. Мысль о смерти не пугала его.

— Расстреляйте...

— Нет, — возразил Николай Павлович. — Не хочу! Я хочу, чтобы ваша участь была ужасная...

Наступая грудью, как на параде, царь выпихнул Трубецкого через раскрытую дверь из кабинета в переднюю комнату и опять повторил, какая милая у князя жена и что его ожидает ужасная участь. Сунул в руки Трубецкому листок бумаги и приказал:

— Пишите вашей жене.

Трубецкой присел к столику возле стены, стал писать: «Катя, друг мой, прости меня, будь спокойна и мысли божьим...»

Император Николай перебил его:

— Что тут разглагольствовать! Напишите только: «Я буду жив и здоров».

Глянув на Николая с недоумением, Трубецкой написал: «Государь стоит возле меня и велит писать, что я жив и здоров...»

Показал написанное.

Николай прочитал медленно и добавил:

— Жив и здоров... буду! Припишите «буду» вверху.

Когда Трубецкой исполнил, Николай взял письмо, довольный, еще раз прочитал вслух, резко повернулся на каблуках и пошел в кабинет, дав понять, что допрос окончен.

Назавтра во дворце, а скоро и в городе стали передавать из уст в уста рассказ — как это жалкое ничтожество, князь Трубецкой, на коленях умолял государя сохранить ему жизнь. А затем об этом же полторы сотни лет рассуждали историки, исследуя допрос шаг за шагом, чтобы выяснить, в какой именно момент рухнул князь Трубецкой на колени перед императором Николаем. И все не сходилось...

Трубецкой же сделал вывод, огорчивший его: Николай слово держит — обещал и ведь сгноит в крепости... Уж лучше бы расстреляли.

Трубецкого сдали на руки флигель-адъютанту Андрею Михайловичу Голицыну, кузену, которого звали все просто Андре-Мишель — за безобразные галлицизмы. Кузен вызвал конвой из кавалергардов и повез Трубецкого в крепость. Но шубу, оказалось, украли. Незнакомый Трубецкому полковник, сапер, из чрезвычайной дворцовой охраны, встретя его растерянный взгляд — Трубецкой, и всегда-то бледный, похож был на тень свою, — засуетился и предложил князю шинель на вате, чтобы доехать до крепости. Пронзительный ветер гулял по Неве, и снегом швыряло в лицо, но холода Трубецкой не почувствовал. Входя в дом коменданта, куда привезли его, скинул шинель — отослал обратно. В зимних сумерках ждал час-другой, зашел в домовую церковь; потом его отвели в Алексеевский рavelин, поместили в седьмом номере. Приказали раздеться и забрали все, кроме белья, а взамен прислали серый арестантский халат и короткие туфли, которые через несколько дней переменили на большие, но изодранные.

В глубоком проеме окна тлела день и ночь тусклая лампадка. На деревянной жесткой кровати зеленого цвета лежали плоская, обернутая грязной дерюгой подушка и старое солдатское одеяло.

Для писания показаний приносили пачку пронумерованных листов синеватой бумаги, свечу и щипцы с обломанным кончиком.

На стенах — сырые пятна и плесень.

Трубецкой вспоминал разговор с Николаем и думал: «Тут и сгноит».

На допросы водили ночами, завесив лицо черной тряпкой.

С вечера приносили мундир и заботливо расправляли его на спинке стула. Мундир был тоже сырой. Пока добирались до комендантского дома, Трубецкой успевал до костей прозябнуть.

В начале допроса дрожи не мог сдержатъ. Бенкендорф, полагая, что это от страха, сказал что-то сочувственное. Князь досадливо передернул плечами, потер озябшие руки...

Во время одного из допросов Бенкендорф настойчиво домогался узнать у него — была ли в курсе опасных затей княгиня?

Сдерживая усиленным воли дрожь, Трубецкой резко отверг эти подозрения. Твердо все отрицал, с гневом в голосе, но Бенкендорф ему отчего-то не верил.

— Князь, — мягко настаивал Александр Христофорович, — да неужели вы, когда все было решено относительно четырнадцатого числа, неужели вы и тогда ничего не сказали вашей жене?

Разговор происходил по-французски, в самых доверительных интонациях, как бы между своими.

— Нет, генерал, — возражал уверенно Трубецкой. — Моей жене я никогда не поверял ничего такого; она не более знала про все, как и вы...

— Но почему же? — удивлялся наигранно Бенкендорф. — Не понимаю, почему вам было ей не довериться... Это же так натурально! Когда жену любишь... И все свои тайны...

— Не знаю, генерал, какое ваше понятие насчет любви супружеской, если вы полагаете, что жене следует верить тайны, знание которых ее может подвергнуть опасности! — рассердился Трубецкой.

Бенкендорф, однако, не отставал.

— Я все же не понимаю, — говорил он с проникновенностью, — что в этом особенного? Я как раз нахожу очень натурально иметь к супруге доверенность относительно всех предметов, которые вас глубоко занимают... И даже, может быть, касательно всех проектов... Не вижу, чему бы тут стоило так удивляться! По крайней мере, хоть какая-нибудь доверенность была между вами? Княгиня такая разумная женщина...

При каждом новом вопросе Бенкендорфа в душе Трубецкого нарастало негодование, и, хотя князь вообще был

сдержанный человек, он в конце концов уже почти кричал:

— Нет, генерал! Не знаю я, как вы сами любите вашу жену, а я бы себе никогда не позволил обременять ее совесть тайнами, знание которых не может ни к чему повести, кроме как только ее компрометировать... Эти ваши утверждения, генерал, я не могу принять иначе как клевету...

Этим своим упрямством и неожиданным раздражением Трубецкой расшевелил сонный следственный ареопаг: все набросились на него, как вороны. Закидали вопросами, упреками, насмешками, оскорблениями.

Трубецкой растерялся — не знал, кому отвечать.

— Нельзя же так, господа, — хрипло произнес он. — Бросились на меня, как на бешеную собаку... Всяк спрашивает свое, а как я могу все сразу припомнить? Извольте вопросы по одному задавать — всем отвечу.

— Ну, нет уж... — с отвратительным хохотом возразил Трубецкому дремавший обычно старик — генерал-адъютант князь Голенищев-Кутузов, участник кровавого происшествия в Михайловском замке 11 марта 1801 года. — Продолжайте так, господа! Так он скорей сообразится...

— Надеюсь, что никому не доставлю этого удовольствия, — тихо сказал Трубецкой. — Я так и совсем отвечать не стану.

— Вот еще новости! — смеялись вокруг.

Трубецкой замолчал. Про себя решил, что не скажет больше ни слова. Уже до конца...

Генерал-адъютант Левашов, на допросах слышавший едва ли не самым жестоким и грубым, особенно рядом с вежливым Бенкендорфом, прекратил этот крик.

Он сказал:

— Послушайте, Бенкендорф, к чему это все? Может быть, князь и в самом деле не поверял своей жене ничего такого... Я даже уверен — княгиня навряд ли что-нибудь знает.

Генерал-адъютант Левашов держал в своих руках все глазные нити следствия.

Допрос кончился.

На застывшего Трубецкого неловко было смотреть.

Сонный и хлипкий старичок — военный министр Татищев, кстати сказать, тоже причастный к убийству Павла Петровича, плачущим голосом стал уговаривать

князя не упрямиться — открыть все, и самому станет лучше!

А князь Александр Николаевич Голицын, известный ханжа и циник, по-родственному приобнял Трубецкого и с выражением любезности на пустом лице зашептал:

— Я сочувствую вам, но, батенька мой, что же вы делаете? Государь недоволен вами... И как это вы не будете отвечать? Почему? Вы поймите — ваши ответы государю нужны совсем не для узнания истины. Все известно! Государь хотел бы видеть вашу полную откровенность. Он желает увериться, что вы цените его милостивое отношение к вам... Я же знаю, что вам дозволено переписываться с женой. Ну так не заставляйте же принимать в отношении вас неприятные меры...

Бенкендорф сказал откровенней:

— Ведь вы понимаете, князь, что речь идет о жизни и смерти?

Александр Николаевич Голицыну Трубецкой объяснил:

— Я уже говорил государю, что не могу быть донщиком...

Его долго не отпускали в ту ночь, и в свой каземат он возвратился в полном изнеможении. Больной. С единственным желанием, как он сам признавался, «чтоб господь бог возмилосердствовался надо мною и скорее прекратил тягостную жизнь мою».

И весь следующий день он продолжал думать об этом.

Одолов недомогание и слабость, Трубецкой попытался изложить свои чувства в письме военному министру Татищеву, официально возглавлявшему следствие. Писал, что уже ничего для себя не ждет, кроме вящего позорения, что никогда не пойдет на предательство, что решил больше не отвечать ни на какие вопросы...

«Мое дело решено, — писал он, — я величайший преступник, я заслуживаю во всяком случае последнюю казнь и жесточайшую; итак, я не буду о себе говорить, я не буду уже изыскивать и оправданий, ежели бы что было на меня внесено...»

А внесено было немало. И вовсе не то, что он сам считал величайшим своим преступлением.

Трубецкой понимал, что в роковой этот день сыграл роль и жалкую, и ни с какой стороны не заслуживаю-

шую оправдания. И не хотел оправдываться ни перед кем. До конца своей жизни он ни перед кем из друзей не считал нужным и попытаться снять с себя ни один из горчайших упреков. О случившемся просто не вспоминал, что бы об этом ни говорили.

Вины с себя не снимал. Перед богом и совестью...

Трубецкой на себя брал вину за происшедшее на площади кровопролитие. И на следствии он внился в том, что самонадеянно мнил себя способным повлиять на события и не дать им выйти за грань, где стихия становится неуправляемой. И действительно, он до последнего надеялся на какое-то чудо. Надеялся, что не случится беды...

В этот день он с двенадцати маялся в штабе. Зная уже о начавшихся беспорядках на площади перед Сенатом, откуда ранним утром разошлись присягнувшие Николаю сенаторы. Он, узнав об этом, в седьмом часу пошел домой к Рылееву — объяснил невозможность осуществления принятых ими накануне решений. Часов в девять утра Рылеев и Пущин сами к нему явились. Спрашивали: «Если все же что-нибудь будет — вы будете с нами?» Что было им отвечать? И что делать...

Мысленно споря с этим беспомощным «что-нибудь» и еще полагаясь на благополучный исход, — воля божья! — он во втором часу вышел из штаба и взял извозчика, чтобы попробовать по набережной добраться домой. Сворачивая с Невского, увидел впереди беспоконное море голов и услышал шум, — дурнота подступила к сердцу.

Он вернулся обратно в штаб и там, уклоняясь от сочувственных вопросов насчет здоровья и предложений снять в канцелярии шубу и присоединиться к свите Николая, спрятался в пустом кабинете. Старался побороть дурноту. Собравшись с силами, незаметно прошел двором на Миллионную и кое-как добрался до Потемкиных. Сестру не застал. Машинально поднялся на второй этаж, в комнату, где у Лизы были собраны образа. Укор увидел в грустном взоре Спасителя. Сквозь шум в ушах слышал, кажется, залп — догадался по звуку, что бьют по людям — картечью...

Графиня Елизавета Петровна Потемкина, приехав, спросила, не появлялся ли брат. Сказали, что да, приходил, а ушел ли — никто не видел. Она брата нашла в

модельной: лежал на полу без сознания и неизвестно как долго. Князя подняли, перенесли в соседнюю комнату на диван, привели в чувство. Он сбивчиво отвечал на вопросы. Слышный с площади пушечный гром заставлял его вздрагивать и хвататься за голову.

— Боже, — сказал он довольно вятно, — и вся эта кровь на меня падет...

«Это был человек добрый, кроткий, как ангел, он не способен даже был сделать выговора слуге, — вспоминала сестра княгини Трубецкой Зинаида Ивановна, — у него был просвещенный ум, он был полон всяких новых идей, смягченных, однако, свойственной его характеру умеренностью. Разве таков тип заговорщика, главы заговора? Кто мог в это поверить? Всеми уважаемый, всеми любимый, удостоенный доверия порядочных людей, — вот каков был князь Трубецкой; я утверждаю это, — никто из знавших его не мог бы меня опровергнуть. Все мы нежно его любили. Жена его была совершенно счастлива с ним, что помогало ей легче переносить свою бездетность...»

В Сибири у них родилось шестеро детей; два старших мальчика умерли, остались дочери Александра, Елизавета и Зинаида и младший сын Иван.

5

Вскоре после того мучительного допроса у Трубецкого возникла мысль написать письмо императору. Он чувствовал себя обязанным Николаю за непонятную милость — дозволение переписываться с женой. Он всегда считал Николая холодным и жестоким человеком. Неужели, думал, так ошибался... Тяжело себя чувствовать обязанным человеку, которого не уважаешь, в котором не видишь ни истинной доброты, ни великодушия. И что же? Пусть даже его милосердие — от ума и расчета... Неужели это возможно? Что же, он теперь их помилует? Восстановит в прежних правах? После всех опасений, что заживо похоронили... Если царь, думал он, в самом деле окажется великодушен, придется ему

служить в остатние дни. Дай бог, чтобы недолгие! Мысль была тягостной. Трубецкого она какое-то время тревожила, но потом сама собою отстала. Он успокоился, уверившись, что все это несбыточно — невозможно, чтобы простил! Желание писать Николаю письмо угасло. Отчаянье отступило.

Через несколько дней Трубецкого опять повезли на допрос.

В этот раз были с ним вежливы. С допроса он возвратился в каземат успокоенный, довольный, что сам отказался от намерения не отвечать ни на какие вопросы. Молчанием он бы мог усугубить чью-то чужую вину, не имея возможности отвести подозрение от невиновных... Он все еще думал об этом. Хотел прилечь отдохнуть, но закашлялся и... Белый платок обагрился пятнами крови. Вчера он, возможно, обрадовался бы кровохарканью как предвестнику скорой смерти, однако сейчас ничего не почувствовал, кроме острой и болезненной горечи...

6

В прежние годы Матвей Муравьев-Апостол, как и Трубецкой, избегал из принципа адъютантской службы, выгодной для карьеры, но в 1818 году, в Москве, согласился пойти адъютантом к князю Репнину.

Матвей Иванович помнил до старости, как он впервые появился в доме князя Репнина, на Мойке, — в том самом доме, где Пушкин снимал свою последнюю в Петербурге квартиру. Любезно был принят, а после светского разговора Репнин очень вежливо попросил его дойти до дворцовых конюшен — сказать, чтобы Репнину для парада приготовили лошадь посмирнее. Репнин еще предложил Муравьеву чашечку кофе, но Матвей Иванович ломким от напряжения голосом возразил, что не смеет откладывать столь важное поручение... Князь бы мог на конюшню послать и своего лакея.

Репнин слыл просвещенным и здравомыслящим человеком. Он сочувственно относился к идее освобождения крестьян и имел смелость открыто высказать свое мнение, чем вызвал гнев малороссийских помещиков и подозрительность императора Александра.

Матвеем Ивановичем казалось, что он способен влиять благотворно на Репнина, и, пока они добирались в Полтаву, минуты не упускал, чтобы не поговорить ему о делах. Они ехали вместе в коляске. В тяжелом дормезе —

княгиня Репнина с дочерьми. Всю дорогу слушал Репнин укору — о том, например, что во время сельской страды мужиков отрывают от крестьянской работы, сгоняют для бесполезной, до первых дождей, починки дорог. Репнин его слушал молча. Дороги — царева прихоть. Голодные, обозленные мужики провожали коляску красноречивыми взглядами...

Репнин не гнушался и благотворительности — если, к примеру, в складчину несколько более культурных дворян выкупали из крепостной неволи какого-нибудь артиста или поэта.

Михайла Орлов шутил: «Нас-то самих кто выкупит?»

Щепкин был собственностью барыни, желавшей его использовать в должности землемера. Она средства потратила на его обучение и запросила цену, не соответствующую ни с чем — восемь тысяч! Брат Репнина — князь Сергей Волконский — во время контрактов обошел купеческие лавазы с подписным листом. Генералу при ленте и орденах не смели давать по мелочи — он собрал до двух тысяч. Еще две собрали поклонники Мельпомены. Остальные четыре внес заимообразно Репнин, получив, вместо векселя, выкупное свидетельство. Было время — вице-король Саксонии князь Репнин отказался на глазах у Европы от королевского содержания: заявил, что не нищий, и деньги отдал на обустройство Дрездена, пострадавшего от войны. Бросить на ветер четыре тысячи жалко было, и Щепкин оказался крепостным Репнина. Все ругали князя — никто больше не дал ни рубля. Он вынужден был в конце концов даром отдать Щепкину вольную...

Матвей Иванович с Репниным тем горячее спорил, чем дольше служил у него. Тягостно это стало обоим. Осенью 1821 года они приехали в Петербург, чтобы тут, ко взаимному облегчению, разойтись. Матвей Иванович принялся хлопотать об отставке. Как бывшему семеновцу, это было ему непросто, и, если бы не рана в ноге, все еще не закрывшаяся... Он, однако, и в отставке оказался человеком далеким от свойственного людям его возраста — было ему уже около тридцати — житейского благоразумия.

Поселившись в своей деревне, Матвей Иванович в обществе редко являлся, но успевал обратить на себя внимание. Как-то на парадном обеде, который давало

местное дворянство в честь наместника малороссийского князя Репнича, когда поднимали торжественный тост во здравие императора Александра, Муравьев-Апостол демонстративно вылил в тарелку вино из своего бокала.

На том — или на другом таком же — обеде Муравьеву случилось сидеть за столом напротив Репнина, и он сам удивлен, а отчасти даже польщен был, когда вельможный Репнин через стол протянул ему руку. Это вызвало за обедом общий переполох: князь Репнин отличил при всех вольнодумца Муравьева-Апостола!

В ходе следствия князю Н. Г. Репнину отправили высочайший запрос относительно поведения его прежнего адъютанта Матвея Муравьева-Апостола. Генерал-губернатор поставлен был в положение квартального надзирателя и с надменностью принял вид полицейского тупицы, отвечая императору Николаю: «Из допросов дворовых людей, лично мною сделанных, сведений, собранных от соседей и полицейских наблюдений о Матвее Муравьеве, всеподданнейше доношу, — писал он, — что, проживая последнее лето в деревне своего отца Хомутце, он ездил к Д. П. Трощинскому, влюбившись в внучку его княжну Хилкову. В семействе Капниста М. И. Муравьев-Апостол поссорился с Алексеем Капнистом, что видно из переписки его. Сему почесть можно главнейшею причиной, что и сей тоже искал руки кн. Хилковой». Донесение звучало издевательски.

При императоре Николае для Репнина с карьерою было покончено. . .

7

Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, в ту пору сенатор, был сильно напуган, получив стороною секретные сведения о том, что оба его старших сына указаны в поданном государю доносе как члены тайного общества. Матвеем он строго наказал из деревни и носу не показывать. Брата Сергея ни в коем случае не навещать.

Сергей Муравьев-Апостол, переведенный, как все офицеры Семеновского полка, с повышением чина в ар-

мию, служил сначала в Бобруйске, а потом — в Василькове, верстах в тридцати к югу от Киева. Он, естественно, тоже мечтал об отставке, но тщетно.

«Как этот несносный поход мне наскучил! — писал он в отчаянье весной 1823 года родным. — Как был бы я счастлив, если бы мог бросить службу...»

Последнее время он жил как на складе пороховом с фитилем горящим в руке. В его мозгу ронлись отчаянные, дерзкие планы. Он чувствовал: надо спешить!

Один из планов военного переворота в России был связан с намеченными на лето 1823 года общевоинскими маневрами близ Бобруйска, во время которых предполагалось убить императора Александра. Маневры не состоялись...

На следующее лето намечался смотр в Белой Церкви, вблизи Василькова. Был разработан новый подробнейший план, включавший убийство царя и поход на Москву.

В Хомутце Матвей Иванович жил отшельником. Пугал окрестных помещиков невиданным либерализмом: сам копал землю для любимых своих цветников, сам с лейкой хаживал за водою к колодезю и сам поливал цветы! В доме он тоже почти не имел прислуги.

Несмотря на грозные предупреждения отца, Сергей при первой возможности навестил брата в деревне. Его чрезвычайно заботило настроение Матвея Ивановича. Натура чуткая от природы, Сергей Муравьев-Апостол неладное ощущал. Кой о чем и догадывался... Он однажды потребовал даже, чтобы Матюша дал ему клятву — перед портретом покойной матушки, — что никогда не покусится на свою жизнь.

Матвей Муравьев-Апостол был в самом деле на грани самоубийства.

...С необычной для него ледяною трезвостью Матвей говорил брату, что не верит в разговоры. Россию речами не переменить.

Другая причина, отчего жизнь для него потеряла цену, была не встретившая взаимности страсть к хорошенькой молодой особе, внучке известного екатерининского вельможи Дмитрия Прокофьевича Трощинского.

Скромная с виду усадьба Трошинского при ближайшем знакомстве являла собою дикий огрызок «бабушкина века». Там бедный Матвей Муравьев себя чувствовал пришельцем из другой эпохи, — в чудовищном мире царственных мажордомов, карлов-шутов, приживалок обоего пола, не знавших меры в постыдных и гнусных потехах. Некто барон Шиллинг, замшелый, ста́ четырех лет от роду, приглашал всех дам подряд и танцевал с ними менуэт, французскую кадрили с вариациями, выделявая тощими ногами неприличные па, и при этом напевал дрожащим голосом глупые песенки по-немецки. За столом барон с ужасающей ловкостью давил мух костлявой рукой. Хозяин — и сам глубокий старик — с ним рядом приободрялся: еще молодец! Другой шут был поп-расстрига Варфоломей, кого-то когда-то, как говорили, обвенчавший вместо венцов баранками. Хитрый и жадный до денег Варфоломей прикидывался балбесом, неспособным пересчитать дни в неделе. Трошинский в глаза его звал «скотиной». Во время обеда — и в будни! — играл крепостной оркестр и за каждым стулом стояли лакеи в шитых ливреях с тарелками.

Балованная княжна Полина, единственная наследница старика, осталась рано без матери. В доме она держалась хозяйкой. Хорошенькая и развитая, неглупая, епособная понимать остроумную шутку, отличалась капризным непостоянством. Тьма кавалеров крутилась около нее. На что было Матвею Ивановичу рассчитывать?

Он ей казался забавен: «парижанин», увлекательный собеседник, шутник, умеющий брызгать остротами, как фонтан петергофский. Что против него все дедушкины замшелые монстры! Княжна забавлялась. Она охотно вступала в споры с ним, он горячился, выкладывал ей откровенно, что думает про порядки в их доме, и это ей было так весело. Знаменитый на весь Петербург остроумец, Матвей Иванович был украшением общества!

Рядом с княжною Полиной Матвей Муравьев себя чувствовал жалким шутом.

Злился он и на приятеля своего Алексея Капниста, сына известного автора «Ябеды»: тот ухаживал за княжной, и ему иногда доставалась ее улыбка... И пахло дуэлью.

Княжна развлекалась, а Матвей Иванович вовсе голуво потерял.

Глядя издали на такое несчастье, Сергей Муравьев-Апостол брата жалел. Давал практические советы: «В отношениях с молодой особой, — писал он Матюше, — всегда сохраняй приветливость, достоинство, любезность, веселость. Особенно не старайся слишком руководить и наставлять ее в поведении. Ведь ты не можешь ей *все* сказать, а при таком количестве устремленных на вас враждебных глаз — это скоро будет замечено и превратно истолковано».

Сергей не решался сказать брату главное: не надо бы ему вовсе в Кибинцы ездить.

Сергей Муравьев-Апостол писал в Петербург сестре — Екатерине Ивановне Бибиковой: «Вы найдете Матвея очень изменившимся; разные невзгоды жизни иссушили его сердце и подорвали даже его здоровье. Однообразие жизни в Хомутце ему не подходит, он нуждается в столичных развлечениях, нуждается в нежной заботливости, какую ему могла бы дать лишь ваша дружба. Характер Матвея так благороден, так глубок, что состояние свое внутреннее он прячет под маской спокойствия, не желая огорчать никого из любимых людей, — об этом нетрудно догадаться по его нервному состоянию — настроению то чересчур веселому, то слишком грустному...»

8

Летом 1823 года Матвей Муравьев-Апостол приехал опять в Петербург. Не ради развлечений. Брат убедил его в серьезности новых планов, — Матвей Иванович прибыл в столицу как полномочный его представитель для переговоров с петербургскими членами тайного общества.

Спустя некоторое время с тою же целью приехал в столицу и Павел Иванович Пестель, имевший в виду соединить обе части тайного общества — северную и южную. Планы у Пестеля были свои.

Сам Матвей Иванович в это время относился скептически ко всему, но его чрезвычайно заботила участь брата. Как старший, он считал себя ответственным за все.

За Сергея очень боялся. Мучился мыслью, что сам же и вовлек его в столь опасное предприятие.

В Петербурге его нервное состояние усугубилось.

Весною 1824 года, не получая долго писем от брата, Матвей Иванович вообразил, что Сергей арестован, и стал в отчаянье придумывать собственный план покушения на императора Александра. Кое-что надумав, поделился мыслями с Пестелем. Павел Иванович ему спокойно ответил, что думать о покушении рано — ничего еще не готово! Матвей пошел к Трубецкому — тот разволновался ужасно, однако тоже просил ничего пока не предпринимать. Обдумав обстоятельно все, Трубецкой заявил, что насчет Сергея предположения ничем не обоснованы, а скорей всего, письма пропали на почте. Трубецкой оказался прав.

9

Во время следствия Трубецкой говорил, что лишь появление Пестеля в Петербурге и его неудовольствие по поводу полного бездействия северян заставило их предпринять кое-что для оживления общества. Чтобы видимость показать, что у них что-то есть. Пестель клялся, что на юге дела идут полным ходом. Он привез наброски своей конституции и отчетливо видел, куда должны быть направлены их совместные усилия. Планам Пестеля было необходимо что-то противопоставить...

«По возвращении моем из-за границы, — показывал Трубецкой, — я, хотя и остался убежден в доброте конституционной монархии, но слишком счастлив был в семействе моем, чтобы помышлять о чем-либо ином, кроме продолжения моего семейного благополучия».

10

На все вопросы касательно планов цареубийства Трубецкой сперва отвечал, что противился им, — ведь они в Петербурге мечтали о конституционной монархии.

Никита Муравьев тоже держался умеренных взглядов.

Их замысел заключался в том, чтобы сперва распространить конституционные идеи в обществе, а уже после изыскивать способ как-то повлиять на правительство. Например, при вступлении на престол нового императора обязать его, именем Сената, принять конституцию:..

..Трубецкой потрясен был, узнав, какими сведениями об их переговорах с Пестелем следствие уже располагает.

Один из ближайших сподвижников Пестеля — Александр Поджио, впечатлительный одесский итальянец — имел несчастье выразительно показать на допросе, как Павел Иванович, отгибая пальцы, подсчитывал, сколько члены царской фамилии должны быть истреблены, дабы не стало препятствий к развитию революции.

«Я только скажу, что он привел меня в ужас», — отвечал Трубецкой, спрошенный об этих замыслах Пестеля, заключавшихся в том, что после уничтожения всей царской фамилии в России надлежит утвердить временную военную диктатуру, лет, как он думал, на десять... Пестель, как легко было догадаться, сядет бы в «директорию», по примеру Наполеона.

Трубецкой объяснил, что из первых же разговоров с Пестелем он понял, что перед ним человек, одержимый тщеславием, опасный и не должно ему позволить усиливаться.

Никита Муравьев разделял это мнение.

С планами Пестеля Никита Муравьев познакомился еще в 1820 году — во время своего с Луниным путешествия в Крым и Одессу: они на обратном пути заезжали в Тульчин и встречались там с Павлом Ивановичем. О Пестеле Никита Муравьев, возвратившись, рассказывал как о человеке чрезмерно самолюбивом.

«Но я не мог в том увериться, не исследовав-сего сам лично», показывал Трубецкой, «для сего, признаюсь, должно было мне с ним притвориться, что я вхожу в некоторые его виды».

Пестель, помнивший, как трудно переубедить в чем-либо Никиту Муравьева, Трубецкого пробовал уговаривать: не только спорил с ним, но и место предлагал в своей «директории».

«Я представлял ему ужас, каковой подобные убийства нанести должны, — показывал Трубецкой, — и что убийцы будут гнусны народу, что людям никакого имени не

имеющим и неизвестным невозможно сесть в верховное правление, что русский народ не может быть управляем иначе как государем наследственным; представлял ему различные неудобства его конституции. . .»

Трубецкой твердил, что немислимо осквернять общество убийствами; если даже, говорил он, общество наше всего лишь воспользуется плодами убийства, кем-то другим совершенного, то и тогда нам никто не поверит, что без нашего на то согласия обошлось! От такого пятна общества никогда омыться не сможет и в самом начале общего доверия лишится, всех восстановит против себя. . .

Трубецкому так живо представлялись детали убийства.

Но Пестелю в мысли не приходило, что они сами должны кого-либо убивать. Найдутся «пропащие люди»!

Трубецкой упрямо говорил, что не хочет отягощать свою совесть.

Пестель сухо возразил:

— Не понимаю, при чем вообще тут совесть? Мы что — благотворительная организация?

Из показаний М. П. Бестужева-Рюмина: «Издавна Пестель был того мнения, что политический переворот в России должен, для избежания междоусобной войны, начаться заговором, приведенным в исполнение шайкой отважных людей, вне общества состоящих, под названием *пропащих*».

Началу событий Пестель предлагал дать название: «Первый крик».

11

Никита Муравьев был человек полный противоречий.

Наследник громадного состояния, кумир домашний, — его младший брат Александр почитал за счастье ухаживать за лошадей Никиты, быть у брата мальчиком на побегушках; Александр Михайлович Муравьев, надо думать, и в тайное общество для старшего брата вступил. Сам по себе Александр Муравьев человек был тихий и вялый. . .

Серьезный Лунин, десятью годами старше Никиты, уважал его чрезвычайно и говорил, что голова Никиты стоит академии.

Никита Муравьев и собой был хорош, и служба ему давалась, и даже мундир — к лицу... А во время их с Луниным путешествия в полуденные края простодушные малороссийские барышни роем вились вокруг седеющего отставного кавалериста: шептались, делая испуганные глаза, какой опасный для женщин Михайла Сергеевич, и, бледнея от храбрости, усаживались музицировать с ним в четыре руки. Уставший от нежностей Лунин лениво болтал с ними о чепухе, а в это время двадцатипятилетний Никита вел скучные разговоры со стариками — о временах очаковских и покорения Крыма... На балах в честь их, как бедный родственник, жался к стенке.

Перед Следственным комитетом Никита Муравьев не робел. Отвечая на вопросы, никогда не терял присутствия духа: писал твердым почерком, без помарок, трезво обдумав, как у себя в кабинете, все... Смотрел в глаза Левашову и Бенкендорфу. Когда попросили — по памяти изложил все пункты своей конституции.

Из Трубецкого ни слова об этой муравьевской конституции не выжали: обходил даже в лоб поставленные вопросы о ней, — жалея Никиту.

Но сам Никита Михайлович ни в чем, что его лично касалось, не запырался.

В 1823 году он женился на самой прелестной из шести дочек графа Григория Ивановича Чернышева, старого друга муравьевской семьи. Граф был из галантных придворных *бабушкина* двора: старомодно изящный, образованный и отменно красноречивый на французский манер, писавший изысканно на чужих языках, а по-русски так, что дамам нельзя было показывать. Он хранил обычай широкого гостеприимства — зимой давал балы нельзя богаче; летом — дачные праздники... Веселостями старинными тешился, как дитя.

Шесть его дочек все были красавицы. А единственный сын — молодой граф Захар Чернышев — наследник громадного *майората*, неделимого именина, которое по мужской только линии можно наследовать, старшему из сыновей. Он был сверстник Никиты и принят им в тайное общество. Когда арестованного графа Чернышева первый раз привели в комендантский дом для допроса, к нему с любовью приторной кинулся Александр Иванович Чернышев, генерал, но не граф пока и не родственник, — озабоченный участью майората.

— Как? — воскликнул он с показным удивлением. — И вы тоже виновны, кузен?

Кавалергардский ротмистр граф Захар Чернышев генерала окинул презрительным взглядом и ответил:

— *Винозен* — может быть, но *кузен* — никогда!

Наглость самозванца «кузена» покорила даже императора Николая; майорат он благоволил передать мужу старшей сестры. А в гостиных заговорили, что странно это: ведь палачи всегда получали в награду имущество своей жертвы. Александр Иванович Чернышев не смущался, однако, когда и дверь у него перед носом захлопывали. . .

...Александрина была среди смуглых черноволосых сестер единственная блондинка. Румяная, свежая, как деревенское утро; красивая русской, тяжеловато-вальжской, как говорили когда-то — лебяжьей статью. С Никитой знакома с детства. Все сестры поочередно в него влюблялись. Герой: загадочный, романтичный. . . Он летом на даче бегал с ними в горелки и в лес ходил за грибами. Как-то они объяснились, однако, а между родными давно было все решено.

Из показаний Н. М. Муравьева: «Выезжал я с женою только на балы, где нет случая слышать политических рассуждений. Зная притом, сколь мое положение было опасно, будучи уже шесть лет членом тайного общества, я никогда не заводил никаких важных рассуждений при старших. Долгое существование общества, при крайней нескромности, свойственной характеру русскому, доказывает более слов моих крайнюю осторожность всех членов. Если кто из молодых членов общества говорил что-либо дерзкое, то старшие члены всегда тут же опровергали его мнение, и при первом удобном времени ему делалось замечание от Думы, коль скоро она это узнавала».

Декабрьские вести настигли Никиту Муравьева в дальней деревне родителей жены. И туда домчался присланный из Петербурга курьер. Никита знал, что многие арестованы. Собрался спокойно, как на службу. Старал-

ся не испугать жену, в третий раз беременную. Тихо опустился на колени возле нее и попросил прощения. Сказал, что он всех погубил...

Арестовали не только его, но и младшего брата его Александра, и шурина Захара Чернышева, и двоюродного брата жены Федора Вадковского, и двоюродных Муравьевых и Муравьевых-Апостолов.

Боялся — матушка не поймет и осудит, но Катерина Федоровна не упрекнула его ни в чем. Как и жена, и все ее сестры...

После приговора жена, оставив троих детей — они все без нее погибли, — примчалась к нему в Сибирь. Из детей, что родились в изгнании, выжила у них одна Понушка. Софья Никитишна Библикова — в замужестве. О ней, остающейся сиротой в тринадцать лет, только и горевал, умирая, Никита Михайлович Муравьев. Он умер в Иркутске, на поселении, — от «удара», поболел два или три дня. Последние десять лет — после смерти жены, скончавшейся в 1832 году, еще в Петровском заводе, — для него уже не были истинной жизнью.

Дамы в Сибири, почти сплошь влюбленные в Пушкина, Никиту Муравьева судили за сухость характера — считали его эгоистом, кабинетным ученым. И только его жена в смущении признавалась, что если бы ей выбирать пришлось между господом богом и мужем, она, при всей набожности, предпочла бы Никитеньку...

13

...Сергею Муравьеву-Апостолу об их петербургских переговорах с Пестелем Трубецкой писал, хотя и с надежной оказией, но околично, излагая все в виде некой «трагедии», которую им будто бы прочитал их общий «приехавший с юга» приятель. И в этой трагедии, сообщал Трубецкой, «все лица имеют ужасные роли».

«Уже тогда он увидел, — сообщал Трубецкой о Пестеле в показаниях, — что я его подозреваю в личных видах. Когда я ему стал доказывать, что он, вместо законного самодержавного правления, поставляет самовольный деспотизм директоров, которым отдает всю высочайшую власть в руки на неопределенное время...»

Они-то в Петербурге предполагали, что в случае насильственного захвата власти она будет передана лицам

известным и уважаемым — временному правительству, куда могли бы войти, например, Сперанский с Мордвиновым, а из военных — Раевский или Ермолов. И сделать все надлежало именем Сената, дабы всему придать дух законности. Вышедшие на площадь войска и должны были принудить Сенат, собравшийся для присяги новому императору утром 14 декабря 1825 года, выступить с манифестом, предложенным членами тайного общества, и обязать Николая Павловича принять конституцию. Заготовленный манифест нашли на столе в кабинете у Трубецкого в ночь, когда он был арестован. Предупрежденный предателем, Николай перенес присягу Сената на более ранний час, — ко времени появления на площади первых рот сенаторы уже давно разошлись по домам.

Пестель видел, насколько позиция Трубецкого отличается от точки зрения более молодых членов тайного общества в Петербурге: Пушина, Оболенского и в особенности — принятого недавно Рылеёва.

Рылеева Пестель выделил сразу и с глазу на глаз беседовал с ним два часа. Он Рылеева очаровал — и решительностью намерений, и красноречием, и острым взглядом, и резким, несуетным жестом. Они говорили о будущей конституции. А сперва — об английской, с которой схож был проект Муравьева, и согласились оба, что сей образец устарел, он только для толстосумов удобный... Обсудили также испанский вариант революции и как могло бы все это происходить в России. Осторожно приоткрыл Пестель Рылееву планы свои, и Рылеев ему с откровенностью высказал все сомнения. Ему не понравились соображения Пестеля относительно «директории», которая бы захватывала всю власть. А тем паче — один какой-то «диктатор»! Новый Наполеон...

— Однако же согласитесь, что Бонапарт был истинно великий человек! — возразил Рылееву Пестель. — Разве не так? И уж если иметь деспота над собою — пусть он будет Наполеон... Ведь это он Францию возвысил! А сколько создал он счастливых фортун...

— Нет, — сказал твердо Рылеев. — Теперь не время Наполеонов. И вообще, я — враг всякого деспотизма. Сохрани нас бог от этого! Думаю, в наше время и честолюбец предпочел бы лучше стать вторым Вашингтоном, чем новым Наполеоном...

Рылеев ждал, что Пестель начнет спорить с ним, но Павел Иванович согласился с неожиданной легкостью:

— Разумеется, так! Я только хотел бы заметить, — сказал он, — что нам не должно чересчур опасаться честолюбивых помыслов. Честолюбие — двигатель истории! Если бы кто и воспользовался переворотом, дабы стать новым Наполеоном, мы все не остались бы в проигрыше. Вспомните Францию...

Но Рылеев показал себя человеком непреклонным: он дал понять Пестелю, что не согласится, чтобы в России, вместо царя из прежней династии, появился «император-наполеон». В России, возразил он, будет непременно республика. Совершив переворот, они вправе только предложить народу свой проект конституции, а решать все должен Великий Народный Собор.

Пестель, ощутив непреклонность Рылеева, не спорил; добавил только, что надобно будет постараться, по крайней мере, чтобы в число народных представителей попало больше членов тайного общества.

— Ну, это совершенно другое дело, — согласился Рылеев. — Безрассудно было бы об этом не хлопотать... Таким способом, — подчеркнул он, — сохранится законность. И свобода в принятии нового государственного устройства...

Они еще поговорили — в совершенном согласии — о непременном разделении земель, и Рылеев решил, что с Пестелем столкнуться нетрудно.

Трубецкой не стал Рылеева разубеждать.

Пушина Пестель обезоружил твердостью и прямоотой своих республиканских суждений.

Оболенского Павел Иванович вызвал на откровенность и все ему доказал как дважды два. Когда Трубецкой на завтра растолковал Оболенскому, что к чему и чего именно хочет Павел Иванович, тот ужаснулся, потрясенный до глубины души. И согласился с Трубецким.

14

Князь Евгений Петрович Оболенский слыл упрямым и неуступчивым человеком. О твердость его характера ушибался и сам Николай, когда был великий князь. В Зимний дворец Оболенского доставили прямо с площади, с руками, скрученными веревкою за спиной. Николай не скрывал удовольствия:

— Вот кто настоящий злодей! — восклицал он в упое-

нии. — Вот кто меня мучил... Никогда ему этого не забуду.

Он еще не знал, что князь Оболенский взял в конце концов на себя командование войсками, собравшимися на площади, и возглавил мятеж. И тем более не мог еще знать, что именно Оболенский, сам того не желая, нанес Милорадовичу смертельную рану.

Солдаты знали Милорадовича как честного и отважного генерала и могли бы его послушаться, когда он перед ними явился на площади, — Оболенский хотел помешать Милорадовичу говорить; он взял у солдата ружье и штыком попытался кольнуть лошадь, но лошадь нервно приплясывала, и штык скользнул — воткнулся в бок генералу. Милорадовича умчала лошадь, и никто даже не заметил, что Оболенский ранил его, потому что в тот же момент в графа Милорадовича выстрелил из пистолета Каховский. После смерти Милорадовича врачи объявили, что обе раны — и штыковая в печень, и от пули в грудь — смертельные...

А Николая Павловича князь Оболенский «мучил», когда тот командовал гвардейской пехотной дивизией: Оболенский как адъютант генерала Бистрома, командира всей гвардейской пехоты, требовал от великого князя отчетов по форме, досаждал ему вежливо и настойчиво, относясь к нему как ко всякому другому генералу.

На площади взятый, как говорится, с поличным, князь Оболенский не только не повинился перед императором Николаем, но и головы перед ним не склонил: нагло смотрел в глаза и требовал, чтобы ему развязали затекшие руки, иначе, говорил, он ни на какие вопросы отвечать не будет. Зная упрямство Оболенского, Николай приказал развязать ему руки: допрос был необходим.

...Трубецкой объяснил Оболенскому — касательно царской семьи, и Евгений Петрович дрогнул. Он пережил это. Однажды ему случилось уже убить.

Гвардейский офицер Свинын оскорбил его младшего брата, но драться с ним отказался, потому что-де с юнкером не дерутся; и Евгений Петрович, вступившись за брата, вызвал этого Свинына. Вызвал и застрелил. По всем правилам честной дуэли. Свинын виноват был, но смерть его — перед глазами — произвела такое воздействие на Оболенского, что привела к болезни. Евгений Петрович долго мучился этим...

Человек он был добрый, простой; внешность имел обыкновенную: роста среднего, волосы гладко зачесывал, лицо даже простовато казалось. Происходя по прямой от рюриковичей, князь Оболенский не только что не был богат, но, пожалуй, беден. Сам жил кое-как и еще при себе содержал младшего брата, чтобы родителям сделать посильное облегчение. В свет выезжал крайне редко.

Бывал, да и то без особой охоты, у Трубецких — в лавалевском чопорном и роскошном дворце на Английской набережной.

К Катерине Ивановне Трубецкой, неизменно приветливой, ласковой к мужним друзьям, Оболенский питал непонятное теплое чувство. Когда Катерина Ивановна приехала вслед за ними в Сибирь, для него это было чудо.

В Нерчинске они втроем — Трубецкой; Волконский и Оболенский — обитали в тесной дощатой каморке, такой низенькой, что Трубецкому в ней было не разогнуться. Женам — Волконской и Трубецкой — свидание дозволялось дважды в неделю. В другие дни, когда узники возвращались из рудника, княгиня Трубецкая приносила табурет под окошко, зимой, и они разговаривали беззвучно, делая знаки руками, а больше просто друг на друга глядели...

Лавалевский особняк заполняли картины итальянские, «антики» — древние статуи; и мраморные плиты, устилавшие в сенях полы, доставленные из Рима, служили некогда украшением то ли Неронова, то ли Тиберева дворца.

Сам граф Лаваль — придворный, чиновный, в должности церемониймейстера — был душою лакей; постоянно бывавший в лавалевском доме Александр Иванович Тургенев это слово в своем дневнике подчеркивает: *лакей!* Надменный каприз императора Павла и богатство жены ему сделали положение. Дом и модный салон держала графиня Лаваль, дружившая и с Тургеневым, и с Жуковским...

Всех своих дочерей граф Лаваль постарался выдать замуж за особ титулованных, младшим зятем добыл и ключи камергерские, но из них ни один, конечно, не мог

бы равняться с Трубецким, на которого возлагались надежды огромные. Князь природный, покладистый, уважительный, хотя — при дворе говорили! — «пустой человек». Его бы взять в руки. . .

Имел свои виды на Трубецкого и граф Лебцельтерн, за которого в 1823 году выдали Зину, сестру Катерины Ивановны. Ставленник Меттерниха, австрийский посол. Умный. Умевший, если нужно, понравиться. В сорок лет с небольшим — еще стройный и моложавый, с байронической внешностью. Лебцельтерн умело заигрывал с молодежью. Его чрезвычайно занимали распространенные слухи о ее антиправительственных настроениях. Чуть ли даже не ожидался в России государственный переворот. . .

Лебцельтерн старался произвести хорошее впечатление на бобрера, искал с князем дружеский тон, пытался вызвать его на родственную откровенность. Князь по виду простодушен казался и простотою в отношениях с близкими обнадеживал.

Граф Лебцельтерн себя полагал личным другом императора Александра. Летом 1824 года, снимая дачу — вместе с Трубецкими — в Царском Селе, он в парке частенько с государем прогуливался и беседовал с глазу на глаз.

Но что в это время в России происходило — оставалось непонятно ему.

Когда случилось известное происшествие на площади у Сената, граф Лебцельтерн — в этот день он, простуженный, вынужден был сидеть дома — чувствовал себя как на иголках. Секретари доносили ему каждый час обо всем, но из этих сообщений ничего невозможно было понять. Ближе к вечеру появились князь Трубецкой с женою, и, едва поздоровавшись, Лебцельтерн закричал им с порога:

— Да объясните же мне наконец, ради бога, чего они там хотели? Революции. . . Но разве так революции делают!

Взволнованный, он и внимания не обратил на состояние Трубецкого.

Зинаида Ивановна, по-женски внимательная, заметила сразу, что на Сергее лица нет, у него дрожит подбородок. . . Ей, однако ж, и в голову не пришло, что князь мог иметь отношение к случившемуся на площади.

Ночью пришли в их дом граф Нессельроде (живший в соседнем доме министр иностранных дел) и князь Андрей Голицын, родственник Трубецкого; Андре-Мишель, все так звали его, руку подал кузену, здороваясь. Государь Трубецкого требовал... Лебцельтерн удивился: ночью подняться с постели — зачем? Трубецкой, непонятно спокойный, подал кузену шпагу свою. Только тогда граф понял: божера арестовали. За что? Вчера ничего толком ему рассказать не могли. Ночевать остались, потому что в их доме на набережной от выстрелов стекла повывлетали. Трубецкой сдержанно попрощался с женой...

Утром граф Лебцельтерн с неподдельным чувством удивления писал — от имени княгини Трубецкой — в письме императору Николаю, что по всей видимости произошло какое-то недоразумение. «Богом клянусь!» — писал он, как бы от лица потрясенной женщины, но Катерина Ивановна остановила его и попросила тихо:

— Пожалуйста, граф, зачеркните «богом клянусь».

Трубецкой не избегал бесед с Лебцельтерном и произвел на него впечатление человека вполне умеренных взглядов. Князь неизменно присутствовал и на тех дружеских вечерах, которые граф устраивал для молодежи, военной и невоенной, где разговоры велись очень свободно и по-домашнему беспечно.

На лебцельтерновских «дружеских вечерах», естественно, бывала представлена и петербургская полицейская агентура. Очень любопытное донесение подал Фаддей Булгарин, — ему была подозрительна именно сдержанность Трубецкого, его осторожность: князь, например, заметил, что Корнилович, его ученый приятель, слишком пылко витийствует перед австрийским послом о военных поселениях, и, подойдя тотчас, мягко взял Корниловича под руку, как бы невзначай перевел разговор на другую тему...

Последнее совещание с Пестелем происходило у Оболенского, в его холостяцкой квартире — в казармах Павловского полка. Денщик принес самовар, поставил на стол и вышел. Дворовых отпустили сразу после обеда, до ночи, князь дал им двугривенный на всех, чтобы

пошли посидеть в кабаке. Впрочем, слуги и денщики офицерских бесед и по-русски даже не понимали. На следствии с истинным простодушнем — на вопрос, что делали господа их, когда собирались вместе, — отвечали: «Да ничега не делали! Болтали между собой и трубки курили...»

За столом, кроме Пестеля и Оболенского, собрались Трубецкой, Никита Муравьев, Матвей Муравьев-Апостол и Михаил Нарышкин, — не тот Нарышкин, с которым Якушкин намеревался драться на дуэли, а самый порядочный человек, из гвардейских артиллеристов, служивший некогда вместе с Иваном Пущиным.

Никита Муравьев до сих пор избегал встреч с Павлом Ивановичем, — сидел дома безвыездно, ссылаясь на нездоровье жены, всю неделю. Трубецкой насилу уговорил его приехать, не надеясь без него с Пестелем договориться.

Главным предметом спора оставалась военная «директория», лет на десять, на которой настанвал Пестель. Горячились изрядно. Особенно восставали против «директоров» Трубецкой и Никита Муравьев, желавшие, чтобы решение относительно будущего России принимал Верховный Собор. Они понимали, конечно, что в сонной необъятной России одно дело Петербург да Москва, а в провинции — тот ли царь будет, другой ли... Там до царя — как до бога! Но если, думали, всколыхнуть Россию, не миновать тогда пугачевщины.

Пестель выслушивал все молча, с ледяным безразличием на лице. Слушал до последней минуты. В конце уже встал и крепко ударил рукою по столу...

Чем это совещание кончилось?

Есть показания, что в итоге *все* согласились с печальной необходимостью истребления царской фамилии. Дольше всего противились убийству покорной царицы Елизаветы Алексеевны, которую, как считал Трубецкой, можно было бы убедить принять конституцию.

Александр Бестужев на следствии показал, что и в канун восстания, на совещаниях у Рыльева, Трубецкой предлагал попытаться возвести на престол Елизавету Алексеевну.

Александр Бестужеву это представлялось «кукольной комедией».

3 ноября 1824 года Матвей Муравьев-Апостол писал брату Сергею, узнав про очередные планы «южан» и что поставлен окончательный срок в один год для начала самых решительных действий: «Я был крайне неприятно поражен, дорогой друг, тем, что вы мне пишете в вашем последнем письме. Я с нетерпением ждал вас, а теперь приходится отказаться от надежды скоро увидеть вас. Что касается меня, милый друг, я непременно приехал бы... Но мне было строго приказано не ездить к вам. Мой отец заставил меня дать ему положительное обещание, что я не поеду, после того как он получил предостережение от Николая Назаровича, а вы знаете, как этот последний хорошо осведомлен. Правительство теперь постоянно настороже, и если оно не действует так, как следовало бы ожидать, то у него на то свои причины. Юг сильно привлекает его внимание, оно знает, какой там царит дух, и меня крайне огорчает то, что вы так действуете, словно прекратились всякие подозрения... Мы еще далеки от того момента, когда благоразумно рисковать, риск несвоевременный ведет лишь к тому, что мы теряем людей и что дело оттягивается до бесконечности...»

В очередных «южных» планах Матвей Муравьев-Апостол не находил ничего, кроме дерзкой экзальтации чувств. Может быть, и достойных отчаянного рыжего мальчика — Мишеля Бестужева-Рюмина, которого Матвей Иванович откровенно считал легкомысленным и неумеренно пылким в своих увлечениях человеком, предостерегая Сергея от дружбы с ним. Но такая экзальтация недостойна зрелого мужа, способного оценить обстоятельства всесторонне, уверял он брата. Задуманное ими, писал он Сергею Ивановичу, было бы просто смешно, если бы не напоминало так действия сумасшедших!

«Горе вам, — писал Матвей Муравьев-Апостол брату, — если правительство этим воспользуется: это все шито белыми нитками, и ему ничего не стоит спутать вас вашими же сетями...»

В сущности, ему самому хотелось давно рукою махнуть на все эти безрассудства, — страх за брата Сергея удерживал.

«Я вполне убежден, — признавался он в том же письме, — что пока ничего нельзя сделать и в Петербур-

ге... Визиты, которые там были сделаны, породили разлад — иначе и быть не могло: с одной стороны выражали чувства, с другой — высказывали предположения насчет вероятностей, а это последнее вышло очень уж холодно. К чести тамошних, я должен сказать, что они с уважением отзываются о вас, чего с вашей стороны я не вижу...»

Верный принципу не называть имен в письмах, даже если они посылались с надежной оказией, Матвей Иванович попытался здесь передать впечатление от переговоров с Пестелем.

Павел Иванович видел в нем своего сторонника — связующее звено с «северянами», но в душе Матвей Иванович Пестелю мало сочувствовал, был далек от того, чтобы безоговорочно одобрять его действия. «Все это делается, — писал он брату, — из ничтожного тщеславия, ради того чтобы тоном учителя навязывать писанные гипотезы, о которых одному лишь богу известно, применимы они или нет...»

Матвею Ивановичу хотелось на дело поглубже взглянуть — чтобы хоть что-то предвидеть.

Применимы ли на практике их теории?

Ответа на этот вопрос он не знал.

«И я спрашиваю вас, дорогой друг, — писал он брату Сергею, — скажите по совести: возможно ли привести в движение такими машинами столь великую инертную массу? Наш образ действий, по моему мнению, порожден полным ослеплением; не забывайте, что образ действия правительства отличается гораздо большею положительностью. У великих князей в руках дивизии, и они имеют достаточно мудрости, чтобы создать себе креатур. Я не говорю о их брате, у которого больше сторонников, чем это обыкновенно думают. Эти господа дарят участки земли, деньги, чины... а мы что делаем? Мы сулим отвлеченности, обещаем дать государственных деятелей из прапорщиков, которые даже и не умеют себя вести. А между тем плохая действительность в данном случае предпочтительнее, чем блестящая неизвестность. Допустим даже, что вам легко будет пустить в дело секиру революции, но поручитесь ли вы в том, что сумеете ее остановить? Армия первая изменит вашему делу. Приведите мне хотя бы один факт, который бы, не скажу доказывал, а лишь позволил бы предполагать противное. Нашелся ли хотя бы один офицер Семеновского полка, который подверг бы себя расстрелянию? Вы ме-

ня спросите, зачем им подвергать себя этому? — но дело идет не о пользе, которую это принесло бы, а о стремлении к другому порядку вещей... Наши силы — чисто внешние; у вас нет ничего надежного. Нам нечего спешить, и в данном случае я не понимаю, как можно произносить это слово. Чтобы построить большое здание, нужен прочный фундамент, а о нем-то менее всего думают у вас. Будет ли нам дано пожать плоды нашей деятельности — это в руке Провидения; мы же должны исполнить свой долг, не более...»

Это письмо — итог долгих раздумий. Нельзя в нем видеть следствие душевной слабости. Долг свой Матвей Муравьев-Апостол исполнит и в самый трудный момент не отступится: Матвей Иванович, несмотря на все уговоры брата, его не покинет в час смертельной опасности и примет участие в восстании Черниговского полка, зная, что не ждет их ничего, кроме гибели.

Девятая тетрадь

1

Встретив Рылеева в Петербурге, было бы трудно не поразиться метаморфозе, случившейся с ним: Рылеев — в отлично пошитом коричневом фраке, довольно модном, и твердые белые воротнички подпирают гладко выбритые смуглые щеки, и галстук безукоризненный, в прическе — щегольская небрежность, бакенбарды «уз-дечкой».

Что с ним приключилось?

Нельзя же сказать, что Рылеев женился на богатой невесте. Его Наталия Михайловна, на петербургский-то счет, бесприданница! Половину полученных за нею душ продали, чтобы в Петербург переехать...

Рылеев не любил крепостной прислуги в доме — ленивой, пьяной и своевольной. Считал ее справедливо сплошной обузой. Оставили только Наташину горничную, а вся остальная прислуга у них в Петербурге была наемная, даже кучер и нянька. Оставшимся из приданого людям дали паспорта, чтобы сами искали себе работу.

Как вспоминал впоследствии один из наемных лакеев, Кондратий Федорович был добрый барин, воли рукам не давал и сердился редко, а больше всего — на ложь. Укради да признайся — простит, Обмана не выносил и

строго спрашивал. Временами он выглядел замкнутым, был молчалив, но обычно — просто серьезен.

Как Рылеев преуспел в Петербурге?

Он, выйдя в отставку, писал, как и прежде, стихи. Гладкие стихи про любовь... Но кого же такими заде-нешь? И кто теперь про любовь пишет с такою серьез-ностью? И не думают! Все, с головой потонули в поли-тике. Говорят об испанских военных, принудивших сво-его короля присягнуть конституции, спорят о греках, толкуют о беспокойных неаполитанцах. Рассуждают об участии знаменитого умника Чаадаева, гордеца, который чего-то не рассчитал и вот, вместо ожидаемых флигель-адъютантских вензелей, получил отставку и едет в Ита-лию... Кому теперь дело до провинциальных любовных романсов, хотя бы и напечатанных в петербургском жур-нале за скромною подписью: К. Рылеев.

И все же — пройдет немного времени, и о Рылееве заговорит весь Петербург; и сам Пушкин будет спраши-вать у друзей из михайловской глуши: что, дескать, там знаменитый Рылеев?

Пушкин станет ревниво следить за его успехами.

Осенью 1819 года, спустя несколько месяцев после свадьбы, Рылеев привез жену в Петербург — предста-вить матушке и родне. Хотел заодно оглядеться в сто-лице. Поездка получилась удачная. Правда, время от-нимали скучные хлопоты о какой-то старинной тевяшев-ской тяжбе, унижительные просительские визиты, сидение в передних у важных персон, от которых зави-село дело, но все же Рылеев успел навестить и литера-турные редакции: познакомился с Дельвигом, с Гнеди-чем, с Гречем и Булгариным, которые были особенно с ним любезны. Булгарин вскоре стал называть Рылеева другом (и что совсем удивительно — не писал на него доносов, а только после событий, когда у него спросили, где Рылеева можно найти, показал).

В редакциях Рылеев оставил кое-какие свои стихи, и некоторые были вскоре напечатаны.

Год спустя он приехал опять, без жены, потому что уже родилась дочка Настенька. Вырвался в Петербург под случайным предлогом, — кажется, из-за той же тевя-шевской тяжбы, застрявшей в Сенате. И снова в редак-циях побывал. Как известный уже поэт.

В «Невском зрителе», мало кому известном журнале, неожиданно взяли его сатиру «К временщику». На нее Рылеев и не рассчитывал, думал — цензуре не по зубам! Сатира была в духе времени, однако написана в виде перевода с латыни, которой Рылеев, кстати сказать, и не знал. Из поэта, якобы, Персия. Существовал ли на свете такой поэт? Стихотворение Рылеева называлось «Подражание Персиевой сатире к Рубеллию». Оно точно было в своем роде подражание. В кадетские годы Рылеев читывал нечто подобное. Был в те времена поэт Милонов, из гвардейцев, отчаянный малый и славный гуляка: сатиры на нравы гвардейские сочинял, не претендуя на то, чтобы их печатать. Их даже кадеты шпарили наизусть! Иногда Милонов писал и как бы переводы из древних: из *Персия*, например. . .

Через сто лет историки докопались, что в Древнем Риме действительно жил какой-то Рубеллий. Не вельможа и не временщик, а напротив — нравственный человек и философ-стоик, Нероном погубленный.

Однако Рылеев, как и Милонов, этого, похоже, не знал.

Милонову имя Рубеллий попало где-то. А Рылееву эта милоновская сатира вспомнилась, когда он загорелся желанием поразить сильных мира сего.

Когда Рылеев показал свои стихи редактору «Невского зрителя», тот, по-видимому, не понял, в чем дело.

И цензор следом за ним дал маху — названием обманулся.

В стихотворении вылилось все, что в душе Рылеева скапливалось годами. Со времен родительской тяжбы с княгиней Голицыной, когда он, почти мальчик, униженный описью отцовского имущества, гневно восклицал в письме к матушке: «О вельможи! о богачи! Неужели сердца ваши не человеческие? Неужели они ничего не чувствуют, отнимая последнее у страждущего?»

По прошествии лет Рылеев был уже не столь наивен. Его «временщик», воплощение всевластных персон русского быта государственного, вобрал в себя разное и от разных людей. Если в этом «временщике» все узнали одного, по имени назвали его, то это — в своем роде случайность. Счастливая и рискованная.

Сатира Рылеева «К временщику» — по оплошности цензора! — появилась в осенней, десятой книжке «Невского зрителя» за 1820 год, когда Петербург взбудоражила трагедия Семеновского полка, восставшего против

того, что повсюду связывалось со скрежещущим и угрожающим словом: *аракчеевщина*...

В Аракчееве не без основания видели *другое я* императора Александра. *Сила Андреевич* — так его за глаза называли — имел и формальное право принимать решения именем государя. Никто не мог попасть и на прием к императору, минуя аракчеевскую приемную. Гордые, вроде Карамзина, ждали царского приема годами. Сам князь Петр Михайлович Волконский, старый преданный пес государев, не пожелав поклониться Аракчееву, впал в немилость. Имя Аракчеева, *временщика*, звенело протянутой цепью между царем и толпою: и мудрено же было его не признать в том вельможе!

Надменный временщик, и подлый, и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Внесенный в важный сан пронырствами злодей...

«Невский зритель», о котором прежде и не слыхали, пошел нарасхват, и десятая книжка журнала передавалась из рук в руки, с закладкой на той странице, где стояло доселе никому не известное имя поэта: К. Рылеев.

Сколько сразу завелось у него знакомых, единомышленников, друзей, льстецов, даже просто желавших пожать ему руку — выразить уважение и восхищение.

И как же ему не хотелось в тот раз возвращаться в Подгорное, где его с нетерпением ждали, конечно. Наталия Михайловна с крошечной Настенькой...

Кто бы в тех краях его понял?

Казалось, в Петербурге только о Рылееве и говорили теперь. Уже видели в нем чуть ли не роковую жертву отчаянности.

Он, в свое время со страстью мечтавший сделаться жертвой ради свободы, теперь... Нет, нельзя сказать, что испугался, но все же — не мог же он теперь всем пренебречь. Он — отец семейства...

Да и так ли уж сладостно ощущать себя тельцом, обреченным торжественному закланию? Когда все только начинается!

Рылеев уехал в Подгорное с острым желанием как можно скорее в Петербург возвратиться. В Подгорном его желание преобразилось в почти нестерпимую жажду — скорейшего и окончательного переезда в столицу.

Рылеев ни от кого не скрывал, что его влечет к себе стихия общественной жизни. Он жаждал славы мучительно и ничуть не стыдился этого.

Тот жалкий человек,
Кто славой не пленится!
Кумир молодой души —
Она меня трубой,
Будя в немой глуши,
Вслед кличет за собой —
На берега Невы!

Конечно, речь шла о славе литературной:

В тревожном шуме света,
Средь горя и забот,
В мои молодые лета,
Быть может, для поэта
Она венок совет...

...В Петербург они перебирались семьей. Из Подгорного в конце лета двинулся на север претяжелый обоз. На долгих ехали, то есть на своих лошадях, которых надо по несколько раз на дню кормить в дороге, останавливаясь подчас в чистом поле. Без малого два месяца ехали, с мучительными ночевками на обжитых клопах постоянных дворах, а то и в курных крестьянских избах. Едва к октябрю дотащились до хмурого и сырого, всегда-то безжалостного к приезжим, а в эту пору — гнилого и мерзлого Петербурга. Сняли наскоро дорогую, но не бог весть какую удобную квартиру на Васильевском острове — где-то в Шестнадцатой линии! Четыре низеньких комнатки в приземистом деревянном домишке. Конечно, и кухня, людская, и ледник во дворе, и сарай для сена и дров, и конюшня; из Батова, матушкиной деревни, в семидесяти верстах от города, за Гатчиной, привели корову...

И чему удивляться? Корову и после держали, когда уже совсем обжились и поселились в хорошей казенной квартире у Синего моста, в самом центре столицы. В дни знаменитого петербургского наводнения, в ноябре 1824 года, когда хозяева были в отъезде, в квартире оставался приятель Рылеева — Александр Бестужев. Он, спасая рылеевское имущество, крепко намаялся, а пуще всего — с коровой; лошади по лестнице на второй этаж хорошо поднялись, а рогатая придурь уперлась...

Рылеев познакомился с Александром Бестужевым летом 1822 года. То ли Булгарин их свел, то ли счастли-во сошлись на каком-то литературном собрании.

Белою ночью Рылеев пешком шел на Васильевский остров. Его попутчиком оказался веселый драгун, умевший быть первым во всякой, хоть бы и в литературной компании. Рылееву это сперва не понравилось, но дорогой они разговорились. Драгун оказался умен и отлично начитан. И пылкости в нем обнаружилось — что там Рылеев! А главное, взгляды их совпадали почти во всем. Подружились сразу и навсегда. Оба с ребяческих лет о подобной дружбе мечтали.

Иронический Николай Бестужев посмеивался, что их дружба с любовью схожа, да и то — пока не простыла.

Душевный, размашистый в чувствах, Александр Бестужев Рылеева искренне полюбил. Он, возможно, единственный принимал Рылеева безоговорочно — такого как есть: нелегкого в обращении и порою заносчивого, но при этом беззащитного и открытого, лишенного житейской ловкости человека.

Рылеев имел характер общительный от природы, но резкий. По временам он сумрачным делался. И постоянно нуждался в сочувствии, в понимании. А Бестужев — насмешливый, шумный и озорной — умел оставаться неизменно терпеливым и дружелюбно-внимательным. Доброта его согревала...

Рылеев приехал в столицу с надеждами на триумф. Желая, может быть, взять в свои руки журнал. Хоть бы «Невский зритель»! И с помощью этого рычага перевернуть все в литературе... Петербург для таких фейерверков — сырое место.

Пока Рылеев отсутствовал — разговоры о нем утикли. Тем более что и жертвенного заклания не было:

Ждала его прозаическая реальность. Родные подыскали Рылееву должность исправника в Софийском уезде, в соседстве с Царским Селом. Отец его армейского приятеля Феди Миллера служил исправником в Рождестве-не, недалеко от матушкиного Батова. Кому-нибудь и такая должность завидной представлялась. Рылеева она ужаснула. Исправник в провинции — род степного татарина: кормится грабежом. От такого поста Рылеев, естественно, отказался.

Должность, на которую обстоятельства вынуждали Рылеева согласиться, была тоже «татарская». Рылеев стал заседателем петербургской уголовной палаты. Суд, известное дело, на взятках держится.

Там же каждая душа
Покривится из греша:
Заседатель, председатель —
Заодно с секретарем!
Без синюхи судьи глухи;
Без вины ты виноват...

В уголовной палате Рылеев сошелся с Пуциным.

Гвардейские либералисты спорили: справедливо ли обвинять мелких чиновников — эту нищую братию — в том, что взятки берут? С жалованья-то семью никак не прокормишь. На взятках самодержавная система стоит!

Пуцин хотел доказать, что порядочный человек в любой должности остается порядочным. И никакая служба сама по себе не подлая — надо уметь заставить людей уважать свою должность. Он это брался на деле доказать, поступив в квартальные надзиратели...

Он бы и доказал — сестры ужасно переполошились.

Анна Ивановна, старшая, на которой дом держался, в слезах бросалась перед Ваничкой на колени: кто же его сестер замуж возьмет, если сам он квартальным станет?

Женские слезы его принудили уступить, и Пуцин поступил на службу в уголовную палату, где и подружился с Рылеевым; вскоре принял его в тайное общество.

Потом Пуцин перевелся в Москву — надворным судьей.

О Рылееве слава уже в столице витала легендарная: о честности его и неподкупности...

2

Живя в Москве, Пуцин обычно избегал появляться в обществе, к которому принадлежал по рождению, но изредка и ему доводилось бывать на балах. Однажды в дворянском собрании он танцевал с дочерью московского генерал-губернатора княжной Голицыной. Москвичи его мало знали, и все друг у друга спрашивали: «Кто это?» — высокий и толстый Пуцин был человек заметный, по-своему даже красивый. Узнав, что судейский чиновник, недоверчиво головами качали: «Не может быть!.. Тут, конечно, какая-то тайна...»

Пушину представлялось удобнее нигде не служить, да семейные средства не позволяли. «Способу нет», — объяснял он с улыбкой.

Однако же о карьере ничуть не жалел.

После лица Пушкин вступил по своей охоте в военную службу — прапорщиком в гвардейскую конную артиллерию. Прodelал и весь этот глупый поход — по литовским и белорусским пескам и болотам. Гордился, что в самых тяжелых переходах по бездорожью, когда солдаты маялись с пушками, шел пешком, не позволив себе никаких привилегий. Во время шмотра у Бешенковичей великий князь Михаил Павлович, ровесник Пушкина — рыжий курносый мальчишка! — при всех привязался к Пушкину за темляк, найдя его не по форме; замечание сделал грубо, — Пушкин сдержался, но той же осенью подал в отставку.

3

Еще обитая в домике на Васильевском острове, Рылеев с провинциальным радушием звал всех знакомых в гости — в воскресенье к обеду; писал на бумажке адрес, объяснял, как найти, но по дальности расстояния к нему редко кто-нибудь добредал.

Бывали Бестужевы. И Прасковья Михайловна с дочерьми приезжала с визитом. Тоже звала к себе в воскресенье обедать.

У Бестужевых на обед подавались щи и другая простая еда. Зато велись прелюбопытные разговоры.

Торсон появлялся. Высокого роста, с белыми как лен волосами, серьезный. И матушка Торсона — совершенно глухая, аккуратнейшая старушка. И сестра Катерина Петровна, красивая, тоже высокая, но уже не совсем молодая девица. Сестры Бестужевы Катеньку Торсонову когда-то за брата старшего прочили, но — как водится, не сбылось. Прасковья Михайловна искала Николаю невесту с приданым среди деревенских соседок. Нашла бы, но Николай твердил, что с него и этого дома довольно, другой семьи не прокормить. . .

И Торсону перевалило за тридцать — он тоже не был женат. Так и прожил одиноко всю жизнь. И ближе друзей не имел, чем Бестужевы. Он в Кронштадте сблизился очень с Мишелем.

И всегда оставались вместе. Только несколько лет в Сибири прожили врозь — Торсона первым отправили на поселение; когда очередь дошла до Бестужевых, они от-

казались от выбранного им сестрами Кургана, приличного городка, где уже были поселены их товарищи по каторге, и просили их поместить в далеком заброшенном Селенгинске, потому что Торсон томился там один. Сестер утешали красотами селенгинской природы, и те соблазнились приехать, но выдержали в Сибири недолго. А Торсон там, в Селенгинске, и умер, на руках у Николая и Михаила Бестужевых.

Сдержанный, немногословный Торсон в рассуждения редко пускался, но рассказывал иногда поразительные истории. На шлюпе «Восток», под командованием капитана Беллинсгаузена, Торсон совершил поход к неоткрытой еще Антарктиде: они первые обнаружили берег неизвестного материка, покрытого вечным льдом; в океане открыли двадцать девять островов. Один был назван именем Торсона. На обратном пути «Восток» и «Мирный» посетили остров Таити, — здесь Торсону было поручено наблюдать за меновыми операциями матросов с островитянами, чтобы никто не чинил тамошним людям обиды или обмана.

Впоследствии, вспоминая Торсона, Михаил Александрович Бестужев его называл «Боярдом идеальной честности и практической пользы».

В дни недельной стоянки «Востока» у берегов Бразилии Торсон оказался свидетелем исторического события: в Бразилии в эти дни мирным путем утвердилась конституция. На карнавально пестрых и шумных бразильских собраниях избрали народных представителей, они пожаловали к бразильскому королю — и тот подписал конституцию! Торсона больше всего поразила легкость, с какою это великое дело свершилось. Он рассуждал: а как бы подобное могло случиться в России? При очередной смене царствования... Ведь есть же у нас и среди людей государственных здравомыслящие особы. И они могли бы потребовать...

Рылеев Торсона слушал с большим интересом.

Николай Бестужев, тоже делавший морские походы, хотя и не столь дальние, вспомнил виденный им самим исторический эпизод — у берегов Испании, где военные мирно «убедили» своего короля согласиться на конституцию; король и там «подписал». Николай Александрович был свидетель трагического финала испанской «бескровной» революции, когда их фрегат «Проворный» делал визит во Францию и в Гибралтар.

Старший Бестужев служил в основном на берегу, но душой был настоящий моряк. Любил корабельные будни — напряженную и упорядоченную сутолоку морского повседневного быта; любил пустынный простор океана, где ощущаешь себя частицей бесконечной вселенной; его увлекала поэзия этого деревянного чуда под белыми парусами — бегущего по волнам корабля; тешили песни и смех сбившихся кучкой на полубаке свободных от вахты матросов, и всплески стаи касаток за бортом, задорно выпрыгивающих из воды, а потом шумно падающих обратно, и важное появление кита на горизонте, его взлетающие к небу фонтаны, тяжелые кувьрки, смешное старание опередить бегущий с попутным ветром фрегат... Больше всего Николай Бестужев любил океанские чудные ночи с их неправдоподобно громадными звездами, с ослепительной луной, — любил в ночные часы нести вахту.

По утрам проступали вдаль, за густым и влажным покрывалом тумана, скалистые незнакомые берега. Вблизи затуманенных скал корабельный сложный маневр был опасен, и целую ночь они, дожидаясь рассвета, нужного ветра, маневрировали вблизи Гибралтара, чтобы навстречу солнцу войти в его узкие каменные ворота.

Поход на «Проворном» был для Николая Бестужева праздник, хотя забот на корабле у него хватало: и по историкографической, и по дипломатической части, не говоря уже об очередных вахтах; на стоянках в чужеземных портах Николай Бестужев делал с капитаном «Проворного» ответственные визиты к городским властям и военным начальникам; он же и тосты произносил на официальных обедах, а также организовывал ответные приемы — на корабле...

После впечатления похода на «Проворном» сложилось в книгу.

Особенно врезался в память заключительный эпизод: в Гибралтаре, на глазах у Николая Бестужева, с французских военных кораблей расстреляли последнюю горстку испанских революционеров. Они могли бы еще обороняться в крепости на острове Леоне, если бы там нашелся источник пресной воды, но жажда их доконала, — оставшиеся в живых сдались на милость победителей. Их всех расстреляли.

...Рылеев, взволнованный, объявил, что Кронштадт станет «наш остров Леоне»!

К этому времени Рылеев успел уже принять в тайное общество сначала Николая Бестужева, а потом и Александра. Николай принял в общество Торсона. Торсон — Мишеля.

Разговор о Кронштадте продолжен был у Рылеева, в доме у Синего моста; Рылеев служил теперь в должности управляющего делами Российско-Американской компании, с окладом две тысячи в год и с казенной квартирой в доме компании. Рылеевская квартира располагалась в нижнем этаже, окнами — частью на Мойку, а частично во двор. И обставил ее Рылеев прилично. Для парадных комнат мебель заказывалась у Егорова, придворного краснодеревщика.

В Петербурге Рылеева знали уже не только в литературных кругах, и в его доме теперь бывало народу множество. Литераторы удивлялись, встречая там часто морских офицеров.

Рылеев на моряков имел свой расчет. И про остров Леоне не зря вспоминал. Кронштадт ему виделся главной опорой будущего восстания: Торсон или Бестужев, считал он, могли бы там взять власть и... Размышляя об участии императорского семейства — уже после визита Пестеля в Петербург, — Рылеев из соображений гуманных держался мысли отправить всю царскую фамилию за границу на корабле, а для этой цели ему нужны были флотские офицеры. Торсон или Бестужев и здесь оказались бы очень полезны...

Слушая рылеевские фантазии, Торсон только посмеивался: кто же их станет слушать в Кронштадте?

— Так надо сделать, чтобы слушали, — говорил Рылеев. — Надо в Кронштадте заблаговременно создать управу, принять в общество побольше морских офицеров...

Николай молча хмурился.

Торсон сказал сердито:

— Все это — чистый вздор! Кронштадтская управа, я думаю, затея несбыточная, ведь надо же знать офицеров кронштадтских, прежде чем говорить... Из серьезных людей никто на такое дело не согласится, а набирать членов тайного общества из одной молодежи — опасное легкомыслие. Зачем нужны вам все эти мичманы да лейтенанты? Хотите, чтобы везде языками трепали? Что вы знаете о Кронштадте, чтобы все эти планы

строить? И зачем отправлять за границу фамилию, да еще обязательно морем?.. Да они в случае революции сами посуху удерут! Отпусти только... Так, как вы предлагаете, действовать — это устроить в России беспорядок, какого долго потом не уймешь. И несчастных событий будет у нас даже больше, чем было во Франции или в Испании. Почему вы решили, что царь не окажет никакого сопротивления? А на что же армия. Да и что они, куклы, — чтобы их за границу на кораблях вывозить? Уж лучше было бы в Зимнем дворце запереть, пока все устроится...

— Нет, в Зимнем нельзя, — возразил, подумав, Рылеев. — Тогда уж лучше отправить всех в Шлиссельбург и приставить к ним старый Семеновский полк для охраны, а в случае возмущения — как с Мирвином...

— И так все они там лишатся жизни, — улыбнулся вежливо Торсон.

Рылеев обиделся.

— Не обязательно все!

И насчет Кронштадта он долго еще упорствовал. В конце концов сам съездил туда с Александром Бестужевым.

В эту пору как раз были в моде поездки в Кронштадт на Бердовом пароходе, где все ставилось на европейскую ногу, служители и матросы были сплошь иностранцы, даже баранья котлета в буфете подавалась английская, с картофелем и острыми приправами, красный сыр тоже был настоящий «честер»; в самом Кронштадте контора англичанина Берда, взявшего на откуп российское паромное дело, завела особый трактир, где туристы ночевали: комнатки вроде кают, опрятные, без клопов и тараканов, постели с чистым бельем. Обед — в общем зале. Причем — обязательный ростбиф...

Обедом в английском трактире все и закончилось. Рылееву и Александру Бестужеву от кронштадтских морских офицеров было поставлено щедрое угощение. Всем кушаньям отдали должное, а потом — согласно английской традиции — скатерть и все, что на ней, убрали, выставили шампанское и другие напитки в устрашающем изобилии. Тогда и начались откровенные разговоры.

И уж больше Рылеев относительно кронштадтской управы речи не заводил.

Мичманы и лейтенанты, посещавшие дом у Синего моста, квартировали рядом, на Мойке, в казармах морского гвардейского экипажа, имевшего целью обслуживать мореходные прихоти императорского семейства.

И Александр Беляев после выпуска из Морского кадетского корпуса был зачислен в гвардейский морской экипаж; летом он служил в команде, которая опекала царские яхты, стоявшие на Малой Невке против летнего императорского дворца, и, как все гвардейские офицеры, нес во дворце дежурства. Император Александр, встречая в саду, между кустов цветущей сирени, хорошенького белокурого мичмана, в ответ на приветствие говорил ему ласково:

— Здравствуй, Беляев...

Мичман Беляев, мечтательный, кроткий юноша, любитель старинных романов и нравственных разговоров, сначала дичился в кругу морских офицеров, более зрелых и опытных, но постепенно стал с ними сходиться.

Начитавшись Вольтера в юности, он, по собственному признанию, не устоял перед его ироническим скептицизмом и поддался на витавшие в воздухе либеральные веянья.

Поход на «Проворном» во Францию и в Гибралтар, с Николаем Бестужевым вместе, расширил его духовные горизонты. Беляеву — гардемаринном еще — досталось участвовать в трудных и даже опасных плаваниях, узнать прелестное чувство слияния с океанским простором. В особенности вдохновляло Беляева то душевное человеческое родство, которое соединяет людей на корабле в долгом плаванье. Не каждому дано ощутить свою духовную связь с человечеством. А он испытал это чувство, которое только счастьем сродни...

И по возвращении из Сибири Александр Петрович Беляев уверял, что истинно счастлив был и благодарен судьбе, что соединила его с такими замечательными людьми.

На «Проворном» Беляев держался не робко. Скарденные французские буржуа дивили его тем, что русских офицеров на парадных своих обедах угощали дешевым бургонским вином, вздымая велеречивые тосты. Дома на любой офицерской пирушке шампанского требуют. И от-

ветный прием на «Проворном» был, конечно, без всякого скаредства. Беляеву даже досталось на каком-то приеме сказать тост — в ответ на приветствие иностранцев. Капитан-лейтенант Бестужев, произносивший всегда эти речи, зачем-то сошел на берег, другие никто не решался, а он встал и сказал...

Англичанин, сидевший рядом, тотчас поднял тост за его здоровье, а потом еще кто-то. Беляев испугался: неужто все тосты ему до дна пить? Так ведь недолго и под столом оказаться!..

«...Все мы мечтали о республике, все представляли себе это золотое время народных собраний, где царствует пламенная любовь к отечеству, свобода — никем и ничем не ограниченная, кроме закона, полное благосостояние народа. Конечно мы мечтали об освобождении народов посредством могущественной России. Словом, в наших мечтах осуществлялся чудный идеал все-совершенного счастья человеческого рода на земле», — вспоминал А. П. Беляев.

Смерть императора Александра явилась для них, рассказывал он, вызовом судьбы, и они готовы были на всякое действие и на любую жертву ради отечества. Их готовность, понимал он, оказалась, может быть, главной пружиной в том, что свершилось 14 декабря 1825 года. Наверное, ничего бы и не произошло, прояви они каплю сомнения.

5

Пытаясь объяснить родным — через два года после этих событий, — Иван Иванович Пушкин писал: «Какая-то необыкновенная сила покорила, увлекла меня и заглушила обыкновенную мою рассудительность, так что едва ли какое-нибудь сомнение — весьма естественное — приходило на мысль и отклоняло от участия в действии, которое даже я не взял на себя труда совершенно узнать, не только по важности его обдумать. Ни себя оправдывать этим, ни других обвинять я не намерен...»

Торсона сомнения посещали. Он имел убеждения твердые, но довольно умеренные. Идеалом считал, пожалуй, конституционную монархию, вроде английской, при которой царю оставались бы его мишурные почести, а реальная власть принадлежала бы министерствам, которые назначались бы и контролировались парламентом.

Познакомившись через Николая Бестужева с муравьевским конституционным проектом, Торсон внимательно его изучил и подробно изложил свои замечания. Торсона возмутила идея Никиты Муравьева ввести имущественный ценз. Торсон остался в убеждении, что места в государстве надлежит занимать людям сообразно их практическим качествам, а не богатству.

К тайному обществу Торсон присматривался критически. Не в его натуре было вдохновляться фантазиями.

«Имея желание видеть отечество мое водимым законами, ограждающими собственность и лицо каждого, и быв обнадежен, что в сем тайном обществе есть люди с весом и даже из приближенных к государю, я в оное вступил», — объяснил он во время следствия.

Когда неожиданно умер император Александр, Торсон оказался в гуще дел тайного общества. Принятое в спешке решение — возмутить солдат при переприсяге — его встревожило не на шутку. Собрать солдат на площади, а что дальше? К чему это поведет, кроме беспорядка?

Оставшись с Николаем Бестужевым с глазу на глаз, Торсон ему сказал:

— Вот наконец все и выяснилось. В обществе нет людей высокого звания. Нет и близких к государю. Присягая Константину, никто и не заикнулся о конституции. . . И теперь никто из полковых командиров не хочет участвовать в возмущении — кто даже прежде и подавал надежду. Все отказались. . . И что же будет, если на площадь выйдут несколько рот, а хотя бы и батальон? Кто их послушается? У царя весь гвардейский корпус. . . Не мичманам перевороты вершить. . . И к чему было торопиться, когда ничего не готово?

Николай Бестужев упреки друга выслушал молча. Он с Торсоном был бы согласен, если бы не понимал так отчетливо: ничего уже не остановишь!

Вся его жизнь оборвалась этим днем. Когда заварилась эта каша на площади, Николай Бестужев на помощь восставшим вывел гвардейский морской экипаж. Там знали его, там ему верили. Он всех поднял словами: «Ребята, наших быют!» — и за ним побежали на площадь. Мичманы и лейтенанты. . .

«Я сделал все, чтобы меня расстреляли, я не рассчитывал на выигрыш жизни — и не знаю, что с ним делать. Если жить — то действовать, а недейтельность хуже католического чистилища; и потому я пилю, строгаю, копаю, маляю, а время все-таки холодными каплями падает мне на горячую, безумную голову, и тут же присоединяются щелчки по бедному больному сердцу. . .» — писал Николай Александрович Бестужев спустя десять лет в камерке Петровского каземата жившему рядом приятелю, вероятно Ивашеву, но письма ему не отдал. «Сказать тебе правду, Базиль, — писал он, — я хочу жизни, а лежу в могиле; я обманут в своих расчетах. . .» Он умел отчаянья не показывать, находил в себе силы душевные быть по виду хотя бы спокойным, всегда занятым, всем для чего-то необходимым. Он то мастерил часы, то писал портреты товарищей по каторге, то совершенствовался в искусстве сапожника и достиг в этом деле завидного мастерства, а когда умерла Александра Григорьевна Муравьева, своими руками соорудил гроб для нее. По просьбе заводского начальства он с Торсоном иногда исправлял и сложные заводские машины. . .

7

Был момент — и к нему судьба обернулась участливо. Сзади осталась кронштадтская маета. Два последних года в Кронштадте Николай Бестужев служил помощником директора маячной команды: налаживал механизмы, возился с лампами, с керосином, с рефлекторами — до всего доходил своими руками, пугая строгостью пьяных маячных смотрителей, раздражавших его сильнее даже, чем бестолковый начальник.

Так ли случайно, что опознали и выдали Николая Бестужева на Толбухином маяке, где когда-то он здорово потрудился.

После расстрела мятежных войск на Петровской площади он хотел уйти за границу по льду залива. Переждал суматоху в доме какого-то доброго старика, в Галерной улице, и, не заходя к своим, в легкой обуви, в тонкой шинели, добрался по льду до кронштадтской заставы. Часовому что-то соврал насчет поломавшегося экипажа — вздумал, дескать, размяться, вот и пошел пешком. Поднялся во второй этаж к своей бывшей соседке, вдове офицера из штурманского училища, у нее обогрелся, надел матросскую робу, кинул на плечи мужицкий тулуп, надеясь, ежели что, себя выдать за денщика-новобранца побестолковой. . .

А спускаясь, на лестнице встретил знакомых: товарища по выпуску из Морского кадетского корпуса и — вот уж с кем бы, подумал, не надо бы вовсе встречаться! — Михайлу Гавриловича Степового, директора штурманского училища. . .

У Степовых Бестужева давно считались свои в доме. Любовь Ивановна и теперь в Петербург иначе не ездила как только в сопровождении Петра Бестужева, служившего адъютантом коменданта кронштадтского порта (они накануне приехали, и Петруша на площади тоже был — вот беда! — а ведь как его уговаривали, все братья просили утром четырнадцатого с Любовью Ивановной отправляться обратно в Кронштадт).

За все эти годы она мало переменилась: так же была бледна, стройна, чуть-чуть загадочна. . . Но ее жизнь стала совсем другая. Три дочки подрастали у Степовых: Елизавета, Софья, Варвара. В Бестужевых дети души не чаяли. Николай Александрович не скучал забавляться с детьми. Мишель, уже после отъезда брата, по просьбе Любови Ивановны заходил каждый день. Он же взял на себя труд обучать девочек основам наук. Они очень его любили.

Смешно: отыскался «доброжелатель» — открыл, что называется, мужу глаза. . .

Что оставалось добрейшему Михайле Гавриловичу? Не вызывать же Николая Александровича на дуэль. Да среди моряков дуэли и не в обычае. Он. . . отказал Николаю Александровичу от дома!

Из Сибири, уже с поселения, когда переписку дозволили, Николай Александрович писал брату — Павлу Бестужеву: «...о семействе С. Нас очень радует каждая весть о них. За службой М. Г. мы следим по газетам и знаем, что он переведен в Петербург. Если ты, как и вероятно, бываешь у них, то скажи М. Г., что мы очень помним его, а особенно я никогда не забуду последнего моего с ним свидания! Тут его прекрасная душа вполне себя показала. Поздравь Л. И. с замужеством милой Софьи Михайловны и скажи о нашей радости при этом известии; скажи также и о грусти нашей, которая развилась при воспоминании о том, сколько лет протекло с той поры, как мы не видели ни Лизаветы, ни Софьи, ни Варвары, и что это только обстоятельство вдруг дало нам понятие о возрасте девиц, которых мы не могли себе иначе представить, как еще детьми! Ты говоришь, что показывал им наши портреты и что они узнали нас; приятно верить, но горько думать, что узнали только по догадке... Что касается до нас, то наши воспоминания, не рассеиваемые никакими впечатлениями, всегда останутся живы; например, никогда не забудем, как в первый раз застали Лизу, как она маленьким своим пальчиком отыскивала на гитаре тоны и аккорды знакомой ей песенки. Не забудем и того, как Софинька в саду здоровалась с индейками и как маленькая Варя встречала Мишеля. Можно ли также забыть, с какою радостью Лиза и Софья влезали на стулья, чтобы похвастать перед своим учителем своими познаниями в географии! И тогда одной было только шесть, а другой пять лет!..»

Он видел перед собой Лизу — в ленте и сарафанчике — семилетнюю, пляшущую по-русски; чувствовал, как она детскими ручонками обвивала его за шею. И Фсфу — так она себя называла — помнил с куклой в руках, сидящей у него на коленях. Елена Александровна, сестра, привезла им с Мишелем в Сибирь дагерротипные портреты девиц, — Николай Александрович поставил их на письменном столе, за которым просиживал несколько часов ежедневно. Глядя в

их незнакомые лица, он пытался в теперешних взрослых чертах угадать прежние, детские, и не мог вообразить ту смешную и трогательную своей понятливостью и прилежанием, нежной кропотливостью Фофу женой генерала и матерью другой маленькой Софьи. Николай Александрович счастлив был, когда все три ему написали, и сам сочинял в ответ длинные сентиментальные письма, хотя и боялся, что им покажется это смешно; просил, чтобы ему это простили.

«У меня, у которого все отнято и нет ни настоящего, ни будущего, — писал он Софье, — осталось только прошедшее, полное вами, тем более дорогое, что оно только одно и осталсь! . . . Этого прошедшего никто у меня не отнимет. Сам всемогущий бог, не лишив меня памяти, не в состоянии сделать, *чтоб того не было, что уже было. . .*»

8

Николай Бестужев перебрался в Петербург, назначенный высочайшим указом на должность «смотрителя модельной коморы» — так это называлось, а по-теперешнему — директором Морского музея. Одновременно — и историографом русского военного флота. Позабыв маячные фонари, он с утра до ночи возился с документами из архива, находившимися в сокрушительном беспорядке, с моделями кораблей, образцами корабельного вооружения и оснастки, — приводил в божеский вид. А как бы между делом еще и набрасывал первые главы российской военно-морской истории — изводил массу бумаги. . .

О Кронштадте старался не думать.

. . .И надо же было ему столкнуться на лестнице с Михаилом Гавриловичем. Лицом к лицу. Да еще в присутствии приятеля. Они оба как раз возвращались от коменданта, где им объявили о чрезвычайном происшествии в Петербурге и что в Кронштадте возможно появление скрывшихся из Петербурга мятежников, кои, по всей вероятности, попытаются через Кронштадт убежать за

границу. Имена Бестужевых были названы среди главных зачинщиков.

В тулупе ли, в чем ли другом, и под гримом даже, было бы мудрено Степовому не узнать Николая Бестужева.

Его спутник, понятно, Николая тоже узнал. Заволновался и посмотрел на Михайлу Гавриловича со значением. Глаза на Бестужева скосил.

Степовой, однако же, глядя в лицо этому офицеру, строго заметил, что лично он не надеется никого из названных у коменданта преступных лиц встретить в Кронштадте. На Бестужева и не глянул.

Николай Александрович беспрепятственно спустился вниз, подхватил у крыльца салазки для дров и, нахлобучив поглубже шапку, поплелся в сторону Толбухина маяка...

Его привезли обратно в Петербург на фельдъегерской тройке, с руками связанными, замерзшего и голодного, привели в Зимний дворец, в те дни больше похожий на съезжую. Бестужев три ночи не спал, был измучен, руки от веревки занемели. В адъютантской сказал, что, пока его не накормят и не дадут полчаса отдохнуть, разговаривать просто не сможет. Великий князь Михаил Павлович, знавший трех старших Бестужевых лично, в этот момент заглянул: приказал, чтобы пленнику поесть принесли и развязали руки. Любопытствуя, рядом с Николаем Александровичем присел на диване, хотел бы кое о чем расспросить. Старший Бестужев слыл при дворе за умнейшего человека. Что его к *тем* занесло?

Бестужев выпил предложенный великим князем бокал вина и заснул моментально, откинувшись на диване.

Через полчаса он готов был встретиться с императором Николаем.

Его появление во дворце в качестве пленника произвело небольшое потрясение. Царь, увидев Николая Бестужева, приведенного к нему в кабинет для допроса, сказал в растворенную дверь императрице Александре Федоровне:

— Еще один из этих несчастных.

Николай Павлович в этот час настроен был благодушно.

— Я мог бы вас и помиловать, — задумчиво произнес он, обращаясь к Николаю Бестужеву. — Зная вас и...

если бы я имел уверенность, что отныне вы будете моим верным слугой. Конечно же, вы понимаете, что в моей власти всё.

— Разумеется, государь, — отвечал ему сухо Бестужев. — Это я понимаю. Но мы и восстали против такого положения вещей, когда император все может. Потому что для него нет закона... Я предпочел бы, чтобы мой жребий, как и судьбы всех ваших подданных, определял бы закон, а не угодность вашего императорского величества. Оставим правосудию идти своим чередом!

Это не единственная легенда о Николае Бестужеве. Есть и другие. О том, например, как он ответил на вопрос председателя Следственного комитета. Павел Васильевич Голенищев-Кутузов бросил Бестужеву раздраженно:

— Я удивляюсь, что вы, умный человек, решились на это гнусное дело!

Он имел в виду планы цареубийства.

— И я удивляюсь, — ответил ему Бестужев. — Удивляюсь, что именно вы меня спрашиваете об этом!

Старец остолбенел.

Молва приписывала такое и Пестелю, сказавшему будто:

— Я еще не убил никакого царя, а среди моих судей есть настоящие цареубийцы.

Пестель, естественно, мог такое подумать, но вряд ли сказал это вслух: его терзали надеждой. На допросах он держался иной линии, чем Бестужевы, считавшие, что заслуживают расстрела. Арестованный 13 декабря 1825 года, за день до события, Пестель долго уповал на царскую милость, пытаясь убедить Николая в своей полной откровенности и раскаянии. Сперва ему казалось, что могут в солдаты разжаловать, потом — что жизнь сохранят... Он сначала все начисто отрицал, в самый первый момент, но на завтра ему показали донос капитана Майбороды, которого он сам же и принял в тайное общество, полагаясь на его личную преданность себе — в благодарность. Майборода растратил казенные деньги, и Пестель ему выпутаться помог. В доносе приводились такие подробности, что дико было бы отпираться. Там были названы имена более чем сорока человек — все старейшие члены тайного общества. Делая ставку на видимое раскаяние, не мог Пестель судьям своим дерзить.

У Николая Бестужева этих иллюзий не было. И не мыслил он для себя другой участи, чем ожидавшая братьев: Александр и Мишель первые вывели на площадь две роты москворцев. . .

9

Уезжая из Кронштадта, Николай Александрович переложил всю заботу о братьях на Торсона. Петр, однако, будучи уже адъютантом, предпочел самостоятельность. Снял отдельно квартиру, мебель завел, заимел круг своих знакомых; много времени проводил в семье своего начальника, где его полюбили. Мишель же, напротив, с Торсоном подружился. Они жили вместе. Мишель старался Торсону помогать во всем, даже начал учить его по-французски. Они и читали вместе. Изучали физику и механику. Оба мечтали о новых морских путешествиях.

Кое-что в жизни успел повидать и Мишель. Во Франции был летом 1817 года. Потом получил предписание отправляться в Архангельск. Лучший морской экипаж посылали туда — для нечаянной прихоти Александра, которому вздумалось по примеру Петра Великого посетить тот забытый край. Николай объяснил, что отказываться неприлично, — Мишель и поехал. Как в ссылку. Дома его снарядили по-зимнему. Отправили на почтовых. Ехал в кибитке с начальником экспедиции и всю дорогу дулся. В Архангельске даже затосковал. Туда прибыли на второй неделе великого поста — время самое скучное, и Мишель заперся демонстративно в «хате», как он называл препорядочный домик, куда его назначили на постой. Объявил всем, что из дому шага не шагнет, пока их назад не отправят. Сжег все письма, данные Николаем, от его знакомых купцов — к архангельским. Соблюдал сурово «обет», но в пасхальные дни всеобщего веселья приятели силой его вытащили на бал в офицерском собрании.

Михаил Бестужев имел общительную натуру. Веселый, отлично воспитанный, он легко заводил приятелей, но дружбы его редко кто добивался. Сам он считал помехой для дружбы свой слишком прямой характер и еще — свойственную ему, как и братьям, насмешливость, «привычку к сарказмам». В нем действительно преобладала грубоватая искренность, иногда и бесцеремонность — в своем кругу.

Главное же — Мишель был тщеславен. Никому не хотел уступать ни в серьезном, ни в мелочах.

— На пасхальном балу в собрании вся молодежь, и местная, и налетевшая из столицы, вертелась вокруг одной дамы, державшейся очень державно. Мишель, оглядевшись, пристроился в очередь ее обожателей — рекрутом без каких-либо прав; и, как он сам признавался, в самый короткий срок «дослужился до чина фельдмаршала». В приятной «службе» пролетели незаметно два года с половиною...

Мишель не желал никому, а тем паче Александру, честь уступить — первым считаться, кто вывел солдат на Петровскую площадь. Александр, конечно, витийствовал лихо перед московцами на полковом дворе, бойко врал, что сейчас только прибыл от императора Константина, который вовсе не отрекался, и прочее. Но его не знали в Московском полку, не пошли бы за ним, он сам никогда не повел бы за собою чужие роты. Ротный командир был Мишель. Ему и солдаты повиновались...

При видимой веселости, простоте, а то и легкомыслии, он и в молодые годы по преимуществу был человек серьезный. Мишеля не соблазняла разгульная жизнь холостых мичманов. Бесцветная и бесцельная. Он охотней сходил с людьми постарше. Любил общество строгого Торсона. И вечера проводил охотнее в семейных домах. В том числе и в двух адмиральских. Его привлекали. Мишель не искал себе выгоды. В доме контр-адмирала Михайловского у него имелся личный, можно сказать, интерес. Мишель в дружбе был с младшей дочерью адмирала Анетой. Намерения серьезные сблизили их.

Последнюю встречу свою с Анетой — 13 декабря 1825 года — он помнил всю жизнь. День воскресный.

Вечером у Михайловских молодежь собралась потанцевать. Девушки в очередь бренчали на фортепьянах. Старик спозаранку засели за карточные столы. Все было обыкновенно. Мишель явился проститься с Анетой. Думал, что едва ли еще когда-нибудь сможет ее увидеть.

В освещенной единственной свечкой столовой, в полутьме, он отстегнул шарф и шпагу, чтобы не обращать на себя внимания танцующих, кивер пристроил тут же на стуле и приоткрыл дверь в сверкающий огнями зал. Ане-

та с кем-то кружилась в вальсе, но Мишеля заметила — они обменялись взглядами. Он дождался, пока Анета отделалась от своего кавалера и выбежала к нему. Веселая. Разгоряченная танцем. Мишель торопливо загворил: невнятные пустые слова...

Она знала, что он в эту ночь дежурит, и не пыталась его удерживать. Не поняла — почему он зашел, если так спешит?

Мишель трясущимися руками застегивал шарф: он вспомнил вдруг, что его еще ждут у Рылеева — надо успеть забежать. Но крючки выскальзывали из пальцев. Анета ему застегнула шарф. Мишель обнял ее порывисто и с непонятной торжественностью поцеловал в лоб. Произнес почти шепотом:

— Прощай, друг мой, прощай...

Что-то в его голосе было такое — Анета задрожала и побледнела. С ней сделался обморок. Мишель едва успел подхватить ее.

Он положил Анету на диван, кликнул няню и бросился вон из дома, чтобы не застигла поднявшаяся вдруг суматоха.

Михаил Бестужев дежурил во дворце этой ночью. У покоев Николая. Когда он, среди ночи, менял караул возле дверей в спальню, солдаты в темноте нечаянно сцепились ружьями, брякнуло громко, и Николай, испуганный шумом, выскочил из-за двери в одном белье. Нервно спросил:

— Кто это?

Мишель объяснил, извинился.

— А, это ты, Бестужев, — успокоился Николай и сказал строго: — Буди меня тотчас же, если что...

Когда Михаила Бестужева привели в кабинет для допроса, Николай вспомнил сразу позапрошлую ночь — Бестужев ему показался злодеем, каких свет не видел, и он приказал заковать Мишеля в железа...

Надели железа и на Александра Бестужева. В наручниках заперли в Алексеевском равелине.

Оставшись один, закованный, запертый наглухо, Александр Бестужев, до этого мгновения бодрившийся, за-

плакал. Слабости своей он не стыдился, справился с нею скоро.

На допросах он уже бодро держался. Искренне и добродушно пытался сводить все вопросы к абстракциям: к суждениям о недостатках российского государственного быта. Ярко и с блеском излагал свои мнения. Как вслух, так и на бумаге. В длинном и подробном письме государю. Не уклонялся и от доверительных разговоров с царем. А когда его попросили подробнее рассказать об участниках заговора, всем выдал наилучшие характеристики: все — честнейшие и добрейшие люди, хотя, конечно, не избегнувшие и естественных в жизни ошибок.

Например, о Торсоне Александр Бестужев писал: «Один из самых отличных и ученых флотских офицеров, из самых кротких людей, каких я знаю; в обществе он держался по дружбе с братом и оттого, что не предвидел таких последствий. На мнения наши не говорил ни да, ни нет...»

Александр Бестужев принимал всю вину на себя — и за братьев, уверяя, что сам их вовлек в историю.

Николай Бестужев тоже полагал, что один несет за братьев ответственность, что как старший он виноват во всем...

Мишель, оставшись в каземате наедине сам с собой, в наручниках, был весьма озадачен. Он, с одной стороны, как ему представлялось, был виновник всего случившегося: первый вывел солдат на площадь; но, с другой стороны, он себя вел благородно и на площади сдерживал солдат, чтобы зря не палили, а какому-то чудачку помешал выстрелить в Михаила Павловича из пистолета. Тот, конечно, и так не попал бы, но все же... И капитулировал Мишель добровольно. Проведя ночь у дальнего родственника, актера императорских театров, и хорошо обдумав все возможные последствия вчерашнего происшествия, он поутру послал человека домой за парадным платьем, полагая, что нельзя во дворец явиться иначе как при полном параде; переодевшись, взял извозчика и подкатил ко дворцу с кивером на коленях, — было зябко; расплатившись с извозчиком, отдал ему и шапку, — кивер надел...

Сворачивая на площадь, Мишель видел на мостовой высокого, с белыми волосами, без шапки, флотского офицера, который шел — руки за спину — в сопровождении полицейских чинов. Защемило на сердце: Торсон! Тотчас же вспомнил его глухую мать и сестру, оставшихся без своей последней опоры. Вчера вечером, после событий, Мишель заходил к ним. Торсона дома не застал. С женщинами посидел за столом; улыбаясь, чтобы не напугать старушку, поговорил о случившемся с Катериной Петровной. Она знала все.

К своим заглянуть попрощаться Мишель не рискнул. Матушка бы расстроилась. Он только сестрам записку послал с тем человеком, что ездил за парадным мундиром.

Вспомнил Мишель и последнюю встречу с Рылеевым, вечером тринадцатого, — Кондратия он застал лихорадочно возбужденным и, как умел, укрощал его нервное состояние.

На площади он, сколько ни высматривал, Рылеева не увидел.

В наказание за строптивость Мишеля держали в крепости на хлебе и воде, не давали и скверной похлебки, называемой «щами». Он это сносил терпеливо.

Случайно узнав, что рядом с ним, за стеною, находится брат Николай, Мишель стал придумывать способ связаться с ним: тихо в стенку постукивал. Брат услышал — стал тоже стучать. Им хватило терпения и догадки придумать азбуку: вскоре они уже перестукивались, разговаривая меж собою удобно и безопасно. Рылеев находился от Мишеля через один каземат. Между ними — князь Александр Одоевский, бывший в состоянии, близком к помешательству; когда в стенку к нему тихонько стучали, он вскакивал и принимался колотить по стене изо всех сил, руками и ногами, привлекая внимание стражников. Азбуки он все равно бы не понял. Однако же Николаю как-то удалось обменяться запиской с Рылеевым. . .

В жизни Мишеля, за все время пребывания в петропавловском каземате, самое сильное впечатление оказалось, когда он от охранника совершенно случайно услышал, что Рылееву кушанье приносили из ресторации, даже давали вино. Мишель, конечно, Рылееву ничуть не завидовал, но, узнав это, долго глотал судорожно слюну.

В ходе допросов Михаил Бестужев производил впечатление педантичного и тупого солдафона. Истово пялил глаза и на все вопросы отвечал четко и коротко.

На царскую милость надежд он, естественно, не возлагал, но и враг себе не был. Держался линии: виноват исключительно по причине слепой преданности императору Константину, которому присягнул уже. Не поверил, дескать, что Константин добровольно отрекся, и как солдат считал долгом своим хранить верность ему, если уж присягнул. С Рылеевым был знаком через брата Александра, но в тайное общество никем никогда не был принят. А просто минувшей весной простудился в манеже, обучаясь верховой езде, и брат Александр поселил его, больного, у Рылеева, поскольку и сам большею частью там жил. Разговоры какие-то слышал, но не придавал им значения и поэтому ничего не запомнил.

Не слыша от него ничего путного, Михаила Бестужева и беспокоили допросами гораздо меньше других.

Он, действительно, первый вывел две роты на площадь, и с этого все заварилось, но в разряд государственных преступников, удостоенных смертного приговора, который был царскою милостью заменен пожизненной каторгой, Мишель не попал. Такая честь выпала из всех Бестужевых одному Александру. Он, впрочем, за чистосердечие и откровенность награжден был особою милостью Николая: не попал со всеми вместе в Читу на каторжные работы, а водворен был сразу на поселение — в Якутске, где жил привольно, по собственному признанию, как «гражданин своего тулупа». В 1829 году его, в виде новой милости, перевели на Кавказ солдатом.

10

Привыкнув к обстановке Алексеевского рavelина, Мишель на досуге думал и вспоминал. Не имея известий о Торсоне, о нем сильно тревожился. Торсон являл для него образец истинного служения отечеству. Вся забота Торсона была лишь о судьбах российского военного флота, с которым он безраздельно связал всю свою жизнь.

Моллер, морской министр, сменивший одесского маркиза Траверсе, недалекий, неумный, но по-своему честный немец, готов был, потрафляя двору, пожертвовать флотом: он с чистою совестью отказывался и от жалких

субсидий, которые иногда на долю его выпадали, — заботился об экономии. Корабли устаревали и гнили. Императора Александра заботила лишь строевая выправка экипажей. Он тешился, поражая иностранных гостей невероятною ловкостью, с какою его матросы выполняли ружейные приемы... Рассказывая об этом, Торсон делался язвительным и злым. К смотру стоявшие на якорах корабли подкрашивались с той стороны, которую видно с царского катера...

Вдохновлялся Торсон, когда говорил о своем проекте преобразования флота.

Что был для него корабль? Рукотворное чудо! Сооружение, способное изумлять красотой и совершенством, поражать воображение мощью, покорностью воле слабого человека, который может его заставить двигаться в любом направлении, споря с ветром, и обтекать земной шар, доставляя изобилие в отдаленные земли. Или нести в своих недрах войну.

Настойчивый, смелый и терпеливый при неудачах, Торсон, по словам Михаила Бестужева, был «рыцарь практической пользы». Не для жалкой корысти и не для тщеславия строил он свои планы.

«Я желаю пользы отечеству, — сухо и строго писал Торсон в своих показаниях. — Не хочу ни власти, ни богатства; хочу быть тем, что я есть».

Временами Торсон казался довольным своею судьбой. Назначенный старшим адъютантом начальника Морского штаба, он мог спокойно и тщательно обдумывать свой проект, и планы его могли бы осуществиться. Ему предоставили недавно спущенный на воду линейный корабль «Эмгейтен», — минувшую зиму он с двумя добровольными помощниками, из которых один — Михаил Бестужев, сидел над сочинением его *штата*. Это была, как Бестужеву вспоминалось потом, работа скучная и скрупулезная. Мучительная. В промерзлом кронштадтском адмиралтействе, при скудном свете сальных свечей, так что слепли глаза от таблиц... Они к весне закончили все расчеты. Оставалось установить такелаж — снарядить корабль. Делалось это в непозволительной спешке, потому что «Эмгейтен» предназначался для летней поездки Николая Павловича в Росток. С государственной миссией — навестить прусских родственников жены!

Великий князь Николай не выносил морской качки,

его тѣшило и в дорожной карете, но плаванье он считал за исполнение долга.

«Не я еду, — объяснял он придворным, — меня везут!»

Ненавидя бессмысленную горячку, Торсон пытался противиться такому назначению «Эмгейтена». Однако ему резонно возразили, что нет другого корабля, пригодного для столь ответственной миссии. И они спешили...

Мишель писал матери: «Корабль, на котором предложено испытать нововводимые вещи, должен вооружаться тихо, с осторожностью, с крайнею осмотрительностью, — тогда как вооружался точно так, как запрягают в полиции лошадей на пожар. Вы можете представить, что это был за хаос: ежедневно толпилось на корабле до пятисот рабочих людей по разным мастерствам. Я не включаю матросов при вооружении. Каждому из людей надо было дать работу, для него совершенно новую, о которой он прежде не имел понятия; следовательно, надо было смотреть за каждым и каждому толковать. Кроме сих работ, было множество поделок в самом адмиралтействе: каждый день надо было их оббегать, чтоб видеть, так ли делается. Присоедините к этому поспешность, с которою торопили, и неудовольствие со стороны всех, которым всякая новость кажется расколом, и тогда вы будете иметь только некоторое понятие тех хлопот и трудов, которыми могли вооружить корабль как должно».

И всю эту трудную работу они исполнили успешно и в срок. Красавец «Эмгейтен» стоял на рейде, как жених перед алтарем. И когда позади остались все тревоги, жизнь поднесла им сюрприз.

Накануне выхода «Эмгейтена» в море прибыл из Петербурга отряд гвардейского экипажа во главе с капитаном Качаловым, чтобы все приготовить к принятию на борт великого князя Николая Павловича, показать ему все корабельные новшества. Торсона от всего отстранили, как лицо постороннее. Про участников тех работ никто и не вспомнил. Флотским начальникам смелости не достало напомнить о них. Император Александр прибыл проводить брата, и ему показали корабль — он остался весьма удовлетворен его устройством, расспрашивал о неизвестных ему деталях такелажа у капитана Качалова, который толком ничего не мог объяснить. Всей команде царь выразил благодарность. По возвращении «Эмгейтена» из почетного плаванья команду щедро наградили.

Торсону хватило мужества и достоинства, оставя обиды, закончить составление нового *штата* для прочих, еще только строившихся кораблей. . .

В Петропавловской крепости он продолжал думать о своем так и не доведенном до конца проекте перевооружения флота, писал об этом новому императору.

Сыгранная им жалкая роль не прошла, однако, бесследно для него. Торсон — первый и, может быть, последний раз в жизни — позволил себе вспылить: наговорил дерзостей Моллеру, — сделал бурю в стакане воды! Моллер не поспешил на обещания. Устроить в ближайшее время Торсону экспедицию в северные моря, позволить ему выбрать маршрут, набрать самому команду. . . Кроткий Торсон позволил уговорить себя, и они с Мишелем, как дети, вертели карту, прикидывая, где еще могут быть неоткрытые земли. . .

«Испытав собственным опытом невозможность принести пользу и испытав наглую несправедливость, мысли мои были доведены до того положения, что я вступил в общество», — показал Торсон. Ссылался он и на заграничные впечатления. Объяснял, что, ревнуя к пользам отечества, предпочел бы действовать к общему благу прямым и законным образом, но убедился в невозможности этого. «Любя отечество и пламенно желая ему всего хорошего, — писал он, — я терпеливо понесу мой жребий, не утрашусь самой смерти, справедливой и необходимой для счастья России, но мучительно для меня одно — если я с собою погребу все то, что в продолжение службы собрал полезного для флота».

Мишель после трюка с «Эмгейтеном» проникся отвращением к морской службе, задушил в себе страсть к морю и стал искать «скрыть свою голову где бы то ни было». Брат Александр через приятеля, служившего адъютантом у великого князя Михаила Павловича, устроил Мишелю перевод в гвардию, в Московский пехотный полк. С легким сердцем распрощался Михаил Бестужев с кронштадтскою братией, напоследок им дал неплохую пируш-

ку. В полку поначалу его приняли с холодком: во-первых, обязан был переводом «рыжему Мишке», а главное — «сел на голову» ждущим производства гвардейским поручикам как старейший по выслуге лет, да еще получив сразу же роту.

Мишель не имел иллюзий относительно новой службы. И все же его приводила в отчаяние муштра — «ефрейторская каторга». Он к вечеру так уставал, что не было сил добрести до дома — на Васильевский остров. Средства не позволяли завести выезд...

Обязанный уметь ездить верхом, он занимался в манеже и простудился на сквозняках. Хворал сперва дома, под скучным присмотром сестер, а затем Александр, жалая, перевез его к себе, то есть к Рылееву, где он большей частью жил.

«В пароксизмах лихорадки мне, как в калейдоскопе, являлись и исчезали лица литераторов и поэтов, поодиночке и группами, говорящих, смеющихся, спорящих или читающих стихи или прозу, как это обыкновенно происходило на *русских завтраках* или за вечерним чаем», — вспоминал он.

12

...Рылеев гостю рассказывал:

— Вы же знаете, как Аракчеев меня ненавидит... Он, конечно, тоже узнал себя в моей сатире. Возмутился. Это же сделалось гласно всему Петербургу! Стихи все читали, и граф совершенно взбесился. Приказал министру — князю Александру Николаевичу Голицыну — выяснить, наказать виновных, а князь поручил Александру Ивановичу Тургеневу, человеку, знаете сами, умнейшему. Тургенев и сочинил от министерского имени Аракчееву формальный запрос: дескать, ежели ваше сиятельство желает, чтобы виновных отдать под суд за дерзкие в отношении вас выражения, то извольте же в точности указать, какие именно выражения, в сем стихотворении допущенные, относятся лично до вас? Что для себя вы находите там оскорбительным? Тот, естественно, ничего не ответил, и никакого расследования не было...

Рылеев смеялся по-детски. И тут же говорил озабоченно:

— Меня окружили шпионами. . .

Летом, когда открывали окна, с набережной хорошо было видно, что в комнатах происходит, и Рылееву чудилось, что к нему заглядывают неизвестные личности. Шпионы. Он по вечерам то и дело к окну подходил и беспокойно выглядывал, отведя занавеску.

Бестужевы над его подозрительностью подшучивали, и гости смеялись. Не смеялся князь Оболенский, в последнее время зачистивший к Рылееву.

Оболенский тоже пробовал кое-что сочинять и почти-точно поглядывал на литераторов.

В доме Николая Ивановича Греча относились к князю Оболенскому сочувственно. Сам Николай Иванович князя жалел: понимал, что друзья его плохо кончат. Рылеев, казалось Гречу, наивного Оболенского тянет к пропасти, обольщает бесовским красноречием.

Греч не подозревал, что Евгений Петрович Оболенский вступил в тайное общество гораздо раньше Рылеева — в 1817 году, в Москве. Не устоял перед обаянием мысли о нравственном самоусовершенствовании. Увлекся мечтою о постепенном решении всех современных общественных и политических задач.

Взгляды Оболенского отличались благородством, но были немного расплывчаты. Будущее России виделось ему в дали туманной и недостижимой. Но тем завлекательнее представлялась ему эта даль. Рылеева Оболенский слушал с доверчивой завистью.

Набывчив лобастую голову и сверкая исподлобья очами, Рылеев перед князем витийствовал вдохновенно: рассказывал и о буйной молодости своей, и о военных походах, жарких сражениях, — Оболенскому не досталось повоевать, он был несколькими годами моложе Рылеева.

Жизнь Кондратия Федоровича Оболенскому чудилась очень загадочной, романтической. И даже его удивительная женитьба — вопреки воле родных. Любовь Рылеева к миловидной и скромной Наталии Михайловне трогала Оболенского до глубины души.

Наталия Михайловна, тоненькая, смуглая, черноволосая, как бы нехотя выходила к гостям. Случалось, что Рылеев, не терпевший присутствия домашних во время серьезного разговора, и прогонял ее. Он выставял из своего кабинета и бойкую Настеньку, которую обожал, и она к нему ластилась.

Рылеевские приятели задавались вопросом: точно ли он так любит свою жену? Не слишком ли она проста для него...

Александр Бестужев, посмеиваясь, называл Рылеева ласково «наш Катон». Или — если заочно — попросту «Либерал».

«Поздравьте Либерала», — писал он сестрам в деревню в сентябре 1823 года, когда Наталия Михайловна родила сына Александра.

Год спустя, в сентябре же, Александр Бестужев заехал к Рылееву в Батово, мечтая там, в деревенской тиши, привести немного в порядок свое сонное воображение. Проще сказать — имелось в виду что-нибудь сочинить для «Полярной звезды», альманаха, который они успешно во второй год с Рылеевым издавали.

В деревне они с Рылеевым пробыли несколько дней.

«Местоположение там чудесное, — писал Александр Бестужев матери, возвратившись из Батова, — не в укор солецкому во сто раз его лучше! Тихая речка вьется между крутыми лесистыми берегами, инде расширяется плесом, инде подмывает скалы, с которых сбегают звонкие ручейки. Тишь и дичь кругом, и я пять дней провел на воздухе, в лесу и на речке. Назад мы ехали в ужаснейшую прозу. Но Рылеева дома ждала гроза еще ужаснейшая: Саша его кончался и через день умер, — не можете себе вообразить положение Наталии Михайловны, отчаяния обоих. Они едва возвратились к разуму; он болен; и чтобы рассеяться — едут в Малороссию через неделю...»

Ненадежная, как погода в Петербурге, фортуна наконец одарила удачей и Александра Бестужева. Из походного бездорожья его извлекло письмо петербургского обер-полицмейстера графа Комаровского, по чьей-то рекомендации желавшего взять Александра Бестужева в адъютанты. Они поладили. Веселого адъютанта полюбили и в графском семействе: без него за карточный стол не садились. Игра-то была невинная — в дурачки. Комаровский, однако же, счел за благо уступить Бестужева генералу Бетанкуру, вдовцу с тремя перезрелыми дочерьми.

Бетанкур — европейская знаменитость. Его, испанского патриота, Наполеону в укор, сманил в Россию Иван Матвеевич Муравьев, тогдашний посол в Испании. В Петербурге Бетанкуру доверили Институт путей сообщения и все хозяйство дорожное. Все российское бездорожье! Бетанкур, талантливый инженер, догадался не сразу, что в этой бескрайней стране дорог не строят — их только латают в предвидении очередного путешествия императора.

И приличного состояния за пятнадцать лет в России генерал Бетанкур не нажил, хотя требовал время от времени к жалованью прибавки — жизнь дорожала; прибавку ему давали.

Толстый, краснолицый генерал Бетанкур относился ко всему с безнадежной, угрюмой иронией. Мрачно взглянул и на нового своего адъютанта. Однако же в скором времени он обнаружил, что с этим легкомысленным говорунном беседовать интересно.

Августин Августинович к Александру Бестужеву проникся искренним расположением. . .

Дочери генерала были истинные испанки. Чудно играли на арфе и пели. Но южная красота, увы, отцветает рано. Лишь Матильда, самая младшая, казалась еще недурна. Однажды, увлеченный ее игрою, Бестужев нечаянно сделал ей предложение. Матильда с недоумением посмотрела на рослого и красивого папашина адъютанта и неожиданно согласилась. Они ринулись в кабинет за родительским благословением. Генерал Бетанкур изумленно взглянул на такое явление и — едва ли что не впервые за эти пятнадцать лет — вдруг громогласно расхохотался. Матильда испугалась и убежала. Бестужев хотел спросить: что во всем этом смешного? Он и спросил бы, но генерал, неистово хохоча, замахал на него руками: дескать, уйди, окаянный, а то помру! Опасаясь, чтобы и впрямь не приключилось удара с ним, Бестужев, отступая к двери спиной, удалился.

Они с Бетанкуром до конца оставались в самых доверительных отношениях, и Августин Августинович жаловался Бестужеву на плохое здоровье, на денежные прорехи и на бессмысленность своего существования; говорил, что и жить ему, видно, осталось недолго. Служба ему сделалась в тягость, и незадолго до смерти у Бетанкура отобрали все-должности.

Сменил генерала Бетанкура другой генерал-иностранец, точно так же не знавший по-русски. Этим, однако,

их сходство исчерпывалось. Впрочем, не совсем. Герцог Александр Виртембергский, которому со всем дорожным имуществом достался и Александр Бестужев, тоже был непомерно толст. Только вот инженерных талантов за ним не водилось. Зато он был родной брат императрицы-матери.

Для герцога Виртембергского адъютант, умевший одинаково лозко составлять рапорты по-русски и по-французски, оказался истинная находка. К Бестужеву он проникся доверием и уважением.

И надо сказать, что адъютантская должность несколько Александра Бестужева не тяготила. Уживчивый, благодушный, способный на всякое дело взглянуть с оттенком иронии, он ко всему легко применялся. Хотя в дураки, конечно, приходилось частенько играть.

Бестужев завел небольшую книжечку в красном сафьяновом переплете, украсил ее эпиграфом из Вольтера: «Я делаю прожекты с утра и глупости целый день», — записывал день за днем:

«Генварь — 1824 год. — Встретил Новый год в санях, искавши генеральшу Нащокину, где хотел и не попал быть на вечере. Лег спать не ужинавши. Утром был на разводе и во дворце; обедал у матушки...»

У Александра Бестужева наконец завелась и своя квартира: во дворе юсуповского дворца, где размещался Институт путей сообщения. Там был прекрасный сад, где он любил иногда прогуливаться в меланхолии. Только жить один Александр Бестужев не мог. Засиживался до ночи у приятелей. Дома изредка ночевал. Когда приходило вдохновение — занимался писательством.

Минуты выкраивал и для книжечки в сафьяновом переплете:

«2/14. Среда. Герцог прислал за мною, чтобы назначить, кому разослать билеты. Обедал у Титовых. Вечером были у меня человек десять добрых ребят. Посмеялись, попили и довольные собою разошлись...»

3/15. Четверг. День дежурства. Обедал у Титовых. Вечером был у графа Комаровского, где посадили играть в дураки. Обедал у герцога. Вечер весело провел у Акуловых. Танцевал котильон с В.»

Обедать нередко доводилось два раза на дню — позволяло здоровье: с приятелями — в охотку, а после по долгу службы — у герцога.

«5/17. Суббота... Был у Бетанкура на минутку. Обе-

дал очень хорошо у Андрие, с французами. Поехали дурачиться. Был с Мухановым и Акуловым у Софьи Астафьевны. Я смеялся — и только...»

Когда все переменилось, Пушкину захотелось писать роман из той петербургской жизни, в котором была бы и «Зеленая лампа», и карточная игра у Никиты Всеволожского, и «чердак» Шаховского, и миленькие актерки, и нелепая — на смерть! — дуэль за Истомину, и бес Завадовский с лихими друзьями, и какой-то еще молодой Салтыков, и один из младших Орловых, возможно Федор Федорович, с которым Пушкин едва не стрелялся на юге, да хитрый Липранди расстроил дуэль, и конечно — «общество умных»: Никита Муравьев, Федор Глинка, Бурцев, Сергей Трубецкой... Петербургский быт — с его мутью: с ресторацией Андрие, где обедать считалось особенным шиком, с грешной обителью знаменитой столичной сводни Софьи Астафьевны, у которой побывать считалось за молодечество... И все споры тогдашние... Такого романа и нельзя было написать, но хотелось очень.

14

«6/18. Воскресенье. Герцог сказывается больным; я обедал дома. Ходил к великому князю Михаилу от герцога — спросить о здоровье: он ушиб себе причинное место прикладом. Был у Комаровского, играли в глупые дураки...»

10/22. Четверг... Ездил с герцогом в институт; представлялся герцогине, которая говорила, что Карамзин ей хвалил меня. Обедал у Греча; вечером был до полуночи у Акулова. Танцевал, но сердце не прыгало под музыку, потому что В. не было.

11/23. Пятница. День, видно, замечательный, что не вспомню из него ни минуты.

12/24. Суббота. Был у меня английский учитель и ломал мой язык глаголами...»

В среду дежурил: «слушал глупости герцога насчет военного сообщения с Ригой».

В четверг поздравлял от лица герцога с днем рождения старуху Голицыну, известную под прозвищем «усатой княгини». Был тронут неожиданной любезностью старой ведьмы.

Княгиня Голицына не терпела нынешнего двора, вела себя высокомерно с теми, кто мог бы считать себя выше ее, равно держалась с равными и неизменно бывала приветлива с теми, кто ниже; после известных событий в декабре 1825 года она едва ли не ежедневно таскалась во дворец, используя свое льготное право — подруги императрицы Марии Федоровны, которую нельзя было не принять, — ездила, чтобы просить за своих многочисленных родственников, оказавшихся в крепости. И Трубецкой был ее внучатый племянник...

Пообедав однажды у Греча без всякого настроения, Александр Бестужев с отчаянием записал: «О люди, люди!»

А герцогиня, говорили, больна, и Бестужеву приходилось обедать с герцогом с глазу на глаз, вести с ним доверительные беседы, вечерами ездить рассеиваться в театр — на одну и ту же немецкую оперу. Как-то нечаянно нагрянули в русский театр и, посмотрев водевиль, согласно воскликнули: «Гадость!»

В тот вечер Александр Бестужев домой вернулся расстроенный, с мыслью, что вся неделя была несносная. И герцог, подумалось, что-то слишком с ним ласков становится.

Но домашним своим Александр писал удовлетворенно: «Я играю комедию как нельзя лучше и такого, будто сто лет жил при дворе». И хвастался, как мальчишка: «На парадах с ним бываю верхом — лошадей дают с придворной конюшни».

И вдруг за обедом герцог вручил ему претолстую рукопись. «Комедия!» — ужаснулся Бестужев. И подумал: «Да кто ж я теперь — критик *придворный* или *притворный*?»

Рылеев, когда Александр Бестужев пытался ему рассказать о своих затруднениях, сердито краснел и взрывался:

— А по-моему, — говорил он, — ты сам хорошенько не понял, что для тебя важнее: революция или флигель-адъютантские вензеля!

Герцогиня-то вдруг взяла да и померла! От расстройства в печени...

«Плачевная картина при выходе царской фамилии из ее спальни. Ужасный урок для них!» — записал в дневнике Бестужев.

С детскою очевидностью понял: *они тоже смертные*. В траурной зале он долго рассматривал с близкого расстояния царское семейство. Все плакали, особенно Елизавета Алексеевна. На кладбище, однако же, не поехал: послан был развозить ответные деликатности герцога расписавшимся в соболезновании.

15

Что есть жизнь гвардейского офицера без состояния? Надежда на случай. И Андрею Розену повезло. Его отличил великий князь Николай Павлович. Летом, в Ораниенбауме, барон Розен так лихо провел караульный взвод при разводе, со всякими сложными поворотами фронтом, так звонко и четко отдавая при этом команды, что Николай от восторга рукой свою ляжку прихлопнул и крикнул:

— Ай, молодец! Ай, славно знает дело, собака!

И всегда после этого барона Розена узнавал.

А однажды с ним ростом померился: кто выше? — оказались точь-в-точь!

Уже солдатские ружья стояли в сошках. Николай, обхватив рукою одну из них, старинную, серую, сказал, к Розену оборотясь, с неожиданным чувством:

— Ведь эта сошка еще отца моего...

После обеда к Розену подбежал адъютант Николая Павловича барон Адлерберг со словами:

— Вы счастливчик, барон!

Великий же князь, когда усаживался в коляску, барону Розену издали сделал ручкой.

Тут и все офицеры к нему кинулись поздравлять.

Желая поощрить такого ладного офицера, великий князь Николай Павлович лично поздравил Розена с обручением.

Невесту Розена, одну из сестер Малиновских, знали при дворе. Отлично воспитанная девица. Лидом и фигурой она являла в глазах Розена идеал: рослая, с тоненькой талией, с высокой грудью и губки полненькие, алые, а руки — лодочкой, как у античных богинь. Глаза, разумеется, голубые. Впрочем, она в присутствии жениха скромно тупила очи, и видел он только ее невысокий чистый лоб да темно-русые волосы, разделенные тоненьким аккуратным пробором.

Когда их в день обручения — 19 февраля 1825 года — впервые оставили друг с другом наедине, Розен от волнения неожиданно разразился рыданиями. Анна Васильевна его чаем отпаивала. Ее родные подозревали впоследствии, что он тогда грех на душу брал, был членом тайного общества. Они ошибались. Розен ни в чем не был еще замешан. Его и не звали в тайное общество. С чистым сердцем, растроганно принимал он поздравления от великого князя в манеже, после дневных учений.

За поздравлением последовал званый бал во дворце с ужином. Сверкающие, как елки на Рождество, стояли шеренгами генералы и с замиранием сердца ждали высочайшего взгляда, а кому особенно повезет — и улыбки. Музыка играла с чрезвычайной приятностью. Бриллиантов и дамских нарядных платьев множество было, но красавиц Розен не разглядел ни одной: Анна Васильевна не получила приглашенья на бал.

...В буфете Розен спросил себе чаю и уже хотел взять чашку у важного, как вельможа, официанта; как сзади откуда-то протянулась крупная холеная рука и перехватила назначенный Розену чай. Покраснев, он с живостью обернулся — увидеть нахала! — но встретил в упор знакомые ледяные глаза. Николай Павлович тут же отведал из чашки чай и с брезгливой примесой вернул официанту, произнеся внушительным баритоном:

— У вас это называется чай? Извольте чашку принять и подайте молодому человеку хорошего чаю!

Да за такую ласку иной генерал и креста бы не пожалел!

И ужин был славный. Царский стол в середине зала украшали зеленые деревца с привязанными к ветвям гиацинтами. После ухода императорской фамилии вокруг стола сделалось столпотворение: озорные пажи хватили фрукты из вазы, лакеи торопливо убрали несъеденное, генералы норовили отцепить от ветки цветок, чтобы дома преподнести супруге. И только гвардейские офице-

ры, сев намертво за своими столами, со знанием дела кричали звучными голосами прислуге, требуя то «Клоде-вужо», то «Клико», то бургонского. . .

Неожиданно Розен подумал, что ведь на этих царских ужинах скучно.

. . . Когда по приказу императора Николая к дворцовой площади стягивали преданные ему полки, Финляндский полк, где Розен служил, первым вступил на мост через Неву. Солдаты его второй стрелковой роты, прослышав о беспорядках на той стороне, возбужденно переговаривались. Следуя за первой ротой, они дошли уже до середины моста, когда Розена осенило, и он скомандовал звонко, хорошо знакомым всем голосом:

— Стой!

Тотчас встала не только вторая, но и шедшая впереди нее государева рота, где Розена тоже знали за образцового командира, начальством любимого. Он не однажды в ответственных случаях и государевой ротой командовал. И никому так солдаты не верили, как ему. По рядам пробежало: «Он же знает, что делает. . .»

Розен с Рылеевым был еле-еле знаком, по кадетскому корпусу. Накануне восстания, как и многие офицеры, был в рылеевском доме, хотя ничего там не обещал наверное, даже за свою роту не ручался, не зная, как повернется с присягой. Подробностей плана ему, естественно, не объясняли. А речь шла об отказе от новой присяги — Николаю Павловичу. . .

Рано утром Финляндский полк Николаю присягнул. Днем их вывели из казармы. Розен выполнил данный ему приказ, но на мосту наконец-то понял, куда их ведут. Для чего. . . Против своих же!

Он понял все и отчетливым громким голосом приказал своей роте: «Стой!»

Засуетились, забегали вдоль колонны офицеры, и генерал очень сердито кричал на запрудивших весь мост солдат. Их лупили фухтиями по спинам, обтянутым казенным зеленым сукном. Солдатам это казалось привычно. Роты стояли намертво, как на поле сражения. Не двинулись бы и от картечного залпа. И некуда им было двигаться — сзади подпирали подходившие роты, а впереди звучало негромкое: «Ротный знает, что делает. Сказано — значит, стой».

Стояли на ледяном ветру часа два или три, пока на

том берегу все кончилось. Розен бодро прогуливался перед своею ротой и зяб со всеми. Пошучивал даже с солдатами. Очень высокий, прямой, в мундире как будто с иголочки, в белых перчатках. Красивый офицер.

Он за всю свою долгую жизнь ни разу не пожалел о случившемся.

16

Александр Бестужев, адъютант герцога Виртембергского и уже довольно знаменитый писатель, с Рылеевым вместе — издатель «Полярной звезды», обгоня братьев, блистательно делал карьеру.

Подумывал о женитьбе. Наблюдательный человек, он заметил, что на придворных и светских балах дамы танцуют с ним гораздо охотней девиц. Никакие его турусы на колесах не могут заставить бледных и чопорных барышень улыбнуться поласковой. Между тем как любое прыщавое ничтожество в камер-юнкерской полулифрее, любой глупый хлыщ; украшенный царским вензелем на эполетах, даже фрачный юноша из архива, — все с легкостью вызывают у них улыбку, неся самый пошлый вздор! Та же гордячка — и млеет от удовольствия... Задумав жениться, он понял сразу, что в Петербурге его слишком знают и вряд ли принимают всерьез в качестве жениха. Искать невесту, конечно, лучше в Москве. Там ярмарка невест, и там его серебряный аксельбант стоит, может быть, золотого.

Желая добра своему адъютанту, герцог пристроил Бестужева в свиту гостившего в России голландского наследного принца, женатого на младшей сестре императора Александра Анне Павловне. Сопровождая принца, Бестужев съездил в Москву. Видел там всех и себя показал. Голландский наследник с ним вел себя как нельзя более ласково. «При встречах на гуляньях всегда говорил, жал руку, в котильонах интриговал меня, подводил дам, которые, по его мнению, мне нравились», — рассказывал Александр Бестужев в письме домашним.

Сказавшись больным, он задержался в Москве на неделю. Ради литературных дел. Встречался с писателями-москвичами, успел подружиться с князем Вяземским, со многими сговорился насчет сочинений для «Полярной звезды». «Никаких положительных планов нет, — писал он матери. — Пожить здесь необходимо, чтобы свести знакомства...»

Имелось в виду через год зимою опять приехать в Москву на предмет возможной женитьбы.

В 1825 году Александру Бестужеву исполнялось двадцать восемь лет...

Весною начались обычные инспекторские поездки для наблюдения за строительством московского шоссе, которому государь уделял особенное внимание. «Герцог так мне вверился, — хвалился Александр Бестужев домашним, — что без моих глаз никому не верит».

Мелкая суета...

Осматривание мостов и дороги, ночевки у случайных любезниц, дрянные обеды втридорога в грязных трактирах.

«Скучен до бешенства!» — записывал Александр Бестужев в дневник.

А впрочем, у генерала, ведавшего постройкой шоссе, обнаружилась «прекрасенькая женка»; Бестужева приглашали обедать; «с нею познакомливаемся», — записывал он. Что ж, такой он был человек...

Плакал, потрясенный слухом о смерти Байрона.

Не размышляя, кинулся спасать тонущего в осенней Неве незнакомца, — выуживал его, пустившись в дырявой лодчонке и сам не умея плавать; привел домой и отпаивал чаем, всю ночь уговаривал жизнь не крушить безрассудно; отпустил, даже имени не спросив...

И мог, повстречав за кулисами чуть знакомого молодого актера, расстроенного выданным ему на выход — первый! — тряпьем, снять свой адъютантский мундир и одеть несчастного лицедея.

В тюремном замке «Форт Слава», где их продержали около года, Александр Бестужев ухаживал, как терпеливая нянька, за тоскующим и достающим у сторожей вино капитаном Тютчевым, бывшим регентом знаменитого семеновского солдатского хора, человеком недалеким и малограмотным; однополчане Тютчева, Якушкин и Матвей Муравьев-Апостол, только удивлялись: чего ради этот фронт, краснойбай с тусклым Тютчевым возится? Им Александр Бестужев пустозвоном казался...

Впоследствии Матвей Иванович имел случай поближе познакомиться с Александром Бестужевым. Их вместе отвозили в Сибирь, до Якутска,

Муравьев-Апостол все еще не мог пережить трагической гибели братьев — Сергея и Ипполита, который при разгроме Черниговского полка, не перенеся беды, застрелился. Александра Бестужева, напротив, мучила всю дорогу призрачная надежда — догнать увезенных вперед Николая и Михаила. «Нетерпение Марлинского видется с ними оборвалось на мне, — вспоминал Муравьев-Апостол. — Наш официальный спутник, приняв в соображение особое ко мне расположение тобольского губернатора, обращался почтительно ко мне на всякой станции с вопросом: желаю ли я отдохнуть или приказать закладывать лошадей? Из этого Александр Бестужев заключил, что от меня бы зависело уговаривать квартального доставить нам возможность поведаться с его братьями; но узнав от нашего пестуна, что ему строжайше предписано не съезжаться на станциях с опередившим нас поездом, и жалея его, я не решился вводить его в искушение. Разногласие это не раз возбуждало между нами горячие прения, не расстроившие, впрочем, несколько наших дружеских отношений. При его впечатлительности и страстной натуре, Александр Бестужев одарен был любящим сердцем и редкой уживчивостью. . . » В Иркутске им все же удалось догнать увезенных раньше, — там Александр Бестужев увидел Николая и Михаила в последний раз.

17

.. Утром Александр Бестужев навестил больного приятеля, Муханова, и застал у него Грибоедова, о котором был много наслышан. Бестужева раздражала молва, что-де комедия грибоедовская гениальна. (И Пушкин в эту же пору допытывался у Вяземского: «Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чаадаева, — в теперешних обстоятельствах это чрезвычайно благородно с его стороны. . . »)

Бестужев о Грибоедове кое-что слышал от Якубовича, только что возвратившегося с Кавказа, — он был сослан туда за дуэль, в которой с Грибоедовым вместе участвовал как секундант.

Якубович — живая легенда. Герой байронический: лохматый, громадный, с очами сверкающими и с черной повязкой на лбу; *гражданин кулис* и неистовый повествователь о кавказских подвигах.

В письме к Александру Бестужеву Пушкин Якубовича называл героем своего воображения.

«Когда я вру с женщинами, — писал Пушкин Александру Бестужеву, — я их уверяю, что разбойничал с ним на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметева...»

Кавалергардский корнет Вася Шереметев, лет двадцати, был единственный сын небогатых родителей, добрый повеса, счастливейший среди поклонников балерины Истоминой, обожавший ее с безумием молодости и страсти. Они жили почти по-семейному.

У Шереметева был приятель граф Завадовский, отставной гусарский поручик, сын случайного екатерининского вельможи: богатый, истинный бес, искуситель и циник, картежник, бретер... Завадовский хвалился, что первый приметил Истомину — девочкой еще, в рваном платье изображавшей на сцене вакханку; тогда же всякий балет завершала всеобщая вакханалия.

Истоминной льстило внимание графа.

Грибоедов был друг Завадовского, жил у него в ту пору. Он однажды залучил Истому в гости: после спектакля дождался ее у театрального подъезда и в наемной карете привез к Завадовскому. Шереметев, узнав про это, взбесился и, по совету Якубовича, согласившегося на роль секунданта, вызвал графа. Секундантом Завадовского, естественно, оказался Грибоедов.

Завадовский выстрелил первый и ранил Шереметева смертельно, — тот и умер назавтра.

До конца своих дней Грибоедов не мог вытравить из памяти образ умирающего приятеля; мучился, видимо, и вину свою чувствуя.

Якубович после этой дуэли поклялся убить Грибоедова. На Кавказе они дрались, и Якубович прострелил Грибоедова руку.

...Непримиримую ярость затаил Якубович и против императора Александра — за сломанную карьеру и ссылку на Кавказ; Завадовский не был наказан, отправился путешествовать за границу.

Возвратясь в Петербург с простреленным лбом, Якубович потрясал истертым до дыр приказом и всюду кричал, что убьет императора Александра. Кое-кто возлагал на это надежду; иные и опасались; Никита Муравьев, озабоченный несвоевременным порывом Якубовича, послал вестника в Киев — к Трубецкому — с вопросом: как быть с кавказским разбойником? Знавший Якубовича еще по Московскому университету Трубецкой ответил: «Не убьет!»

Со слов Якубовича Александр Бестужев проникся предубеждением относительно Грибоедова, и, когда Муханов их представил друг другу, оба внятно и холодно себя назвали, не подавая руки.

Сели в разных углах комнаты, исподволь друг друга разглядывая...

Наружность Грибоедова показалась Бестужеву благородной: среднего роста, в очках, в черном фраке. В лице — неподдельное участие к захворавшему приятелю. В каждом жесте естественность и простота. Грибоедов Бестужеву нравился, вопреки тому предубеждению.

Казачок подал трубки.

Табачный дым смягчил резкость движений и сгладил остроту черт лица. Прибавил Грибоедову обаяния. Разговор пробивался на ощупь. За обменом дежурными любезностями сверкнуло искрою имя Байрона, погибшего только что. Грибоедов заметил небрежно, что предпочитает Гете. Бестужев это имя знал понаслышке. Он тут же дал себе слово, что непременно завтра же Гете прочтет...

Беседа готова была вот-вот оживиться, но всегда лёгкий на слово Бестужев перед Грибоедовым то ли робел, то ли осторожничал, опасаясь его как слишком умного собеседника. Грибоедов иронически улыбался. Бестужева это невольно настораживало. А когда наконец он освоился, встречу прервал посыльный от герцога: Александра Бестужева разыскивали для важной какой-то миссии. Он чертыхнулся и встал, довольный отчасти, что кончилось странное испытание. Вышел от Муханова озадаченный.

Грибоедовской пьесы он еще не читал, хотя видел у Булгарина несколько списанных с ошибками монологов. История дуэли, рассказанная Якубовичем, тоже смущала.

«Ум и сердце, человек и автор, — а может быть, это не все равно?» — думал он.

Коляска уже катилась по розной московской дороге. Он все думал: да можно ли быть плохим человеком и вместе — сочинителем гениальной комедии?

Александр Бестужев так увлекся своими мыслями, что не заметил, как за Ижорами обогнала его царская карета. Кучер едва успел свернуть на обочину. Обогнав их, карета тоже остановилась. Бестужев поспешно выскочил из коляски. Но царь, слава богу, был весел и доволен состоянием дороги. Кивнул Бестужеву ласково.

Проводив глазами карету, он вздохнул облегченно и приказал кучеру возвращаться. В Ижорах остановился обедать и... нечаянно застрял до утра. Назавтра едва не застрял у своего дорожного генерала. Во время обеда генеральша изволила делать авансы — ножкою под столом. Он изобразил на лице чрезвычайное огорчение и объявил, что спешит с важнейшим государевым поручением. На ночь глядя сел в коляску. Дома — глаз не успел сомкнуть — прибежал посыльный от герцога. В четыре часа утра. Дернул же черт ему рапорт в прихожей оставить. Камердинер не утерпел до утра — поспешил обрадовать. Потасился к герцогу, чтобы лично подтвердить: государь доволен дорогой. Герцог, в белом ночном колпаке, заставил его повторить драгоценную новость...

«Горе от ума» Александр Бестужев, разумеется, залпом проглотил. Ах, как он в Грибоедове ошибался! Нет, невозможно поэту притвориться порядочным человеком. Можно, конечно, прятать свое лицо под маскою добродетели, но то будет вздор. Искусство истинное не терпит притворства. Как представить в комедии честного, доброго, умного человека — когда сам ты не честен, не умен и не добр?

Через полгода после той первой встречи Александр Бестужев, с присущей его характеру нетерпеливою прямою, пришел в Демутов трактир, где жил Грибоедов, и откровенно выложил ему все, что он думает о грибоедовском сочинении.

Грибоедов его появлению не удивился. Он собирался куда-то, но тотчас же передумал идти и дружески протянул руку Бестужеву. Разговор сразу сладился. Сердечный, искренний.

Поговорили и насчет способов преобразования государства, и о литературе, и о женщинах. Последнее запомнилось Александру Бестужеву потому, наверное, что

весьма его удивило. О женщинах Грибоедов говорил неприязненно, желчно.

Какое жестокое разочарование этому предшествовало?

— Дайте им пряник и зеркало, и они будут счастливы! — говорил Грибоедов, кривя тонкие губы в улыбке.

Он уверял, что от женщин нельзя ждать ничего путного. Они неспособны быть просвещенными без педантизма и чувствительными без жеманности. Вся их рассудительность — голый расчет, а нравственная чистота — ханжество.

— Женщины сносны только в глазах влюбленных, — объявил наконец Грибоедов, — и будь моя воля, я снова бы запер их в гарнице. Спокойствие браков упрочилось бы и дети росли здоровые... Место женщин — в жизни домашней, а в свете от них только суетность. Они — причина всех глупостей!

18

Пока жена оставалась в деревне, страхась возвращения в опустевший со смертью их сына дом, Рылеев пережил сердечную бурю. Имея характер пылкий и неумный, он совершенно запутался в собственных чувствах и разуберился в своей некогда твердой домашней политике. Он в конце концов вынужден был рассказать эту удивительную историю Николаю Бестужеву.

Рылеев нуждался в хладнокровном советнике. Александр Бестужев, хотя и ближайший друг, на эту роль не годился.

С Николаем Бестужевым у Рылеева были отношения особого рода. Николай Александрович не из тех, кто словами о дружбе бросается с легкостью. Слова «дружба» старший Бестужев, казалось, и вовсе не признавал. Объяснял иронически, что за правило взял держать сердце открытым для всякого, как голубятня: пусть кто хочет влетает, а кто хочет вылетает, — никого удерживать не стану, а кто остается — тем спасибо скажу! Он любил подчеркивать свой «холодный характер». И — терпимость к людям. Никогда не скрывал, что чувствительным вздохом о дружбе предпочитает приятельство.

Николая Бестужева и Булгарин считал приятелем. Николай Александрович и его не разубеждал.

С Рылеевым было иное: дружили без громких слов.

Наталья Михайловна из приятелей мужа только Николая Александровича отличала — вступала с ним в дол-

гие разговоры и без робости с ним делилась своими заботами.

Николай Бестужев лучше других понимал, как непросты рылеевские семейные отношения и как тяжки Кондратию Федоровичу упреки знакомых, что он-де «плохой семьянин».

А уж это приключение!

Рылеев волновался до слез, рассказывая Николаю Бестужеву, как неожиданно к нему обратилась за помощью незнакомая дама, приехавшая в Петербург хлопотать о деле своего покойного супруга, которого несправедливо обвиняли в денежной растрате. Дама объяснила Рылееву, что наслышана от знакомых о нем: его безукоризненная репутация всем в Петербурге известна. И Рылеев, конечно, не мог отказать ей в помощи, хотя бы только советами.

Обыкновенно Рылеев избегал знакомиться с дамами. Он был в женском обществе очень неловок, застенчив и сам от этого бесконечно страдал.

А эта дама была ко всему еще и невиданная красавица.

Сначала Рылеев пытался держаться с ней на почтительном расстоянии. При первом визите к ней — не могла же дама сама приехать к нему! — он, краснея, долго отказывался от предложенного любезной хозяйкой кофе. Однако же новая знакомая оказалась очаровательно проста и естественна. Уговорила его выпить кофе. И потом со слезами ему рассказывала про свое запутанное дело. В замешательстве Рылеев мало что понял в ее по-женски бестолковом изложении. Она и при последующих встречах о деле толковала, но от этого дело ничуть не стало понятней. Временами в глазах ее появлялась тревожная томность, а порою — милая растерянность...

Слушая Рылеева, Николай Александрович ни разу не улыбнулся. Ему не хотелось друга разочаровывать, — он-то в момент все понял. Прелестная незнакомка с непонятною целью старалась всеми доступными женщине способами расположить Рылеева в свою пользу. Играла на его чувствительности, доброте...

Маневры ей удавались — Рылеев голову потерял.

Вскоре она и вовсе забыла об уголовном деле покойного супруга, — выразила желание, чтобы Рылеев вообще руководствовал ею в жизни. Искала советов, что ей читать и как думать о прочитанном. Да и просто — о том или другом предмете. Рылеев охотно взялся за ее про-

свещенне. Следуя его рекомендациям, она кое-что прочла и прочитанным восхищалась. Но изредка позволяла себе и слегка ему противоречить. Рылеев уверился, что она дорожит его мнением.

Он стал меньше дичиться. Естественней с нею держался.

Кое-кто из знакомых внимание обратил на его увлечение, — толки пошли о его семейном непостоянстве. Рылеева это смущало.

Тем не менее он еще не решался поверить, что женщина столь необыкновенная вдруг прониклась чувством к нему. Может быть, это с ее стороны простая любезность?

Она в конце концов Рылееву чуть ли не прямо призналась.

— Вот это-то мне и подозрительно! — перебил его Николай Александрович. — Странно мне, знаешь ли... И не хорош ты собой, и не ловок, и с дамами любезничать не умеешь, — с чего бы ей вдруг увлечься тобою? И твой талант не такого рода... Тут ведь совсем другое нужно! Не те добродетели, какими ты наделен...

— Интересно, какие же надо? — мучительно улыбнулся Рылеев.

— Обаяние... Опытность, может быть, или хотя бы умение выглядеть фатом. Вот как братец наш Александр... А к чему ей твоя правдивость? Прямодушие... Стихи твои... Пусть уж за это жена тебя любит. Женщины, знаешь ли, могут быть очень жестоки. Ты ей за чем-то нужен... А в деле ее супруга ты разобрался?

— Ты просто ничего не понял! — рассердился Рылеев. — Да она про это дело больше и не вспоминает...

— Вот это и вовсе скверно, — серьезно сказал Николай.

На Рылеева было жалко смотреть, и Николай Бестужев попытался свести дело к шутке.

— Но если все так, как ты думаешь, — улыбнулся он, — зачем упускать такой случай? Да что ты, монах?

— Нет! — вспыхнул Рылеев. — Не смей так говорить. И упаси бог! Чтобы я слабостью женской воспользовался когда-нибудь?

— Тогда чего же ты хочешь? Зачем едешь к ней? Жену почему держишь в деревне? Хочешь еще потянуть удовольствие...

— Ты, Николай, жестокий человек, но ты прав, — неожиданно согласился Рылеев. — Только ты ничего не по-

нял... А Наташа... Я же не хочу, чтобы она меня в таком состоянии видела, — это ее убьет!

Они целую ночь говорили. Утром Рылеев поклялся Бестужеву, что ничего не станет скрывать от него в отношениях с этой женщиной...

История эта какое-то время тянулась и по возвращении жены. Рылеев давал себе клятвы, что ездить туда не будет. Держался. Но дама за ним присылала, осыпала его упреками. Ее женская смелость сводила его с ума.

Николай Александрович стороной постарался узнать об этой странной особе. Добытые им сведения подтверждали самые худшие опасения. Дама имела связи с тайной полицией...

19

В доме Рылеева толклись и такие люди, относительно которых не заблуждался никто. И тот же Булгарин — навязчивый, неопрятный, в чем-то, может быть, и одаренный. Рылеева он по-своему любил. И ученый приятель Булгарина Греч, о котором кто-то распространил издевательский слух, что его будто бы за какое-то либеральное прегрешение в полицейском ведомстве высекли. На знаменитых литературных обедах у Греча бывали все: и Рылеев, и Александр Бестужев... Мишель читал там стихи, а Николай Александрович вслух бранил их — как жалкие словесные побрякушки, подражание Александровым «драгонадам». Обиженный Мишель удалялся в детскую, там возился шумно с «гречатами».

Мишель все еще представлялся Гречу мальчишкой. Однажды, оставшись с ним с глазу на глаз, Николай Иванович спросил небрежно:

— Ты ведь, конечно, тоже член тайного общества? Ну и чего же вы там добиваетесь? В чем ваша цель...

Острый взгляд стальных бестужевских глаз заставил его замолчать.

— Николай Иванович, — произнес Мишель строго, — давайте договоримся, что вы не сыщик, а я не доносчик... Но если я в первом ошибся, то уж поверьте, что никого, как Иуда, за тридцать сребреников не продам!

...На русских завтраках у Рылеева собиралась куча народу, но тон был совсем иной. На стол выставлялся графин с водкой, появлялась огромная миска квашеной

капусты, до которой Александр Бестужев особенно был охоч; хлеб нарезался толстыми ломтями по-крестьянски. Гости пели свои застольные песни — опасные, озорные: «Ах, где те острова, где растет трын-трава, братцы...» или «Царь наш, немец прусский, мундир носит узкий...». Никто не нажимал чрезмерно на угощение. Исключая младшего Пушкина, Левушки, читавшего новые стихи брата. Иногда он переоценивал свои силы, и Александру Бестужеву приходилось тащить его в подходящее место, за что он и прозвал ненадежного гостя «Блевушкой».

Вечерние беседы у Рылеева не бывали столь многочисленными. Обязанный утром являться к разводу Александр Бестужев рано отправлялся спать. Мишель из другой комнаты, приоткрыв дверь, прислушивался к негромкому разговору. Приглядывался к незнакомым гостям. Примечал среди прочих долговязую фигуру князя Трубецкого. Возвращаясь за полночь с какого-нибудь литературного заседания, Рылеев любил привести с собой кого-нибудь, и тогда в ночной тишине, в гулком зале долго звучали рылеевские стихи.

Трубецкой слушал новую поэму:

Забыв вражду великодушно,
Движенью тайному послушный,
Быть может, я еще могу
Дать руку личному врагу;
Но вековые оскорбленья
Тиранам родины прощать
И стыд обиды оставлять
Без справедливого отмщенья —
Не в силах я: один лишь раб
Так может быть и подл, и слаб...

Стихи звучали взволнованно, вдохновенно; в них сквозили трагические откровения:

Нет, не одна к жене любовь
Мой ум быть осторожней учит, —
Нередко дума сердце мучит:
Не тщетно ли прольется кровь?
Что, если ждет нас неудача?
Вот я чего, мой друг, боюсь, —
Тогда, тогда святая Русь
Навек страну будет плача...

Рылеев читал отрывки из поэмы «Наливайко». В них Киев описывался, и Днепр, и поход...

Низкое петербургское небо спускалось до самых окон, и тьма заглядывала в просторный и гулкий зал, где гремел вдохновенно голос Рылеева:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

Трубецкой говорил что-то о Киеве. Кажется, сам он вскоре едет туда. На юге его присутствие становится необходимо. По голосу заметно, что Трубецкой взволнован...

Что их сближает, таких непохожих, Рылеева и Трубецкого?

В отношении Трубецкого к Рылееву, который был лет на пять моложе, проскальзывало даже нечто отеческое.

Рылеев — и в этом сомнений нет — не испытывал к Трубецкому ответного теплого чувства. В его взгляде на Трубецкого сказывался расчет и... Снизу вверх приходилось смотреть. Они не могли на равных. С Пушиным или, например, с Оболенским князя Трубецкого и за пределами тайного общества соединяли обычные светские связи. Рылеев же был человек не светский. Неохотно отзывался он на приглашения князя пожаловать в гости к нему — в лавалевский чинный и чопорный особняк. Ну, например, на именины княгини Катерины Ивановны — 24 ноября 1825 года. Трубецкой возвратился из Киева, и Рылеев не мог уклониться от встречи.

Уже распространились слухи об опасной болезни императора Александра, и общее настроение становилось тревожно.

В доме графа Лавалы за именинным обедом Рылеев услышал от Трубецкого, что император скончался.

У Рылеева не было к Трубецкому личной приязни, и, может быть, князь даже раздражал его светской любезностью, вежливостью, неопределенностью суждений, вялостью вообще. Он Рылееву бесхарактерным человеком виделся, и Рылеев надеялся в нужный момент использовать это: полковник гвардии князь Трубецкой в представлении Рылеева был все же фигурой, имевшей вес и в военных, и в правительственных кругах. С большинством

полковых командиров Трубецкой был на «ты» и в Сенате имел приятелей. Близко знал важных лиц при дворе. И все ему было известно. Роль «диктатора» Трубецкому была предложена в надежде, что он будет послушный «диктатор».

Рылеев удивился, когда его предложение выбрать «диктатором» Трубецкого не встретило никакого энтузиазма. Одобрили как бы нехотя. И князь был растерян.

Полковник Булатов, — ему Рылеев рассчитывал поручить командовать теми войсками, что выйдут на площадь, — заметил о Трубецком иронически: «Да, он довольно велик!»

Утром 14 декабря Булатов прислал сказать Рылееву, что не сможет исполнить того, что ему назначено.

Трубецкой, зайдя к Рылееву часу в седьмом, был к этому близок. Признался, что ночью глаз не сомкнул...

Роль «диктатора» очень не нравилась Трубецкому. Привычную вежливость князя, его спокойствие — следствие хорошего воспитания, выдержку военного человека Рылеев принимал за согласие с ним, а на самом деле все в Трубецком противилось; он и послушным «диктатором» быть вовсе не собирался, он ужасно боялся — не наломали бы дров! До последней минуты надеялся, что как-то сможет на происходящее повлиять. Предложенные им планы казались Рылееву сложны; они, разумеется, не гарантировали успеха, но и здравого смысла не были лишены. Этих планов не захотели принять, и Трубецкой не настанвал, — он в успех задуманного не верил. Но понимал и то, что одним вдохновением никто еще не выигрывал войн.

Молодежи казалось довольно и вдохновения.

В тесноте читинского каземата велись ожесточенные споры о причинах неудачи восстания; позднее об этом писались воспоминания; однако Трубецкой никому, даже ближайшим друзьям своим, как Якушкин, не пытался объяснить свое поведение в этот день; ни перед кем не оправдывался; и в своих мемуарах этого не коснулся; и никто, видимо, не решался его расспрашивать. А ведь его не в чем-нибудь обвиняли — в предательстве!

«Надо же, наконец, признать, что ни на кого не сыпалось столько незаслуженных укоров, как

на князя Трубецкого», — писал уже после его смерти один из более молодых членов тайного общества П. Н. Свистунов, в ту пору кавалергардский корнет, знакомый близко с самим Трубецким и с семейством его жены. Свистунов был в лавалевском доме, накануне событий.

Он вспоминал: «Трубецкой только что тогда был избран начальником под неуместным наименованием диктатора — звание, от которого он долго и упорно отказывался. В искренности его отказа не могли усомниться все те, которые его знали: редко можно встретить человека более чуждого всякого честолюбия и даже тщеславия. Оставшись с ним наедине, я по разговору убедился, что он не сочувствует восстанию и не одобряет его, и понял тогда, что согласился он принять предлагаемое ему начальство лишь по неотступной просьбе главных деятелей и по мягкости своего характера. Мне пришла тогда мысль, что он надеялся, вероятно, своим хладнокровием и трезвым взглядом на вещи умерить пыл Рылеева и Оболенского». Рылеев, писал Свистунов, сам всем распоряжаясь, «нуждался в человеке, на уступчивость и мягкость характера которого мог вполне надеяться». Трубецкой же, по мнению Свистунова, не нашел в себе твердости, чтобы отказаться от навязываемой ему ответственности. «Узнав, что во всех полках присягнули, он не мог полагать, что несколько отдельных рот откажутся и выступят на площадь на гибель неминуемую. Тут не безначалию следует приписать неуспех восстания, а незрело обдуманному и отчаянному предприятию. Будь тут сам Наполеон — что бы он сделал с горстью людей и без пушек против окружившего его со всех сторон многочисленного войска, состоявшего из пехоты, кавалерии и артиллерии?»

20

На войне Трубецкой командовал ротой и умел повести свою роту в штыковую атаку. Знал, что с помощью вдохновения можно, пожалуй, отбить у врага батарею, но чтобы выиграть сражение? . .

Нетрудно ему было предвидеть исход отчаянного предприятия. Кое с кем из полковых командиров, своих прежних приятелей, он исподволь побеседовал, — понял, что из них ни один не поддержит дерзкой затеи, а чуть больше скажи — иной, смотришь, и донесет!

Но еще теплилась призрачная надежда — Михайла Орлов. Этот мятежный генерал не сражение только — и войну мог бы выиграть.

Последние годы Орлов томился в Москве без дела; наезжал изредка в Киев к Раевским, по-родственному.

Трубецкой накануне восстания Орлову послал письмо, приглашая его в столицу — как бы ради его собственных дел. Писал, полагаясь на догадливость Михайлы Федоровича: «Чему суждено быть — то будет, с вами или без вас». И на словах объяснил Свистунову, что надо генералу Орлову сказать.

Под видом отпуска Свистунов поскакал в Москву.

Орлов понял все сразу и сказал Свистунову с каким-то почти изумлением:

— Сергей Петрович, сколько я знаю, разумный человек, — да что же там может быть?

И в тот же день в Москву докатилась весть о случившемся в Петербурге и об арестах...

Трубецкой и не ждал ответа на свое письмо. Ответ знал заранее. С Михаилом Орловым они давно все обговорили. Еще в Киеве.

В силу некоторых причин Трубецкой за год до восстания перебрался на постоянное жительство в Киев, получив перевод в четвертый корпус дежурным штабным офицером. Генерал Щербатов, командир четвертого корпуса, сменивший Раевского, Трубецкому был старый приятель; Щербатов и устроил ему этот перевод. Вскоре после петербургского наводнения. Квартира, которую они с Катериной Ивановной занимали в лавалевском особняке, на первом этаже, окнами на набережную, от наводнения сильно промокла. Сергей Петрович опять начинал подозрительно кашлять, — Катерина Ивановна испугалась; теща советовала ехать в Италию, но он настоял на своем — в Киев; жена с ним всегда соглашалась.

Беда была не в одном, разумеется, кашле.

Служивший в Василькове, под Киевом, Сергей Муравьев-Апостол в последнее время пугающе вел себя. Артамон Муравьев передал очень близко по смыслу ха-

рактир его тогдашних речей: «Если вы не желаете революции, — говорил Сергей Муравьев-Апостол, — то я один ее сделаю!»

И последний срок был назначен им — лето 1826 года.

В ноябре 1825 года Трубецкой с тем и приехал в Петербург, чтобы все обсудить окончательно. Не предвидя, естественно, столь внезапной кончины императора Александра.

Даже Пестель пытался доказать «васильковским стратегам» — Сергею Муравьеву-Апостолу и Бестужеву-Рюмину, что, во-первых, для революции ничего не готово, а во-вторых, и нельзя ее начинать где-нибудь — не в Петербурге!

Убить Александра во время очередного армейского смотра...

Поддерживая «васильковских стратегов», отчаянный Артамон Муравьев, после отмены смотра под Белой Церковью, близ Василькова, сам изъявил готовность отправиться за царем в Таганрог и прикончить его там. Ждать, говорил Артамон, все опасней; и удивительно, что из них до сих пор не арестован никто, — ведь про заговор все известно!

Правительству было известно даже больше, чем они думали: и Майборода, доверенный Пестеля, предал их, и подосланный графом Виттом шпион Бошняк достиг цели, и неосторожно привлеченный в тайное общество Федором Вадковским англичанин Шервуд, надеясь сделать невиданную карьеру, открыл правительству грандиозный заговор.

Горячась, Артамон Захарович Муравьев убеждал начинать немедленно — уверял, что имеет неизъяснимое предчувствие, что их всех схватят еще прежде нового года. А если бы их поддержал генерал Ермолов с его кавказской армией, то...

Когда еще думали о белоцерковском смотре, в первых числах июня 1825 года, собрались в Киеве, у Трубецкого на квартире. Сопещание продолжалось два дня. Разговор происходил такой накаленный, что княгиня Катерина Ивановна, не удержавшись, улучила момент — отозвала в сторону Муравьева-Апостола и сказала ему жалобно:

— Ради бога, Сережа, подумайте, что вы делаете...

Вы же погубите всех и свои головы сложите на эшафоте...

Он попытался успокоить ее:

— Неужели, княгиня, вы думаете, что мы не примем все меры для своей безопасности? Поверьте мне, — он улыбнулся весело, — все необходимые меры предосторожности нами взяты... Да и речь-то идет о времени самом неопределенном!

На парадном обеде у Трубецких в этот день, кроме обычных гостей — двух Муравьевых-Апостолов и Бестужева-Рюмина, присутствовали Михайла Федорович Орлов и приведенный Артамоном Муравьевым, как бы случайно оказавшийся в Киеве проездом, Грибоедов. Он держал путь на Кавказ и нужен был как посредник для связи с Ермоловым. Грибоедов пользовался доверенностью генерала Ермолова...

Орлова имели тоже в виду. Он давно был в отставке, терять ему нечего, думалось, кроме домашнего, никогда им особенно не ценимого благополучия.

Благодушный, заметно толстеющий, с лысиною сверкающей, с детской ямкой на подбородке, отяжелевший после обеда Орлов, не в пример молчаливому, бледному Грибоедову, был говорлив и румян. Михайла Федорович с улыбкой слушал странные разговоры, а потом вдруг пустился некстати в воспоминания.

Имя Наполеона витало в воздухе. Недавно он умер и стал герой романтический. Пестель, кажется, видел в нем свой идеал. Да и Сергей Муравьев-Апостол, говорили, на Бонапарта похож, если в профиль глянуть... Приподняв уголком удивленные брови, Орлов соглашался: если в профиль — похож. Он дважды с Наполеоном беседовал с глазу на глаз, и теперь, улыбаясь детской своей улыбкой, принялся вновь рассказывать, как из Вильны ездил с Балашовым к Наполеону — просить, чтобы не начинали войны. Как сначала Наполеон не хотел принять их, но, когда Вильну без боя оставили, все-таки принял. И спрашивал: «Что — император Александр меня боится?»

Орлов неожиданно рассмеялся:

— А я ему сказал, что не знаю...

Проведя у противника в лагере несколько дней, Орлов видел — у них уже лошади дохнут; ни провианта не заготовлено, ни фуража; в Европе война была скорая — все, что нужно для армии, покупали у населения или силой забирали, запасов не возили с собой. В донесении Орлов изложил свою точку зрения: они к долгой войне

совсем не готовы. Военные расчеты Наполеона построены на одном вдохновении: произойдет большое сражение, думает он, и уже нет русской армии. Чем раньше это случится — тем скорей и победа. Александру придется быть посговорчивей...

— Он рассчитывал одержать победу под Вильной и не скрывал своего разочарования.

Второй раз они уже за Смоленском беседовали.

— В тяжелых боях мы несли потери. Генерал Тучков ранен был и взят в плен. Меня послали парламентарем — узнать, что с ним. Повидал я Тучкова, успокоил насчет обмена пленными, хотел уже назад ехать, а меня не отпускают. И день держат, и два... А потом ведут к Наполеону. После обычных вежливых слов он меня вдруг спрашивает сердито: и долго еще мы так собираемся пятиться? Какой смысл уклоняться от сражения? Ну кто так воюет? Он даже сказал мне, что честь русская требует не оставлять противнику своей страны без боя! Война, объяснил он, это же как дуэль между государями. И только! Необходимо, наконец, помериться силами... Потом уже мир заключить нетрудно. Все культурные нации так воюют, а только русские — варвары... Для чего вы укрепления строили, если защищать их не стали? Средства ухлопали... Как же вам ничего не жалко! Горда горят, склады продовольственные горят, поместья брошены солдатам на разграбление... А между тем армия правильно отступает: ни больных не видно, ни отставших, — к чему это? На императора Александра я не сержусь, и ему на меня обижаться не следует. Я мира хочу и готов хоть завтра начать переговоры. Завтра же, слышите? Я отпущу вас при условии, что вы сообщите наш разговор своему государю. Я хочу мира! От брата моего Александра зависит, как скоро будет заключен этот мир. И скажите ему, что мои требования не будут слишком жестоки...

Орлов обещал все императору Александру передать.

И тогда Наполеон спросил его: а как сам он считает, согласится ли царь немедленно начать переговоры о мире?

«Нет! — сказал Наполеону штаб-ротмистр Михайла Орлов. — Лично я думаю — нет... Пока на нашей земле французы, никакого мира не может быть!»

Наполеон посмотрел на него устало. Он, возможно, догадывался уже, что не сможет выиграть эту войну.

Орлов сидел в кресле, поставленном против открытой балконной двери, удобно раскинувшись и вдыхая свежий воздух с Днепра.

В раскрытую дверь балкона проникал запах свежей зелени и цветущей сирени.

К Орлову подошел рыжий прапорщик и дрожащим от волнения голосом спросил строго:

— Но скажите все-таки, генерал, ежели что-то начнется, вы будете с нами?

— А собственно, что начнется? — улыбнулся Орлов. — Я пока ничего не вижу. . .

— Вы на вопрос не ответили, Михаила Федорович! — сбсрвал генерала невежливый прапорщик. — Я спросил, вы-то будете с нами?

— Разумеется, нет.

...Трубецкой сознавал отчаянность этой затеи. Слушал, как возбужденно витийствует нервный и простуженный Рылеев с компрессом на шее. Вокруг уже все само собою крутилось. Трубецкой только делал вид, что берет какие-то меры: разговаривал с ротными или взводными командирами, выводя их поодиночке в соседнюю комнату; и чем больше он с ними беседовал, тем отчаянней вспоминал ироническую реплику Грибседова, брошенную им в Киеве, за обедом: «Сто прапорщиков хотят переменить государственный быт России! . . .»

21

Но что-то все же роднило его с Рылеевым. Может быть, вера в чудо?

Рылеев до последней минуты на какое-то чудо рассчитывал. Что само собою, может быть, что-то выйдет! Верил в это и после того, как Булатов утром 14 декабря передал, что не примет участия в их деле; и когда бесследно исчез шумно клявшийся накануне Якубович, который все должен был начать; и когда Трубецкой поутру объявил, что сенаторы присягнули Николаю и разбрелись по домам; и когда на площади собралось полтора батальона. Рылеев потерял надежду на успех восстания только когда убедился, что назначенный им «диктатор» не появится. . .

Трубецкого искали дома, но не нашли.

Построенные в каре солдаты кричали «ура» и «да здравствует Константин». Прапорщички и мишманы рядом

топтались, ожидая команды. Шумела растушая вокруг площади толпа обывателей.

Все это сливалось в какое-то пестрое гудящее пятно, и Рылеев ушел в отчаянии с площади...

Остановить это было уже нельзя. И слухи о готовящемся отказе от присяги Николаю распространились.

Приятель Оболенского Яков Ростовцев признался тринадцатого, что из личной преданности великому князю Николаю Павловичу он счел долгом своим предупредить его об ожидавшемся назавтра неповиновении. Рылеев и Оболенский обмерли, когда Ростовцев показал им копию своего письма к Николаю. Ростовцев божился, что и при личном разговоре с Николаем Павловичем он, как и в письме, никаких имен не назвал...

Оболенский дал своему бывшему другу пощечину, и они с Рылеевым побежали искать Николая Бестужева.

Бестужев сказал, прочитав письмо Ростовцева:

— Этот мерзавец пытается ставить свечку и богу и сатане... Не надо никому больше это письмо показывать. Будем действовать, как решили. Так ли, иначе ли, но только после присяги Николаю всех нас арестуют. Так уж пусть люди знают хотя бы — за что мы погибли! Это лучше, чем просто исчезнуть, тайно и тихо.

Рылеев обнял Николая Бестужева.

— Я уверен был, что ты так решишь! И с богом... Уж значит, наша судьба такая: мы завтра погибнем, но зато пример наш останется, и мы принесем себя в жертву для свободы отечества!

Поэт Александр Одоевский, юный, красивый, в парадном конногвардейском мундире, вышагивал по рылеевскому залу и восклицал в упоении:

— Ах, как мы славно умрем завтра!

А назавтра на площади было студено и ветрено. И никто из них картечными залпами не был убит. Погибли два мальчика-флейтщика из морского гвардейского экипажа, солдаты и сотни городских обывателей, облепивших карнизы и окна ближайших домов.

Ночью жгли костры вокруг Зимнего.

Дворники и полицейские носили трупы убитых к Неве и спускали под лед. Кровь присыпали свежим снегом.

На первых допросах Рылеев, похоже, боялся, чтобы их предприятие не посчитали пустой затеей: он обо всем рассказал, что готовилось — и на севере и на юге. Не спешил признаться лишь в планах царевубийства, но и в этом признаться пришлось. Чистосердечие Рылеева императора Николая восхитило, и он говорил с Рылеевым дружески; поклялся, что не оставит рылеевского семейства, — и точно, послал Наталии Михайловне денег. Бедный Рылеев поверил в его доброту. Написал Николаю письмо, в котором выразил надежду на снисхождение — напоминал, что он, Рылеев, отец семейства.

В мае 1826 года Трубецкому дали очную ставку с Рылеевым, который настаивал в своих показаниях, что Трубецкой в роли «диктатора» располагал всей полнотой власти и действовал накануне восстания как его главный руководитель. Трубецкой говорил, что его роль была мнимая — он не столько руководил, сколько показывал, будто вникает во все обстоятельства. Вид Рылеева на Трубецкого произвел столь печальное впечатление, а его укоры — что-де, снимая с себя ответственность, Трубецкой возлагает всю вину на Рылеева — были так неприятны, что Трубецкой отказался от прежних своих показаний, не согласных с рылеевскими, и признал его правоту.

Очную ставку вел родственник Трубецкого князь Александр Николаевич Голицын, которого Трубецкой считал человеком религиозным. Голицын держался с ними как в светском салоне. Шутил. Подавал как будто надежду — все обойдется! Воспрянувший духом Рылеев поделился своей радостью с Трубецким: Наталия Михайловна обратилась к государю с просьбою о помиловании и он ее успокоил словами «никто не будет обижен».

Оба, казалось, готовы были в чудо поверить.

Трубецкой уповал на всевышнего: и когда молился в комнате у сестры, страхась пролития крови, и теперь — глядя на измученного Рылеева, и много позже — когда у него на руках умирала от рака жена, до последних мгновений надеясь на чудо.

Он встревожился, не увидев Рылеева среди собранных для прочтения приговора. Все были поделены на одиннадцать групп — «разрядов» в соответствии с мерой виновности (определял эту меру по приказу царя Сперанский). В первом разряде он видел знакомые лица — Пущина, Оболенского, Артамона Муравьева, Волконского; были и совсем неизвестные. Не было Пестеля и Рылеева. И Сергея Муравьева-Апостола с Бестужевым-

Рюминым. Каховского, который на площади в Милорадовича стрелял из пистолета, не было тоже. Трубецкой успел спросить у подошедшего к нему священника Мысловского: что это может значить?

— Приговор, который вам сейчас прочитают, суров, — печально сказал Мысловский. — Однако не огорчайтесь. Последует его смягчение. . .

— Но где же Рылеев и Пестель?

— Они и еще трое приговорены к смертной казни. Их даже и поведут, чтобы казнить, но. . . они тоже будут помилованы. Молитесь. . .

Трубецкого обступили, желая узнать у него что-нибудь; он не успел чего-либо сказать — их всех стали устанавливать в ряд у стены.

В тесной комнате набилось народу множество. Для судей не хватило стульев, принесли еще; кое-как все расселись. Молодой чиновник отчетливым голосом прочитал приговор их разряду — начиная с Трубецкого, который значился первым в списке. Им всем назначалась казнь посредством отсечения головы. Вина каждого излагалась подробно. После прочтения приговора образовалась долгая пауза. Приглашенный на зачтение приговора медик с инструментом стоял наготове, чтобы подать помощь нуждающимся. Их, однако же, не было. И тогда чиновник торжественным голосом произнес заключительную статью — о смягчении приговора. Милостью государя императора смертная казнь заменялась им всем на пожизненную каторгу, с лишением воинских званий, имений, титулов и дворянства.

. . . «Экзекуцию» сам Николай продумал до мелочей.

Мысловский вечером предупредил Трубецкого, что с них сорвут мундиры, и посоветовал крючков не застегивать. Трубецкой все крючки застегнул — мундир, когда срывали с него, изодрали в клочья. Комедия со срыванием мундиров и преломлением над головами подпленных шпаг разыгралась на широком свежем лугу, за стенами крепости. Луг окружили войска, пылали костры — в них надлежало сжигать сорванные мундиры. Всадники в генеральском облиии нервно торопили неопытных экзекуторов. Один из них подскочил к Трубецкому с криком — долго срывали мундир! — и, встретив презрительный взгляд старинного своего приятеля, в ужасе отшатнулся.

Одеты были преступники разнообразно: кто — в тулупе и валенках, кто — в парадной форме, как для двор-

цового бала; они, глядя друг на друга, смеялись. Как дети, радовались неожиданной встрече и свежему воздуху. Кидались друг к другу в объятия, узнавая, дивясь изменившимся лицам... С недоумением смотрели на тех, кого не рассчитывали увидеть здесь: Лунин! Александр Николаевич Муравьев! Генерал Фонвизин... Глазами искали Орлова, его не было. Орлова содержали отдельно и в крепости, и судьбу ему брат Алексей, по-собачьи преданный Николаю, новому императору, на коленях вымолил особую. Михайлу Федоровича сослали в деревню, а через некоторое время дозволили жить и в Москве.

В 1842 году А. И. Герцен записал в дневнике: «Был у Чаадаева. Подробности о смерти Михайла Федоровича. Он умер спокойно, величаво. Все путное в Москве показало участие к больному, даже незнакомые. Оценили, поняли, благословили в путь. Толпа народу была на отпевании и проводила его». Орлову исполнилось пятьдесят четыре года, но для него все давно было кончено. Еще прежде того Герцен писал в дневнике: «Я никогда не считал Михайла Федоровича ни великим политиком, ни истинно опасным демагогом, ни даже человеком тех огромных способностей, как о нем была Гама. Но он имел в себе много привлекательного, благородного, начиная с наружности до обращения».

Все же Герцену трудно было простить Орлову эту его отдельную судьбу. Ему было странно видеть Михайла Федоровича на московских гуляниях, балах — в то время как его товарищи томились на каторге. И тем более странно, что ни в каких обстоятельствах Орлов не склонял головы.

«Молодое поколение кланялось ему, но шло мимо, и он с горестью замечал это, — писал Герцен. — Я был лет 19, познакомившись с ним. Тогда он еще был красавец; *чело, как череп голый*, античная голова, оживленные черты и высокий рост придавали ему истинно что-то мощное. Именно с такой наружностью можно увлекать людей. Возвращенный из ссылки, но не прощенный, он был в очень затруднительном положении в Москве. Снедаемый самолюбием и жаждой деятельности, он был похож на льва, сидящего в клетке

и не смеявшего даже рычать». В этой неловкости положения Герцену, молодому максималисту, чудилась едва ли что не вина. «В сущности, он сохранил много рыцарски доблестного до конца жизни, — писал об Орлове Герцен, — в нем была бездна гуманного, доброго. За это мы должны его простить».

А те, в Сибири, и не думали вовсе, что надо Орлова прощать; узнав о его болезни, не оставившей надежды, они просто об нем жалели.

22

«Наши доспехи сложены были в костры и зажжены, а нас одели в полосатые халаты и отвели обратно», — вспоминал уже в старости Трубецкой.

Как и другие, он обратил внимание на врытые в землю на высоком валу столбы, еще без перекладины.

Тому, что пятерых их товарищей тем же утром повесили, в первый миг не поверили. Но становились известны подробности казни: трое сорвались из-за неловкости палачей, их снова вешали.

Чувство охватывало его такое мучительное, что впервые за все пребывание в крепости Трубецкой не обрадовался письму от жены, кое-что в письме удивило. Катерина Ивановна сообщала: она едет за ним в Сибирь. Писала об этом, как о деле сейчас решенном. Он догадался — она до последней минуты за него страшилась. Как стало известно потом, пятнадцать преданных царю генералов ездили во дворец убеждать Николая, чтобы казнил еще с десятков преступников. Начиная с Трубецкого, шли слишком известные имена, связанные родством с высшей знатью, — Николай не рискнул. Казнью, он понимал, забыть не заставишь. Надежнее — милостью: вечною каторгой и безвестным отсутствием. . .

В тесных, дощатыми стенками разгороженных казематах, куда всех временно поместили, переговаривались, делились новостями.

Дозволены были свидания с близкими.

В комендантском доме Трубецкого ждали жена и теща и оба его брата, Петр и Александр. После казни живое чувство еще не вернулось к нему. Он смотрел на родных, как сквозь прозрачное, для души непроницаемое стекло. «Жена впилась в меня, — вспоминал он, —

братья бросились в ноги и обнимали колена». Теща плакала. Трубецкой испытал волнение только вернувшись в тюрьму. Часть ночи не спал — сочинял письмо, которое надеялся отдать Катерине Ивановне при новом свидании, а другую часть ночи блохи не дали спать. Под утро изнеможение тяжело навело сон. Утром он встал, заговорил с соседом за дощатой стеной, и вдруг хлынула горлом кровь и полилась, как из кувшина. Прибежал лекарь. Кровь остановил... А через три дня он усилием воли заставил себя подняться. Сторож принес Трубецкому еду, присланную из дому, и уговаривал подкрепиться перед дорогой. Лекарь оставил запас лекарств. Велели приготовиться к отъезду. Трубецкой сложил в чемодан присланное из дому платье, белье. Ночью его подняли и повели к коменданту. Там, усадив на стул, надели на ноги кандалы и, привязав к ним веревку, сунули в руки конец, чтобы эти железа придерживать при ходьбе. Трубецкому достало силы ступить десяток шагов: простая тележка стояла перед крыльцом комендантского дома. Жандарм помог на нее взгромоздиться и пристроился рядом.

Выехали на Шлиссельбургский тракт. В воздухе пахло гарью, и утро вставало в дыму, как в тумане, — под Петербургом горели леса. Стояло сухое и жаркое лето. В Пелле — ближайшей почтовой станции — Трубецкого ждала жена, приехавшая с братом его, Александром Петровичем. Увидел он там и княгиню Волконскую с маленьким сыном. Ее муж выглядел не лучше Трубецкого. Волконский говорил Марии Николаевне хриплым от волнения голосом, что, наверное, жить ему недолго, просил приехать к нему.

Тысячи верст предстояли им до Нерчинска. Еще одна — трудная и счастливая жизнь...

...Раздраженный и желчный Грибоедов оставил Киев назавтра после того обеда, ни с кем не простившись. Он отказался от каких бы то ни было миссий к Ермолову. Бессмысленно! Но, чем дальше он отъезжал, тем нестерпимее прызла его тоска. Примешивалось к ней и чувство вины. В Крыму он был уже в состоянии близком к самоубийству. Полученное от Александра Бестужева письмо его удержало.

ОГЛАВЛЕНИЕ

306

СРЕДИ ВОЕННЫХ НЕПОГОД	3
ТОЛЬКО ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ	124
ОЖИДАНИЕ	218
ЕСЛИ ЖИТЬ — ТО ДЕЙСТВОВАТЬ	306

Галина Михайловна Цурикова

СТО ПРАПОРЩИКОВ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1983, 408 стр. План выпуска 1983. № 99.
Редактор И. С. Кузьмичев. Худож. редактор А. С. Орлов. Техн. редактор Е. Ф. Шареева. Корректор Ф. Н. Аврунина.

ИБ № 3776

Сдано в набор 14.03.83. Подписано к печати 7.07.83. М 35088. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага книжно-журнальная. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,42. Уч.-изд. л. 21,88. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1039. Цена 1 р. 80 к.
Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190090, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.